Денисюк.

Критическая литература о произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина

в. I



КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА.

Съ портретомъ и біографическимъ очеркомъ,

написаннымъ Н. ДЕНИСЮКЪ.

Выпускъ первый.

(1856—1863 гг.)

Въ первый выпускъ вошли статьи:

Н. Добролюбова, Н. Чернышевскаго, П. Аненкова, А. Дружинина, Е. Эдельсона и др.; статьи изъ «Отечественныхъ Записокъ», «Библіотеки для чтенія», «Голоса», «Сына Отечества», «Спб. Вѣдомостей», «Сѣверной Пчелы», «Русскаго Инвалида» и т. д.

Цѣна 1 р.

МОСКВА.
ИЗДАНІЕ А. С. ПАНАФИДИНОЙ.
Покровка, Лялинъ переулокъ, собств. домъ.
1905.

 ПОСТАВЩ. ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА  Т-во СКОРОПЕЧ. А. А. ЛЕВЕНСОНЪ 
МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, МАМОНОВСКІЙ ПЕР., СОБ. Д.

ОГЛАВЛЕНІЕ

перваго выпуска.

ОГЛАВЛЕНІЕ

примѣчаній о журналахъ и авторахъ, статьи которыхъ помѣщены въ первомъ выпускѣ.

ОГЛАВЛЕНІЕ

статей перваго выпуска въ тематическомъ порядкѣ.

ГУБЕРНСКІЕ ОЧЕРКИ.

САТИРЫ ВЪ ПРОЗѢ.

НЕВИННЫЕ РАЗСКАЗЫ.

Предисловіе.

Неоднократно въ печати высказывалось мнѣніе, указывавшее на необходимость комментаріевъ къ сочиненіямъ Салтыкова-Щедрина. Говорилось о невозможности пониманія для читающей публики многаго въ сочиненіяхъ этого выдающагося писателя, принужденнаго, въ силу «независящихъ обстоятельствъ», объясняться со своею аудиторіей то эзоповымъ языкомъ, то недоговаривая, то заставляя читать между строкъ, а зачастую и это было недоступно нашему Ювеналу—и тогда писатель, которымъ гордилась Россія, долженъ былъ, по выраженію одного изъ критиковъ, только «подмигивать и прищелкивать».

Наконецъ, и эти пріемы литературнаго творчества были офиціально признаны неудобными, потому что Щедринъ, и какъ редакторъ „Отечеств. Запис." и какъ сатирикъ и журналистъ, проводилъ „вредное направленіе—осмѣяніе и стараніе выставить въ ненавистномъ свѣтѣ существующій общественный, государственный и экономическій строй какъ у насъ, такъ и въ другихъ европейскихъ государствахъ, на ряду съ этимъ не скрывая симпатіи къ крайнимъ соціалистическимъ доктринамъ".

Послѣ такой оцѣнки литературной дѣятельности, со стороны комитета министровъ, Щедринъ долженъ

былъ заговорить сугубо-эзоповымъ языкомъ, а по вопросу о „подмигиванiи и прищелкиванiи“ соблюдать крайнюю осторожность. Вотъ причины, по которымъ сочиненiя нашего сатирика не отличаются тою ясностью и полнотою развитiя мысли, которыя были бы желательны.

Главнымъ образомъ, этимъ, надо полагать, и объясняется недостаточная популярность *сочиненiй* Щедрина, которая замѣчается и до сихъ поръ. Казалось бы, что столь популярное въ современномъ обществѣ имя, какъ имя Щедрина, должно было бы вызвать и огромное распространенiе его сочиненiй, однако—это не такъ. Большинство читающей публики знаетъ Щедрина только лишь по имени или по одному-двумъ его произведенiямъ, наиболѣе доступнымъ для пониманiя.

Щедринъ въ своихъ сочиненiяхъ, оставаясь художникомъ, такъ близко соприкасался съ современной ему жизнью, отражалъ ее въ такихъ подробностяхъ и мелочахъ, что для современнаго читателя многое уже стало непонятнымъ, хотя и не утратило интереса, потому что, подъ перомъ Щедрина, всякiй частный случай, всякая подробность общественной жизни превращались въ явленiе типичное, прiобрѣтали значенiе принципiальное. Вотъ почему сочиненiя Щедрина, съ одной стороны, не утратили для нашего времени ни литературнаго ни общественнаго значенiя, а съ другой—стали для широкихъ круговъ публики не всегда доступными для пониманiя.

Надъ этимъ послѣднимъ явленiемъ нельзя остановиться безъ сожалѣнiя, такъ какъ и огромный талантъ нашего сатирика и его мiросозерцанiе заслуживаютъ самой широкой популярности, а его произведенiя самой широкой распространенности.

Время для комментаріевъ сочиненій Щедрина, однако, неблагопріятно, къ сожалѣнію, еще и до сихъ поръ, такъ какъ эти комментаріи должны были бы прибѣгнуть все къ тому же эзоповому языку, довольно уже, кажется, всѣмъ надоѣвшему, а потому мы полагаемъ, что изданіе критической литературы о произведеніяхъ нашего великаго сатирика можетъ, отчасти, замѣнить столь желанные и, по мнѣнію многихъ, необходимые комментаріи.

Въ предлагаемыхъ книгахъ мы собрали все, что разбросано въ различныхъ газетахъ и журналахъ, по интересующему насъ вопросу, при чемъ, конечно, дали мѣсто въ нашемъ изданіи только тѣмъ статьямъ и замѣткамъ, которыя представляютъ, съ объективной точки зрѣнія, какой-нибудь литературный интересъ. Кромѣ того, въ предлагаемое изданіе не войдутъ статьи біографическаго характера, такъ какъ цѣлью нашей книги является, какъ мы уже сказали, желаніе дать матеріалъ для комментаріевъ сочиненій нашего писателя. Взамѣнъ этихъ пропущенныхъ статей нами приложенъ біографическій очеркъ Щедрина, сообщающій, въ главныхъ чертахъ, факты жизни и литературной дѣятельности сатирика, въ связи съ современной ему общественной обстановкой. Для болѣе полнаго пониманія приводимыхъ здѣсь критическихъ статей сдѣланы, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, примѣчанія, выясняющія литературную физіономію автора данной статьи или органа, въ которомъ эта статья была напечатана.

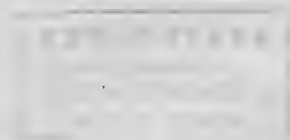
Для читателей, незнакомыхъ съ иностранными языками, сдѣланы переводы встрѣчающихся на этихъ языкахъ фразъ въ тѣхъ случаяхъ, когда это могло бы затруднить пониманіе автора, а также помѣщены и другія мелкія поясненія, историческія справки, раскрыты нѣкоторые псевдонимы и т. д.

Кромѣ того, въ послѣднемъ выпускѣ будетъ приведенъ хронологическій перечень всѣхъ сатирическихъ сочиненій и журнальныхъ статей Щедрина.

Статьи, здѣсь приводимыя, расположены по мѣрѣ появленія ихъ въ печати, т.-е. въ хронологическомъ порядкѣ. Такимъ образомъ, въ первый выпускъ нашего изданія вошли критическія статьи о Щедринѣ отъ 1856 г. до 1863 г. включительно.

Нѣкоторыя изъ этихъ статей подвергнуты сокращеніямъ въ тѣхъ случаяхъ, когда отъ этихъ сокращеній ничего не проигрывалъ читатель.







«Бывали минуты, когда пошехонская страна приводила меня въ недоумѣніе; но такой минуты, когда бы сердце мое перестало болѣть по ней, я рѣшительно не запомню. Бѣдная эта страна,—ее надо любить» (Пошехонскіе разсказы, III изд., т. IX, стр. 409).

Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ-Щедринъ.

(1826—1889 г.)

„Vita sine literis mors est!“

Кто зналъ 70-ые годы и жилъ въ это время въ столицѣ, или въ крупныхъ центрахъ провинціи, тотъ хорошо помнитъ то культурное движеніе, которымъ было охвачено русское общество. Помнитъ онъ также, какое мѣсто занимали печатавшіяся тогда произведенія Щедрина въ этой борьбѣ передовой части общества противъ реакціонной проповѣди печати извѣстнаго лагеря и той части общества, среди которой царили владѣльческіе инстинкты и общественное двоедушіе. Дореформенный строй, казалось, павшій по волѣ царя-освободителя, былъ, въ сущности, только надломленъ. Партія крѣпостнической Руси не была побѣждена, а потерпѣла только серіозное пораженіе. Правда, просвѣтительныя реформы Александра II-го сдѣлали разъ и навсегда невозможнымъ возвратъ къ „доброму старому времени“, но только лишь въ тѣхъ его специфическихъ формахъ, въ которыхъ онъ существовалъ въ дореформенной Руси. Несмотря на усилія лучшихъ людей страны, тѣмъ не менѣе гидра реакціи вскорѣ вновь стала расправлять свои понемногу отраставшія щупальцы и почти незамѣтно разрушать культурное достояніе новой Россіи. Въ „Невинныхъ разсказахъ“ уже, Щедринъ, устами одного изъ дѣйствующихъ лицъ, угадываетъ понятное движеніе и ту обстановочку, за ширмами которой свершится возвратъ къ любезной старинѣ. „Я питаю увѣренность, — говоритъ Семенъ Михайловичъ, когда ему пишутъ изъ Петербурга о надвигающихся новыхъ порядкахъ, — что мы возродимся. Я просто пришелъ къ заключенію, что все это не болѣе какъ страшный сонъ. Мы возродимся—это вѣрно. Потому, ненатурально! Развѣ можно существовать безъ системы?.. Конечно, сначала все это будетъ какъ-будто подъ

пепломъ, а потомъ оно потеплится, потеплится, да и воспрянетъ настоящимъ манеромъ!..“ Семенъ Михайловичъ, очевидно, хорошо зналъ, что не въ природѣ бюрократическаго строя измѣненіе „фигуры“ отечества. Этотъ взглядъ хорошо выраженъ въ другомъ мѣстѣ: „Мы до того любимъ наше отечество въ томъ видѣ, какъ оно существуетъ издревле (du naturel), что не смѣемъ даже вообразить себѣ, чтобы могли потребоваться въ фигурѣ его какія-нибудь измѣненія. Конечно, мы не хуже другихъ понимаемъ, что нельзя иногда безъ того, чтобы фестончикъ какой-нибудь не поправить... ну, тамъ помощничка что ли къ становому прикинуть, или даже и цѣлый департаментикъ, для пользы общей, сочинить. Но все это такъ, чтобы величія древняго не нарушать...“

Въ этихъ немногихъ словахъ разгадка всѣхъ событій и мѣропріятій, слѣдующихъ за періодомъ реформъ, и несбывшихся надеждъ русскаго общества. И огромный классъ крѣпостниковъ, и офиціальная Россія, того времени, могли бы расписаться подъ этими фразами покойнаго сатирика. Попятное движеніе росло и ширилось, а передовые элементы русскаго общества съ ужасомъ должны были убѣдиться, что раскрѣпощенная и освобожденная Россія готова снова наложить на себя цѣпи рабства, хотя и въ нѣсколько другихъ формахъ. Сторонники безправія, произвола, безсудія, порабощенія и экономическаго закрѣпощенія народныхъ массъ снова открыто стали дѣйствовать и домогаться осуществленія этихъ своекорыстныхъ цѣлей. Они оказались всюду: въ различныхъ общественныхъ группахъ, среди правительственныхъ агентовъ, среди земцевъ, купечества, дворянства, представителей науки, литературы и центральнаго правительства. Небольшая горсть сторонниковъ просвѣтительныхъ реформъ должна была смолкнуть. Печать, этотъ голосъ общественной совѣсти и факелъ общественныхъ желаній и нуждъ, смолкъ надолго, и голосъ ея нерѣшительно, робко и неопредѣленно раздавался, разъ дѣло шло объ общественныхъ вопросахъ. На Руси понемногу водворялась та гробовая тишина, тѣ безпросвѣтныя сумерки, когда дѣйствительныя формы предметовъ исчезаютъ и міръ наполняется призраками. Наступалъ періодъ русской общественности, о которомъ, за нѣсколько мгновеній до своей смерти („Забытыя слова“), покойный сатирикъ писалъ: „Ни звука, ни шороха, ничего, кромѣ печати погибели...“

Въ защиту цѣннаго наслѣдства 60-хъ годовъ поднялось все, что было дѣйствительно передового въ различныхъ слояхъ русскаго общества.

Въ этотъ періодъ неравной борьбы старой, дореформенной Россіи и новой, старавшейся освободительныя реформы провести въ жизнь и закрѣпить за ними право на прочное существованіе и дальнѣйшее развитіе, вожакомъ прогрессивной партіи былъ, внѣ всякаго сомнѣнія, Щедринъ. Кто помнитъ это время, тотъ согласится со мною, что вліяніе этого писателя, на тогдашнее русское общество, было исключительнымъ. Всѣ съ надеждой и трепетомъ ждали, что скажетъ Щедринъ по тому, или другому вопросу общественной жизни. Его цитировали безъ конца, его мѣткія выраженія стали ходячими. Въ то время онъ имѣлъ полное право назвать себя вожакомъ и вдохновителемъ той Россіи, которая пережила это тяжелое время, не переставала бороться въ періодъ разгара реакціи 80 и 90-хъ годовъ и благодаря которой мы сейчасъ, быть-можетъ, стоимъ передъ новою эпохой русской общественной жизни. Ясность, опредѣленность и практичность идеаловъ Щедрина, огромный, яркій литературный талантъ, свѣтлый умъ, оригинальность формъ его литературныхъ произведеній, неисчерпаемое остроуміе, большой жизненный опытъ, сильно развитое чувство дѣйствительности и непоколебимая стойкость убѣжденій, привлекли къ нему всѣ сердца и умы образованнаго русскаго общества и обезпечили за нимъ навсегда мѣсто въ исторіи русской литературы и исторіи общественнаго движенія.

Щедрина часто сравниваютъ съ Гоголемъ. Правда, онъ является продолжателемъ дѣла, начатаго этимъ писателемъ, но его умственный горизонтъ значительно шире, его знаніе жизни разностороннѣй и глубже, его общественный темпераментъ ярче, его художественные образы разнообразнѣе, его общественная миссія опредѣленнѣе, его стремленія сознательнѣе, его ненависть острѣе, его любовь теплѣе, его юморъ тоньше. Въ лицѣ Щедрина мы имѣемъ рѣдко встрѣчающееся явленіе—художника-мыслителя. Этотъ неисчерпаемый источникъ щедринскаго остроумія многимъ давалъ поводъ предположить желаніе съ его стороны быть доступнымъ, занимательнымъ во что бы ни стало. Это невѣрно: юморъ невольный, непосредственный, стихійный является одною изъ основныхъ чертъ его характера. Это видно и

изъ его писемъ и изъ бесѣдъ со знакомыми, записанныхъ и дошедшихъ до насъ. Юморъ для Щедрина не цѣль, а только средство, къ которому онъ прибѣгаетъ по прирожденной склонности. Его сатира также умѣетъ смѣяться, какъ и негодовать, схватывать и внѣшность предмета и его суть. При поверхностномъ взглядѣ, можетъ-быть, и возможенъ тотъ выводъ, который сдѣлалъ Д. И. Писаревъ въ своей статьѣ о Щедринѣ („Цвѣты невиннаго юмора"), но если

Мы ближе подойдемъ, то вдругъ увидимъ тутъ,
Что слезы у него межъ пальцами текутъ...
И мы поймемъ, что горькій плачъ былъ этимъ смѣхомъ страннымъ...

Теперь, когда мы отодвинуты временемъ на извѣстное историческое разстояніе отъ дѣятельности этого выдающагося писателя, мы уже болѣе не сомнѣваемся въ томъ, что онъ горячо и дѣятельно любилъ свою родину. Онъ умѣлъ находить во всѣхъ своихъ герояхъ человѣка, а безпощадно бичевалъ лишь систему, существующій порядокъ вещей, мѣшавшій этимъ людямъ стать иными. Люди, утверждавшіе, что въ глазахъ умершаго писателя Россія представлялась только сокровищницей всяческой скверны, замолкли, и для всѣхъ стало ясно, какъ покойный сильно ненавидѣлъ отрицательныя стороны русскаго общественнаго строя и какъ горячо любилъ онъ родину. Страстность, съ которою бичевалъ онъ общественные пороки, свидѣтельствовала только о томъ, какъ дѣятельно желалъ великій сатирикъ увидѣть родную страну обновленной, преуспѣвающей, безпрепятственно развивающей свою духовную и матеріальную мощь. Нельзя указать ни единой страницы въ сочиненіяхъ покойнаго, гдѣ бы онъ отдавался „безбрежному пессимизму" и признавалъ безвыходность положенія. Онъ не опускаетъ рукъ, онъ не создаетъ атмосферы безнадежности, онъ показываетъ путь къ выходу, онъ убѣжденъ въ торжествѣ разумныхъ, прогрессивныхъ началъ. „Не вѣчно, вѣдь, будутъ проповѣдывать,— пишетъ онъ,—что крестьянская реформа есть источникъ всѣхъ золъ, что судъ присяжныхъ—злонамѣренная комедія, что свободная печать—вертепъ мошенниковъ пера..." Раскрывая язвы, топи и зажоры отечественнаго неустройства, онъ учитъ любить эту бѣдную природу, этотъ духовно богатый задатками народъ. Уже въ первомъ своемъ произведеніи—„Губернскихъ очеркахъ"—онъ пишетъ:

„Я люблю эту бѣдную природу, можетъ-быть, потому, что, какова она ни есть, она все-таки принадлежитъ мнѣ; она сроднилась со мной точно такъ же, какъ и я сжился съ ней; она лелѣяла мою молодость; она была свидѣтельницей первыхъ тревогъ моего сердца, и съ тѣхъ поръ ей принадлежитъ лучшая часть меня самого. Перенесите меня въ Швейцарію, въ Индію, въ Германію, окружите какою хотите роскошною природою, накиньте на эту природу какое хотите прозрачное и синее небо — я все-таки вездѣ найду милые сѣренькіе тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу ихъ въ моемъ сердцѣ, потому что душа моя хранитъ ихъ, какъ лучшее свое достояніе“.

Въ сравнительно ранній періодъ жизни Щедринъ составилъ себѣ ясное, опредѣленное міросозерцаніе и до гробовой доски не измѣнилъ его. Это послѣднее обстоятельство свидѣтельствуетъ объ огромной силѣ и ясности ума. Часто случается, что писатели къ старости рѣзко мѣняютъ свои взгляды, или возвращаются къ сбивчивымъ, незрѣлымъ точкамъ зрѣнія своей ранней молодости. Это явленіе такъ-называемаго обратнаго умственнаго развитія свидѣтельствуетъ, что для такихъ писателей предметы никогда дѣйствительно не были ясны, и они никогда не обладали твердымъ пониманіемъ окружающей дѣйствительности. Щедринъ принадлежитъ къ тѣмъ писателямъ, для которыхъ выработанныя убѣжденія обладали всѣми свойствами математической истины. Одолѣваемый подъ конецъ жизни всѣми формами физическихъ недуговъ, онъ сохранилъ здоровый умъ; въ организмѣ его, окончательно изъѣденномъ болѣзнью, сохранился здоровымъ только лишь одинъ мозгъ. Начавъ свою литературную дѣятельность призывомъ къ улучшенію существующаго, онъ окончилъ ее также согласно словамъ, выраженнымъ въ частномъ письмѣ къ одному изъ товарищей-писателей:

„Мнѣ кажется,—пишетъ онъ въ этомъ письмѣ,—что писатель, имѣющій въ виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иныхъ идеаловъ, кромѣ тѣхъ, которые изстари волнуютъ человѣчество. А именно: свобода, равноправность и справедливость. Что же касается до практическихъ идеаловъ, то они такъ разнообразны, что останавливаться на этихъ стадіяхъ значитъ добровольно стѣснять себя. Я положительно увѣренъ, что большее или меньшее совершенство этихъ идеаловъ зависитъ отъ большаго или

меньшаго усвоенія человѣкомъ тайнъ природы и происходящаго отсюда успѣха прикладныхъ наукъ... Фурье былъ великій мыслитель, а вся прикладная часть его теоріи оказывается болѣе или менѣе несостоятельною, и остаются только неумирающія общія положенія *). Это дало мнѣ поводъ задаться болѣе скромною миссіей, а именно, спасти идеалъ свободнаго изслѣдованія, какъ неотъемлемаго права всякаго человѣка, и обратиться къ тѣмъ современнымъ основамъ, во имя которыхъ эта свобода изслѣдованія попирается".

Со дня смерти Щедрина прошло почти двадцать лѣтъ, а его произведенія не только не утратили своей свѣжести и современности, но, кажется, только теперь получили полную силу и значеніе. Это понятно. Вѣрно понятыя и безпощадно осмѣянныя уродливыя стороны русской дѣйствительности еще долго, надо полагать, будутъ существовать, видоизмѣняясь, окрашиваясь въ другіе колера и прикрываясь другими кличками. Кромѣ того, глубоко проникая въ сущность явленій, умѣя усмотрѣть въ нихъ все то, что способно къ долгой жизни, борьбѣ и развитію, Щедринъ вѣщимъ умомъ предсказалъ грядущее будущее. Часть его предсказаній уже оправдалась на нашихъ глазахъ.

Вотъ почему произведенія нашего сатирика еще очень не скоро утеряютъ литературную и общественную цѣнность, а впослѣдствіи, ставъ достояніемъ исторіи, займутъ въ ней почетное мѣсто, на ряду съ произведеніями лучшихъ русскихъ писателей.

*) Теорія соціалиста Фурье, примѣненная на практикѣ, наприм., въ Америкѣ, потерпѣла полную неудачу. Она заключается въ широкомъ проведеніи общиннаго начала; всѣ люди должны раздѣлиться на общины (фаланстеры) приблизительно по 1500 челов. каждая; каждый членъ свободно избираетъ себѣ тотъ или другой родъ занятія; сохраняется собственность, имущественное неравенство и процентъ на капиталъ; при распредѣленіи продуктовъ производства трудъ получаетъ $^5/_{12}$, капиталъ—$^4/_{12}$, дарованіе—$^3/_{12}$; независимо отъ этого каждому члену фаланстера обезпеченъ minimum пищи, одежды и жилища. Заслуга ученія соціалистовъ (Фурье, Сенъ-Симонъ, Марло, Родбертусъ, Прудонъ, Лассаль, Марксъ и т. д.) заключается въ томъ, что они указали на экономическую истину, принятую всѣми послѣдующими школами, по которой экономическое положеніе личности зависитъ отъ существующей юридической системы и въ особенности отъ данной организаціи института собственности; наука же до соціалистовъ смотрѣла на собственность, договорное право, наслѣдованіе, распредѣленіе, какъ на нѣчто незыблимо установленное, подобно естественнымъ законамъ природы независящее отъ общественной организаціи. *Примѣч. Н. Денисюка.*

Величайшимъ тормозомъ русской общественности Щедринъ считалъ бюрократію и ту борьбу канцеляріи съ дѣйствительною жизнью, мертвящаго формализма съ общественнымъ творчествомъ, офиціальной правды съ дѣйствительною, бумаги съ общественной самодѣятельностью, которая ведется на протяженіи всего XIX вѣка и только на нашихъ глазахъ въ принципѣ осуждена и верховной правительственной властью и обществомъ. Въ цѣломъ рядѣ образовъ, положеній и характеристикъ великій сатирикъ мѣтко указалъ на отрицательныя стороны бюрократіи и бюрократической системы. Кромѣ канцелярій Щедринъ отыскивалъ бюрократизмъ, мертвечину, ложь, бахвальство, двоедушіе и въ земствѣ, и въ обществѣ, и въ печати, и въ судѣ, и адвокатурѣ, всюду мѣтко ихъ поражая магическимъ свойствомъ своего таланта, дѣлая ихъ для всѣхъ замѣтными, сбрасывая съ нихъ покровы двуличности и маску общественности. Когда этотъ строй отойдетъ въ область историческихъ преданій, мы поймемъ, какое мѣсто занималъ Щедринъ въ дѣлѣ его развѣнчанія и разрушенія. Какое же мѣсто канцелярская система и канцелярская регламентація занимаютъ во всѣхъ областяхъ нашей общественной жизни, мы видимъ и теперь.

I.

Отецъ Салтыкова былъ помѣщикъ, Тверской губ. Калязинскаго уѣзда, а мать, Ольга Михайловна Забѣлина—купеческаго рода. По свидѣтельству всѣхъ, знавшихъ семью Салтыковыхъ, это были люди съ хорошими матеріальными средствами. Обстановка, при которой родился и провелъ первые годы дѣтства будущій сатирикъ, ничѣмъ особенно не выдѣлялась изъ общераспространеннаго порядка вещей нашей дореформенной, крѣпостнической Руси. Все то же царство кнута и „принудительныхъ мѣръ“, во всемъ ихъ блескѣ и разнообразіи; все тотъ же патріархальный бытъ съ тираномъ—отцомъ семейства во главѣ; все та же безправность всѣхъ, начиная съ дворовыхъ людей и кончая самою хозяйкой дома и матерью дѣтей; все та же классическая розга и колотушки, какъ наиболѣе дѣйствительное и испытанное средство въ борьбѣ съ человѣческими пороками вообще, а съ дѣтскими въ особенности; все то же отсутствіе разумныхъ, культурныхъ цѣлей

жизни: все та же нездоровая обстановка и въ моральномъ и въ гигіеническомъ смыслѣ; все то же утробное существованіе, попойки и дрязги, какъ единственный видъ развлеченій и общественности; все тотъ же подневольный, постылый трудъ съ одной стороны и полное бездѣльничанье съ другой. Словомъ, въ укладѣ жизни семьи Салтыковыхъ всѣ виды несправедливости, неравномѣрнаго распредѣленія богатства, труда, права, вся ложь нынѣ отжившаго общественнаго и экономическаго строя, всѣ стороны барщины, весь ужасъ превращенія человѣка въ безправное, безсловесное животное, вся дикая неумытность повелителей и рабовладѣльцевъ, отразились полностью. О своемъ дѣтствѣ великій сатирикъ вспоминалъ, какъ о худшихъ дняхъ своей жизни. Для ординарной, дюжинной натуры такое дѣтство сослужило бы дурную службу, навсегда искалѣчивъ моральную природу ребенка, для натуры же выдающейся, каковой была натура Салтыкова, эта обстановка сыграла роль жизненной школы, изъ которой онъ вышелъ съ любовью къ угнетенному народу и ненавистью ко всему, что препятствуетъ свободному развитію общества, а значитъ и счастью его членовъ. Отъ естественнаго состраданія къ слабѣйшему, Салтыковъ тотчасъ же перешелъ къ наблюденію надъ его внутренней жизнью, надъ его религіозными вѣрованіями, нравственнымъ укладомъ, надъ его міропониманіемъ; результатомъ этого внимательнаго отношенія къ душѣ народа и близости къ его повседневной жизни, явилось то глубокое, трезвое пониманіе русскаго мужика, которое никто не отнимаетъ у покойнаго писателя. Склонность и способность къ наблюденію оберегли Салтыкова отъ сантиментальнаго, барскаго отношенія къ изображаемымъ лицамъ изъ среды народа и потому въ его произведеніяхъ мужикъ явился такимъ, каковъ онъ есть въ дѣйствительности, со всѣми достоинствами и недостатками.

Еще передъ появленіемъ на свѣтъ Мих. Евграфов., юродивый, случайно зашедшій въ усадьбу Салтыковыхъ, довольно вѣрно предсказалъ будущія качества сатирика въ ожидавшемся ребенкѣ. Незадолго передъ рожденіемъ Щедрина, а онъ родился 15 января 1826 г., къ нимъ зашелъ одинъ изъ представителей бродячей Руси—Дмитрій Михайловичъ Курбатовъ. Среди неразвитого класса русскихъ помѣщиковъ, въ началѣ прошлаго вѣка, еще не угасла, очевидно, вѣра въ пророческій даръ психически-больныхъ юродивыхъ.

Курбатовъ былъ очень набоженъ, вѣчно бродилъ по монастырямъ и отъ природы былъ несомнѣннымъ идіотомъ, а этого было, по тѣмъ временамъ, совершенно достаточно, чтобы признать за нимъ права на пророчество. Спрошенный Ольгой Михайловной — матерью будущаго писателя, что у нея родится—сынъ, или дочь, юродивый отвѣчалъ: „Пѣтушокъ, пѣтушокъ, востеръ ноготокъ! Многихъ супостатовъ покоритъ и будетъ женскимъ разгонникомъ". Когда родился, дѣйствительно, сынъ, то его назвали, согласно будущимъ качествамъ, предсказаннымъ юродивымъ, въ честь воинствующаго архангела, архистратига небесныхъ силъ — Михаиломъ, а самого вѣдуна—Курбатова, пригласили въ крестные отцы будущему „женскому разгоннику" и обладателю „востраго ноготка".

Воспитаніе и умственное развитіе, въ то „доброе старое время", велось согласно упрощенной, не замысловатой, но, по мнѣнію нашихъ дѣдовъ, вѣрной программѣ. Дѣтей растили и вскармливали кормилицы и няньки на особой половинѣ; затѣмъ они переходили въ руки дядекъ и гувернеровъ; затѣмъ на сцену выступалъ приходскій батюшка и „домашній учитель", цѣною подешевле, а зачастую и совершенно безплатный; это уже въ тѣхъ случаяхъ, когда среди крѣпостныхъ находился грамотный дворовый. Выучившись грамотѣ, дѣти сбывались въ учебныя заведенія, предпочтительно на счетъ казны, а за невозможностью попасть на государственное иждивенье; поступали въ какіе-нибудь частные пансіоны. Красной нитью черезъ весь воспитательный періодъ будущаго „питомца славы" проходила розга, какъ единственное педагогическое средство, удивительно споспѣшествующее усвоенію и моральныхъ основъ жизни, и теоретическихъ научныхъ знаній.

Неудивительно поэтому, что первыя воспоминанія, первые моменты сознательнаго существованія Щедрина, связаны съ розгой и поркой. Однажды, когда разговоръ коснулся памяти и собесѣдники стали устанавливать возрастъ, съ котораго они помнятъ себя и окружающее, Щедринъ сказалъ: „А знаете съ какого момента началась моя память? Помню, что меня сѣкутъ, кто, именно, не помню, но сѣкутъ какъ слѣдуетъ, розгою, а нѣмка — гувернантка старшихъ моихъ братьевъ и сестеръ—заступается за меня, закрываетъ ладонью отъ ударовъ и говоритъ, что я слишкомъ еще малъ для этого. Было мнѣ тогда, должно-быть, года два, не больше".

Система воспитанія того времени вообще, а воспитанія Салтыкова въ частности, блестяще разсказана имъ въ „Пошехонской старинѣ“.

„Припоминается, говоритъ онъ тамъ, безпрерывный дѣтскій плачъ, неумолкаемые дѣтскіе стоны за класснымъ столомъ, припоминается цѣлая свита гувернантокъ, слѣдовавшихъ одна за другой и съ непонятною для нынѣшняго времени жестокостью сыпавшихъ колотушками направо и налѣво... Всѣ онѣ безчеловѣчно дрались, а Марью Андреевну (дочь московскаго нѣмца-сапожника) даже строгая наша мать называла фуріей. Такъ-что во все время ея пребыванія уши у дѣтей постоянно бывали покрыты болячками“.

Когда Михаилу Евграфовичу исполнилось семь лѣтъ, рѣшено было заняться его научнымъ образованіемъ. Для этой цѣли, по мнѣнію родителей нашего писателя, былъ самымъ подходящимъ человѣкомъ крѣпостной живописецъ Павелъ. На слѣдующій день этотъ, волею барской, педагогъ явился въ классъ вооруженный, но, конечно, не знаніями, а *указкой*, и приступилъ со своимъ ученикомъ къ изученію буквъ русскаго алфавита. Съ этого момента для Миши начинается прохожденіе трудной стези различныхъ наукъ, необходимыхъ для права водворенія юнаго Михаила Евграфовича въ соотвѣтственное учебное заведеніе.

Въ 1834 году, т.-е. когда Щедрину шелъ 8-й годъ, его старшая сестра Надежда окончила Московскій Екатерининскій институтъ и пріѣхала въ деревню къ родителямъ со своею подругой Авдотьей Петровной Василевской. Авдотьѣ Петровнѣ, въ качествѣ гувернантки, былъ ввѣренъ маленькій Миша. Путь къ мудрости древнихъ народовъ, въ формѣ латинскаго языка, долженъ былъ освѣтить священникъ села Заозерья отецъ Иванъ, а въ качествѣ корректива ко всѣмъ этимъ наставникамъ приглашался въ теченіе двухлѣтнихъ вакацій студентъ Троицкой Духовной Академіи, Салминъ.

Миша былъ способный и прилежный ученикъ. Въ два года онъ подготовился къ экзамену и въ августѣ 1836 г. былъ принятъ въ третій классъ Московскаго дворянскаго института. Здѣсь онъ пробылъ два года и былъ переведенъ въ Александровскій лицей. Московскій дворянскій институтъ имѣлъ право каждые полтора года отправлять въ лицей на казенный счетъ двухъ своихъ лучшихъ учениковъ и въ 1838 году Щедринъ попалъ въ число ихъ.

Какъ и сейчасъ, лицей дѣлился на младшіе классы, съ программой среднеучебнаго заведенія, и старшіе классы съ курсомъ, приближающимся къ университетскому. Программа старшихъ классовъ состояла, главнымъ образомъ, изъ юридическихъ и гуманитарныхъ наукъ, въ основѣ которыхъ предполагалось изученіе литературы въ лицѣ ея лучшихъ представителей. Большое вниманіе обращалось на изученіе новыхъ языковъ.

Щедринъ поступилъ въ лицей спустя годъ послѣ смерти Пушкина и естественно, что лицей еще былъ полонъ литературныхъ традицій и, вѣроятно, не у одного лицеиста подъ форменной курткой учащенно билось сердце при мысли, что и онъ, быть-можетъ, станетъ собратомъ по перу своего знаменитаго лицейскаго товарища.

Во всякомъ случаѣ Щедринъ уже съ перваго класса почувствовалъ „требованіе Аполлона къ священной жертвѣ", каковую и сталъ приносить въ формѣ стихотвореній. Извѣстно, что въ древности Аполлонъ очень почитался въ гимназіяхъ и палестрахъ, такъ какъ былъ, между прочимъ, богомъ-покровителемъ юношей. Во времена Щедрина лицейское начальство и гувернеры видимо перемѣнили взглядъ на этого бога и его протежэ, потому что дѣятельно преслѣдовали лицеистовъ-стихотворцевъ и занимавшихся вообще литературой. Въ числѣ гонимыхъ и пострадавшихъ поклонниковъ знаменитаго сына Зевса и Леты, былъ и Щедринъ. Тщетно юный, непризнанный еще поэтъ пряталъ свои первыя творенія въ рукава куртки и даже въ болѣе интимныя помѣщенія какъ, напримѣръ, сапоги; лицейское начальство, а въ особенности учитель русскаго языка Гроздовъ, находили ихъ. Умудренные долгимъ опытомъ и неукротимымъ рвеніемъ въ дѣлѣ службы, наставники лицея позорно извлекали на свѣтъ Божій вдохновенныя строфы Миши и карали неукоснительно ихъ творца. Это было почти единственною причиной, по которой Щедринъ никогда, съ перваго класса и до окончанія лицея, не имѣлъ за поведеніе больше 9 балловъ, а иногда баллы падали до цифры, приводившей въ ужасъ лицейскихъ наставниковъ и не сулившей, по ихъ мнѣнію, хорошаго будущаго этому несчастному юношѣ. Впрочемъ, надо отдать должное воспитателямъ Щедрина: помимо писанія стиховъ, болѣе или менѣе сомнительнаго литературнаго достоинства, юный поэтъ позволялъ себѣ и „грубости", т.-е. онъ иногда,

вопреки строгимъ лицейскимъ правиламъ о благопристойности, разстегивалъ пуговицы на курткѣ или мундирѣ, носилъ треуголку „съ поля", а не по формѣ и продѣлывалъ, въ этомъ родѣ, другія школьныя преступленія. Претерпѣвая всяческія гоненія отъ лицейскаго начальства за желаніе замѣнить для родной литературы тогда еще недавно убитаго поэта, Щедринъ не бросалъ запретнаго занятія. Наконецъ, мечты его, казалось, понемногу стали осуществляться: въ „Библіотекѣ для чтенія" въ 1841 г., за подписью *С—въ*, появилось стихотвореніе „Лира" и тамъ же, въ 1842 г., пьеса „Двѣ жизни", за подписью *С.* Вы угадываете, что за этими скромными иниціалами скрылся юный лицеистъ-поэтъ, гонимый своими классными наставниками. Нѣтъ нужды, что „Библіотека для чтенія" редактировалась въ это время пресловутымъ проф. Сенковскимъ („баронъ Брамбеусъ"), надъ которымъ такъ рѣзко подшутилъ Гоголь, охарактеризовавъ первые два года существованія этого журнала, т.-е. 1834 и 35 годы. Самъ „баронъ", не имѣя фантазіи, тѣмъ не менѣе фантазировалъ въ своемъ журналѣ на всѣ лады, во всѣхъ отдѣлахъ, подъ всѣми псевдонимами. Онъ писалъ и беллетристику, и научныя, и критическія статьи, и стихи, и рецензіи; онъ же былъ въ своемъ журналѣ и переводчикъ иностранной литературы. Въ моментъ вступленія нашего лицеиста въ число несуществовавшихъ сотрудниковъ „Библіот. для чтенія" журналъ окончательно упалъ, чему много способствовало его враждебное отношеніе къ Гоголю и другимъ писателямъ новой „натуральной школы".

Въ 1844 и 45 году, мы уже видимъ стихи Щедрина въ „Современникѣ". Правда, это былъ „Современникъ" временъ Плетнева, а не Некрасова, т.-е. журналъ, влачившій жалкое литературное существованіе, то тѣмъ не менѣе самый фактъ напечатанія стиховъ Щедрина свидѣтельствуетъ о его твердой рѣшимости, въ это время, наперекоръ своимъ лицейскимъ критикамъ и гонителямъ, сдѣлать литературную карьеру.

При всемъ уваженіи къ послѣдующей литературной дѣятельности Михаила Евграфовича, вообще нельзя сказать многое въ похвалу его стихотворнымъ произведеніямъ. Впрочемъ, онъ и самъ впослѣдствіи былъ вполнѣ согласенъ съ критическомъ отношеніемъ къ его раннимъ и неудачнымъ попыткамъ стать поэтомъ. Взглядъ его на это прошлое

настолько былъ радикально противоположенъ лицейскимъ мечтаніямъ, что онъ даже не любилъ говорить о той порѣ, когда онъ сгоралъ жаждой стать жрецомъ Аполлона.

„Еще въ стѣнахъ лицея,—говоритъ г. Скабичевскій,—Салтыковъ оставилъ свои мечты сдѣлаться вторымъ Пушкинымъ. Впослѣдствіи онъ даже не любилъ, когда кто-либо напоминалъ ему о стихотворныхъ грѣхахъ его молодости, краснѣя, хмурясь при этомъ случаѣ и стараясь всячески замять разговоръ. Однажды онъ высказалъ даже о поэтахъ парадоксъ, что всѣ они, по его мнѣнію, сумасшедшіе люди“.—Помилуйте,—объяснялъ онъ,—развѣ это не сумасшествіе, по цѣлымъ часамъ ломать голову, чтобы живую, естественную человѣческую рѣчь втискивать во что бы то ни стало въ размѣренныя риѳмованныя строчки! Это все равно, что кто-нибудь вздумалъ бы вдругъ ходить не иначе, какъ по разостланной веревочкѣ, да непремѣнно еще на каждомъ шагу присѣдая“.—Конечно, — добавляетъ г. Скабичевскій,—это была не больше какъ одна изъ сатирическихъ гиперболъ великаго юмориста, потому что, на самомъ дѣлѣ, онъ былъ тонкій знатокъ и цѣнитель хорошихъ стиховъ, и Некрасовъ постоянно ему одному изъ первыхъ читалъ свои новыя стихотворенія“.

Въ лицеѣ Салтыковъ много читалъ и сильно интересовался литературой. Этому отчасти способствовало то обстоятельство, что въ началѣ сороковыхъ годовъ онъ попалъ въ домъ М. Я. Языкова, гдѣ и могъ встрѣчать литераторовъ и на ихъ примѣрѣ научиться любить литературу и литературную пропаганду.

Все это, однако, мѣшало Щедрину, какъ и предвидѣло, впрочемъ, его лицейское начальство, быть аккуратнымъ школьникомъ. Ни „поведеніе“, ни „предметы“ будущаго сатирика не веселили сердца учителей и наставниковъ. Все это окончилось тѣмъ, что Салтыковъ вышелъ изъ лицея, какъ и Пушкинъ, не по первому разряду. Вмѣстѣ съ аттестатомъ объ окончаніи лицеисты получали, смотря по успѣхамъ въ наукахъ и „поведеніи“, тотъ или другой чинъ. Рачительные ученики, наиболѣе удовлетворявшіе требованіямъ своихъ учителей и наставниковъ, выпускались по первому разряду, съ чиномъ IX класса, вслѣдъ за ними слѣдовали молодые люди, не вполнѣ оправдавшіе довѣріе и надежды лицейскаго начальства. Таковые выпускались по второму разряду, съ чиномъ X класса, и, наконецъ, съ чиномъ XII

класса выпускались вполнѣ безнадежные. Щедринъ попалъ во второй разрядъ, съ чиномъ коллежскаго секретаря.

Видимо, юный коллежскій секретарь безъ особаго огорченія бросилъ стѣны лицея и разстался со своими наставниками, и если они оцѣнили свои отношенія къ Салтыкову награжденіемъ его дипломомъ второго разряда, то великій писатель отплатилъ имъ впослѣдствіи нелестною оцѣнкой времени, проведеннаго въ стѣнахъ лицея. „Помню я школу,— писалъ онъ черезъ 10 лѣтъ послѣ выпуска изъ лицея,—но какъ-то угрюмо и непривѣтливо воскресаетъ она въ моемъ воображеніи...“

Вышелъ Щедринъ изъ лицея въ самый разгаръ борьбы западниковъ и славянофиловъ, угасшей лишь въ 70-хъ годахъ.

Оптимистическіе взгляды нашей литературы 20-хъ годовъ, во главѣ которой стоялъ Пушкинъ, разлетѣлись послѣ 14-го декабря 1825 г. Русская дѣйствительность принесла рядъ горькихъ разочарованій идеалистамъ 20-хъ годовъ, думавшимъ продолжать дѣло Петра Великаго, ратуя за свободу и просвѣщеніе. Крушеніе ихъ стремленій, вмѣстѣ съ ушедшими въ каторгу декабристами, показало, что общество и народъ не на ихъ сторонѣ. Это еще опредѣленнѣе подчеркнули прекращеніе нѣкоторыхъ журналовъ („Европеецъ“, „Литературная Газета“, „Московскій Телеграфъ“, „Телескопъ“, „Молва“) и опала многихъ писателей (кромѣ декабристовъ: Рылѣева, Бестужева, А. Одоевскаго, Кюхельбекера, Н. Тургенева и др., Полевого, Надеждина, Чаадаева, И. Кирѣевскаго и др.). Обсужденіе вопросовъ общественной жизни стало невозможнымъ, и идеалисты 20-хъ годовъ должны были присутствовать при полномъ разрушеніи ихъ надеждъ, желаній и плановъ. Они выступили, какъ пушкинскій „свободы сѣятель пустынный до зари“. Общество находилось въ томъ состояніи, о которомъ Чаадаевъ писалъ: „Мы нынче такъ довольны всѣмъ своимъ роднымъ, такъ радуемся своимъ прошедшимъ, такъ потѣшаемся своимъ настоящимъ, такъ величаемся своимъ будущимъ, что чувство всеобщаго самодовольства невольно переносится и къ нашимъ собственнымъ лицамъ“. Лермонтовская поэзія явилась яркимъ сомнѣніемъ въ возможности достиженія этихъ идеаловъ съ такимъ отсталымъ обществомъ, а попутно усомнилась и въ цѣнности самихъ идеаловъ и человѣческой природы. Противовѣсомъ этимъ пессимистическимъ, безотраднымъ взглядамъ на

положеніе вещей явились произведенія Гоголя, въ которыхъ онъ подвергаетъ критикѣ историческую дѣйствительность русской среды и указываетъ на прискорбное равнодушіе со стороны русскаго общества къ идеаламъ и къ идеалистамъ, потерпѣвшимъ такое полное крушеніе. Гоголевскій смѣхъ вызвалъ реакцію во взглядахъ въ передовой части общества. Отсюда выросло творчество новыхъ идей и новыхъ идеаловъ. Эпоха сомнѣній и критики смѣнилась эпохой возрожденія новой творческой волны и новой вѣры. Пушкинская эпоха вѣрила, идеализируя дѣйствительность; новая эпоха вѣрила, но уже не съ завязанными глазами и не съ утопическими мечтаніями. Просвѣтительные идеалы Петра для однихъ (западники) не были дискредитированы, но русская дѣйствительность, равнодушно отвернувшаяся отъ безкорыстныхъ защитниковъ и бойцовъ за свободу этого же самаго общества, теперь представлялась иною. По мнѣнію другихъ, Россія, благодаря Петру, вступила на невѣрный, гибельный для государственнаго организма путь. Привезенные изъ Амстердама порядки, по мнѣнію этихъ послѣднихъ, были вовсе не ко двору для насъ, какъ имѣющихъ особую стать, особливую народную душу и своеобразную культуру, стоящую выше заморской, привозной. По мнѣнію первыхъ, наше общество плохо, инертно не потому, что его природное, провиденціальное назначеніе вѣчно „просить рабства да цѣпей“, а потому, что оно „живетъ въ XIX вѣкѣ еще по календарю XIV вѣка“. Надо сдвинуть общими усиліями всѣхъ, кому дорого будущее родины, эти некультурныя массы, надо заставить ихъ жить сознательною, человѣческою жизнью, надо подготовить ихъ къ той великой роли, которую долженъ сыграть этотъ великій народъ. Неправда,—говорятъ другіе,—современное русское общество плохо не потому, что живетъ по календарю XIV в., а потому что живетъ по *чужому* календарю. Бюрократическій строй пришелъ вмѣстѣ съ ложными реформами Петра. Словомъ, одни утверждали, что за границей хорошо, а другіе настаивали, что дома не въ примѣръ лучше, понимая подъ этимъ допетровскую Русь.

Что же было причиной возникновенія этихъ двухъ крайнихъ теорій? Русская интеллигенція этой эпохи, насильственно оторванная отъ непосредственнаго участія въ живомъ общественномъ дѣлѣ, стала теоретичною. Если живымъ умственнымъ силамъ загороженъ путь къ возможности прило-

женія ихъ къ практическому дѣлу, онѣ трансформируются. Нельзя участвовать въ окружающей дѣйствительности, но силы тѣмъ не менѣе требуютъ выхода, израсходованія, и тотчасъ же создается искусственный міръ. „У людей, въ которыхъ было пробуждено живое общественное чувство, такой складъ жизни", при которой все окружено бюрократическою опекой, „создаетъ, обыкновенно, наклонность къ крайнему идеализму; общественнымъ стремленіямъ нѣтъ мѣста въ настоящемъ, оно ихъ гнететъ и отталкиваетъ, и мысль бросается въ идеалистическую область, въ прошедшее или въ будущее; такъ возникло стремленіе въ теоретически подкрашенную и опоэтизированную старину (у славянофиловъ), идеализированіе народа и его „идей", отъ котораго ждется въ будущемъ соціальное исцѣленіе" [1]). Такъ превосходно въ нѣсколькихъ строкахъ русскій ученый объясняетъ возникновеніе у насъ славянофильскаго теченія. Въ противовѣсъ славянофильству другая группа ищетъ въ заморскихъ краяхъ того, чего она не находитъ дома, и отсюда желаніе пересадить на родную почву болѣе совершенныя формы общественной жизни Запада. Какъ то, такъ и другое явленіе теоретично. Но это и быть иначе не можетъ. Однако, этимъ двумъ теченіямъ русское общество обязано многимъ. Какъ практически осуществить эти культурныя задачи?

По этому вопросу „программы и тактики" мнѣнія, конечно, разошлись. Западники говорили, что единственный путь,—это путь усвоенія цивилизованнаго быта Запада, другіе же, славянофилы находили причину зла въ усвоеніи этихъ формъ западной культуры и требовали возвращенія къ исконнымъ началамъ русской національной жизни, отреченія отъ „гнилого Запада" и возврата „къ себѣ домой". Исконная національная русская жизнь имѣетъ, по ихъ мнѣнію, всѣ тѣ животворящія начала, которыя необходимы для національнаго прогресса, для движенія впередъ русскаго общества, для соціальнаго и нравственнаго возрожденія. Это чисто-національное развитіе должно итти подъ сѣнью православной церкви. Достигнуто это будетъ тогда, — говоритъ Кирѣевскій,—когда русское, интеллигентное общество пойметъ великое преимущество православной образованности, „въ глубинѣ особеннаго, недоступнаго для западныхъ понятій цѣль-

[1]) *А. Пыпинъ.* Изслѣдованіе русской народности.

наго умозрѣнія Св. Отцовъ церкви найдетъ самые полные отвѣты именно на тѣ вопросы ума и сердца, которые всего болѣе тревожатъ душу, обманутую послѣдними результатами западнаго самосознанія".

Таковы были два главенствующихъ теченія въ умственной жизни того общества, въ которое Щедринъ вступилъ по выходѣ изъ лицея. На чьей сторонѣ будутъ симпатіи юнаго гражданина?

Щедринъ всей душой примкнулъ къ одной изъ враждующихъ сторонъ, т.-е. къ „западникамъ".

При звукѣ „культура", „прогрессъ", „западъ" въ представленіи русскаго человѣка, того времени и извѣстнаго склада убѣжденій, рисовался образъ Франціи, какъ носительницы передовыхъ идей, какъ единственной въ Европѣ лабораторіи освободительныхъ началъ. Нечуждъ былъ и молодой Щедринъ, какъ поборникъ западническихъ идей, этимъ увлеченіямъ.

„Съ представленіемъ о Франціи и Парижѣ,—читаемъ мы въ одномъ изъ очерковъ Салтыкова,—для меня неразрывно связывается воспоминаніе о моемъ юношествѣ, то-есть о сороковыхъ годахъ. Да и не только для меня лично, но и для всѣхъ насъ, сверстниковъ, въ этихъ двухъ словахъ заключалось нѣчто лучезарное, свѣтоносное, что согрѣвало нашу жизнь и въ извѣстномъ смыслѣ даже опредѣляло ея содержаніе. Какъ извѣстно, въ сороковыхъ годахъ русская литература (а за нею, конечно, и молодая читающая публика) подѣлилась на два лагеря: западниковъ и славянофиловъ. Былъ еще третій лагерь, въ которомъ копошились Булгарины, Бранты, Кукольники и т. п., но этотъ лагерь уже не имѣлъ ни малѣйшаго вліянія на подрастающее поколѣніе, и мы знали его лишь настолько, насколько онъ являлъ себя прикосновеннымъ къ вѣдомству управы благочинія. Я въ то время только-что оставилъ школьную скамью и, воспитанный па статьяхъ Бѣлинскаго, естественно, примкнулъ къ западникамъ, но не къ большинству западниковъ (единственно авторитетному тогда въ литературѣ), которое занималось популяризированіемъ положеній нѣмецкой философіи, а къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. Разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Фурье, Луи-Блана и, въ особенности, Жоржъ-Зандъ. Оттуда лилась на насъ вѣра въ чело-

вѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ находится не позади, а впереди насъ... Словомъ сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное шло оттуда. Въ Россіи — впрочемъ, не только въ Россіи, сколько, спеціально, въ Петербургѣ—мы существовали лишь фактически, или, какъ въ то время говорилось, имѣли *образъ жизни*. Ходили на службу въ соотвѣтствующія канцеляріи, писали письма родителямъ, питались въ ресторанахъ, а чаще всего въ кухмистерскихъ, собирались другъ у друга для собесѣдованій и т. д. Но духовно мы жили во Франціи. Россія представляла собой область, какъ бы застланную туманомъ, въ которой даже такое дѣло, какъ опубликованіе „Собранія русскихъ пословицъ", являлось прихотливымъ и предосудительнымъ; напротивъ того, во Франціи все было ясно, какъ день, несмотря на то, что газеты доходили до насъ съ вырѣзками и помарками. Такъ-что, когда министръ внутреннихъ дѣлъ Перовскій началъ издавать таксы на хлѣбъ и мясо, то и это заинтересовало насъ только въ качествѣ анекдота, о которомъ слѣдуетъ говорить съ осмотрительностью. Напротивъ, всякій эпизодъ изъ общественно-политической жизни Франціи затрогивалъ насъ за живое, заставлялъ и радоваться и страдать. Въ Россіи все казалось конченымъ, запакованымъ и за пятью печатями сданнымъ на почту для выдачи адресату, котораго заранѣе предположено не разыскивать; во Франціи—все какъ-будто только-что начиналось. И не только теперь, въ эту минуту, а болѣе полустолѣтія сряду все начиналось, и опять и опять начиналось и не заявляло ни малѣйшаго желанія закончиться... Въ особенности, симпатіи къ Франціи обострились около 1848 года. Мы съ неподдѣльнымъ волненіемъ слѣдили за перипетіями драмы послѣднихъ двухъ лѣтъ царствованія Луи-Филиппа и съ упоеніемъ зачитывались „исторіей десятилѣтія" Луи-Блана. Луи Филиппъ и Гизо, и Дюшатель, и Тьеръ, все это были какъ бы личные враги (право, даже болѣе опасные, чѣмъ Л. В. Дубельтъ *), успѣхъ которыхъ огорчалъ, неуспѣхъ радовалъ. Процессъ министра Теста, агитація въ пользу избирательной реформы, высокомѣрныя рѣчи Гизо

*) Дубельтъ — начальникъ штаба корпуса жандармовъ; въ свое время былъ предметомъ ужаса и ненависти, вызванныхъ его дѣятельностью.

Примѣч. Н. Д.

по этому поводу, февральскіе банкеты — все это и теперь такъ живо встаетъ въ моей памяти, какъ-будто происходило вчера...“

II.

23 августа 1844 г. Салтыковъ былъ зачисленъ въ канцелярію военнаго министра, а черезъ четыре года, въ 1848 г., въ „веселомъ мѣсяцѣ маѣ“, нашъ писатель, не по собственному, конечно, влеченію, летѣлъ на перекладныхъ въ ту страну, въ которую „Макаръ не гонялъ никогда телятъ“, т.-е. въ Вятку. Причиною было все то же пристрастіе къ литературѣ, доставившее уже нашему сатирику такъ много огорченій въ лицеѣ.

Дѣло было, какъ и всегда въ такихъ случаяхъ, очень просто.

Въ 1847 г. въ „Отечественн. Записк.“ была напечатана повѣсть Салтыкова „Противорѣчія“, подъ псевдонимомъ М. Непановъ, а въ 1848 г. — тамъ же повѣсть „Запутанное дѣло“. Оба эти художественныя произведенія ничего не носили въ себѣ преступнаго съ точки зрѣнія и самого автора и пропустившаго ихъ цензора. Несмотря, однако, на невинность этихъ разсказовъ, съ точки зрѣнія цензурнаго устава, обстоятельства времени были таковы, что Щедрину за влеченія къ литературнымъ занятіямъ пришлось познакомиться съ отдаленнымъ, суровымъ краемъ.

Созданный въ Парижѣ, 26 сентября 1815 г., Священный союзъ между монархами Европы, съ цѣлью „распространенія религіозно-нравственныхъ началъ христіанства и противодѣйствія революціоннымъ стремленіямъ“, ко времени сороковыхъ годовъ уже въ достаточной степени показалъ свою истинную природу. Народы стали волноваться. Свобода и истинные національные интересы были грубо попраны абсолютизмомъ и монархіей. Демократія цивилизованныхъ государствъ Европы начала борьбу за эти два принципа. Повсюду угнетенные и раздробленные бюрократіей народности стали подыматься, соединяться во имя независимости и политическаго единства. Равенство передъ закономъ, свобода печати, совѣсти, парламентскія гарантіи—вотъ о чемъ начали говорить въ Вѣнѣ, Прагѣ, Будапештѣ, Парижѣ, Римѣ,

Берлинѣ, Франкфуртѣ, Швейцаріи и т. д. Революціонныя волненія охватили Европу. Политика французскаго правительства подвергалась самой строгой критикѣ и грозила серіозной опасностью Луи-Филиппу. Въ это время главою французскаго кабинета министровъ былъ извѣстный политическій дѣятель и историкъ Гизо. Онъ проводилъ личные взгляды Луи-Филиппа и этимъ дискредитировалъ монархическую власть и способствовалъ ея паденію. Черезчуръ уступчивый по отношенію къ королю, онъ держалъ себя вызывающе и пренебрежительно къ народнымъ представителямъ. Въ рѣчи, произнесенной Луи-Филиппомъ 22 декабря, при открытіи палаты депутатовъ, онъ заявилъ о своемъ намѣреніи рѣшительно противиться народнымъ увлеченіямъ. 8-го февраля 1848 г., министръ внутренн. дѣлъ Дюшатель, подтверждая слова короля, сказалъ: „Если думаютъ, что правительство, исполняя свой долгъ, уступитъ передъ манифестаціями, каковы бы онѣ ни были, то въ этомъ жестоко ошибаются; оно не сдѣлаетъ никакихъ уступокъ...“ Ровно черезъ 16 дней послѣ этого смѣлаго заявленія вспыхнула революція, Луи-Филиппъ палъ и была объявлена республика. Февральская революція во Франціи была сигналомъ для Европы. Она вызвала могучій откликъ во всѣхъ государствахъ, связанныхъ принципами Священнаго союза. Среди петербургскаго интеллигентнаго столичнаго общества эта вѣсть была принята съ платоническимъ восторгомъ. „Я былъ, утромъ на масленой, въ итальянской оперѣ, — повѣствуетъ Щедринъ объ этомъ времени въ своемъ произведеніи „За рубежомъ“, — какъ-вдругъ, словно электрическая искра, всю публику пронизала вѣсть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, но жуткое чувство внезапно овладѣло всѣми. Именно всѣми, потому что хотя тутъ было множество людей самыхъ противоположныхъ воззрѣній, но, навѣрно, не было такихъ, которые отнеслись бы къ событію съ тѣмъ жвачнымъ равнодушіемъ, которое впослѣдствіи сдѣлалось какъ бы нормальною окраской русской интеллигенціи. Молодежь едва сдерживала безкорыстные восторги. Помнится, къ концу спектакля пало уже и министерство Тьера (тогда подобнаго рода извѣстія доходили до публики какъ-то неправильно и по секрету). Затѣмъ, въ теченіе какихъ-нибудь двухъ-трехъ дней, пало регентство, оказалось несостоятельнымъ эфемерное министерство Одилона Баро и, въ заключеніе, бѣжалъ самъ Луи-

Филиппъ. Провозглашена была республика, съ временнымъ правительствомъ во главѣ; полились рѣчи, какъ изъ рога изобилія... Громадность событія на все набрасывала покровъ волшебства. Франція казалась страной чудесъ. Можно ли было, имѣя въ груди молодое сердце, не плѣняться этою неистощимостью жизненнаго творчества, которое, вдобавокъ, отнюдь не соглашалось сосредоточиться въ опредѣленныхъ границахъ, а рвалось захватить все дальше и дальше. И точно, мы не только плѣнялись, но даже не особенно искусно скрывали свои восторги отъ глазъ бодрствующаго начальства". Хотя революціонное движеніе не коснулось Россіи, но русское правительство не могло остаться спокойнымъ въ такой историческій моментъ. Пошли строгости, отъ которыхъ, какъ и всегда, больше всего досталось печати. Въ числѣ литературныхъ произведеній „вреднаго направленія" оказалась и повѣсть Щедрина „Запутанное дѣло". Самъ Салтыковъ распутываетъ его слѣдующимъ образомъ:

„Вслѣдъ за возникновеніемъ движенія во Франціи, произошло соотвѣтствующее движеніе и у насъ: учрежденъ былъ негласный комитетъ для разсмотрѣнія злокозненностей русской литературы.

„Негласный комитетъ для разсмотрѣнія „злокозненностей русской литературы" былъ тотъ самый Бутурлинскій комитетъ, которому было поручено разсматривать не только вновь выходящія книги и журнальныя статьи, но и всѣ прошлыя повинности цензуры. Изъ этого разсмотрѣнія старыхъ грѣховъ не были изъяты и офиціальные органы печати.

„Въ мартѣ мѣсяцѣ я написалъ повѣсть („Запутанное дѣло"), а въ маѣ ужъ былъ зачисленъ въ штатъ вятскаго губернскаго правленія. Все это, конечно, сдѣлалось не такъ быстро, какъ во Франціи, но зато основательно и прочно, потому что я вновь возвратился въ Петербургъ лишь черезъ семь съ половиною лѣтъ, когда не только французская республика стала достояніемъ исторіи, но и у насъ мундирные фраки были замѣнены мундирными полукафтанами". Самое же дѣло разслѣдованія крамольныхъ замысловъ Щедрина и наложеніе за оные наказанія происходило такъ: „Надо было случиться, говоритъ г. Скабичевскій, чтобы однимъ изъ первыхъ распоряженій комитета было строгое замѣчаніе военному министру за цензурныя неисправности въ „Русск. Инвалидѣ". Это обстоятельство вооружило гр. Чернышева

противъ литераторовъ, и, какъ нарочно, въ то время какъ гр. Чернышевъ находился еще подъ впечатлѣніемъ полученнаго имъ замѣчанія, явился къ нему Салтыковъ, какъ подчиненный, проситься въ отпускъ..." Упустивши совсѣмъ изъ вида, что чиновникъ его занимается литературой, гр. Чернышевъ тутъ только вспомнилъ объ этомъ и спросилъ Салтыкова: „Вы, кажется, въ журналахъ пишете?" На утвердительный отвѣтъ гр. Чернышевъ потребовалъ, чтобы онъ представилъ ему свои сочиненія, а потомъ, молъ, „мы и посмотримъ, можно ли васъ отпустить..." Салтыковъ представилъ ему свои два разсказа, а тотъ поручилъ Н. Кукольнику *) написать о нихъ докладъ. Заклятый врагъ натуральной школы, Кукольникъ представилъ ему такой докладъ, что „гр. Чернышевъ только ужаснулся, что такой опасный человѣкъ служитъ въ его министерствѣ", и тотчасъ же препроводилъ докладъ въ Бутурлинскій комитетъ, а Салтыкова уволилъ изъ министерства.

Въ портфелѣ Щедрина была еще третья повѣсть, подъ названіемъ „Брусинъ", но послѣ такого начала было самое благоразумное дать ей вылежаться до болѣе счастливаго будущаго.

28-го апрѣля 1848 г. Салтыковъ долженъ былъ отправиться подъ 58° 37′ сѣв. широты, 49° 39′ вост. долг., на лѣвый берегъ судоходной рѣки Вятки, въ городъ того же имени.

Сначала опальный Салтыковъ былъ зачисленъ въ канцелярскіе чиновники при губернскомъ правленіи, т.-е. пониженъ по службѣ, такъ какъ въ Петербургѣ, въ министерствѣ, онъ состоялъ помощникомъ столоначальника, но уже съ осени того же года положеніе его улучшилось—онъ былъ назначенъ чиновникомъ особыхъ порученій при губернаторѣ, которымъ былъ тогда Середа.

„Когда я ѣхалъ въ Вятку,—вспоминаетъ Щедринъ въ своемъ очеркѣ „Скука",—то мнѣ казалось, что я долженъ на дѣлѣ принесть хоть частичку той пользы, которую каждый гражданинъ обязанъ положить на алтарь отечества.

*) Несторъ Кукольникъ служилъ въ это время въ военномъ министерствѣ и, какъ всегда, отличался особымъ видомъ патріотизма и ненавистью къ новой русской литературной школѣ, которая устами Бѣлинскаго назвала его „великія" произведенія (по мнѣнію Сенковскаго), средствомъ „могущимъ быть употребляемымъ, какъ лѣкарство отъ безсонницы и, въ этомъ случаѣ, съ большою пользой". *Примѣч. Н. Денисюка.*

Думалось мнѣ, что въ самой случайности, бросившей меня въ этотъ край, скрывается своего рода предопредѣленіе...“ Правда, онъ называетъ эти думы „юношескими тщетными мечтами“ и восклицаетъ при этомъ: „Что я сдѣлалъ, какіе подвиги совершилъ?..“

Свершать „подвиги“ вообще, какъ извѣстно, дѣло мудреное, а въ Россіи, въ 40-хъ годахъ, они, кромѣ того, могли быть свершаемы только лишь при условіи, что таковые подвиги будутъ установленнаго казеннаго образца.

Несмотря, однако, на недовольство своей ролью и дѣятельностью въ Вяткѣ, Салтыковъ работалъ тамъ, не покладая рукъ. Жажда неустаннаго, плодотворнаго труда, склонность и способность къ систематическому труду, то, что называется, „не покладая рукъ“, была отличительною чертой Салтыкова. Знавшіе покойнаго писателя говорятъ, что съ этой стороны онъ походилъ скорѣе на нѣмца, или американца, чѣмъ на русскаго человѣка, у котораго, по народной пословицѣ, лѣнь родилась прежде всего.

Середа оказался человѣкомъ честнымъ и справедливымъ; несмотря на опальное положеніе молодого человѣка, онъ оцѣнилъ его личныя достоинства и уже въ ноябрѣ, какъ было сказано, Салтыковъ былъ назначенъ чиновникомъ особыхъ порученій, а въ августѣ 1850 г. получилъ должность совѣтника вятскаго губернскаго правленія. За время пребыванія въ Вяткѣ Салтыковъ исполнялъ разныя служебныя порученія, занималъ разныя должности, вездѣ и всегда оставаясь умнымъ работникомъ, честнымъ человѣкомъ и примѣрнымъ гражданиномъ. Его жизнь въ этотъ періодъ, благодаря Середѣ, не превратилась въ „обязательную праздность“, какъ у Герцена, бывшаго въ той же Вяткѣ, сосланнаго туда въ тѣхъ же административно-воспитательныхъ видахъ начальства.

Судя по списку книгъ, которыя Щедринъ прочелъ за время пребыванія въ Вяткѣ, и по тѣмъ выдержкамъ, которыя онъ дѣлалъ изъ нихъ, мы видимъ, что провинціальная атмосфера не убила въ немъ желанія серіозно учиться и мыслить; что же касается общества, то, видимо, внѣшне къ нему относились хорошо, съ тѣмъ безразличнымъ гостепріимствомъ, которое существуетъ у насъ и до сихъ поръ.

„Его принимали,—говоритъ Скабичевскій,—всюду хорошо, въ немъ даже заискивали, но онъ, очевидно, бѣжалъ,

насколько было возможно, отъ общества Фейеровъ, Томилиныхъ, Ижбурдиныхъ и прочихъ героевъ его очерковъ, стараясь укрыться въ тиши кабинета отъ опасности погрязнуть въ провинціальной тинѣ, опуститься и опошлиться. Можно сказать, онъ весь жилъ въ прошломъ, непрестанно вспоминая безвременно погибшую молодость и друзей, съ которыми разлучила его ссылка. „Были у меня иныя времена,—читаемъ мы въ его „Скукѣ", —окружали меня иные люди, все иное! Были глубокія вѣрованія, горячія убѣжденія, была страсть къ добру!.. Гдѣ-то вы, друзья и товарищи моей молодости?.. Помню и долгіе зимніе вечера и наши скромныя, дружескія бесѣды, заходившія далеко за полночь. Какъ легко жилось въ то время, какая глубокая вѣра въ будущее, какое единодушіе надеждъ и мысли оживляло всѣхъ насъ!"

Очевидно, положеніе мыслящаго человѣка, склоннаго къ разумной общественной жизни, не было выгодно въ то время въ нашей провинціи. Внѣшнія условія были таковы, что вырывали жалобы и не у одного Щедрина. За десять лѣтъ до Щедрина, сосланный въ Вятку Герценъ пишетъ: „Что за пошлость провинціальная жизнь! Когда Богъ сжалится надъ этой толпой, которая столь же далека отъ человѣка, сколько отъ птицы. Истинно ужасно видѣть, какъ мелочи, вздоры, сплетни поглощаютъ всю жизнь и иногда существа, которыя при иныхъ обстоятельствахъ были бы людьми..."

Была семья въ Вяткѣ, въ которой, однако, Михаилъ Евграфовичъ чувствовалъ себя хорошо: это семья вице-губернатора Болтина. Тамъ онъ былъ своимъ человѣкомъ, а впослѣдствіи и породнился, женившись на дочери Болтина Елизаветѣ Аполлоновнѣ.

III.

27-го августа 1855 г. Севастополь палъ, погребая подъ своими развалинами дореформенный строй. Предъ русскимъ обществомъ въ осязательныхъ формахъ предстали историческія прорѣхи отечества, и надъ поверхностью „все обстоитъ благополучно" всплыли общественныя язвы. Правда, почти для всѣхъ, финалъ драмы на Крымскомъ полуостровѣ не былъ неожиданностью. Когда пришла роковая вѣсть о взятіи Малахова кургана, одни равнодушно пожимали пле-

чами, другіе смотрѣли насмѣшливо: „Point de politique, je vous prie“. Однако, это событіе непререкаемо показало, что на Малаховомъ курганѣ погибъ дореформенный строй. Это было для всѣхъ такъ ясно, что никого не удивилъ рѣзкій тонъ, какимъ даже военное начальство стало говорить о необходимости коренныхъ реформъ во всѣхъ областяхъ государственной жизни. Мемуаръ курляндскаго губернатора Валуева, предлагавшаго уничтожить крѣпостное право, винный откупъ и т. д., ходилъ по рукамъ въ тысячахъ экземплярахъ; Кошелевъ предлагалъ Государю созвать собраніе нотаблей и т. д.

„Это было время глубокой тревоги,—пишетъ Щедринъ.— Въ первый разъ изъ кромѣшной тьмы выдвинулось на свѣтъ Божій „свое“ и вспугнуло не только инстинкты, но и умы. До тѣхъ поръ это „свое“ пряталось за цѣлою сѣтью всевозможныхъ формальностей, которыя преднамѣренно были комбинированы съ такимъ расчетомъ, чтобъ спрятать заправскую дѣйствительность. Теперь вся эта масса формальностей какъ-то разомъ оказалась прогнившею и истлѣла у всѣхъ на глазахъ. Изъ-за прорѣхъ и отребьевъ тлѣнія выступило наружу „свое“, вопіющее, истекающее кровью...“

Насталъ одинъ изъ тѣхъ моментовъ въ исторіи Россіи, когда для всѣхъ становится ясно, что существующій общественный и государственный строй представляетъ собою весьма шаткую опору для правопорядка и не даетъ странѣ увѣренности въ наличности того величія и мощи государства, о которой такъ много говорили и писали представители и сторонники существовавшаго государственнаго строя. На Крымскомъ полуостровѣ разыгралась драма, показавшая съ ужасающей наглядностью, что внутри Россіи всѣ устои государственнаго и общественнаго строя сгнили, зданіе само готово рухнуть, и общество встрепенулось отъ индиферентизма, спячки и дрязгъ. Все сплотилось, всѣ партіи заговорили въ одинъ голосъ. Славянофилъ и западникъ стали объясняться на одномъ языкѣ; они вдругъ, подъ давленіемъ событій, запѣли въ унисонъ. Напримѣръ, Ю. Ѳ. Самаринъ разсказываетъ одинъ эпизодъ объ извѣстномъ славянофилѣ Хомяковѣ, нелишенный и для насъ интереса: „Во время осады Севастополя, въ самую мучительную пору для нашего самолюбія отрезвленія, когда очарованія одно за другимъ спадали съ нашихъ глазъ, и передъ нами высту-

пали все безобразіе и вся нищета нашей дѣйствительности, на одномъ вечерѣ въ пріятельскомъ кругу Хомяковъ былъ какъ-то особенно веселъ и безпеченъ и на недоумѣніе одного изъ друзей, какъ можетъ онъ смѣяться въ такое время, отвѣчалъ: „Я плакалъ про себя тридцать лѣтъ, пока вокругъ меня все смѣялось. Поймите же, что мнѣ позволительно радоваться при видѣ всеобщихъ слезъ къ спасенію". Съ Хомяковымъ соглашалась тогда вся мыслящая Россія. Лучше отрезвляющій позоръ пораженія, чѣмъ такая дѣйствительность. Поражена была не Россія и даже не русская армія, пораженъ былъ бюрократическій и крѣпостническій строй государства. Столпъ „Русск. Вѣстн." и панегиристъ Каткова, Любимовъ, пишетъ: „Обложеніе Севастополя не слишкомъ насъ огорчало, такъ какъ мы были убѣждены, что даже пораженіе Россіи сноснѣе и даже для нея полезнѣе того положенія, въ которомъ она находилась въ послѣднее время". Въ аксаковской „Руси" о томъ времени напечатано: „Современное состояніе Россіи представляетъ внутренній разладъ, прикрываемый безсовѣстною ложью... При потерѣ взаимной искренности и довѣрія все обняла ложь, вездѣ обманъ..."

Въ 1855 г. на престолъ вступилъ Александръ II, и тотчасъ же рѣшено было заключить миръ, такъ какъ вести дальше войну Россіи съ ея технической отсталостью, плохими полководцами, плохо организованною арміей, хотя и отличающеюся личною храбростью, съ ея доходомъ, не достигавшимъ и 1 милліарда руб., тогда какъ доходъ противниковъ превышалъ 3 милліарда, съ обществомъ, относившимся безразлично къ перипетіямъ войны, явившейся, исключительно, дѣломъ правительства, было невозможно. Былъ заключенъ миръ, и начались преобразовательныя реформы славнаго царствованія. Наступила эпоха обновленія и подъема народныхъ силъ. И на судьбѣ Салтыкова отразился этотъ періодъ: онъ былъ освобожденъ въ ноябрѣ 1855 г. съ правомъ въѣзда въ столицы и 12 февраля 1856 г. причисленъ къ министерству внутреннихъ дѣлъ. Вятка сдѣлала свое дѣло помимо желанія Салтыкова: она дала ему тотъ жизненный опытъ, тотъ „диковинный матеріалъ", который выльется въ форму „Губернскихъ очерковъ" и превратитъ Салтыкова въ Щедрина. Теперь административный искусъ конченъ, и Салтыковъ мчится въ тотъ городъ, который, по выраженію Гер

цена, „не имѣетъ исторіи, городъ настоящаго, городъ, который одинъ живетъ и дѣйствуетъ въ уровень современнымъ и своеземнымъ потребностямъ на огромной части планеты, называемой Россія". Какъ ни ненавидѣлъ Щедринъ провинцію, однако, восьмилѣтнее пребываніе, восьмилѣтняя, какая ни на есть, дѣятельность не могли пройти безслѣдно и исчезнуть изъ сердца и памяти.

Такъ, въ очеркѣ его „Дорога", завершающемъ „Губернскіе очерки", мы читаемъ: „Я оставляю Крутогорскъ (т.-е. Вятку) окончательно; предо мною растворяются двери новой жизни, о которой я мечталъ, къ которой устремлялся всѣми силами души своей... И между тѣмъ внутри меня совершается странное явленіе! Я слышу, я чувствую, что какое-то неизъяснимое, тайное горе сосетъ мое сердце; я чувствую это и припадаю головой къ кибиткѣ, а слезы, невольныя слезы, такъ и льются изъ глазъ. Неизвѣстно почему, неизвѣстно откуда, въ ушахъ моихъ раздаются звуки анданте пасторальной симфоніи Бетховена... Я огорченъ, я подавленъ и уничтоженъ, я положительно не знаю, куда дѣваться отъ съѣдающей меня тоски... Всѣ темныя горести, всѣ утраченныя надежды, всѣ душевные недуги, все, что такъ болѣзненно назрѣвало въ моемъ сердцѣ, все это мгновенно встаетъ передо мною... Мнѣ кажется, что меня тяжело оскорбили, что внезапно погибло все, что я любилъ, чѣмъ былъ счастливъ, что я неожиданно очутился одинъ, отторгнутый отъ всего живого... Ужели я въ Крутогорскѣ оставилъ часть самого себя?—спрашиваю я себя мысленно. Но текущія по щекамъ слезы, но вырывающіеся изъ груди вздохи краснорѣчивѣе словъ отвѣчаютъ на этотъ вопросъ. Да не могъ же я жить даромъ столько лѣтъ, не могъ же не оставить послѣ себя никакого слѣда! Потому что и безсознательная былинка, и та не живетъ даромъ, и та своею жизнью, хоть незамѣтно, но непремѣнно воздѣйствуетъ на окружающую природу... ужели я ниже, ничтожнѣе этой былинки?

„Или, быть-можетъ, въ слезахъ этихъ высказывается сожалѣніе о напрасно пережитыхъ лучшихъ годахъ моей жизни? Быть-можетъ, ржавчина привычки до того пронизала мое сердце, что я боюсь, я трушу перемѣны жизни, которая предстоитъ мнѣ? И въ самомъ дѣлѣ, что ждетъ меня впереди? Новыя борьбы, новыя хлопоты, новыя искательства! А

я такъ усталъ ужъ, такъ разбитъ жизнью, какъ разбита почтовая лошадь ежечасною ѣздой по каменистой, твердой дорогѣ!"

Таково было настроеніе 30-тилѣтняго Салтыкова. Будущее покажетъ, что натура нашего сатирика не изъ тѣхъ, которыя легко поддаются обстоятельствамъ.

По пріѣздѣ въ Петербургъ, общій подъемъ, первая „весна" русской общественной жизни не могли не захватить Салтыкова. Наступило давножданное время, въ которое, по выраженію Лорисъ-Меликова, „никогда и, можетъ-быть, нигдѣ сила правительственной власти не выражалась блистательнѣе и торжественнѣе, и никогда составныя части русскаго общества не были одушевлены болѣе сознательною приверженностью къ лицу своего Монарха".

Духъ обновленія и свободы, проникнувъ во всѣ уголки русской жизни, отразился и на литературѣ. Печать молчанія снята была со многихъ устъ, и герценовскій „Колоколъ" ходилъ свободно по рукамъ небольшой кучки россіянъ, умѣвшихъ читать.

Въ это время выходитъ въ свѣтъ, въ журналѣ „Русскій Вѣстникъ", первый очеркъ изъ серіи „Губернскіе очерки". Этотъ моментъ и надо считать началомъ литературной дѣятельности Щедрина, той литературной дѣятельности, которая поставила его имя на ряду съ именами первоклассныхъ писателей земли русской.

О Щедринѣ послѣ появленія „Губернскихъ очерковъ" можно сказать то же, что говорилось объ извѣстномъ нѣмецкомъ писателѣ: что онъ легъ никому неизвѣстнымъ, а проснулся знаменитостью.

Первые же очерки обратили на себя всеобщее вниманіе и печати и читающей публики. Помимо своихъ литературныхъ достоинствъ, „Губернскіе очерки" сыграли еще и общественную роль.

Когда Бисмаркъ былъ посланникомъ въ Россіи въ 1859 г., онъ внимательно приглядывался къ нашему тогдашнему административному строю и впослѣдствіи говорилъ, что о русскомъ народѣ онъ можетъ сказать много хорошаго, но о русской бюрократической системѣ и о роли, которую играютъ въ Россіи чиновники, онъ долженъ выразиться крайне неодобрительно. Надо помнить, что „желѣзный канцлеръ" далекъ былъ отъ всяческаго политическаго воль-

терьянства и, напримѣръ, по поводу мартовскихъ дней, въ 1848 г., въ Берлинѣ, онъ рекомендовалъ снести съ лица земли большіе города, какъ очаги революціи.

То, что громко высказалъ знаменитый нѣмецъ изъ Помераніи о нашемъ строѣ, то думали про-себя въ Россіи всѣ, кто такъ или иначе соприкасался съ административною машиной нашего дореформеннаго отечества. Отсюда понятно, что „Губернскіе очерки“, такъ талантливо и правдиво раскрывающіе одну изъ самыхъ серіозныхъ язвъ Россіи, не могли не вызвать всеобщаго вниманія, восторга и одобренія. Взяточничество, казнокрадство, беззаконіе, административный произволъ, такъ долго терзавшіе русскій народъ, пригвождены къ позорному столбу этимъ выдающимся произведеніемъ...

Рядомъ съ типичными представителями дореформеннаго чиновничества Щедринъ въ „Губернскихъ очеркахъ“ даетъ и широкую картину провинціальной жизни, той жизни, о которой онъ съ такой горечью говоритъ: „О провинція! ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самостоятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, самую способность желать! Ибо можно ли назвать желаніями тѣ мелкія вожделѣнія, исключительно направленныя къ матеріальной сторонѣ жизни, къ доставленію крошечныхъ удобствъ, которыя имѣютъ то неоцѣненное достоинство, что устраняютъ всякій поводъ для тревогъ души и сердца? Какая возможность развиваться, когда горизонтъ мышленія такъ обидно суживается? Какая возможность мыслить, когда кругомъ нѣтъ ничего вызывающаго на мысль? Когда человѣкъ испытываетъ горькую нужду, когда, вмѣстѣ съ тѣмъ, все вокругъ него свидѣтельствуетъ о благахъ жизни, все призываетъ къ ней, тогда нѣтъ возможности не пробуждаться даже самой сонной натурѣ. Воображеніе работаетъ, самолюбіе страждетъ, зависть кипитъ въ сердцѣ, и вотъ совершаются тѣ великіе подвиги ума и воли человѣческой, которымъ такъ искренне дивится покорная генію толпа. Что нужды, что подготовительныя работы къ нимъ смочены слезами и кровавымъ потомъ; что нужды, что не одно, быть-можетъ, проклятіе сорвалось съ устъ труженика, что горьки были его исканія, горьки нужды, горьки обманутыя надежды: онъ жилъ въ это время, онъ ощущалъ себя человѣкомъ, хотя и страдалъ...

О вы, которые живете другою широкою жизнью, вы, которыхъ оставляютъ жить и которые оставляете жить другихъ—завидую вамъ! И если когда-нибудь вамъ придется горько, и вы усомнитесь въ вашемъ счастьѣ, вспомните, что есть иной міръ, міръ зловоній и болотныхъ испареній, міръ сплетенъ и жирныхъ кулебякъ—и горе вамъ, если вы тотчасъ не поспѣшите подписать удовольствіе вѣчному истцу вашей жизни—обществу!"

Выводя въ своихъ произведеніяхъ десятки отрицательныхъ типовъ и явленій нашей общественной жизни, Щедринъ не могъ не ополчить противъ себя тѣхъ, кто узналъ себя въ зеркалѣ его ѣдкой сатиры. Прикрываясь маской художественной правды, либо общественной нравственности, либо патріотизмомъ, эти люди, въ печати и обществѣ, дѣлали все, чтобы подорвать довѣріе читателя къ великому сатирику. Насколько ихъ старанія были успѣшны, показало время.

Однажды покойный А. П. Чеховъ въ бесѣдѣ съ кѣмъ-то сказалъ, что у насъ въ Россіи къ писателямъ „относятся крайне недоброжелательно и пристрастно". „Ругаютъ тебя, ругаютъ 24 года на всѣ корки, изо-дня-въ-день, а на 25-й подарятъ алюминіевое перо и наговорятъ комплиментовъ по случаю юбилея". Въ этихъ словахъ есть доля горькой правды. Извѣстная часть общества и печати ругала и Щедрина „на всѣ корки" на протяженіи всей его литературной дѣятельности. Начиная съ „Губернскихъ очерковъ", говорили, что произведенія Щедрина—пасквиль, и что въ нихъ писатель предвзято окрашивалъ все, что касалось русской дѣйствительности, въ отрицательные тона во что бы то ни стало. Надо ли и сейчасъ повторять, что это невѣрно?.. Надо ли говорить, что тѣ „литературные клоповники", въ которыхъ нашла себѣ пріютъ идея славянофильства, предварительно изуродованная и доведенная до нелѣпости, мракобѣсія и человѣконенавистничества, пустили ее въ ходъ какъ вѣрное средство реакціи? Надо ли объяснять, что походъ противъ Щедрина былъ предпринятъ этими „кликушами" только потому, что онъ прекрасно разгадалъ ихъ вожделѣнія и ихъ тактику?.. Съ перваго же своего произведенія Салтыковъ обнаруживаетъ свою способность разсматривать жизнь, какъ первоклассный художникъ, т.-е. со всѣхъ сторонъ, бичевать пороки съ болью въ сердцѣ, но не холодно издѣваться надъ ними. Тотъ, кто, какъ Щедринъ, понималъ, что значитъ судъ

исторіи, что значитъ отвѣтственность передъ потомствомъ, не могъ не имѣть идеаловъ. Онъ самъ указываетъ на ту роль, которую сыграютъ въ будущемъ тѣ гонители свѣта и правды, которыхъ онъ обличалъ: „Пронеслись они, безплодные, изсушающимъ вѣтромъ по лицу земли; разоряли, преслѣдовали по пятамъ, душили и, наконецъ, сами задохлись въ судорогахъ снѣдавшей ихъ угрюмости. И даже могилы ихъ стоятъ забытыми, потому что всякій спѣшитъ скорѣй пройти мимо, чтобы не вспомнить кошмара, который неразлученъ съ памятью о нихъ...“ Онъ всѣмъ и всегда напоминалъ объ отвѣтственности передъ грядущимъ будущимъ. Онъ говоритъ, что здоровая традиція всякой литературы, претендующей на воспитательное значеніе, заключается въ подготовленіи почвы будущаго... Развѣ своими произведеніями онъ не старался подготовить эту почву для насъ? Развѣ можетъ человѣкъ, умѣющій читать Салтыкова, сказать, что, бичуя недостатки, онъ не вѣрилъ въ будущее, въ конечное торжество свѣта надъ мракомъ? Развѣ, такъ ярко рисуя отрицательныя стороны явленія, онъ этимъ самымъ не показывалъ, каковы должны быть положительныя?

Его провинціальный міръ того времени раздѣляется на экономически сильныхъ и экономически обездоленныхъ, на стригущихъ и стригомыхъ, на людей безправныхъ и творящихъ безправіе, на вѣчныхъ производителей и вѣчныхъ потребителей. Во всѣхъ страдательныхъ роляхъ у него выведенъ простой человѣкъ, играющій роль Макара, на котораго валятся всѣ шишки. Передъ этими страстотерпцами русской земли Щедринъ останавливается въ умиленіи, бичующій смѣхъ смолкаетъ, суровыя морщины исчезаютъ съ чела сатирика и изъ-подъ пера вырываются строки, полныя любви, преклоненія передъ душой этихъ людей. Въ ряду очерковъ: „Богомольцы, странники и проѣзжіе“, онъ пишетъ, рисуя церковный праздникъ:

„И вся эта толпа пришла сюда съ чистымъ сердцемъ, храня, во всей ея непорочности, душевную лепту, которую она обѣщала повернуть къ пречестному и достохвальному образу Божьяго угодника. Прислушиваясь къ ея говору, я самъ начинаю сознавать возможность и законность этого неудержимаго стремленія къ душевному подвигу, которое такъ просто и такъ естественно объясняется всѣми жизненными обстоятельствами, оцѣпляющими незатѣйливое суще-

ствованіе простого человѣка. На меня вѣетъ невѣдомою свѣжестью и благоуханіемъ, когда до слуха моего долетаетъ все то же тоскливое голошеніе убогихъ нищихъ:

Придетъ мать—весна-красна;
Лузья, болота разольются;
Древа листьями одѣнутся,
И запоютъ птицы райскія
Архангельскими голосами;
А ты изъ пустыни вонъ изыдешь,
Меня, мать прекрасную, покинешь!

— Нѣтъ, не покину!—готовъ я воскликнуть, вмѣстѣ съ Осафьемъ-царевичемъ:

„Разгуляюсь я во пустынѣ, во зеленой во дубравѣ,
Насмотрюсь я во пустынѣ на различные цвѣты...“

Интересъ къ „мужику“ никогда не ослабѣвалъ у Щедрина; онъ, конечно, не предлагалъ никогда мужика въ учителя русскому обществу, онъ не предлагалъ опрощенія и маскараднаго переодѣванія въ сарафаны и поддевки. Онъ требовалъ вниманія къ народнымъ массамъ со стороны законодательства, онъ указывалъ на мужика, какъ на предметъ, который долженъ явиться главнѣйшею заботой государства, „тупа философія, косноязычна риторика... безъ мужика“. Таковъ нашъ авторъ въ первомъ своемъ произведеніи, такимъ онъ останется до послѣдняго дня своей жизни, который является и послѣднимъ днемъ его литературной дѣятельности. Вслѣдъ за „Губернскими очерками“ послѣдуютъ другія произведенія, лучше написанныя, но міросозерцаніе автора и тамъ не уклонится ни на шагъ въ сторону.

– – –

IV.

1858 г. Салтыковъ былъ назначенъ вице-губернаторомъ въ Рязань. Пріѣхалъ онъ туда очень скромно и сразу же озадачилъ чиновниковъ краткой, подозрительной для ихъ бюрократическаго уха, рѣчью: „Брать взятокъ, господа, я не позволю, и съ болѣе обезпеченныхъ жалованьемъ буду взыскивать строже. Кто хочетъ со мною служить,—пусть оставитъ эту манеру и служитъ честно. Къ тому же, господа,

я долженъ сказать вамъ правду: я обстрѣленный уже въ канцелярской кабаллистикѣ гусь, и провести меня трудно".

Сначала чиновники полагали, что ихъ новый начальникъ охотникъ до эффектныхъ рѣчей и что служебное рвеніе новаго вице-губернатора скоро пройдетъ, и онъ „упрыгается". Однако, они ошиблись. Большая часть чиновниковъ въ губернскомъ правленіи въ скоромъ времени обновилась...

И здѣсь Салтыковъ не остался только чиновникомъ, выполняющимъ свое бумажное дѣло. Онъ сталъ умственнымъ центромъ города и вожакомъ интеллигенціи. По этому поводу покойный Мачтетъ вспоминаетъ: „Оживленіе общества въ то горячее время было такъ велико, что го́рода нельзя было и узнать: карты были забыты, городской садъ превратился въ клубъ, куда сходились люди для обмѣна мыслями, для толковъ и споровъ. На террасѣ, за столомъ, каждый вечеръ можно было видѣть Салтыкова, окруженнаго лучшими интеллигентными людьми Рязани того времени: Офросимовымъ, кн. Волконскимъ (котораго Салтыковъ въ шутку называлъ „Жюль-Фавромъ съ затылка" *) и другими передовыми, впослѣдствіи, дѣятелями земской реформы. Въ этомъ кружкѣ каждый вечеръ шли толки и обсужденія основаній готовившейся реформы, и онъ невольно приковывалъ къ себѣ общее вниманіе. Молодежь, обыкновенно, незамѣтно и тихо расползалась по ближайшимъ скамейкамъ, или пряталась въ кусты и за стволы деревьевъ, чтобы послушать, что говоритъ Михаилъ Евграфовичъ, какъ онъ смотритъ, чего ждетъ..."

Въ моментъ освобожденія крестьянъ гр. Киселевъ писалъ велик. кн. Константину Николаевичу: „Прекращеніе крѣпостного права, сколь ни согласно съ христіанскимъ ученіемъ и духомъ времени, встрѣтитъ еще и на долгое время много противниковъ и порицателей".

Если и сейчасъ эти слова не утеряли значеніе и свой смыслъ, то не удивительно, что въ 1858 г., когда крестьянскія реформы только еще намѣчались и вызывали у многихъ надежду, что обычное теченіе канцелярской системы возьметъ свое и „реформы" останутся на бумагѣ, въ такое время, естественно, извѣстная часть рязанскаго общества

*) Жюль Фавръ—извѣстный краснорѣчивый французскій адвокатъ первой половины XIX вѣка и глава республиканской партіи. *Прим. Н. Д.*

должна была смотрѣть на своего вице-губернатора, какъ на демагога, какъ на опаснаго человѣка. Постоянныя отстаиванія Салтыковымъ мужика и его интересовъ еще болѣе подливали масла въ огонь. Не безъ подмигиванія кому слѣдуетъ рязанскіе столпы отечества прозвали его „вице-Робеспьеромъ“.

Эта партія крѣпостниковъ, которая, во всякомъ случаѣ, составляла и здѣсь большинство, хорошо знала изъ прошлаго, что вопросы о реформахъ и мужикѣ поднимались у насъ неоднократно и что всегда торжествовали мнѣнія, въ родѣ мнѣнія гр. Чернышева, на проектъ гр. Блудова, гдѣ Чернышевъ по адресу этого проекта, требующаго радикальныхъ реформъ, возражаетъ, что „мысль общей политической свободы уже давно обладаетъ умами въ Европѣ, но, къ счастью, она у насъ недоступна еще классу поселянъ! Отъ мысли о свободѣ крестьянъ неминуемо перейдутъ къ разнымъ другимъ послѣдствіямъ поколебать въ основаніи все государственное зданіе“. Мнѣніе это, конечно, раздѣлялось огромнымъ классомъ крѣпостниковъ.

Вѣра Щедрина въ необходимость радикальныхъ реформъ, конечно, поставила его въ лагерь колебателей государственныхъ опоръ и вызвала возбужденіе, закончившееся скандаломъ и переходомъ Щедрина изъ Рязани въ Тверь.

„Я не дамъ въ обиду мужика! Будетъ съ него, господа... Очень слишкомъ даже будетъ“,—сказанное Салтыковымъ по поводу одного дѣла, гдѣ несчастныхъ крестьянъ желали выставить чуть ли не бунтовщиками, передавалось, во враждебныхъ ему кружкахъ, изъ устъ въ уста, какъ нѣчто крайне вредное, опасное, угрожающее, колеблющее вѣковые устои общественной жизни. Особенно не ладилъ Салтыковъ съ губернаторомъ, человѣкомъ суровымъ, нетерпимымъ, съ крутымъ и тяжелымъ характеромъ. Столкновенія съ нимъ дошли у Салтыкова, въ концѣ концовъ, до открытой ссоры. Вотъ какъ описываетъ эту ссору одинъ изъ мѣстныхъ рязанскихъ чиновниковъ того времени:

„Столкновеніе Михаила Евграфовича съ губернаторомъ произошло вслѣдствіе того, что послѣдній непремѣнно хотѣлъ провести одно дѣло въ губернскомъ правленіи, а Михаилъ Евграфовичъ наотрѣзъ отказался подписать формальное постановленіе, которое безусловно противорѣчило его внутреннему убѣжденію и совѣсти“. Губернаторъ все-

таки приказалъ написать постановленіе и прислать ему, что и было исполнено. Не видя подписи вице-губернатора, губернаторъ снова направилъ журналъ къ Салтыкову для подписи, но Салтыковъ остался непреклоннымъ. Тогда губернаторъ вызвалъ Салтыкова къ себѣ. Губернаторъ былъ очень сердитъ и въ возбужденіи прохаживался скорыми шагами, когда вошелъ къ нему Михаилъ Евграфовичъ, на видъ совершенно спокойный.

— Такъ вы не хотите подписать журналъ? — крикнулъ ему губернаторъ, какъ-только его увидѣлъ.

— Повторяю, ваше пр—ство, не намѣренъ,—спокойнымъ, недопускавшимъ сомнѣній тономъ отвѣтилъ Салтыковъ.

Послѣ этого тотъ и другой сказали другъ-другу нѣсколько колкостей, о чемъ ходило по городу много различныхъ варіантовъ.

Результатомъ этого столкновенія съ губернаторомъ былъ вызовъ Салтыкова въ Петербургъ для объясненій и переводъ его въ Тверь на подобное же мѣсто вице-губернатора. Это произошло въ 1860 году. Но и въ Твери Салтыковъ служилъ всего два года и въ 1862 году вышелъ въ отставку. Его сильно потянула къ себѣ литература. Сначала онъ хотѣлъ, было, поселиться въ Москвѣ и основать тамъ двухнедѣльный журналъ; но разрѣшенія на это не послѣдовало. Тогда онъ переѣхалъ въ Петербургъ, вошелъ въ редакцію „Современника“, гдѣ сталъ дѣятельно работать. Въ два года жизни въ Петербургѣ (1863—1864) написалъ онъ очень много разсказовъ, очерковъ, московскія письма, отдѣльныя статьи, обозрѣнія общественной жизни, сатирическія замѣтки въ приложеніи къ „Современнику“, въ „Свисткѣ“, отзывы о новыхъ книгахъ, подписываясь, иногда, Н. Щедринымъ, подъ „Московскими письмами“—К. Гуринымъ, въ „Свисткѣ“— Михаиломъ Зміевымъ, Младенцемъ; многія статьи оставлялъ и совсѣмъ безъ подписи.

V.

Такъ прошли два года, и Салтыковъ снова сталъ подумывать о службѣ. Само собою разумѣется, что причины, понуждавшія Салтыкова снова „итти въ министерство“, были, по преимуществу, нравственнаго характера, хотя и перспек-

тива „околѣть съ голоду“ (перспектива, знакомая русскому литератору), занимала свое мѣсто.

Первыя шесть лѣтъ царствованія Александра II протекли мирно среди глубокаго внутренняго спокойствія и единенія народа съ правительствомъ. Но съ весны 1861 г. начали проявляться признаки революціоннаго движенія въ нѣкоторой части русскаго общества; то же замѣчалось и въ Сѣверо- и Юго-Западномъ краѣ, гдѣ возбужденіе умовъ перешло въ 1863 г. въ открытый вооруженный бунтъ. Въ отвѣтъ на это, правительство предприняло цѣлый рядъ репрессивныхъ мѣръ. Для литературы наступали тяжелые дни.

„Идея объ искорененіи литературы,—говоритъ Щедринъ („Круглый годъ“),—есть идея, врожденная отъ природы и свойственная русскому культурному человѣку. Хотя мы, культурные люди, имѣемъ значительную охоту къ разработкѣ „вопросовъ“, но предметомъ этой разработки почти всегда дѣлаемъ вопросъ чисто отрицательнаго свойства. Нѣтъ чтобы что-нибудь оплодотворить, или открыть на пять копеекъ втуне лежащихъ богатствъ, а непремѣнно искоренить, истребить, послѣднія пять копеекъ растратить. Какъ-будто провиденціальная наша задача именно въ томъ и состоитъ, чтобы все безъ остатка въ три дня разрушить, и во сто лѣтъ ничего не воздвигнуть“.

Въ этихъ немногихъ словахъ Щедрина вѣрно указана причина, благодаря которой освободительныя реформы Государя, такъ искренно желавшаго блага своему народу, вызвали смуту въ умахъ однихъ и тревогу въ другихъ. Одни стремились не только къ урегулированію реформъ, но и къ упраздненію ихъ послѣдствій, другіе стали на ихъ сторону, защищая съ одинаковою горячностью основныя ихъ начала и неизбѣжные недостатки. „Безчисленный рядъ комиссій,— какъ писалъ въ своемъ докладѣ Лорисъ-Меликовъ,—безконечныя, безплодныя переписки раздражали общественное мнѣніе и не удовлетворяли никого. Все тонуло въ канцеляріяхъ, застой этотъ отражался на дѣятельности вновь созданныхъ учрежденій...“

Но то, что писалъ въ своемъ докладѣ Лорисъ-Меликовъ 4 марта 1880 г., Верховной распорядительной Комиссіи, еще не подвергалось такой компетентной критикѣ въ 60-хъ годахъ. На общественную самодѣятельность, какъ изъ рога изобилія, сыпались репрессіи. Внѣшность реформъ оставалась та же, но

содержаніе мѣнялось. Цензура съ каждымъ днемъ становилась все строже и придирчивѣе. Не помогъ Салтыкову и его эзоповъ языкъ, который въ это время превратился въ сугубо-эзоповскій. Цензура вездѣ открывала неблагонамѣренныя мысли, посягательство на „устои", сѣяніе смуты и вычеркивала страницу за страницей. „Иногда казалось,—пишетъ Щедринъ, — что кожу съ живого сдираютъ". Это, конечно, не могло особенно способствовать расположенію къ занятію литературой, такъ тщательно патронируемой цензурнымъ вѣдомствомъ. Бѣды ходятъ толпами. Къ этому же времени въ „Русскомъ Словѣ" появилась статья Д. И. Писарева, бывшаго вожакомъ извѣстной литературной группы, въ которой Салтыковъ выставленъ балагуромъ, зубоскаломъ, писателемъ безъ серіозныхъ литературныхъ задачъ, съ очень неопредѣленною программой. Писаревъ былъ въ извѣстномъ смыслѣ авторитетомъ, и на нервномъ, впечатлительномъ Щедринѣ эта статья отозвалась усиленіемъ его болѣзненной раздражительности. Конечно, живи Писаревъ дольше, онъ отрѣшился бы отъ своего исключительнаго пристрастія къ естественнымъ наукамъ, какъ панацеѣ отъ всѣхъ россійскихъ общественныхъ болѣзней и, вѣроятно, впослѣдствіи отдалъ бы должное Щедрину. Но послѣ смерти талантливаго юноши остались безталанные ученики и послѣдователи, писавшіе по-Писареву... Они-то и доняли Щедрина. „Сумрачное выраженіе лица,—говоритъ Е. Я. Головачева,—еще болѣе усилилось. Появилось нервное движеніе шеи, точно онъ желалъ высвободить ее отъ туго завязаннаго галстука. Изъ молчаливаго онъ сдѣлался очень говорливъ..." „По поводу моей литературной дѣятельности возникаютъ нѣкоторые обвинительные слухи,—пишетъ Щедринъ,—которые съ теченіемъ времени пріобрѣтаютъ все болѣе и болѣе острый характеръ. Обвиняютъ меня въ беллетристическомъ двоедушіи, требуютъ, чтобы я повелъ дѣло на чистоту и показалъ свое знамя. Признаюсь откровенно, слухи эти дѣйствуютъ на меня болѣзненно".

Помимо людей писаревскаго толка, за эту идею открытаго забрала ратовали и публицисты, занимающіеся литературнымъ провокаторствомъ. Кто не испыталъ ревъ этого стада, не знаетъ того упорства, съ какимъ они способны клеветать, извращать, подтасовывать и тупо издѣваться, тотъ не пойметъ ощущеній пережитыхъ нашимъ сатирикомъ. Имъ, впро-

чемъ, Щедринъ очень ловко даетъ понять роль, которую они играютъ въ этомъ случаѣ:

„Сами обвинители мои,—пишетъ Щедринъ,—только притворяются недоумѣвающими. Очень хорошо они знаютъ, о чемъ я говорю, и ежели имъ что во мнѣ не нравится, то это именно моя сдержанность. Они не безъ основанія полагаютъ, что, будь я менѣе сдержанъ, изъ этого непремѣнно произойдетъ *для меня молчаніе.* Вотъ чего имъ хочется, а мнѣ этого не хочется...“

Да и въ самомъ дѣлѣ, неужто неясно, чего хотѣлъ Щедринъ въ своихъ сатирахъ и чего онъ не хотѣлъ? Достаточно привести на удачу нѣсколько выдержекъ изъ разныхъ мѣстъ его сочиненій и предъ нами встанетъ вполнѣ опредѣленная картина того или другого уголка нашей общественной жизни. Возьмемъ хотя бы наиболѣе наболѣвшій вопросъ—чиновника и бюрократическій режимъ.

Читайте:

„...Взяточничество располагаетъ къ изліяніямъ дружества и къ простотѣ отношеній; оно уничтожаетъ преграды и сокращаетъ разстоянія; оно прекращаетъ бюрократическій индиферентизмъ и дѣлаетъ сердце чиновника доступнымъ для обывательскихъ невзгодъ“.

„...Иной разъ кажется, что въ каждой занумерованной и писанной на бланкѣ бумагѣ заключается чья-нибудь погибель“.

„...Государство!.. Мы вспоминаемъ о государствѣ только лишь тогда, когда насъ требуютъ въ участокъ для расправы“.

„...У насъ всѣ истинно государственные люди были слегка шалунами“.

„...Неправильно полагаютъ тѣ, кои думаютъ, что лишь тѣ пескари могутъ считать себя достойными согражданами, кои, обезумѣвъ отъ страха, сидятъ въ норахъ и дрожатъ“.

„...Когда въ бюрократіи заходитъ рѣчь о децентрализаціи, то одинъ доказываетъ, что она заключается въ учрежденіи сатрапій; другой мнитъ, что децентрализація въ томъ состоитъ, чтобы во всякое время водку пить, а съ точки зрѣнія третьяго суть децентрализаціи—въ безпрепятственномъ и повсемѣстномъ битьѣ по зубамъ“.

„...Въ городническомъ управленіи имѣется шкапъ, въ которомъ, въ качествѣ узника, заключенъ законъ“.

„...Цѣлыхъ пятнадцать томовъ законовъ написано, а все

отыскать закона не могутъ! Стоятъ эти томы въ шкапу и бездѣйствуютъ, а ключъ отъ шкапа заброшенъ въ колодецъ, чтобы прочнѣе дѣло было".

„... О казнѣ существуютъ между чиновниками весьма странныя понятія. Она представляется имъ чѣмъ-то отвлеченнымъ, символическимъ, невѣсомымъ: такъ, паръ какой-то, нѣчто въ родѣ Ѳемиды въ воображеніи секретаря уѣзднаго суда".

„... Въ Петербургѣ есть статскіе совѣтники, которые умѣютъ для славянскихъ братушекъ конституціи писать".

„... Чиновничья мудрость измѣряется не годами, а плотностью и даже врожденностью консервативныхъ убѣжденій, сопровождаемыхъ готовностью по первому трубному звуку устремляться куда глаза глядятъ".

„... Начальство представляется чѣмъ-то такимъ, что наполняетъ крикомъ вселенную, а въ свободное отъ криковъ время принимаетъ барашка въ бумажкѣ".

„... Начальство любитъ, чтобы его понимали сразу, даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда оно само себя не понимаетъ".

„... Чиновничій людъ всегда и неизмѣнно имѣлъ въ виду только свое служительское благополучіе".

„... Чего стоитъ мысль, что обыватель есть не что иное, какъ административный объектъ, всѣ притязанія котораго могутъ быть разсѣчены только тремя словами: не твое дѣло!"

„... Начальство читало записки и думало: „Вотъ оно! Отовсюду одно и то же пишутъ!" нимало не подозрѣвая, что оно занималось перепиской, такъ-сказать, съ собой, т.-е. само себѣ посылало руководящія предписанія и само же отъ себя получало соотвѣтствующія своимъ желаніямъ донесенія".

„... Петербургъ—не охотникъ до такъ-называемыхъ пререканій".

„... Несмотря на всѣ усилія выработать у насъ бюрократію, она ни подъ какимъ видомъ не хочетъ сдѣлаться ею. Еще на глазахъ у начальства она туда и сюда, но какъ только начальство за дверь,—она сейчасъ же языкъ высунетъ и сама надъ собой хохочетъ".

„... У насъ правъ никакихъ нѣтъ, а существуютъ лишь „якобы права".

„... Въ Россіи безъ казенной службы прожить нельзя;

непремѣнно сдѣлаешь что-нибудь такое, что вдругъ очутишься сосланнымъ въ Сибирь, въ мѣста не столь отдаленныя“.

„... Прежде сотворенъ былъ чиновникъ, а потомъ уже человѣкъ, и по этой причинѣ самый инстинктъ или, лучше сказать, само естество заставляетъ человѣка тяготѣть въ чиновника“.

„Не понимая, что слѣдуетъ разумѣть подъ словомъ „отечество“ и какія обязанности послѣднее налагаетъ на дѣтей своихъ, молодые карьеристы, въ то же время, отлично понимаютъ, во-первыхъ, что доходы и оклады, съ помощью которыхъ они прожигаютъ жизнь, получаются ими въ отечествѣ, и, во-вторыхъ, что нигдѣ, кромѣ отечества, имъ не суждено удовлетворить той потребности молодечества, которая, за отсутствіемъ знаній и привычки размышлять, преслѣдуетъ ихъ на всякомъ мѣстѣ. Въ этомъ смыслѣ, и имъ, разумѣется, не чужда идея „отечества“, но какого отечества?—того, которое все стерпитъ, да, вдобавокъ, еще и денегъ дастъ“.

Достаточно этого десятка случайныхъ отрывковъ, которые заслуживаютъ того, чтобы стать поговорками, чтобы понять, чего хотѣлъ покойный сатирикъ, и чтобы разъ и навсегда покончить вопросъ: имѣлъ ли Щедринъ ясное, опредѣленное міросозерцаніе.

Что цензурныя условія могли такъ сильно подѣйствовать на знаменитаго сатирика, это—не фраза. Это можно подтвердить цѣлымъ рядомъ выписокъ изъ его писемъ. Такъ, напр., по пріѣздѣ изъ-за границы, гдѣ онъ себя чувствовалъ сравнительно недурно, въ Петербургъ, онъ черезъ нѣсколько дней пишетъ Н. А. Бѣлоголовому: „Пишу къ вамъ на первый разъ кратко, ибо какъ-то совсѣмъ неслыхано боленъ. Мало того, что цѣлую ночь не спалъ, но восемь часовъ къ ряду, сидя на стулѣ, дышалъ точно на рысяхъ... Думаю, что не путешествіе меня сразило, а разныя удовольствія, въ родѣ, напримѣръ, того, что вырѣзали мою статью...“

Помимо перечисленныхъ невзгодъ, его не могло удовлетворять и положеніе его въ „Современникѣ“, гдѣ въ то время всѣми дѣлами заправляли и все рѣшали младшіе, сравнительно съ нимъ, члены редакціи—Гр. З. Елисѣевъ, А. Н. Пыпинъ, М. А. Антоновичъ, Ю. Г. Жуковскій; онъ же занималъ второстепенное мѣсто постояннаго сотрудника. Ему приходилось довольствоваться полистною платой; плата же

въ „Современникѣ“ была скудная; и вотъ, чтобы существовать, приходилось наверстывать количествомъ статей, „перебиваться рецензіями“, какъ однажды самъ выразился Салтыковъ, которыхъ больше всего имъ и писалось, а библіографическая работа, какъ извѣстно, самая неблагодарная. Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ неблагопріятныхъ условій литературнаго труда и начала въ Салтыковѣ созрѣвать мысль оставить совсѣмъ литературу и итти снова на службу.

Салтыковъ, однажды, явившись въ редакцію, сталъ бранить русскую литературу, убѣдительно доказывая, что „только одни дураки могутъ посвящать себя литературному труду“. Присутствовавшій здѣсь Некрасовъ попытался, было, вступиться за свою профессію, но Салтыковъ набросился на поэта и заявилъ, что онъ навсегда прощается съ этимъ занятіемъ, которое не даетъ даже такого заработка, который спасъ бы отъ голодной смерти. Не знаю, вспомнилъ ли Салтыковъ изреченіе одного нѣмецкаго писателя, что „литераторъ раньше, чѣмъ стать безсмертнымъ, долженъ умереть съ голоду“, или уже, дѣйствительно, личный опытъ черезчуръ былъ убѣдителенъ, только наговорилъ онъ на эту тему тогда, видимо, довольно много; хотя, впрочемъ, Некрасова онъ не убѣдилъ. Поэтъ спокойно отвѣтилъ ему, что онъ снова вернется къ литературнымъ занятіямъ, ибо, разъ организмъ зараженъ литературнымъ микробомъ, онъ никогда отъ него не отдѣлается. Поэтъ нашъ, конечно, хорошо зналъ, что литературные токсины прочно свили себѣ гнѣздо въ самомъ сердцѣ Щедрина.

Вскорѣ, дѣйствительно, Салтыковъ поступилъ на службу по министерству финансовъ: 6-го ноября 1864 года онъ былъ назначенъ предсѣдателемъ пензенской казенной палаты. Черезъ два года его перевели на ту же должность въ Тулу, а въ октябрѣ 1867 года въ Рязань.

Характеръ онъ, видимо, все-таки выдерживалъ, и три года его службы совершенно пропали для литературы, если не считать статьи „Завѣщаніе моимъ дѣтямъ“ (Современникъ, 1866 г., № 1).

На новой службѣ, говоритъ Скабичевскій, Салтыковъ попрежнему не замедлилъ сдѣлаться грозою всѣхъ взяточниковъ и казнокрадовъ и въ то же время „защитникомъ всѣхъ честныхъ людей, ходатаемъ за всѣхъ обездоленныхъ, нуждавшихся въ помощи и въ участіи“. Несмотря на свое обще-

ственное положеніе и литературную извѣстность, которая возросла настолько, что превратилась уже въ настоящую славу, „онъ оставался все тѣмъ же простымъ, доступнымъ всѣмъ, душевнымъ человѣкомъ, какимъ и былъ. Его правдивость, его простота, его участливое отношеніе къ низшимъ ставились въ образецъ и сами собою, помимо литературной славы, окружали его ореоломъ“. Много случаевъ, рисующихъ съ этой стороны Салтыкова, живетъ въ памяти стариковъ.

Въ 1867 году Салтыковъ былъ переведенъ изъ Тулы въ Рязань. Въ это время губернаторомъ въ Рязани было уже другое лицо, но Салтыковъ уже съ самаго пріѣзда не замедлилъ встать къ нему въ натянутыя отношенія. Причина была уважительная. Переводъ Салтыкова въ Рязань былъ крайне непріятенъ губернатору, который хлопоталъ объ этой должности для своего родственника М.

Въ Рязани Салтыкову пришлось пробыть на этотъ разъ не болѣе года; въ 1868 году онъ вторично вышелъ въ отставку и болѣе уже не служилъ, всецѣло отдавшись литературѣ. Некрасовъ оказался правъ въ своемъ пророчествѣ. Отставка Салтыкова обусловливалась, съ одной стороны, приглашеніемъ его Некрасовымъ войти въ составъ редакціи „Отечественныхъ Записокъ“, взятыхъ съ этого года Некрасовымъ въ аренду у А. А. Краевскаго, а съ другой—личнымъ желаніемъ Государя, находившимъ, что сатирическая дѣятельность Щедрина и обязанности предсѣдателя казенной палаты несовмѣстимы. Онъ былъ награжденъ чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника и ежегодной пенсіей въ 1000 руб. Въ журналѣ теперь Салтыкову предстояло иное положеніе, чѣмъ какимъ оно было въ „Современникѣ“.

VI.

Начиная съ момента приглашенія Некрасовымъ, т.-е. съ 1868 г., до момента закрытія „Отечественныхъ Записокъ“ въ 1884 г., считаютъ второй періодъ литературной дѣятельности Щедрина. Періодъ—самый плодотворный и блестящій, давшій намъ того Щедрина, который навсегда вошелъ въ исторію русской литературы. Въ эти годы имъ были написаны: окончаніе „Помпадуровъ и помпадуршъ“, окончаніе „При-

зраковъ времени“; затѣмъ: „Письма изъ провинціи“, „Исторія одного города“, „Господа ташкентцы“, „Дневникъ провинціала въ Петербургѣ“, „Благонамѣренныя рѣчи“, „Господа Головлевы“, „Недоконченныя бесѣды“, „Въ средѣ умѣренности и аккуратности“, „Культурные люди“, „Итоги“, „Современная идиллія“, „Убѣжище Монрепо“, „Круглый годъ“, „За рубежомъ“, „Сказки“, „Письма къ тетенькѣ“, „Пошехонскіе разсказы“, „Пестрыя письма“, „Мелочи жизни“, „Пошехонская старина“ и нѣсколько очерковъ и статей. Все это появилось главнымъ образомъ на страницахъ „Отечественныхъ Записокъ“.

Салтыковъ приглашенъ былъ Некрасовымъ въ „Отечественныя Записки“, въ качествѣ соредактора. Работа эта была подѣлена между Некрасовымъ, Салтыковымъ и Елисѣевымъ.

Некрасовъ не ошибся: ежемѣсячно помѣщавшіяся статьи Михаила Евграфовича сильно увеличили подписку на „Отечественныя Зап.“, и журналъ сталъ давать отличный дивидендъ. Усиленіе личныхъ денежныхъ средствъ для Салтыкова было какъ нельзя болѣе кстати, такъ какъ у него въ 1872 г. родился сынъ—Константинъ, а черезъ годъ—дочь Елизавета. Наконецъ, все въ личной жизни Щедрина пошло сносно, но въ 1875 г. онъ заболѣлъ, и эта болѣзнь навсегда расшатала его до той поры крѣпкій и здоровый организмъ.

И съ точки зрѣнія здраваго смысла, и съ точки зрѣнія Лютера, Щедринъ былъ умнымъ человѣкомъ, потому что любилъ вино и карты, но, съ точки зрѣнія гигіены, безсонныя ночи за карточнымъ столомъ, съ аккомпанементомъ большихъ дозъ вина, не могли способствовать здоровью и правильнымъ функціямъ организма. Такая жизнь подготовила почву для успѣшнаго развитія всяческихъ заболѣваній. Нуженъ былъ только толчокъ. Въ декабрѣ 1874 г. умерла въ Тверской губ. его мать. Онъ поѣхалъ на похороны, простудился, получилъ сильнѣйшій сочленовный ревматизмъ, осложнившійся воспаленіемъ сердца, и это заболѣваніе пагубно отразилось на всей его послѣдующей жизни.

Какъ редакторъ „Отечественн. Зап.“, Салтыковъ, можетъ-быть, навсегда останется недосягаемымъ образцомъ. Такой огромный, кропотливый трудъ могъ быть по плечу только такому изумительно трудоспособному человѣку, какъ Щедринъ. Обыкновенно, всѣ существовавшіе и существующіе редакторы ограничиваются простымъ прочтеніемъ рукописей,

поступающихъ въ „редакціонный портфель“, и ихъ одобреніемъ, или неодобреніемъ. Для этого требуется только извѣстный литературный вкусъ и знаніе „корней и нитей“ цензурныхъ требованій. Это отнимаетъ сравнительно немного времени. Но то, что дѣлалъ Щедринъ, какъ редакторъ, заставляетъ невольно остановиться въ изумленіи. Всякая рукопись, въ особенности начинающихъ литераторовъ, подвергалась самой тщательной отдѣлкѣ въ рукахъ Щедрина. Вымарывались цѣлыя страницы и писались рукою Щедрина заново, перерабатывались цѣлые романы. Рукописи, выходившія изъ рукъ Щедрина, приводили въ отчаяніе наборщиковъ изобиліемъ помарокъ, вставокъ, приписокъ и т. д. Однако, всѣ авторы, исправленные и значительно дополненные, въ одинъ голосъ утверждаютъ, что ихъ произведенія выходили изъ этого горнила значительно лучшими, чѣмъ поступали въ руки Щедрина.

Само-собою разумѣется, что такая работа требовала не одной только усидчивости, но и того огромнаго художественнаго такта и того разносторонняго художественнаго дарованія, которымъ отличался покойный писатель. Самъ Щедринъ въ одномъ изъ набросковъ, найденномъ въ его бумагахъ, указываетъ на свою любовь къ труду, какъ на основную черту своего характера.

„Я никогда не могъ похвалиться ни хорошимъ здоровьемъ, ни физическою силой, но съ 1875 г. не проходило почти ни одного дня, въ который я могъ бы сказать, что чувствую себя изрядно. Постоянные болѣзненные припадки и мучительная воспріимчивость, съ которою я всегда относился къ современности, положили начало тому злому недугу, съ которымъ я сойду въ могилу. Не могу также пройти молчаніемъ и *непрырывнаго труда: могу сказать смѣло, что до послѣднихъ минутъ вся моя жизнь прошла въ трудѣ, и только когда мнѣ становилось ужъ очень тяжко, я бросалъ перо и впадалъ въ мучительное забытье*“.

Жить, для Щедрина, значило писать, или вообще что-либо дѣлать для литературы. У него и горе, и радости, и досады, и огорченія, и настроенія духа, и здоровье, и нездоровье были литературнаго происхожденія.

„Я страстно и исключительно,—пишетъ онъ,—преданъ литературѣ; нѣтъ для меня образа достолюбезнѣе, похвальнѣе, дороже образа, представляемаго литературой; я признаю лите-

ратуру всецѣло со всѣми уклоненіями и осложненіями, даже съ московскими кликушами *). Порою эти осложненія бываютъ мучительны: но, вѣдь, они пройдутъ, исчезнутъ, растаютъ, и, навѣрное, одни только усилія честной мысли незыблемы—таково мое глубокое убѣжденіе. Не будь у меня этого убѣжденія, этой вѣры въ литературу—мнѣ было бы больно жить".

Самымъ важнымъ, серіозномъ дѣломъ и своей личной жизни и общественной онъ считалъ литературу. Литература была для него „храмъ, при видѣ котораго бьются чистые и честные сердца и безъ котораго міръ былъ бы постылъ и безславенъ". Въ одномъ мѣстѣ въ „Кругломъ годѣ" онъ пишетъ:

„Милостивые государи! Вамъ, конечно, небезызвѣстно выраженіе: scripta manent. Я же, подъ личною за сіе отвѣтственностью, присовокупляю: semper manent in secula seculorum! Да, господа, литература не умретъ!.. Все, что мы видимъ вокругъ насъ, все въ свое время обратится частью въ развалины, частью въ навозъ. Одна литература вѣчно останется цѣлою и непоколебленною. Одна литература изъята изъ законовъ тлѣнія, она одна не признаетъ смерти. Несмотря ни на что, она вѣчно будетъ жить и въ памятникахъ прошлаго, и въ памятникахъ настоящаго, и въ памятникахъ будущаго. Не найдется такого момента въ исторіи человѣчества, при которомъ можно было бы съ увѣренностью сказать: вотъ моментъ, когда литература была упразднена. Не было такихъ моментовъ, нѣтъ и не будетъ. Ибо никто такъ не соприкасается съ идеею о вѣчности, никто такъ не поясняетъ ее, какъ представленіе о литературѣ".

Когда его разстроенное здоровье заставляло его отрываться отъ любимаго дѣла и ѣздить за границу лѣчиться, онъ не переставалъ писать, мысленно слѣдить за русской современностью и интересоваться радостями и скорбями литературы, тяготясь отсутствіемъ дѣла. „Легко сказать: позабудь, что въ Петербургѣ существуетъ цензурное вѣдомство, и затѣмъ возьми одръ твой и гряди; но выполнить этого совѣта па практикѣ, право, не легко... Если бы и дѣйствительно глотаніе Kraenchen, въ соединеніи съ ослинымъ

---

*) Этимъ именемъ Щедринъ называлъ московскіе реакціонные органы, главнымъ образомъ, „Московск. Вѣд.". *Примѣч. Н. Д.*

молокомъ, способны были дать безсмертіе, то и такая перспектива едва ли бы соблазнила меня. Во-первыхъ, мнѣ кажется, что безсмертіе, посвященное непрерывному наблюденію, дабы въ организмѣ, не переставаючи, совершался обмѣнъ веществъ, было бы отчасти дурацкое...“ („За рубежомъ“.)

О характерѣ Щедрина говорили, что онъ деспотиченъ, грубъ, неровенъ и вообще несносенъ. Однако, люди, долго и близко знавшіе Мих. Евграфов., утверждаютъ противное. Они говорятъ, что подъ оболочкой шероховатости и грубости скрывались золотое сердце, удивительная доброта и деликатность. Докторъ Бѣлоголовый, хорошо знавшій Щедрина, пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ: „Близко вглядываясь въ этого человѣка, можно было легко замѣтить, что столь щедро одарившая его природа дала ему и прекрасное сердце и весьма деликатную нравственную организацію, и только продолжительная болѣзнь, да семейныя невзгоды сдѣлали то, что на фонѣ Гоголевской наслѣдственности развился такой дикій и грубый человѣкъ, какимъ представлялся Салтыковъ для лицъ, мало его знавшихъ. Для насъ онъ не только не былъ грубымъ человѣкомъ, а агнцемъ доброты и кротости, въ высшей степени деликатнымъ во всѣхъ отношеніяхъ...“

Люди, знавшіе Салтыкова, указываютъ еще на одну примѣчательную черту его характера—сильно развитой артельный инстинктъ. Это начало артельности, эта склонность къ соціальнымъ симпатіямъ и желанію всякое дѣло обмірщить, всегда проявлялись въ формѣ жажды единенія во имя дѣла, дорогого для него; это было стремленіе къ единенію какъ къ культурной силѣ на полѣ культурной работы. Въ біографическомъ очеркѣ г. Кривенко пишетъ: „Щедринъ былъ артельнымъ мірскимъ человѣкомъ, не въ смыслѣ мірского времяпрепровожденія или какихъ-либо развлеченій, совершенно для него чуждыхъ, а въ смыслѣ склонности жить и дѣйствовать артелью, міромъ, постоянно принимать близко къ сердцу общественные интересы. Это типъ на Руси вполнѣ опредѣленный и сохранившійся еще до сихъ поръ: изъ него выходятъ порицатели общественной неправды и пороковъ, ходоки, заступники и вообще радѣтели о мірѣ, личная жизнь которыхъ неразрывно соединяется съ мірскою, которые немыслимы безъ міра такъ же, какъ растеніе безъ

земли и птица безъ воздуха. У него и обличье было чисто русское: схожія лица встрѣчаются и среди помѣщиковъ, и у крестьянъ сѣверныхъ губерній; только такого прекраснаго выраженія глазъ не скоро найдешь. По первому внѣшнему впечатлѣнію онъ легко могъ показаться нелюдимомъ, но чѣмъ больше вы его узнавали и ближе къ нему присматривались, тѣмъ для васъ становилось очевиднѣе, что въ немъ сильно развито общественное чувство, что онъ именно немыслимъ безъ міра, что его даже нельзя представить себѣ въ одиночку, прежде всего безъ извѣстнаго кружка близкихъ людей одинаковыхъ съ нимъ убѣжденій, затѣмъ безъ извѣстнаго круга читателей, который служилъ мысленнымъ продолженіемъ этого кружка и который онъ постоянно имѣлъ въ виду, и, наконецъ, безъ заботъ объ общественномъ благѣ въ самомъ широкомъ значеніи этого слова".

Это общественное начало проходитъ красной нитью въ его личной жизни такъ же, какъ и въ его литературной дѣятельности. Его произведенія тѣсно сплелись съ современной имъ дѣйствительностью. Всякое явленіе окружающей его жизни было разсматриваемо черезъ призму прогрессивно общественнаго начала. Гдѣ бы ни находился Щедринъ, у себя „въ достолюбезномъ отечествѣ", или „за рубежомъ", вставали ли передъ его глазами Альпы, разстилалось ли у его ногъ Женевское озеро, или онъ лицезрѣлъ рабочую русскую клячу съ „сѣятелемъ и хранителемъ" русскихъ пустырей,—предъ его духовными очами тотчасъ же приходили эти картины въ связь съ тѣми или другими сторонами „внутренней политики" и общественной жизни. Говоритъ ли онъ о Берлинѣ, о заграничныхъ курортахъ, о прусскихъ офицерахъ, о Баденъ-Баденѣ, о Парижѣ,—все это является для него только предлогомъ, только канвой, на которой онъ вышиваетъ, полные горькой правды и неистощимаго юмора, узоры русской дѣйствительности. Смотря на вершину, наприм., Бернскихъ Альпъ, онъ пишетъ: „Дѣло было такъ. Сидѣлъ я лунными сумерками подъ сѣнью гиганскихъ интерлакенскихъ орѣшниковъ и по секрету велъ разговоръ съ Юнгфрау. Вотъ, Юнгфрау, говорилъ я, кабы ты была въ Уфимской губерніи, и тебя бы причислили къ лику башкирскихъ земель. И отдали бы тебя задешево какому-нибудь безшабашному совѣтнику..." и т. д. Словомъ, каждая строка каждаго произведенія пропитана у него общественнымъ началомъ. Вы чувствуете,

что для этого человѣка выше общественныхъ интересовъ, „достолюбезнѣе“ и важнѣе ничего нѣтъ. Онъ внимательно слѣдитъ за русской общественной жизнью съ сороковыхъ годовъ и кончая днемъ смерти; и послѣдніе его, предсмертные планы написать сказку, гдѣ русское общество выводится въ видѣ богатыря, отъ мощи котораго всѣ ждутъ чудесъ, а онъ сворачивается калачикомъ, засыпаетъ и спитъ доселѣ, говорятъ за неугасимое желаніе работать только во имя этого общественно-прогрессивнаго начала.

VII.

Какъ было уже сказано, въ 1874 г. Щедринъ заболѣлъ, а въ апрѣлѣ врачи его послали въ Баденъ-Баденъ. Несмотря на „западничество“, Щедринъ до этого момента за границей никогда не бывалъ. Это, очевидно, можно объяснить себѣ тѣмъ обстоятельствомъ, что выѣздъ изъ Россіи лишалъ его возможности слѣдить и непосредственно соприкасаться съ біеніемъ пульса русской общественной жизни и обрекалъ на праздную, пустопорожнюю жизнь „курсового“, съ утра до вечера живущаго по расписанію врача и обязаннаго, для правильности и успѣшности лѣченія, превратиться въ объектъ для всяческихъ воздѣйствій бальнеотерапіи, климатотерапіи, гидротерапіи и иныхъ физіотерапевтическихъ методовъ, переходить изъ рукъ врачей въ руки массажиста, вассерфрау, изъ рукъ вассерфрау въ Inhalations-Anstalt или Gürgl-Cabinet и т. д. Объ этомъ, впрочемъ, и самъ Щедринъ говоритъ въ первыхъ же строкахъ „За рубежомъ“:

„Есть множество средствъ сдѣлать человѣческое существованіе постылымъ, но едва ли не самое вѣрное изъ всѣхъ—это заставить человѣка посвятить себя культу самосохраненія. Рѣшившись на такой подвигъ, надлежитъ побѣдить въ себѣ всякое буйство духа и признать свою жизнь низведенною на степень безцѣльнаго мельканія на все то время, покуда будетъ длиться искусъ животолюбія“.

И въ самомъ дѣлѣ, что ему дѣлать среди этой пестрой, разряженной, тупой толпы курортовъ. Кто бывалъ на курортахъ и знаетъ этотъ человѣческій конгломератъ, именуемый курсовой публикой, тотъ пойметъ состояніе Щедрина. „Тутъ и человѣкъ, всю зиму экспекторировавшій въ

чаяніи, что лѣтомъ будетъ лакомиться ослиными сыворотками и „обмѣнивать вещества“. Тутъ и безшабашный совѣтникъ, который согласенъ какую-угодно мерзость глотать, лишь бы Богъ вѣку продлилъ и сотворилъ ему мирнымъ и непостыднымъ полученіе и присвоеніе по штатамъ окладовъ и арендъ. Тутъ и юный бонапартистъ, которому только безмѣрное безразсудство до сихъ поръ мѣшало обдумать, въ чью пользу и за какую сумму ему придется продать отечество. Тутъ и пустоголовая, но хорошо выкормленная бонапартистка, которая, опираясь на руку экспекторирующаго человѣка, мечтаетъ о томъ, какъ она завтра появится на променадѣ въ такомъ платьѣ, что все, все (mais tout) будетъ видно...“

Баденъ-Баденъ со своими источниками и въ отношеніи Щедрина оправдалъ то довѣріе и репутацію, которая установилась за нимъ еще со временъ римлянъ, какъ лучшаго курорта въ Европѣ. Салтыковъ здѣсь быстро поправился и уже осенью переѣхалъ въ Парижъ.

Наконецъ, Щедринъ попалъ въ Парижъ! Въ тотъ городъ, гдѣ на развалинахъ Бастиліи были произнесены: „Свобода, равенство и братство“. Мы знаемъ, что покойный писатель съ юности любилъ Парижъ, какъ бойца за великіе демократическіе идеалы. Попавъ въ Парижъ, онъ забылъ сразу „о своихъ недугахъ и цѣлые часы бродилъ по улицамъ, разыскивая и знакомясь лично съ разными историческими достопримѣчательностями, которыя до того отлично зналъ изъ книгъ и по наслышкѣ. Его наблюдательный умъ былъ такъ поглощенъ неисчерпаемымъ богатымъ разнообразіемъ кипучей жизни Парижа и своеобразными особенностями его обывателей, что онъ не замѣтилъ, какъ прошло 6 недѣль и наступила холодная и сырая осень, начавшая снова расшевеливать его ревматизмы и напоминавшая ему, что пора переѣзжать на югъ“ [1]).

Пребываніе за границей и въ Парижѣ и та общественная и политическая свобода, которою пользуются французы, еще больше заставляютъ Щедрина скорбѣть о родинѣ, о томъ режимѣ, который въ каждомъ самостоятельномъ, независимомъ мнѣніи усматриваетъ государственное преступленіе. „Оттого-то и весело въ Парижѣ, — говоритъ онъ,—что все

---

1) *Н. А. Бѣлоголовый.* Воспоминанія.

тамъ есть и все можно видѣть, обо всемъ говорить и даже поврать. Даже у русскихъ тамъ сердце играетъ. А у насъ дома ничего нѣтъ, стало-быть, и глядѣть не на что, и языкъ не изъ чего шевелить. Правда, иногда и у насъ случается слышать, будто въ такомъ-то мѣстѣ, еще со временъ царя Гороха, засѣдаетъ такая-то комиссія—ну и пущай ее засѣдаетъ! А я пойду въ портерную или питейный, налыкаюсь досыта, ворочусь домой и лягу спать! Вотъ тебѣ и комиссія! Развѣ можно сказать про эту жизнь, что это жизнь?..“

Изъ Парижа Щедринъ переѣзжаетъ въ Ниццу и живетъ здѣсь четыре мѣсяца. За это время здоровье его возстанавливается настолько, что онъ можетъ уже свободно работать. Однако, недугъ продолжаетъ гнѣздиться въ организмѣ и даетъ себя чувствовать одышкой и мучительнымъ удушливымъ кашлемъ. Къ этому присоединяется и разстройство нервной системы.

Послѣ 15-мѣсячнаго пребыванія за границей Щедринъ въ маѣ 1876 г. снова возвращается въ Петербургъ. Теперь онъ уже слушаетъ врачей и ведетъ правильный образъ жизни.

Въ 1877 г. умираетъ Некрасовъ, и къ Щедрину переходитъ главная роль въ „Отечеств. Запискахъ“. Всѣ тяготы редактора онъ несетъ бодро, много работаетъ самъ, со свойственной ему добросовѣстностью ведетъ административную, редакторскую и хозяйственную часть журнала. Всего больше приходится затрачивать ему нервной энергіи на сношенія съ цензурой. Рожденіе въ свѣтъ каждой новой книжки журнала сопровождается большими тревогами и опасеніями за каждую статью, за каждый разсказъ, могущій подвергнуться кастраціи. Ежемѣсячныя тревоги и ожиданія участи книжки, „ощиплютъ или совсѣмъ изуродуютъ“, отражались на физическомъ здоровьи великаго сатирика. „Въ моихъ глазахъ,—пишетъ Щедринъ по поводу цензуры,—произволъ имѣетъ ту выгодную сторону, что онъ для всѣхъ явно несомнителенъ. Онъ не можетъ ни огорчить, ни подлинно оскорбить, а можетъ только физически измучить“. Докторъ Бѣлоголовый говоритъ, что подъ вліяніемъ цензурныхъ огорченій у Щедрина „усилились и участились сокращенія сердца, что сопровождалось нарушеніемъ ритма, а для него субъективно это выражалось ощущеніемъ безотчетной и невыносимой сердечной тоски. Частая повторность такихъ ощущеній

дѣлала характеръ его все болѣе и болѣе раздражительнымъ, а настроеніе духа мрачнымъ и ипохондрическимъ“.

Для отвлеченія его отъ угнетавшей обстановки доктора посылали Щедрина время-отъ-времени за границу, надѣясь, что новыя условія жизни успокоятъ его нервную систему. Такимъ образомъ, онъ побывалъ и въ Висбаденѣ, съ его 23 цѣлебными источниками, и въ Швейцаріи, въ католическомъ Люцернѣ, въ маленькомъ Интерлакенѣ, привлекающемъ такъ много туристовъ, въ Тунѣ, снова въ Парижѣ, Берлинѣ. Кажется, поѣздки эти только физически утомляли его. „Развлекаться“ онъ не могъ и вездѣ носилъ съ собою свою соціальную хандру.

„И дома живучи, я не зналъ куда уйти отъ тоски, но, какъ только пропалъ изъ глазъ вержболовскій ручей, такъ я окончательно почувствовалъ себя отданнымъ въ жертву унынію. Дома мнѣ все-таки казалось—разумѣется, это былъ обманъ чувствъ, не болѣе,—что я что-нибудь могу: наблюсти, закричать караулъ, ухватить похитителя за руку; а тутъ даже эта эфемерная надежда исчезла. Тоска, одна тоска—и ничего больше. И о чемъ тоска?—risum teneatis, amici!—тоска о дѣлѣ, вовсе до меня не относящемся“.

„Новые политическіе строи“ ежеминутно наводили на разсужденія, а память подсказывала то, что оставлено на берегахъ Невы.

Чѣмъ внимательнѣе приглядывался Щедринъ къ „загранщѣ“, тѣмъ больше было поводовъ для тоски, но не тоски празднаго человѣка, гуляющаго по бульварамъ Парижа, или, подъ лучами южнаго солнца, плюющаго въ Средиземное море. Щедрина часто обвиняли въ рабскомъ преклоненіи предъ всѣмъ иностраннымъ. Это неправда. Многія страницы въ его „За рубежомъ“ достаточно убѣдительно свидѣтельствуютъ о томъ, что въ лицѣ Щедрина буржуазный строй Франціи 70-хъ годовъ и многія отрицательныя стороны заграничной жизни, нашли такого же мѣткаго, наблюдательнаго и остроумнаго порицателя, какъ и россійская дѣйствительность. Пошлость, своекорыстіе, ложь, кулачество, сытая тупость не укрывались отъ сатиры нашего писателя, гдѣ бы онъ ни встрѣтилъ ихъ. Понимая всѣ преимущества общественнаго строя въ Европѣ, по сравненію съ нашимъ, онъ не преклонялся слѣпо передъ всѣмъ иноземнымъ только потому, что оно носитъ иностранное клеймо. Реакціонеръ,

сытый кулакъ также были для него ненавистны и въ томъ случаѣ, когда они говорили по-русски и носили названіе Колупаева, или изъяснялись на парижскомъ нарѣчіи и назывались буржуа.

Въ 1884 г. были закрыты „Отечественныя Записки". Это было самымъ серіознымъ, сильнымъ и послѣднимъ ударомъ для Щедрина.

За 15 лѣтъ работы въ журналѣ Щедринъ сроднился съ нимъ, онъ сталъ необходимою частью его духовной природы, да и, кромѣ того, онъ имѣлъ и опредѣленную работу, и опредѣленный заработокъ. Съ закрытіемъ журнала Салтыковъ остался безъ средствъ, больной, съ семьей на рукахъ и безъ любимаго дѣла, ставшаго потребностью. За горячо любимымъ занятіемъ онъ забывалъ свои физическіе недуги, а непрерывное общеніе съ читателемъ поддерживало его силы гораздо больше, чѣмъ питье сѣрныхъ водъ и глотаніе различныхъ лѣкарствъ.

Съ обычнымъ юморомъ, не бросившимъ его и теперь, онъ пишетъ: „Что касается до моего соціальнаго положенія, то я теперь все равно, что генералъ безъ звѣзды. Никакъ не могу выяснить себѣ, какого я пола. Заниматься ничѣмъ не могу, ибо, направивши свою дѣятельность извѣстнымъ образомъ, очень трудно ломать".

VIII.

Съ осени 1884 г. наступаетъ послѣдній періодъ литературной дѣятельности Щедрина. Въ ноябрьской книжкѣ „Вѣстника Европы" появляется первый разсказъ изъ серіи „Пестрыхъ писемъ". Это его послѣднее литературное пристанище.

Возобновленіе литературной дѣятельности нѣсколько успокоило Щедрина, но болѣзнь сына потрясла и безъ того расшатанный организмъ отца, и вызвала у врачей опасеніе за его жизнь. Послѣ долгихъ настояній и маленькой хитрости врачамъ удалось снова спровадить Щедрина за границу. Такимъ образомъ, лѣтомъ онъ снова очутился въ Висбаденѣ. Теперь ужъ онъ былъ сильно одряхлѣвшимъ старикомъ, съ окончательно расшатанной нервною системой, раздражавшійся по самому ничтожному поводу.

Въ Висбаденѣ Щедринъ поселился въ пансіонѣ Brüsselerhof. Несмотря на весь уходъ, ему не дѣлалось лучше, и онъ сталъ настаивать на возвращеніи въ Петербургъ. Жена, бывшая въ это время въ Парижѣ, пріѣхала за нимъ въ Висбаденъ и, проживши въ пансіонѣ три дня, увезла его въ Петербургъ. Пріѣхавъ въ Петербургъ, онъ сильно захворалъ, но, пролежавъ въ постели около трехъ недѣль, поднялся и на лѣто переѣхалъ съ семьей въ Финляндію по сосѣдству съ своимъ большимъ пріятелемъ, знаменитымъ докторомъ Боткинымъ. Состояніе духа все ухудшалось, и въ письмахъ мелькаютъ даже мысли о самоубійствѣ. Несмотря, однако, на тяжкій физическій недугъ и отвратительное настроеніе духа, онъ не выпускаетъ пера изъ рукъ и въ письмѣ къ Бѣлоголовому пишетъ, отъ 14 августа 1886 г., что онъ работаетъ и написалъ въ теченіе мѣсяца до $2^1/_2$ печатныхъ листовъ и тутъ же прибавляетъ: „должно-быть, передъ смертью“. И дѣйствительно въ журналѣ появляются его вещи одна за другой. Въ это время печатаются его „Мелочи жизни“, „Сказки“ и „Пестрыя письма“. Плодовитость, несмотря на страданія, удивительная. Онъ пишетъ, что въ теченіе 5 недѣль написалъ: двѣ сказки, три главы „Мелочей“ и одно „Пестрое письмо“. Возобновившаяся литературная дѣятельность нашего сатирика продолжается всю зиму 1886—1887 г.

Лѣтомъ 1887 г. онъ пишетъ: „Нынѣшнее лѣто покуда съ мѣста тронуться не могу. Правда, что и лѣто отвратительное, но и въ перспективѣ ничего хорошаго не предвижу. Вкусъ къ жизни потерянъ; голова слабѣетъ съ каждымъ днемъ. Судя по этимъ объективнымъ признакамъ, будущаго лѣта я, конечно, не дождусь“.

Бѣлоголовый въ письмѣ къ Щедрину указываетъ ему на необходимость работы надъ автобіографіей, очевидно, понимая, что это будетъ послѣдняя и очень цѣнная услуга русскому обществу со стороны, видимо, умирающаго, знаменитаго писателя. 24-го іюня Щедринъ отвѣчаетъ: „Вы указываете мнѣ на автобіографическій трудъ, но онъ и прежде уже меня занималъ. У меня уже есть начатая работа, и я съ тѣмъ и уѣзжалъ на дачу, чтобы ее продолжать лѣтомъ, какъ меня охватило полное безсиліе. Но вы, кажется, ошибаетесь, находя эту работу легкою. По моему мнѣнію, изъ всѣхъ родовъ беллетристики это—самый трудный“. Щедринъ закан-

чиваетъ письмо увѣренностью, что онъ скоро приступитъ къ работѣ, такъ какъ его „въ послѣднее время обуялъ демонъ писанія“. Такъ прошло лѣто.

Наступившая осень не принесла больному Щедрину ничего хорошаго. Въ октябрѣ стали появляться болѣзненныя почечныя колики, и въ почкахъ обнаруженъ былъ песокъ. Безсонныя ночи не прекращались, а дневная работа еще болѣе обезсиливала организмъ. Въ январѣ 1888 года болѣзнь ослабѣла на нѣсколько недѣль, и Щедринъ ими воспользовался, чтобы заняться усиленнѣе осуществленіемъ своихъ литературныхъ плановъ. Такъ, вперемежку со страданіями и облегченіями отъ болевыхъ ощущеній, прошла зима.

Въ первыхъ числахъ іюня Щедринъ переѣхалъ на дачу по Варшавской желѣзной дорогѣ, не переставая работать, какъ это видно изъ его письма къ Бѣлоголовому, отъ 14 іюля: „Въ послѣднее время я довольно много писалъ, такъ-что въ сентябрѣ, октябрѣ и ноябрѣ вы рискуете встрѣтиться со мною въ *Вѣстникѣ Европы*. Соколовъ, правда, убѣждаетъ меня не работать, покуда я пью контрексевиль [1]), но какая же возможность удержаться, когда позываетъ къ работѣ? Кромѣ того, работа необходима мнѣ и въ матеріальномъ отношеніи, потому что требованія семьи возрастаютъ все больше и больше...“

Матеріальныя средства семьи, между прочимъ, не такъ уже были плохи, какъ это представлялось болѣзненно-мнительному Михаилу Евграфовичу.

Усиленный приливъ работоспособности продолжался недолго. Это была послѣдняя вспышка умирающаго таланта, лебединая пѣсня нашего писателя. Страданія возобновились, и онъ пишетъ: „Я кое-какъ покончилъ съ „Пошехонской стариной“, т.-е., попросту, скомкалъ. Въ мартовской книжкѣ появится конецъ, за который никто меня не похвалитъ. Но я до такой степени усталъ и измученъ, что надо было во что бы то ни стало отдѣлаться“.

Щедринъ начинаетъ носиться съ различными климато-терапевтическими планами. То онъ хотѣлъ бы переѣхать въ Царское Село, то онъ хотѣлъ бы уѣхать во Францію къ сестрѣ жены въ городъ Туръ.

---

[1]) Минеральная известковая вода, употребляемая какъ лѣчебное средство при страданіяхъ мочевого пузыря.

22-го апрѣля 1889 г. онъ пишетъ: „Хотя Боткинъ и утверждаетъ, что я избѣжалъ опасности, но я честью васъ завѣряю, что испытываю жестокія страданія...“

Въ это время Щедринъ весь отдался хлопотамъ о выпускѣ въ свѣтъ своихъ сочиненій и въ письмѣ къ Бѣлоголовому отъ 22 апрѣля сообщаетъ о томъ, что получилъ первый томъ, а черезъ недѣлю, 28-го апрѣля, Россія узнала, что ея выдающійся писатель умеръ отъ мозгового удара.

Такъ прошла эта жизнь, богатая непрерывнымъ, полезнымъ трудомъ, давшая современникамъ такъ много высокихъ наслажденій, заставлявшая ихъ каждой написанной строкой „переоцѣнивать цѣнности“, будившая въ читателѣ гражданина, сознательно относящагося къ судьбамъ своей родины, бичевавшая застарѣлые пороки русскаго общества, понуждая стать въ защиту гражданскихъ правъ, указывавшая на тѣ общественныя группы, которыя мѣшали осуществленію общественной свободы, указывая въ то же время, что великое будущее націи возможно только при условіи этой общественной свободы, равенства передъ закономъ, свободы совѣсти, личности, печати и окончательномъ исчезновеніи произвола во всѣхъ видахъ и формахъ. Разрушая сгнившіе устои нашей общественной жизни, дѣлая смѣшнымъ то, къ чему робко подходили одни, набрасывали, по различнымъ соображеніямъ, непроницаемый покровъ другіе, скрывали дымомъ ѳиміама зіявшія прорѣхи третьи, Щедринъ расчищалъ почву для новаго, лучшаго будущаго. Онъ всегда боролся, выражаясь его же словами, „противъ произвола, двоедушія, лганья, хищничества, предательства, пустомыслія“.

Работая при крайне неблагопріятной обстановкѣ въ смыслѣ и общественныхъ нравовъ, и низменности литературныхъ вкусовъ, и культурныхъ интересовъ, и всевластія и своевластія чиновниковъ, и цензурныхъ условій, отъ которыхъ у Щедрина иногда получалось впечатлѣніе, что съ него съ живого „сдираютъ шкуру“, онъ сказалъ русскому обществу такія горькія истины, которыя не удавалось сказать ни одному изъ нашихъ писателей.

Добролюбовъ указываетъ на то, что сатира наша въ доброе, старое, екатерининское время служила однимъ изъ видовъ дифирамба офиціальнымъ мѣропріятіямъ, „смѣло карая то, что и такъ отодвигалось на задній планъ разнообразными реформами, уже приказанными и произведенными... Съ

Кантемира такъ это и пошло на цѣлое столѣтіе: никогда почти не добирались сатирики до главнаго, существеннаго зла, не разражались грознымъ обличеніемъ противъ того, отъ чего происходятъ и развиваются общіе народные недостатки и бѣдствія". Съ увѣренностью можно сказать, что сдѣлать сатиру способною направить свои разрушительныя дѣйствія не на поверхностныя, мелкія явленія частнаго характера, а на коренныя причины, дѣлающія невозможнымъ развитіе народныхъ силъ, удалось только одному Щедрину. Заслуги его передъ страной, какъ писателя, безспорно велики, правильность взглядовъ на общественныя явленія подтверждена всѣми важными событіями русской общественной жизни за послѣднія 20 лѣтъ, а все больше и больше ширящаяся популярность его сочиненій ясно свидѣтельствуетъ, что въ лицѣ покойнаго писателя мы имѣемъ дѣло съ первоклассньмъ литературнымъ талантомъ. Въ лицѣ покойнаго сатирика Россія имѣетъ одного изъ тѣхъ своихъ сыновей, которымъ она можетъ гордиться, ибо это былъ истинный патріотъ. Патріотъ, у котораго свободолюбіе вытекало изъ патріотизма, патріотизмъ—изъ свободолюбія. Онъ любилъ свободу какъ родину, и родину—какъ свободу.

Литературныя достоинства его произведеній не уступаютъ произведеніямъ такихъ сатириковъ, какъ Луцилій, Горацій, Ювеналъ, Гейне, Гофманъ, Альфіери, Сервантесъ, Раблэ, Вольтеръ, Беранже и Свифтъ.

Н. Денисюкъ.



„Губернскіе очерки", Н. Щедрина [1]).

*) Считаемъ нужнымъ перевести одинъ совѣтъ сира Вальтера Скотта начинающимъ литераторамъ его времени. „Помните, господа, — говорилъ честный баронетъ своимъ младшимъ товарищамъ,—помните, что литература должна быть для насъ посохомъ странника, а не костылемъ калѣки. Любите искусство, служите ему,—но не опирайтесь на одно искусство, не забывайте имѣть въ жизни какую-нибудь практическую дѣятельность, кромѣ литературы". Совѣтъ благороднаго писателя данъ былъ съ экономической цѣлью, ибо Скоттъ хотѣлъ имъ показать недостаточность литературныхъ выгодъ для обезпеченія человѣка,—но въ немъ есть своя сторона, болѣе возвышенная. Чтобъ писать о жизни и людяхъ, надо знать и людей и жизнь въ обычныхъ ея проявленіяхъ. Чтобы описывать людей, которые трудятся, служатъ, хозяйничаютъ, любятъ и добиваются всего хорошаго въ жизни, полезно самому трудиться и служить, и добиваться того, что въ жизни стоитъ труда съ усиліями. Положимъ, что великому поэту и сильному писателю, въ періодѣ пол-

---

1) „Библіотека для чтенія", 1856 г., № 12.

*) Статья эта принадлежитъ Александру Васильевичу Дружинину, русскому критику и беллетристу (род. въ 1824 г., ум. 1864 г.). Воспитаніе Д. получилъ въ пажескомъ корпусѣ и здѣсь впервые обнаружились его литературныя способности. Выпущенный прапорщикомъ въ гвардію, Д. оставался въ строю лишь до 1847 г.; затѣмъ причислился къ канцеляріи военнаго министра, а въ 1851 г. вышелъ въ отставку и навсегда отдался литературѣ. Началъ онъ повѣстью въ „Современникѣ" („Полинька Саксъ", 1847 г., № 12). Въ послѣдующіе годы Д. рѣдко писалъ въ беллетристическомъ духѣ, а, главнымъ образомъ, работалъ, какъ литературный критикъ. Будучи хорошо знакомъ съ новыми языками, онъ далъ цѣлый рядъ статей по англійской литературѣ, а также перевелъ нѣкоторыя драмы Шекспира. Въ концѣ 1856 г. Д. становится главнымъ редакторомъ и сотрудникомъ журн. „Библіотека для чтенія". *Примѣч. Н. Денисюка.*

ной зрѣлости, полезно отдаться музамъ безъ изъятія; но нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что и такой сильный человѣкъ въ свои ученическіе годы (Lehrjahren) обязанъ жить жизнью своихъ согражданъ и дѣлить съ ними труды ихъ вседневнаго быта. Съ книгами, глубиной самосознанія и чужеземными теоріями, не изучишь русскаго воина, русскаго помѣщика, русскаго чиновника и русскаго земледѣльца. Даже, входя въ кругъ этихъ людей дилетантомъ и празднымъ наблюдателемъ, не узнаешь ихъ жизни, ихъ существованія и характера. Можетъ-быть, мы слишкомъ взыскательны, но насъ всегда огорчалъ въ нашей литературѣ малѣйшій разладъ талантливаго писателя съ интересами или своего сословія, или того быта, который имъ избранъ для своихъ произведеній. У насъ есть хорошія книги, съ изображеніемъ быта чиновнаго, книги, въ которыхъ кишатъ промахи, происходящіе отъ незнанія законовъ, административнаго порядка, судебныхъ дѣлъ и такъ далѣе. У насъ есть разсказы изъ помѣщичьяго быта, поражающіе ошибками по хозяйственной жизни, ошибками самыми непростительными. При чтеніи подобныхъ сочиненій намъ всегда становится грустно, точно такъ же грустно, какъ при видѣ великой неловкости, сдѣланной дорогимъ намъ человѣкомъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, во время деревенской прогулки, одинъ изъ нашихъ талантливыхъ писателей, много сочинявшій о сельскомъ бытѣ, въ полѣ не распозналъ ячменя и назвалъ его рожью. Трудно передать чувства, которыя пробудились въ насъ, вслѣдствіе этой ошибки, на первый взглядъ скорѣе забавной, чѣмъ важной. А она намъ показалась очень важна, и мы невольно вспомнили слова сира Вальтера: „Нельзя опираться на одну литературу, какъ на костыль. Кромѣ литературы, необходимо имѣть въ жизни какую-нибудь практическую дѣятельность".

Можетъ-быть, наши слова раздражатъ какого-нибудь фразера, сумрачно сидящаго весь свой вѣкъ въ одной квартирѣ одного и того же города, но воображающаго себя всевѣдущимъ по части военнаго, чиновнаго и сельскаго быта; однако, отъ словъ своихъ мы никогда не отступимся. Поэзія, то-есть цвѣтъ жизни, можетъ родиться только изъ растенія, прочно пустившаго свои корни въ родную почву. А корни нашей словесности сидятъ еще въ этой почвѣ весьма неглубоко. Не для фантазій и утопій поэтъ рожденъ на свѣтъ,

а для сильнаго труда, *сугубаго* труда, потому что этотъ трудъ двухсторонепъ. Для изученія быта, имъ избраннаго, онъ долженъ жить и трудиться въ этомъ бытѣ, сцѣпляться съ нимъ всѣми фибрами своего существованія, любить его при всѣхъ его несовершенствахъ, даже отчасти быть несовершеннымъ съ нимъ вмѣстѣ. Поэтъ, котораго юность прошла въ подвигахъ военнаго ремесла, какъ у графа Толстого, въ строгомъ и дѣятельномъ помѣщичьемъ быту, какъ у г. Аксакова, въ честной и энергической гражданской дѣятельности, какъ... какъ, хоть, у Маколея (бывшаго секретаря остъ-индскаго управленія и секретаря военныхъ дѣлъ)—для насъ всегда будетъ особенно дорогъ, хотя бы онъ написалъ менѣе, чѣмъ другой поэтъ, имѣвшій болѣе свободнаго времени для главной задачи своей жизни. Съ удовольствіемъ надо замѣтить, что наша литература за послѣднее время понимаетъ это и идетъ по практической дорогѣ. Если поэзія наша должна быть чиста отъ случайныхъ и временныхъ примѣсей, зато житейской дѣятельности самихъ поэтовъ надо проникнуться практичностью и современностью. Лермонтовъ недаромъ сказалъ:

Скорѣе жизнь въ заботахъ истощи,
Разлей отравленный напитокъ!

А напитокъ этотъ кажется отравленнымъ только потому, что его мы льемъ не туда, куда слѣдуетъ.

Мы не отвлеклись отъ предмета статьи нашей, не взирая на длинное отступленіе. Въ „Губернскихъ очеркахъ“ г. Щедрина, недаромъ поставленныхъ нами рядомъ съ „Военными разсказами“ графа Толстого, сказывается намъ писатель, несомнѣнно, обладающій *знаніемъ дѣла* и пониманіемъ быта, имъ изображаемаго. „Губернскіе очерки“, по своему плану, напомнили намъ знаменитую поэму Крабба „Мѣстечко“, а вступительная ихъ глава, проникнутая поэзіей, и въ художественномъ отношеніи самая лучшая изо всѣхъ главъ, еще болѣе убѣдила насъ въ этомъ случайномъ, но такъ много обѣщающемъ сближеніи. Безъ заданной темы и мизантропическихъ умствованій авторъ приступаетъ къ изложенію своей задачи, состоящей въ томъ, чтобы передать читателю, въ рядѣ разностороннихъ и разнообразныхъ очерковъ, весь бытъ маленькаго провинціальнаго города Крутогорска.

Давно мы не встрѣчали въ описаніяхъ нашего провинціальнаго быта такихъ свѣтлыхъ и тихихъ страницъ, даже составляющихъ разладъ съ послѣдующими главами, въ которыхъ выводятся на сцену лица и событія вовсе не успокоительнаго свойства. Но этотъ разладъ есть только разладъ кажущійся, а не дѣйствительный, ибо г. Щедринъ, знакомя насъ съ плутомъ-подьячимъ, хитроумнымъ взяточникомъ-лѣкаремъ и другими мрачными героями прошлыхъ временъ, описываетъ эти лица съ тѣмъ же *знаніемъ дѣла*, съ которымъ описалъ онъ тишину и успокоительную прелесть маленькаго своего Крутогорска. Съ первыхъ пріемовъ разсказчика, не взирая на то, что вторая глава его очерковъ вложена въ уста подьячаго, вы слышите голосъ человѣка, описывающаго чиновническую сферу не съ чужихъ словъ и не съ чужого голоса. По вѣрности и основательности подробностей, по непринужденной прямотѣ, съ какою г. Щедринъ подходитъ къ дѣлу, нельзя не признать въ немъ человѣка, служившаго и знающаго службу, да сверхъ того глядящаго на служебные интересы глазомъ полезнаго и практическаго чиновника. Онъ любитъ міръ, имъ изображаемый, при всѣхъ несовершенствахъ этого міра, любитъ потому, что его знаетъ во всей подробности. Знаніе дѣла всегда неразлучно съ любовью, ибо безъ привязанности къ своему предмету не изучишь даже его поверхностныхъ особенностей. Въ наше время всякій мизантропическій фразеръ, всякій любитель гуманно-высокопарныхъ фразъ силится убѣдить публику, что душа его преисполнена любви къ человѣчеству. Мы не дадимъ гроша за любовь безъ *знанія*. Мы не дадимъ копейки за умствованія дидактика, говорящаго со слезами о честности высокой, о слабостяхъ чиновнаго люда, а, между тѣмъ, не знающаго ни законовъ своего края, ни порядка служебной дѣятельности, ни круга дѣйствія присутственныхъ мѣстъ, ни сферы, подлежащей ихъ вѣдѣнію. Любовь подобнаго рода только сбиваетъ съ пути, а не наводитъ на него; только раздражаетъ, а не примиряетъ. Къ писателю, *знающему дѣло*, толкующему о слабостяхъ, имъ дѣйствительно изученныхъ, русская публика никогда не была строга—Гоголь служитъ тому живымъ примѣромъ. Но къ фразеру, нахватавшемуся общихъ умствованій и судящему о предметахъ вполнѣ ему незнакомыхъ, читатель находится въ иномъ положеніи. Отъ малознающаго учителя урокъ бываетъ всегда непріятенъ и ску-

ченъ. Отъ человѣка, незнакомаго съ практическою стороной жизни, ни одинъ смѣтливый ученикъ не выслушаетъ урока съ терпѣніемъ. „Губернскіе очерки" г. Щедрина получили у читателей большой успѣхъ, несмотря на суровый тонъ нѣкоторыхъ подробностей и мрачныя краски, на которыя авторъ не поскупился въ иныхъ этюдахъ. Дѣло въ томъ, что нашъ авторъ умѣетъ всюду провести, не взирая на темныя стороны разсказа, одно честное и доброе лицо, про которое говоритъ и графъ Толстой въ своемъ Севастополѣ. Это лицо—истина, не отвлеченная и сухая истина, а истина, живущая своей жизнью и наполняющая собой всѣ части разсказа. Проныра Порфирій Петровичъ, мрачный грабитель Фейеръ и другія лица въ такомъ родѣ не ужасаютъ читателя безплоднымъ ужасомъ, ибо это живые люди, списанные съ натуры, а не размалеванныя страшилища, воплощеніе заданной мысли и воображаемыхъ пороковъ. Читатель видитъ и понимаетъ очень хорошо, что рука, набросавшая портретъ какого-нибудь вреднаго Порфирія Петровича, сумѣетъ и въ жизни поймать Порфирія Петровича, взять его за-воротъ и предать въ руки правосудія, на зло всѣмъ козням виноватаго. Эта практичность въ знаніи, достоинство весьма рѣдкое въ нашихъ писателяхъ, у г. Щедрина очень ясно выражается въ главѣ „Неумѣлые", гдѣ изображены дѣянія юноши-чиновника, не лишеннаго прекрасныхъ убѣжденій, но до крайности безполезнаго по своему неумѣнью взяться за дѣло. Не взирая на сухость главы и отсутствіе въ ней движенія, она читается легко, ибо богата умомъ и мыслями. Молодого чиновника зовутъ Михаиломъ Трофимовичемъ, онъ ѣздитъ на разныя слѣдствія съ простымъ депутатомъ ратманомъ Голенковымъ, говоритъ ему прекрасныя фразы, бранитъ всѣхъ старыхъ чиновниковъ, выражаетъ свое желаніе и увѣренность быть полезнымъ краю, а, между тѣмъ, вмѣсто пользы причиняетъ только путаницу и неправду. Гдѣ нужно сдѣлать простой опросъ, онъ выдѣлываетъ штуки въ новомъ родѣ, переодѣтый идетъ въ кабакъ подслушивать людскія рѣчи и зато претерпѣваетъ всякія насмѣшки. Гдѣ надо кончить дѣло строгою мѣрой, тамъ онъ только болтаетъ и, сблизясь съ подсудимымъ, безъ злого умысла передается на его сторону. Это не мѣшаетъ ему спорить съ Голенковымъ, писать длинныя, очень длинныя бумаги и считать себя свѣтиломъ полудикаго края. Мѣщанинъ-депутатъ, споря

съ юношей и впослѣдствіи передавая о немъ свое мнѣніе, говоритъ нѣсколько замѣчаній, надъ которыми нельзя не призадуматься.

— Что жъ,—спрашиваетъ Голенкова сочинитель,—что жъ это доказываетъ? Это доказываетъ только, что Михайло Трофимычъ или глупъ, или къ полицейской службѣ неспособенъ. Вотъ и все.

— Нѣтъ-съ,—говоритъ Голенковъ,—это, я вамъ доложу, не отъ неспособности и не отъ глупости, а просто отъ сумлѣнія, да оттого еще, что терпѣнья нѣтъ, прилежности къ дѣлу нѣтъ. Все думаетъ, что дѣло-то шутки, что ему жареные-то рябцы въ ротъ полетятъ. Такъ врешь! ты сначала поучись, да самъ къ естеству-то подладься... Анъ, и выходитъ, что во всякомъ дѣлѣ мало одной честности да доброй воли... Грязью-то не гнушайся, а разбери ее, да разобравши хорошенько, и суй въ ту пору туда свой носъ. Ты, коли служишь вѣрой, такъ по верхамъ-то не лазай, а держись больше около земли, около земства-то. Если видишь, что плохо—ну, и поправь, наведи его на дорогу. А то пріѣдетъ, это, весь какъ пушка заряженный,—съ честностью, да благонамѣренностью. Ты благодѣтельствуй намъ,—слова нѣтъ!—да въ мѣру, сударь, въ мѣру, а не-то, вѣдь, намъ и тошно, пожалуй, будетъ.

Еще лучше и рельефнѣе вышли нѣкоторыя объясненія Голенкова съ Михаиломъ Трофимовичемъ. „Вы сами много виноваты,—говоритъ юноша по поводу разныхъ злоупотребленій,—кабы, молъ, вы разумѣли, что подлецъ—подлецъ и есть, такъ не смѣлъ бы онъ и рожу свою на свѣтъ Божій показать“. „Ладно,—продолжаетъ Голенковъ,—далъ я ему поуспокоиться, да и говорю потомъ: „Вѣдь, вотъ ты, ваше благородіе, баишь, что, молъ, подлеца подлецомъ называть, а это, говорю, и по христіанству нельзя, да и начальство, пожалуй, не позволитъ. *Этакъ ты со своего-то ума меня подлецомъ назовешь, а я не подлецъ совсѣмъ,—такъ на что жъ это будетъ похоже? А настоящій-то подлецъ за лишней ругачкой на тебя и не полѣзетъ, это ему все одно, что ковшикъ воды выпить...*“

Вотъ настоящій взглядъ на дѣло—результатъ прочнаго знакомства съ описываемой авторомъ средою! По введенію „Губернскихъ очерковъ“, намъ видится въ г. Щедринѣ писатель многосторонней силы, по нѣкоторымъ подробностямъ главъ, слѣдующихъ за введеніемъ, въ немъ сказывается

умный, но не чуждый дидактики дѣятель. Которая изъ двухъ особенностей пересилитъ и останется за авторомъ, это намъ покажетъ время. До сихъ поръ въ его Фейерахъ, Голенковыхъ, Порфиріяхъ Петровичахъ мы видимъ людей живыхъ и мастерски обрисованныхъ; но мы еще не проникаемъ въ ту таинственную сущность вещей, вслѣдствіе которой и люди эти, и городъ, ими населенный, дороги сердцу сочинителя. Гоголь любилъ Ноздрева и Чичикова, Маниловъ и Собакевичъ имѣли мѣсто въ сердцѣ Гоголя именно потому, что гоголевское воззрѣніе на людей отличалось могучею всесторонностью, равно охватывающей всѣ стороны жизни и возводящей ихъ въ лучезарный фокусъ поэзіи. Довольствоваться обличеніемъ дурныхъ сторонъ изображаемаго смертнаго, не есть еще *все* дѣло поэта—нужно привязать этого смертнаго ко всѣмъ людямъ, сдѣлать его занимательнымъ, указать въ немъ человѣческія и общія всѣмъ намъ стороны.

Итакъ, оканчивая съ „Губернскими очерками“, мы можемъ сказать, что послѣ введенія и семи первыхъ главъ талантливый авторъ ихъ очутился на распутьѣ, или, оставя красоту слога, просто на перекресткѣ, съ котораго разныя дороги ведутъ по разнымъ направленіямъ. Онъ можетъ вдаться въ односторонность взгляда, онъ можетъ, руководясь своимъ несомнѣннымъ знаніемъ дѣла, изобразить намъ провинціальную жизнь во всей ея полнотѣ, во всѣхъ ея, до сихъ поръ еще никѣмъ не подмѣченныхъ проявленіяхъ. Для выполненія задачи, высказанной намъ во введеніи, онъ имѣетъ весьма многое: и самостоятельность манеры, и любовь къ правдѣ, и живую опытность въ дѣлѣ интересовъ, почти недоступныхъ нашимъ литераторамъ. Г. Щедринъ, можетъ-быть, болѣе, чѣмъ кто-либо изъ нынѣ пишущихъ людей, разумѣетъ поэзію и правду чиновничьей жизни, знакомъ съ бытомъ и понятіями цѣлаго многочисленнаго класса нашихъ сограждамъ. Онъ можетъ просто и правдиво говорить о вещахъ, о которыхъ мы до сихъ поръ мало говорили по причинѣ нашего незнанія. Какъ человѣкъ служащій и знающій службу, онъ долженъ сдѣлать для нашего чиновнаго быта то, что графъ Левъ Толстой сдѣлалъ для военнаго. У кого изъ нашихъ повѣствователей изображены печальныя и радостныя ощущенія, связанныя съ разными служебными случаями, напримѣръ, съ потерей и перемѣной мѣста, съ удачно произведеннымъ слѣдствіемъ,

съ окончаніемъ какого-нибудь запутаннаго спора, съ затрудненіями передъ началомъ полезной дѣятельности и такъ далѣе? Стоитъ взглянуть на всю задачу съ этой точки зрѣнія и ряды лицъ, десятки высоко занимательныхъ этюдовъ сами станутъ проситься на бумагу. Въ гражданской провинціальной дѣятельности откроются герои превосходнаго и худого свойства, свои Хлоповы, Розенкранцы, Козельцовы, Вланги, Гальцыны, Праскухины, которыми мы такъ наслаждаемся въ „Военныхъ разсказахъ" Толстого. Вмѣсто анализа перваго ощущенія подъ пулями, мы увидимъ разсказъ о первомъ ощущеніи при разслѣдованіи какого-нибудь преступленія; вмѣсто поэтическихъ ночей на бивакѣ, пойдутъ ночлеги въ деревняхъ и селахъ, посреди новыхъ лицъ, товарищей по занятію, поселянъ и чиновниковъ, честныхъ служителей Ѳемиды и зловредныхъ крючкотворовъ. Гдѣ жизнь—тамъ дѣятельность, гдѣ дѣятельность людская—тамъ свои частицы правды и поэзіи. Пусть нравописатель сумѣетъ только уразумѣть свою тему, вмѣстѣ съ бытомъ, имъ изображаемымъ, и его литературный трудъ сдѣлается широкимъ путемъ опытнаго мыслителя. Рутину, дидактику и повтореніе задовъ г. Щедринъ можетъ смѣло предоставить другимъ, *неумѣлымъ* писателямъ: употребляемъ здѣсь его собственное выраженіе. Съ его знаніемъ дѣла нельзя не быть самостоятельнымъ, съ его любовью къ правдѣ легко достигнуть всесторонности въ талантѣ.

А. Дружининъ.

„Губернскіе очерки“ [1]).

*) Въ двухъ послѣднихъ книжкахъ „Русскаго Вѣстника“ (№№ 20 и 21) много замѣчательныхъ статей. Первое мѣсто въ немъ, какъ всегда, принадлежитъ статьямъ серіознымъ. Беллетристическій отдѣлъ самый слабый въ этомъ журналѣ, и въ теченіе цѣлаго года едва можно назвать два-три разсказа, которые имѣли бы литературное значеніе.

Отъ этихъ вялыхъ и безжизненныхъ исторій рѣзко отдѣляются превосходные разсказы Н. Щедрина, подъ названіемъ „Губернскіе очерки“. Въ 20-й книжкѣ „Вѣстника“ помѣщено три очерка. Въ первомъ изъ нихъ—„Мечты и надежды на станціи или обманутый подпоручикъ“—выведенъ изумительно вѣрный типъ отставного подпоручика,—который, какъ самъ онъ выражается о себѣ: „служилъ въ полку—бросилъ, жилъ въ имѣніи—прожилъ, торговалъ своимъ собственнымъ тѣломъ“ и теперь поетъ поминутно романсъ „Уймитесь, волненія страсти“, и, при стихѣ: „Я плачу, я страждy“, выпиваетъ стаканъ водки, который пріучился

---

1) „Сынъ Отечества“, 1856 г., № 37.

*) Журналъ „Сынъ Отечества“ сталъ издаваться въ Петербургѣ въ 1812 г. Возникъ онъ по мысли попечителя Спб. учебнаго округа С. Уварова, И. Ѳ. Тимковскаго и А. Н. Оленина и редактировался Н. Гречемъ. Выходилъ онъ еженедѣльно, давая богатый матеріалъ для исторіи Отечественной войны. Съ этого момента по 1852 г. журналъ переходилъ изъ рукъ въ руки, мѣняя программу, періоды выпусковъ, направленіе и т. д. Въ 1856 г. журналъ переходитъ въ руки извѣстнаго ученаго, журналиста и знатока восточныхъ и европейскихъ языковъ, Альберта Старчевскаго. Журналъ сразу пріобрѣтаетъ другую физіономію. Въ немъ отводится уже много мѣста вопросамъ экономики, крестьянскому, о желѣзныхъ дорогахъ, педагогическимъ и т. д. Успѣхъ журнала въ теченіе 13 лѣтъ былъ огромный, по тому времени (16 тысячъ подписчиковъ), и обогатилъ издателя. Начиная съ 62-го года журналъ превратился въ ежедневную газету, но уже прежняго успѣха не имѣлъ. Въ 1904 г. газета стала выходить по обновленной программѣ и сразу завоевала большой успѣхъ и общественное значеніе.

Примѣч. Н. Денисюка.

подавать ему, при этомъ стихѣ, его „рабъ и наперсникъ“ Прошка, единственный обломокъ древней роскоши, отлично выдрессированный и декламирующій даже стихи Беранже: *се мистрисъ ре же ле номилс.* Отставной подпоручикъ разсказываетъ свою бурную жизнь: ужъ чего онъ ни дѣлалъ: „вотъ-съ хоть бы насчетъ браку! Чѣмъ не молодецъ во всѣхъ статьяхъ, однако нѣтъ!.. Была вдова Попалзновейкина, да и то спятила.—Ишь, говоритъ, какія у тебя ручищи-то! такъ, пожалуй, усахаришь, что въ могилу ляжешь.— Ужъ я какихъ ей резоновъ ни представлялъ: это, говорю, сударыня, крѣпость супружескую обозначаетъ,—такъ куда тебѣ! Вотъ и выходитъ, что только задаромъ здоровье на нее тратилъ, дала вотъ тулупчишко, да сто цѣлковыхъ на дорогу и указала дверь! А харя-то какая, если бъ вы знали: точно вотъ у моего Прошки, словно антихристъ на ней съ сотворенія міра престолъ имѣлъ“. Такимъ же высокимъ слогомъ подпоручикъ разсказываетъ и о другихъ обстоятельствахъ своей жизни, о томъ, какъ одинъ пріятель его увѣрилъ, что англичане даютъ милліонъ тому, кто будетъ питаться цѣлый годъ однимъ сахаромъ, и какъ онъ явился въ Петербургъ къ посланнику, говоря: „такъ и такъ, вызывались желающіе, а у меня, молъ, ваше превосходительство, желудокъ настоящій, русскій-съ“. И какъ закипаютъ патріотическія чувства гуманнаго подпоручика, когда онъ узнаетъ, что англичане не даютъ милліона за питаніе сахаромъ!.. Мы назвали его гуманнымъ потому, что онъ „драться не любитъ, говоря, что это дѣло ненадежное“, а только „комкаетъ мордасы“ у своего Прошки. Очень оригинально также его объясненіе „съ нѣкіимъ Перетыкинымъ, который въ полку былъ такъ жалконькій офицеришка“, а по статскимъ дѣламъ дослужился до важнаго чина. Этотъ господинъ принимаетъ подпоручика „безобразнѣйшимъ образомъ“, не хочетъ вспомнить о прошломъ и обиженный подпоручикъ говоритъ ему: „А вы, в. п., вѣрно и въ молодости канальей изволили быть“, и еще удивляется, за что тотъ на него въ претензіи. Очень жаль, что авторъ довольно коротко очертилъ этотъ любопытный типъ и не разсказалъ, чѣмъ кончилось его бурное поприще.

Другой очеркъ, „Княжна Анна Львовна“, представляетъ типъ провинціальной, но уже немолодой аристократки, которой не за кого выйти замужъ въ провинціи, а, между тѣмъ,

„слово мужъ точитъ все существованіе княжны“. Потребность чувства заставляетъ ее влюбиться въ бѣднаго канцелярскаго чиновника, который дежуритъ у ея отца.

Въ третьемъ очеркѣ: „Скука, мысли вслухъ“—авторъ представляетъ неутѣшительную картину провинціальной жизни въ мелкомъ чиновничьемъ быту. Авторъ уже слишкомъ мрачно смотритъ на окружающіе его предметы: „О, провинція, говоритъ онъ: ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодѣятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать“. Не слишкомъ ли это преувеличено? Впрочемъ, и въ этомъ очеркѣ есть любопытные провинціальные типы: судьи, заставляющаго писцовъ снимать шапки при встрѣчѣ съ его экономкой, какого-то князя, командирующаго въ удобное для охоты время своего секретаря, подъ видомъ дѣлъ службы, собственно для стрѣлянія дичи къ столу его сіятельства“. Наконецъ, типъ доктора „милѣйшаго и преостроумнаго человѣка“. Когда къ нему придетъ крестьянинъ или мѣщанинъ „за своею надобностью“, или проще по рекрутской части и принесетъ всѣ нужные по дѣлу документы, онъ никогда сразу не начнетъ *дѣла*, а сначала заставитъ просителя побожиться передъ образомъ, что другихъ документовъ у него нѣтъ, и когда тотъ побожится: „чтобъ и глаза-то мои лопнули, и чтобъ нутро-то у меня изгнило“, прикажетъ ему снять сапоги и тщательно осмотритъ ихъ. Понеже наученъ докторъ опытомъ и долголѣтнею практикой, что у мужика сапоги все равно, что ломбардъ“.—Подобныхъ анекдотовъ добраго стараго времени, о которомъ „свѣжо преданіе,—а вѣрится съ трудомъ“, много въ очеркахъ г. Щедрина, имѣвшихъ такой огромный и заслуженный успѣхъ.



„Губернскіе очерки“, Н. Щедрина [1]).

*) Между беллетристическими явленіями русской литературы въ 1856 году, „Губернскіе очерки“ – Н. Щедрина, обратили на себя особенное вниманіе публики. Многіе, взглянувъ на заглавіе, готовы были отозваться о нихъ неблагосклонно. Незнакомое для публики имя автора, по странному предразсудку, было отчасти причиною такой неблагосклонности. „Опять, говорили, на сцену провинція!.. Опять пошлая насмѣшка надъ всѣмъ провинціальнымъ, и хвастовство своимъ знаніемъ свѣтской жизни! Опять неправдоподобныя событія и небывалые характеры“ и т. д. Такое мнѣніе, высказанное еще до прочтенія самаго сочиненія, разумѣется, не могло имѣть основанія. Оно приводится здѣсь только

1) „Русскій Инвалидъ“, 1857 г., № 26.

*) „Русскій Инвалидъ“ былъ основанъ Пезаровіусомъ во время Отечественной войны съ благотворительною цѣлью, такъ какъ весь чистый доходъ отъ изданія „употреблялся на вспоможеніе инвалидамъ, солдатскимъ вдовамъ и сиротамъ“. Несмотря на случайность возникновенія, газета была поставлена умѣло и пользовалась популярностью, и когда Пезаровіусъ хотѣлъ оставить ея редактированіе, то Александръ I пожелалъ дальнѣйшаго участія его въ органѣ. Государь выразилъ увѣренность, что Пезаровіусъ „не перестанетъ и впредь продолжать полезный трудъ свой“. Времена, однако, измѣнились, и въ 1821 г. изданіе „Инвалида“ было передано, благодаря желанію всесильнаго Аракчеева, А. О. Воейкову. Новый издатель сузилъ програму газеты, главнымъ образомъ, на счетъ ея политической части. Подписка упала и газета стала давать убытокъ. Послѣ смерти Воейкова (1839 г.) газета снова перешла къ Пезаровіусу, а помощникомъ ему приглашенъ былъ А. А. Краевскій. Снова программа расширяется. Въ 1847 г. газету редактируютъ князь П. С. Голицынъ и П. С. Лебедевъ. Съ половины 1861 г. газета снова твердо становится на ноги, благодаря опредѣленнымъ общественно-прогрессивнымъ взглядамъ и сочувствію реформамъ Александра II. 1863 г. приноситъ съ собою снова реакціонную волну; газету отбираютъ отъ Писаревскаго, редактировавшаго ее съ 1861 г., и передаютъ Романовскому. При немъ газета снова возстановляется въ прежнемъ видѣ. *Примѣч. П. Денисюка.*

потому, что показываетъ отчасти взглядъ публики на произведенія, касающіяся провинціи, и потому, что находится въ сильномъ противорѣчіи съ послѣдовавшимъ успѣхомъ „Губернскихъ очерковъ". Дѣйствительно, послѣ того какъ были прочтены первые „Очерки", „Прошлыя времена" и „Неумѣлые", прежнее мнѣніе измѣнилось. Успѣхъ „Очерковъ" возрасталъ быстро, по мѣрѣ того, какъ они продолжались печататься. Выдержки изъ нихъ помѣщались во всѣхъ почти журналахъ. Въ обществѣ заговорили о новомъ произведеніи, которое нравилось и литераторамъ, и людямъ образованнымъ, не-литераторамъ, и, наконецъ, людямъ, получившимъ ограниченное образованіе и занятымъ исключительно практическою стороной жизни. Успѣхъ былъ повсемѣстный, имя г. Щедрина пріобрѣло общую извѣстность. Въ чемъ же состояли причины такого счастливаго успѣха „Губернскихъ очерковъ"? Отвѣтъ на этотъ вопросъ ведетъ, естественно, къ разбору новаго произведенія. Въ нынѣшнее время большинство нашихъ читателей перестало смотрѣть на литературу, какъ на забаву, какъ на одно минутное удовольствіе; утвердилось убѣжденіе, что, соединяя, по смыслу вѣковой истины, пріятное съ полезнымъ, она стала теперь необходимою потребностью русскаго общества. Относясь прямо къ дѣйствительной жизни, литература исправляетъ общество наравнѣ съ другими мѣрами и водворяетъ въ немъ болѣе и болѣе истину и неразлучное съ нею добро. И общество само требуетъ именно такой мѣры, которую принимаетъ съ благодарностью. Литераторъ, слѣдовательно, какъ и всякій другой гражданинъ, служитъ и приноситъ пользу государству. Всѣ эти истины высказываются здѣсь, можетъ-быть, въ тысячу первый разъ; онѣ уже сдѣлались аксіомами; спорить противъ нихъ, казалось бы, и дико и смѣшно. Но онѣ должны повторяться нами потому, что въ нашемъ обществѣ все еще встрѣчаются люди, которые смотрятъ на литературу, какъ на забаву исключительно. „Почитать развѣ чего-нибудь скуки ради; забавно, по крайней мѣрѣ..." говоритъ г. NN.—Но чтеніе полезно также: оно исправляетъ...—говорятъ ему.—„Исправляетъ?!.. Ха-ха-ха... Вотъ чего захотѣли!" Положимъ, что такъ говоритъ одинъ изъ людей раздражительныхъ и вспыльчивыхъ. Скуки ради, для забавы началъ онъ читать повѣсть, въ которой изображался человѣкъ вспыльчивый. Г. NN прочиталъ повѣсть

до обѣда; онъ садится за столъ съ своимъ семействомъ. Слуга, подавая блюдо хозяину, нечаянно поскользнулся и пролилъ блюдо на скатерть. Подобные случаи бывали и прежде: г. NN выходилъ изъ себя, разилъ гнѣвомъ неосторожнаго, не говорилъ ни съ кѣмъ ни слова. Всѣ, по обыкновенію, ждали грозы. Дѣло, однако, вышло иначе. „Какъ же можно такъ дѣлать? Ты смотри!" сказалъ г. NN и... больше ничего. Какая же причина произвела такую перемѣну? Г. NN прочиталъ до обѣда, для одной забавы, повѣсть... „Губернскіе очерки", въ свою очередь, принесли и принесутъ много пользы. Но играть такую важную роль въ жизни человѣка литература можетъ только въ томъ случаѣ, когда она вѣрна дѣйствительной жизни. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы искусство состояло только въ простомъ, дагерротипномъ снимкѣ этой жизни. Нѣтъ, намъ все равно, разсказываетъ ли авторъ свой вымыселъ или истинное происшествіе; мы только требуемъ, чтобы все разсказанное авторомъ было правдоподобно, вѣрно, согласно съ дѣйствительною жизнью, насколько мы ее знаемъ. Это одно изъ главнѣйшихъ требованій искусства, и этому-то требованію въ замѣчательной степени удовлетворяютъ „Губернскіе очерки" г. Щедрина. Они поражаютъ своею вѣрностью дѣйствительности. Большинство читателей чувствуетъ, конечно, что разсказы автора справедливы, что предъ нимъ являются тѣ образы, которые имъ знакомы, что авторъ говоритъ съ полнымъ знаніемъ дѣла. Авторъ описываетъ провинцію и, по преимуществу, бытъ уѣздныхъ чиновниковъ, „витязей уѣзднаго правосудія".

„Губернскіе очерки", какъ видно и по названію, не представляютъ одного отдѣльнаго произведенія съ пятью или шестью личностями, не представляютъ полнаго послѣдовательнаго развитія характеровъ и происшествій. Но заслуга автора этимъ увеличивается; на какихъ-либо десяти страницахъ онъ рисуетъ живо характеръ; предъ читателемъ являются новые типы въ каждомъ очеркѣ. Вотъ предъ вами „человѣкъ, казенныхъ денегъ не расточающій, свои берегущій, чужихъ не желающій"—Порфирій Петровичъ. Онъ не будетъ говорить напрасно, не закидаетъ васъ фразами; онъ представитъ только документики... и дѣло въ шляпѣ. Или, самымъ гнуснымъ образомъ вкравшись въ довѣренность жены своего начальника, выманиваетъ у нея, подъ видомъ дружбы, секретныя письма и, упавъ въ ноги своему начальнику,

говоритъ: „Виноватъ, Семенъ Акимычъ, не погубите! Я, то-есть, единственно, по сердолюбію, вижу, что дама образованная убивается, а онѣ... вотъ и письма-съ!.. Думалъ я, что онѣ однимъ только разговоромъ, а теперь видѣлъ самъ, своими глазами видѣлъ!..“ Живо выражена личность княжны Анны Львовны, старой дѣвы, увидѣвшей конецъ своимъ мечтамъ и надеждамъ. Она играетъ въ губерніи важную роль, которою чванится напропалую. Ея противное притворство, свойственное, впрочемъ, и не старымъ дѣвамъ, ея страсть къ сплетнямъ описаны прекрасно. Далѣе предъ читателемъ представляется образъ помѣщика Буеракина, который могъ бы быть хорошимъ хозяиномъ, но до того обрюзгъ и раскисъ, что позволяетъ дѣлать своему управителю все, что угодно, и думаетъ только по цѣлымъ часамъ такимъ образомъ: „Оттепель возрожденіе природы; оттепель же обнаженіе всѣхъ навозныхъ кучъ“. Или онъ думаетъ о томъ, что если бы, вмѣсто болота, очутился зеленый лугъ... и т. д. Но вотъ является герой, городничій Фейеръ, взяточникъ, который усовершенствовалъ свою часть отличнѣйше, какъ говоритъ Гоголь въ „Женитьбѣ“. Мастерски описываетъ авторъ продѣлки городничаго. Требуютъ, напримѣръ, изъ губерніи, чтобы была къ именинамъ прислана рыба, „китъ, не китъ, а около того“. Но такой рыбы нѣтъ. Есть рыба, но „то съ рыла вся въ именинника вышла, скажутъ личность, то молокъ мало“ и т. д. „Задумается Фейеръ, да и засадитъ всѣхъ рыболововъ въ сибирку. Тѣ чуть не плачутъ“. Дѣло, однако, кончилось тѣмъ, что „являлась рыба, и такая именно, какъ быть слѣдуетъ, во всѣхъ статьяхъ“. Въ другомъ мѣстѣ подьячій разсказываетъ: „...Вотъ, пріѣхалъ Фейеръ на городничество и сзываетъ всѣхъ заводчиковъ (а у насъ ихъ немало; до пятидесяти штукъ въ городѣ-то)“. Городничій требуетъ по три бѣленькихъ съ каждаго. Заводчики не соглашаются. „Ладно“, говоритъ Фейеръ. „Чрезъ недѣлю, глядь—что ни на есть, къ первому кожевенному заводчику съ обыскомъ: кожи-то, молъ, у тебя краденыя. Краденыя-некраденыя, однако, откуда взялись и у кого купилъ, заводчикъ объяснить не могъ. Ну, говоритъ, не давалъ трехъ бѣленькихъ, давай пятьсотъ. Тотъ, было, ужъ и въ ноги, нельзя ли поменьше, куда тебѣ, и слушать не хочетъ. Отпустилъ его домой, да не одного, а съ сотскимъ. Принесъ заводчикъ деньги, да все думаетъ, не

будетъ ли милости, не согласится ли на двѣсти рублевъ. Сосчиталъ Фейеръ деньги и положилъ ихъ въ карманъ. Ну, говоритъ, принеси остальныя триста. Опять кланяться сталъ купецъ, да нѣтъ, одеревенѣлъ человѣкъ какъ одеревенѣлъ, твердитъ одно и то же. Попробовалъ, еще сотню принесъ, и ту въ карманъ положилъ и опять: „Остальныя двѣсти!“ И не выпустилъ-таки изъ сибирки, доколѣ всѣ сполна не заплатилъ“. Въ каждомъ изъ „Губернскихъ очерковъ“, точно такимъ же образомъ, въ основаніи находится мысль, выраженная всегда очень удачно.

„Въ „Старцѣ“, напримѣръ, лицемѣрство и продѣлки раскольниковъ; въ очеркѣ, подъ названіемъ „Что такое коммерція?“ чрезвычайно характеристически передано ложное понятіе о торговлѣ и т. п. Желательно было бы, однако, видѣть въ „Губернскихъ очеркахъ“ болѣе примирительнаго характера. А то невольно замѣчаешь, что авторъ говоритъ съ предубѣжденіемъ противъ провинціи; онъ раздраженъ противъ нея, онъ нападаетъ на все и на всѣхъ безъ исключенія, говоритъ о провинціи, какъ о величайшемъ несчастіи для человѣка. Понятно, что бытъ лицъ, описываемыхъ авторомъ, не могъ не возбудить въ немъ справедливаго, большею частью, негодованія. По тѣмъ не менѣе нападки на провинцію преувеличены; несправедливо такъ говорить о всей провинціи: и тамъ есть благородные люди... Это раздраженіе автора выражается, напримѣръ, въ очеркѣ, подъ названіемъ „Скука, мысли вслухъ“: „О, провинція! ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодѣятельность ума охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать!“

Въ очеркѣ „Княжна Анна Львовна“ говорится: „И между тѣмъ—замѣчательная вещь! даже личность, одаренная наиболѣе деликатными нервами, рѣдко успѣваетъ отдѣлаться отъ сокрушительнаго вліянія этой миніатюрной и по наружности столь непривлекательной жизни! Не вдругъ, а день-за-день воровски подкрадывается къ нему провинціальная вонь и грязь...“. И далѣе: „И вотъ провинціальная жизнь предлагаетъ вамъ свои дешевыя матеріальныя удобства, свою лѣнь, свои сплетни, свой нетрудный и незамысловатый развратъ...“ Княжна Анна Львовна устраиваетъ лотерею въ пользу бѣдныхъ. Положимъ, что побужденія ея не были совершенно чисты, но, какъ бы то ни было, деньги были

собраны. Авторъ говоритъ: „Брандмейстеръ раздалъ по два цѣлковыхъ всѣмъ безносымъ старухамъ, которыя оказались на ту пору въ Крутогорскѣ; старухи, въ свою очередь, внесли эти деньги полностью въ акцизно-откупное комиссіонерство...“ Это уже слишкомъ!.. Нельзя не замѣтить также торопливости, неполноты въ нѣкоторыхъ „очеркахъ“. Событія иногда недостаточно пояснены, описаны слишкомъ круто. Такъ, напримѣръ, симпатія княжны Анны Львовны къ подьячему Техоцкому.

Г. Щедринъ часто говоритъ о тѣхъ отношеніяхъ общественныхъ и семейныхъ, о которыхъ вообще стараются говорить короче... Хотя эти непріятно поражающія отношенія между непрекрасной половиной рода человѣческаго и прекрасной составляютъ въ описываемомъ быту истинный недостатокъ, но авторъ называетъ вещи почти по имени, чего никакъ нельзя допустить въ литературномъ произведеніи. Особенно рѣзко это выдается въ „Выгодной женитьбѣ“ и „Порфиріи Петровичѣ“.—Языкъ соотвѣтствуетъ лицамъ и ихъ характерамъ. Презрѣніе къ родному слову и ненужное, частое употребленіе французскаго языка есть, къ стыду нашего общества, совершенная правда. Напрасно только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ самъ авторъ смѣшиваетъ два языка, хотя бы это было и для ироніи. Г. Щедринъ выражается, вообще, мѣтко. Слово эквилибристика, напримѣръ, удачно опредѣляетъ продѣлки и низкопоклонство крапивнаго сѣмени—подьячихъ. Въ другомъ мѣстѣ: „Словесности совсѣмъ нѣтъ... скверно!“—Очень хорошо выражены нѣкоторыя комическія сцены, хотя смѣшное бываетъ часто и жалко...

Произведеніе Щедрина замѣчательно отсутствіемъ сухости и утомительнаго, почти неизбѣжнаго описанія мелочей: разсказъ постоянно живъ и интересенъ. Съ особенною вѣрностью обличается въ „Губернскихъ очеркахъ“ вся гнусность взяточничества. Мы слышимъ здѣсь не одни громкія восклицанія; мы какъ бы видимъ предъ собою живые образы Фейеровъ и Ивановъ Петровичей; видимъ горькую дѣйствительность... И въ этомъ смыслѣ произведеніе г. Щедрина носитъ на себѣ печать современности: общество громко и открыто требуетъ искорененія этого зла, съ благоговѣніемъ повторяя многозначительныя слова Державной Власти, призывающія въ суды справедливость.

Л. У.

По поводу „Очерковъ“ г. Щедрина [1]).

*) Г. Щедринъ принадлежитъ къ тѣмъ немногимъ литературнымъ личностямъ, которыя на первыхъ же порахъ своей дѣятельности становятся во главѣ того или другого литературнаго движенія. Его „Очерки“ съ жадностью читаются всѣми; отъ него каждый разъ ждутъ какого-нибудь новаго слова, развитія какой-нибудь гуманной идеи. Вопросъ, имъ поднятый, близокъ нашему сердцу. Русское общество дошло уже до той поры, когда каждый изъ членовъ его

---

1) „С.-Петербургскія Вѣдомости“, 1857 г., № 118.

*) „Спб. Вѣдом.“ являются патріархомъ русской журналистики: онѣ возникли, какъ продолженіе „Вѣдомостей“, созданныхъ, по волѣ Петра Великаго, въ 1703 г. Съ момента возникновенія „Спб. Вѣдом. (1728 г.) и до нашихъ дней онѣ претерпѣли многоразличныя видоизмѣненія, то проводя „густо-консервативные“ взгляды, то умѣренно-либеральные. Въ тотъ періодъ ихъ изданія, въ который написана здѣсь предлагаемая статья, онѣ выходили подъ редакціей А. Н. Очкина. Этотъ періодъ „Спб. Вѣд.“ нельзя считать героическимъ, а наступаетъ онъ съ 1863 г. по 1874 г. Въ это время редактированіе находилось въ рукахъ извѣстнаго В. Ѳ. Корша, которому удалось собрать вокругъ себя большое количество способныхъ сотрудниковъ и сдѣлать газету руководящимъ органомъ, съ умѣренно-либеральной программой. Въ 1874 г. главнымъ управлен. по дѣламъ печати заявлено было Коршу, что онъ не можетъ быть редакторомъ газеты. Редакторомъ сталъ Е. А. Саліасъ, а газета, съ Высочайшаго соизволенія, передана изъ вѣдѣнія акад. наукъ въ вѣдѣніе министерства народн. просвѣщенія. Кромѣ того, заявлено было, что въ числѣ сотрудниковъ не можетъ состоять В. П. Буренинъ, бывшій въ тѣ времена рѣшительнымъ сторонникомъ западническихъ идей. Послѣ этого ушло большинство сотрудниковъ газеты, и она стала быстро падать. Вмѣсто прибыли, „Спб. Вѣдом.“ стали приносить убытокъ. Газета снова перешла въ другія руки; сначала къ В. В. Комарову (1877 г.), а затѣмъ къ В. Т. Авсѣенко (1883 г.). Авсѣенко попытался, было, снова оживить газету и окрасить ее въ менѣе патріотическіе цвѣта, но это ему не удалось, а удалось, до извѣстной степени, князю Э. Ухтомскому (1896—1903 г.). Сейчасъ газета снова возвращается ко временамъ Комарова.

Примѣч. Н. Денисюка.

чувствуетъ какое-то томленіе, какое-то страданіе нравственное отъ своихъ собственныхъ недуговъ. Сознаемъ мы, что болѣзнь, насъ постигшая, не пришедшая откуда-нибудь со стороны, а наша собственная, родовая, нами самими вскормленная и взлелѣянная; и теперь, когда почувствовали мы въ себѣ силу очиститься отъ того зла, которое тихо, почти незамѣтно для насъ самихъ, успѣло войти въ нашу нравственную природу и получить тамъ тепленькое мѣстечко, теперь, говоримъ мы, намъ понадобились такіе дѣятели, которые, обладая свѣтлымъ умомъ и мѣткой наблюдательностью, начали бы вскрывать наши общественныя язвы, выставлять на видъ весь соръ, всю нравственную грязь, которая въ продолженіе многихъ лѣтъ накоплялась и сохранялась по уголкамъ общества. Однимъ изъ такихъ дѣятелей явился въ настоящее время г. Щедринъ. Онъ въ своихъ увлекательныхъ разсказахъ, такъ ловко и вѣрно обрисовывающихъ дѣйствительность, затронулъ одну изъ важныхъ сторонъ нашей болѣзни—неправду и взяточничество.

То, что таилось и жило самостоятельною жизнью въ какомъ-нибудь отдаленномъ Крутогорскѣ и подобныхъ ему городахъ нашего отечества, всѣ эти исправники, становые, головы, которые до сихъ поръ свободно и молча, съ сознаніемъ собственнаго достоинства, прогуливались по лицу русской земли и собирали за это установленную виру, всѣ эти рыцари новаго времени вдругъ заговорили у г. Щедрина и съ какой-то дѣтской наивностью начали разсказывать о многотрудномъ и многозначительномъ прохожденіи своего служебнаго поприща. Публика съ восторгомъ приняла эти разсказы, да и какъ ей было не радоваться,—она ждала г. Щедрина, ей непремѣнно нужно было услышать живое, свободное слово истины, взглянуть прямо, безъ всякихъ прикрытій на то, чего она не могла или, быть-можетъ, по слабости человѣческой, не хотѣла въ себѣ видѣть. Для г. Щедрина, при его наблюдательности и свѣтломъ взглядѣ на вещи, открылось широкое поле дѣятельности, на которомъ онъ, вѣроятно, достигнетъ благотворныхъ результатовъ, но... какъ досадно, что приходится употребить эту несносную частицу, говоря о достоинствахъ г. Щедрина! Впрочемъ, кому много дано, отъ того много должно и требовать, и чѣмъ строже общество судитъ какого-нибудь писателя, тѣмъ болѣе, значитъ, оно имъ и интересуется... Итакъ, говоря о дѣятельно-

сти г. Щедрина, мы хотѣли предложить вопросъ: былъ ли онъ постоянно вѣренъ той основной идеѣ, которую началъ проводить въ своихъ „Очеркахъ“? И ежели замѣчались переходы на другую дорогу, можетъ-быть, для него незнакомую и не совсѣмъ даже понятную, то что выносилъ онъ оттуда для общества? Вопросы эти, по нашему мнѣнію, настолько важны, что заслуживаютъ общаго вниманія. Задача г. Щедрина, какъ мы уже говорили, заключалась въ томъ, чтобы поднести на судъ публики обвинительный актъ „прошлаго времени“.

И вотъ, во имя правды, является у него цѣлый рядъ очерковъ, въ которыхъ такъ ясно, такъ осязательно понятна становится намъ наша нравственная порча. Мы видимъ, что и Фейеръ, и Живоглотъ, и Алексѣй Дмитріевичъ наши братья по духу и по понятіямъ, мы узнаемъ въ нихъ себя и готовы воскликнуть: „Здѣсь Русью пахнетъ!“ Но, при всей поразительной вѣрности выставленныхъ въ „Очеркахъ“ лицъ, мы чувствуемъ, что въ самомъ авторѣ какъ-будто чего-то недостаетъ, и невольно спрашиваемъ себя: не портретистъ ли онъ только? Не потому ли такъ хорошо очерчены его герои, что сами они дѣлаются болѣе рельефными и выдаются изъ общей массы, потому что рѣдѣетъ и уменьшается число ихъ сотоварищей, дѣлается постепенный наплывъ новыхъ лицъ съ иными побужденіями и понятіями, между которыми имъ какъ-то тѣсно, несподручно живется, и они, такимъ образомъ, сами себя выявляютъ? Едва ли не утвердительно можно отвѣтить на эти вопросы. Мы не замѣчаемъ въ авторѣ „Очерковъ“ той силы художественнаго таланта, которая выводитъ наружу и то, что не выказывается само собою, которая въ личности, повидимому, очень обыкновенной, не останавливающей на себѣ вниманія наблюдателя, находитъ какое-нибудь маленькое пятнышко, въ сущности очень важное, и, выставляя его на видъ, дѣлаетъ незамѣчательное лицо замѣчательнымъ. Такъ, Гоголь обрисовалъ Петрушку, Селифана, Манилова, даму пріятную во всѣхъ отношеніяхъ и даму просто пріятную и др. Теперь эти личности всѣмъ намъ понятны; мы видимъ и жизнь ихъ, и интересы, и ихъ слабыя стороны; а между тѣмъ для обыкновеннаго наблюдателя они прошли бы незамѣченными. Лица, къ которымъ не за что, повидимому, прицѣпиться, которыхъ долженъ искать писатель и потомъ выводить изъ общей массы,

живутъ и теперь между нами, и все-таки мы ихъ не видимъ, потому что попытки выставить ихъ остаются безъ успѣха: передъ нами являются какіе-то блѣдные, безжизненные субъекты, не оставляющіе послѣ себя никакого слѣда въ читателѣ. Такими были въ нынѣшнемъ году у г. Щедрина— Горехвастовъ въ разсказѣ „Талантливая натура" и Корепановъ и Лузгинъ въ другомъ разсказѣ подъ тѣмъ же заглавіемъ. Личности, подобныя Горехвастову, встрѣчаются также у г. Тургенева; это разныя варіаціи на одну и ту же тему. Горехвастовъ, шулеръ, нѣсколько разъ попадавшійся въ руки полиціи, и, какъ большая часть шулеровъ, воображающій себя или поэтомъ, или трагикомъ, разсказываетъ автору очерка нѣкоторые случаи изъ своей жизни. Г. Щедринъ записалъ этотъ разсказъ и представилъ на судъ публики. Но съ его стороны не было употреблено никакихъ усилій заставить своего героя сказать что-нибудь болѣе характеристическое. Мы не видимъ ничего типичнаго, ничего своеобразнаго въ представленной имъ личности, — предъ нами олько Горехвастовъ, человѣкъ, ничѣмъ не отличающійся отъ цѣлой массы шулеровъ. Это не то, что Ноздревъ, напримѣръ, тоже шулеръ, который съ первымъ же выходомъ на сцену, въ двухъ-трехъ словахъ, высказываетъ себя весь, со всѣми малѣйшими оттѣнками характера, и дѣлается, такимъ образомъ, типомъ, получаетъ свою особую физіономію. Въ немъ нѣтъ ничего закрытаго, предъ нашими глазами выставляется вся нравственная его природа, и такое умѣніе показывать описываемую личность мы называемъ—художественностью. Напротивъ, въ Горехвастовѣ есть что-то недосказанное; читая этотъ очеркъ, все ждешь, что вотъ-вотъ авторъ заставитъ своего героя поговорить откровеннѣе о самомъ себѣ, а между тѣмъ разсказъ кончается, и все-таки не можешь дать себѣ яснаго отчета—что такое Горехвастовъ, въ чемъ заключается его особенность, гдѣ та сторона его характера или образа мыслей, которою онъ отличается отъ другихъ, подобныхъ ему людей? Вѣдь, въ каждомъ изъ насъ есть что-нибудь, чѣмъ мы разнимся одинъ отъ другого. Авторъ не отвѣчаетъ ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ, такъ какъ самъ не нашелъ ничего серіознаго въ Горехвастовѣ. Выскажись Горехвастовъ больше—картина была бы полнѣе. Другая личность въ этомъ же разсказѣ, Рогожинъ, по нашему мнѣнію, заслуживаетъ гораздо большаго уваже-

нія, хотя онъ и стоитъ на второмъ планѣ. Вотъ тутъ, можетъ-быть, подтвердится высказанное нами предположеніе, что г. Щедрину вполнѣ удавались только тѣ лица, которыя всякому бросались своею оригинальностью и сами собою даются въ руки писателю. Изъ самаго описанія Рогожина, изъ первыхъ словъ, которыя онъ „пролепеталъ“ Горехвастову: „Да-съ... Это точно... пріятное зрѣлище!..“ мы уже составляемъ о немъ понятіе, какъ о маленькомъ подленькомъ человѣкѣ, готовомъ, не задумавшись, рѣшиться на какой-нибудь гадкій поступокъ, но только подъ чьимъ-нибудь прикрытіемъ. Онъ постоянно ищетъ себѣ другого, болѣе себя сильнаго, хотя даже физически, бѣгаетъ около него, увивается, хладнокровно переноситъ насмѣшки, дерзости,—и все потому только, что онъ *долженъ* при комъ-нибудь состоять; такое ужъ его назначеніе. Словомъ, это—личность, постоянно посящая на себѣ безличный характеръ, что и составляетъ ея полную, неотъемлемую собственность.

Понятно, что, при наблюдательности г. Щедрина, Рогожинъ не могъ ускользнуть отъ его взгляда, и мы имѣемъ теперь его прекрасный портретъ, несмотря на то, что не онъ, собственно, обратилъ на себя главное вниманіе автора въ разсказѣ „Талантливая натура“. Въ предисловіи ко второму очерку, подъ тѣмъ же заглавіемъ, г. Щедринъ, говоря о „своеобразности провинціальнаго печоринства“, высказываетъ, между прочимъ, въ слѣдующихъ словахъ весьма дѣльную и серіозную мысль: „Молодой человѣкъ (говоритъ онъ), напротивъ того, начинаетъ уже смутно понимать, что вокругъ него есть что-то неладное, разрозненное, неклеящееся; онъ видитъ себя въ странномъ противорѣчіи со всѣмъ окружающимъ, онъ хочетъ протестовать противъ этого, но, не обладая никакими живыми началами, необходимыми для примиренія, остается при одномъ зубоскальствѣ или псевдо-трагическомъ негодованіи“. Вотъ это-то переходное состояніе—отъ противорѣчія съ окружающей обстановкой до отупѣвшаго зубоскальства или ложнаго трагизма—заслуживало бы, по нашему мнѣнію, особеннаго вниманія автора. Весьма интересно бы было прослѣдить самый процессъ перехода отъ одного состоянія къ другому, подмѣтить ту общечеловѣческую сторону нашей нравственной природы, въ силу которой даже „необладающій никакими живыми началами“ готовъ заявить свой протестъ при столкновеніи съ общественнымъ

зломъ. Г. Щедринъ ничего этого не раскрылъ намъ. Корепановъ постоянно надъ всѣмъ насмѣхается, хотя иногда и довольно остроумно, и говоритъ, что въ немъ „кипитъ какой-то страшный, неистощимый источникъ злобы“ противъ всѣхъ его окружающихъ; а Лузгинъ дошелъ уже до трагизма. Онъ восклицаетъ: „Для чего же природа не сдѣлала меня Зенономъ, а наградила наклонностями сибарита, для чего она не закалила мое сердце для борьбы съ терніями суровой дѣйствительности, а, напротивъ того, размягчила его и сдѣлала способнымъ откликаться только на доброе и прекрасное? Для чего, однимъ словомъ, она сдѣлала меня артистомъ, а не труженикомъ?..“ И потомъ самъ же отвѣчаетъ себѣ на эти вопросы: „Природа-то, вѣдь, дура выходитъ!“

Въ разсказахъ Корепанова и Лузгина о ихъ воспитаніи мы не видимъ никакой борьбы съ окружающею ихъ обстановкой, не замѣчаемъ и того смутнаго пониманія правды, о которомъ такъ хорошо говоритъ самъ г. Щедринъ въ своемъ предисловіи къ разсказу. А жаль! Для насъ было бы гораздо пріятнѣе и поучительнѣе посмотрѣть на эту нравственную неустойку человѣка предъ внѣшними препятствіями, чѣмъ на какіе-то блѣдные портреты провинціальныхъ рыцарей. Вотъ что значитъ заходить въ чужую, мало знакомую сферу! Посмотрите, какъ безукоризненно-хорошъ бываетъ тотъ же авторъ, когда онъ описываетъ бытъ раскольниковъ или чиновническій міръ, съ его мелкими страстями, съ его исключительной, по какой-то особой мѣркѣ сложенной, жизнью. Здѣсь онъ хозяинъ своего дѣла; здѣсь все ему удается, и яркими красками рисуетъ онъ картины—одна другой поразительнѣе и оригинальнѣе... По нашему мнѣнію, та сфера, въ которую вошелъ г. Щедринъ, начиная писать свои „Очерки“, такъ много заключаетъ въ себѣ нетронутыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ въ высшей степени интересныхъ сторонъ, что, право, обработывая ихъ, онъ оказалъ бы русской литературѣ и обществу гораздо большую услугу, чѣмъ разсказами о Горехвастовѣ, Корепановѣ и др. Посмотрите, какъ правдивъ и хорошъ разсказъ „Матушка Мавра Кузьмовна“. Сейчасъ видно, что авторъ твердою рукой писалъ его отъ начала до конца, что каждое слово, въ немъ высказанное, тщательно имъ осмотрѣно и даже, быть-можетъ, изучено. Оттого въ немъ есть и полнота и законченность. Или, возьмемъ, другой

очеркъ, подъ заглавіемъ „Первый шагъ", изъ котораго мы позволяемъ себѣ выписать нѣсколько строкъ: „Примѣровъ хорошихъ предъ собою мы видимъ мало (говоритъ подсудимый чиновникъ). Много народа служитъ и пьянаго, совсѣмъ отчаяннаго, много и такого, что взятку за самое обыкновенное дѣло считаютъ. Стало-быть, подражать тутъ некому. А житье наше, осмѣлюсь вамъ доложить, самое незавидное: какъ-есть узникъ. Придешь въ присутствіе часовъ съ осьми, сидишь до двухъ, сходишь куда ни на есть перекусить, а въ пять часовъ опять въ присутствіе, и сиди до одиннадцати. Выходитъ, въ сутки поработаешь этакъ не меньше двѣнадцати часовъ, и все согнувшись... Какъ кончится день, въ глазахъ рябитъ, грудь ломитъ, голова идетъ кругомъ,— ну, и выходишь изъ присутствія, словно пьяный, шатаешься. Лѣтомъ всего тяжелѣе бываетъ. Иной разъ сходилъ бы за городъ, посмотрѣлъ бы, что такая за зелень въ лугахъ называется, грудь хоть бы расшаталъ на вольномъ воздухѣ—и вотъ нѣтъ да и нѣтъ! Смотришь иногда, ѣдутъ начальники или другіе господа на большихъ долгушахъ, ѣдутъ съ самоварами, съ корзинами—и позавидуешь... Или, вотъ, возвращаешься ночью домой изъ присутствія, рѣчнымъ берегомъ, а на той сторонѣ туманы стелятся, огоньки горятъ, паромъ по рѣкѣ бѣжитъ, сонная птица въ водѣ заполощется, и все такъ звонко и чутко отдается въ воздухѣ,—ну, и остановишься тутъ съ бумагами на берегу, и самому тебѣ куда-то шибко хочется".

Какую безотрадную, исполненную самыхъ живыхъ интересовъ картину рисуетъ авторъ въ этихъ немногихъ строкахъ!.. Вы ясно и отчетливо представляете себѣ этого бѣднаго труженика-чиновника, который не имѣетъ возможности попользоваться даже чистымъ воздухомъ; вы видите его сидящимъ за канцелярскимъ столомъ надъ какой-нибудь бумагой,—лицо его красно отъ прилива крови, на лбу выступилъ потъ, въ глазахъ несвязною вереницей вертятся буквы, и онъ все пишетъ, все пишетъ... Если же подчасъ и захочется ему „чего-то шибко", въ чемъ онъ не можетъ дать себѣ яснаго отчета, то вслѣдъ за этой дерзкой мыслью явится непремѣнно другая: столоначальникъ человѣкъ строгій,— сейчасъ обратитъ вниманіе, что рука его перестала дѣйствовать, и, пожалуй, еще удержитъ жалованье за нерадѣніе къ службѣ, а безъ него, безъ этихъ кровью добытыхъ пяти

рублей, ему нечего будетъ ѣсть, и онъ гонитъ отъ себя прочь это непрошенное желаніе чего-то неопредѣленнаго и еще прилежнѣе начинаетъ скрипѣть перомъ по бумагѣ... Конечно, стѣснять свободу автора никто не имѣетъ права,— онъ воленъ писать все, что ему угодно, но слѣдить за его направленіемъ обязанъ каждый, кого интересуетъ современное образованіе общества; и въ сферѣ, незнакомой писателю, гдѣ онъ дѣйствуетъ какъ-будто ощупью, по нашему мнѣнію, является или отсутствіе всякаго направленія, или оно принимаетъ ложный характеръ. И то и другое неутѣшительно. Да и неужели не знаетъ г. Щедринъ, что талантъ даровитаго писателя составляетъ, нѣкоторымъ образомъ, собственность общества? Оно отдаетъ ему всѣ завѣтныя, всѣ дорогія свои надежды и ждетъ отъ него того живого слова, которое бы могло пролить новый свѣтъ на окружающую его дѣйствительность.

Неужели не знаетъ онъ и того, что на него смотрятъ много глазъ и что между читающими людьми найдутся и такіе, которые твердо станутъ за правое дѣло и не дадутъ въ обиду ни одной здравой идеи? Но, какъ видно, г. Щедринъ ничего этого не принималъ въ расчетъ, когда писалъ свои послѣдніе очерки—„Богомольцы, странники и проѣзжіе“.

Всякій, кто со вниманіемъ прочитаетъ ихъ, почти съ достовѣрностью можетъ сказать, что автору совершенно незнакомъ этотъ предметъ, за который онъ взялся. Онъ не только не изучилъ его, но даже и не наблюдалъ серіозно, тогда какъ это еще совершенно новая, непочатая сторона нашей народной жизни, требующая серіознаго взгляда, а не поверхностнаго и односторонняго, какой выказалъ г. Щедринъ въ своемъ очеркѣ. Всѣ эти разсказы странниковъ о юницѣ и др. можно принять за поэтическое созданіе нашихъ самородныхъ трубадуровъ, можно искать въ нихъ, пожалуй, матеріалы для національной поэзіи, но ничего того, что въ нихъ хочетъ видѣть г. Щедринъ. Если разсказъ о Пахомовнѣ—сказка, записанная съ чьихъ-либо словъ, то нужно было такъ и отмѣтить, сказавъ, гдѣ и отъ кого она получена; если это стихъ въ родѣ того, какіе поютъ нищіе, то опять-таки слѣдовало бы пояснить это вначалѣ... Неужели же мы должны принять этотъ разсказъ о похожденіяхъ Пахомовны съ полнымъ довѣріемъ къ его справед-

ливости? Но нѣтъ, это ужъ было бы слишкомъ смѣлое предположеніе съ нашей стороны; мы скорѣе готовы допустить, что г. Щедрину, вслѣдствіе какихъ-либо причинъ, не захотѣлось или не удалось обратить побольше вниманія на свой трудъ. Эта догадка будетъ еще нѣсколько извинительна для автора, хотя для насъ она не представляетъ большого утѣшенія.

Интересно, между прочимъ, то обстоятельство, что г. Щедринъ самъ, своей же статьей, доказываетъ, что талантъ его дѣлается несостоятельнымъ въ чуждой ему сферѣ. Среди трехъ его очерковъ: „Общая картина“, „Антонъ Пименовъ“ и „Пахомовна“, какъ оазисъ въ пустынѣ, являются нѣсколько страницъ, на которыхъ онъ мастерски передаетъ народное гулянье на городской площади. Въ этомъ небольшомъ описаніи мы видимъ прежняго г. Щедрина, его умѣнье придать колоритъ картинѣ, его наблюдательность,—словомъ, видимъ все то, чѣмъ такъ любовались въ другихъ его очеркахъ. Кажется, что эти нѣсколько страницъ сами собою, невольно какъ-будто, вышли изъ-подъ пера автора въ силу того нравственнаго чутья, которое не позволяетъ человѣку развитому отступать отъ избранной имъ прямой дороги; а онъ какъ-будто упрямится, не хочетъ слушать своего внутренняго голоса и опять сворачиваетъ въ сторону...

Объ очеркѣ „Госпожа Музовкина“ мы говорить не будемъ, потому что онъ написанъ умно и съ большимъ тактомъ, а хорошаго и безъ насъ говорили о г. Щедринѣ. Что касается до четвертаго очерка, подъ заглавіемъ: „Хрептюгинъ и его семейство“, то и въ немъ мы замѣчаемъ нѣкоторую блѣдность характеровъ и отчасти непослѣдовательность, сравнительно съ другими очерками, обрисовывающими жизнь и отношенія чиновниковъ. Считаемъ совершенно лишнимъ разсказывать содержаніе этого очерка,—вѣроятно, онъ извѣстенъ всѣмъ читателямъ, но не можемъ утерпѣть, чтобы не выписать нѣсколькихъ мѣстъ, подтверждающихъ наше мнѣніе. Возьмемъ, напримѣръ, описаніе столоначальника палаты,—одного изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ: „Другой спутникъ,—говоритъ авторъ,—птица небольшая, да и немалая, той самой палаты столоначальникъ, которая и Хрептюгина, и Халатова, и всѣхъ армянъ, еллиновъ и іудеевъ воспитываетъ, „да негладны и безпечальны пребываютъ“. Прозывается онъ Прохоръ Семеновъ Боченковъ, видомъ кляузенъ,

жидокъ и зазоренъ, непрестанно чешетъ себѣ колѣнки, душу же хранитъ во всей чернильной испорченности, всегда готовую на послугу или на пакость, смотря по силѣ возможности. Его тоже разломило въ дорогѣ, такъ какъ онъ ходитъ по комнатѣ, аки вѣтромъ колыхаемый, что возбуждаетъ немалую, хотя и подобострастную веселость въ Хрептюгинѣ..." Какимъ же образомъ чиновникъ, какъ и всѣ мелкоплавающіе чиновники, готовый на послугу, или на пакость, — положимъ и важную даже, но вѣдь исподтишка, — возбуждаетъ въ откупщикѣ (человѣкѣ богатомъ, значитъ), подобострастную веселость? Не самъ ли г. Щедринъ, не помнимъ, въ какомъ, именно, очеркѣ прошлаго года, говоря о чинахъ губернскаго города, выставляетъ откупщика, какъ человѣка съ большимъ вѣсомъ и значеніемъ? И мы сильно сомнѣваемся, чтобы какой-нибудь столоначальникъ, хотя бы и имѣющій вліяніе на откупъ, рѣшился такъ фамильярно и даже невѣжливо обращаться съ человѣкомъ, ублаготворяющимъ весь городъ, за котораго, смѣемъ думать, не откажется постоять кто-нибудь и поважнѣе столоначальника. Посмотримъ же теперь, какъ выставлены эти отношенія въ предлагаемомъ разсказѣ. Разговоръ между Хрептюгинымъ, Боченковымъ и содержателемъ постоялаго двора:—„Видно, Богу помолиться собрались, Иванъ Онуфричъ?"—спрашиваетъ вошедшій хозяинъ.—„Да, надо помолиться. Онъ насъ милуетъ, и мы Ему молиться должны",—отвѣчаетъ Иванъ Онуфричъ отрывисто.—„Изъ сидѣльцевъ..."—начинаетъ Анна Тимоѳевна, но Иванъ Онуфричъ бросаетъ на нее смертоносный взглядъ, и она робѣетъ.—„Вы вѣчно какую-нибудь глупость хотите сказать, maman",—замѣчаетъ Аксинья Ивановна.—„Что же за глупость! Извѣстно, папенька изъ сидѣльцевъ вышли, Аксинья Ивановна! — вступается Боченковъ и, обращаясь къ г. Хрептюгиной, прибавляетъ:— Это вы правильно, Анна Тимоѳевна, сказали: Ивану Онуфричу денно и нощно Бога молить слѣдуетъ за то, что Онъ его, Царь Небесный, въ большіе люди произвелъ. Кабы не Богъ, такъ гдѣ бы вамъ родословной-то своей искать? Въ червивомъ царствѣ, въ мутномъ государствѣ? А теперь вотъ Иванъ Онуфричъ, поди-кось, отъ римскихъ цезарей, чай, себя по женской линіи производитъ!" Далѣе въ томъ же разговорѣ: —„Ну, ужъ ты тамъ какъ хочешь, Иванъ Онуфричъ,—прерываетъ Боченковъ, почесывая поясницу:—а я до слѣдую-

щей станціи на твое мѣсто въ карету сяду, а ты ступай въ кибитку. Потому что ты какъ тамъ ни ломайся, а у меня все-таки кости дворянскія, а у тебя холопскія". Чрезъ страницу:—„Вѣдь, вотъ, кажется, пустой напитокъ чай!— замѣчаетъ благодушно Иванъ Онуфричъ:—а не дай намъ его китаецъ,такъ суматоха порядочная можетъ изъ этого выйти".— „А какая суматоха! — возражаетъ Боченковъ: — не дастъ китаецъ чаю, будемъ и липовый цвѣтъ пить! благородному человѣку все равно, было бы только тепло! Это вамъ, брюханамъ, будетъ худо, потому что гнилье ваше некому будетъ сбывать!" На стр. 434: „Ну, однако, мы теперича на твой счетъ и сыти и пьяни... выходитъ, треба есть намъ соснуть. Я пойду, лягу въ каретѣ, а вы, мадамы, какъ будетъ все готово, можете легонько притти и сѣсть... Только, чуръ, не будить меня, потому что я съ просоньевъ лютъ бываю! А ты, Иванъ Онуфричъ, ужъ такъ и быть, въ кибиткѣ тѣло свое бѣлое маленько попротряси!" Изъ представленныхъ здѣсь выписокъ можно предположить только одно, что между Хрептюгинымъ и Боченковымъ есть какая-нибудь тайна, вслѣдствіе которой неважная птица—столоначальникъ может держать въ рукахъ богатаго человѣка; но такъ какъ авторъ ничего не говоритъ объ этомъ, то мы и не можемъ ручаться за достовѣрность своего предположенія... Впрочемъ, во всякомъ случаѣ современная русская литература должна быть благодарна г. Щедрину за ту услугу, которую онъ приносилъ ей, если ужъ и не приноситъ теперь. Будемъ ждать и надѣяться, что онъ опять войдетъ въ знакомую ему сферу и станетъ дарить насъ попрежнему прекрасными разсказами.

Студитскій.



„Губернскіе очерки".

Изъ записокъ отставного надворнаго совѣтника Щедрина. Собралъ и издалъ М. Е. Салтыковъ. Томъ третій. Москва. 1857 [1]).

*) Прошелъ съ небольшимъ годъ съ тѣхъ поръ, какъ первые „Очерки" г. Щедрина появились въ „Русскомъ Вѣстникѣ" и встрѣчены были восторженнымъ одобреніемъ всей русской публики. До настоящей минуты г. Щедринъ не сходитъ съ своей арены и продолжаетъ свою благородную борьбу, не обнаруживая ни малѣйшаго истощенія силъ. Онъ печатаетъ разсказъ за разсказомъ, постоянно выказывая въ

[1]) „Современникъ", 1857 г., 12 кн.

*) Эта статья принадлежитъ выдающемуся русскому критику Николаю Алексѣевичу Добролюбову (род. въ 1836 г., ум. въ 1861 г.). Происходя изъ духовнаго званія, Д. сначала воспитывался въ семинаріи, а оттуда перешелъ въ петербургскій педагогическій институтъ. Сначала онъ неудачно работалъ надъ беллетристическими произведеніями, но съ 1856 г. начинается его литературная извѣстность. Онъ помѣщаетъ въ „Современникѣ" историко-литературную статью „О собесѣдникѣ любителей россійскаго слова". Статья поражаетъ всѣхъ эрудиціей автора. Окончивши институтъ, онъ вступаетъ, по приглашенію Некрасова, въ составъ редакціи журн. „Современникъ" и сразу занимаетъ выдающееся положеніе въ литературѣ. Непосильный трудъ и матеріальная нужда подтачиваютъ здоровье Д., и онъ принужденъ уѣхать лѣчиться за границу, въ маѣ 1860 г. Вернувшись оттуда въ ноябрѣ 1861 г., онъ умираетъ отъ чахотки. Д. является типичнымъ представителемъ реалистической критики, для которой только тѣ произведенія цѣнны, которыя вѣрно отражаютъ жизненныя явленія. Д. дѣлалъ свои критическія статьи еще и публицистическими, чему сильно способствовала общественная жизнь 60-хъ годовъ. Для Д. въ художественномъ произведеніи прежде всего важна не форма, а идея, и только тогда онъ признаетъ за нимъ положительныя достоинства, ибо такое произведеніе имѣетъ общественное значеніе. Въ своихъ критическихъ статьяхъ онъ преслѣдуетъ ту же публицистическую задачу, и зачастую кажется, что онъ говоритъ не о произведеніи, а по поводу произведенія. Эта статья носитъ на себѣ всѣ особенности пріемовъ критики Добролюбова. *Примѣч. Н. Денисюка.*

нихъ, какъ великъ запасъ его средствъ, какъ неистощимъ источникъ его наблюденій. Мало того, къ нему постоянно присоединяются новые бойцы, и даже тѣ, которые молчали до сихъ поръ и прятались въ толпѣ безпечныхъ зрителей,— и тѣ, смотря на него и „вящшимъ жаромъ возгоря“, отважно ринулись на поле безкровной битвы, со всемогущимъ оружіемъ слова. Публика все еще съ любопытствомъ слѣдитъ за зрѣлищемъ этихъ подвиговъ, и разсказы *въ щедринскомъ родѣ* прежде всего прочитываются въ журналахъ. Но нельзя не видѣть, что теперь нѣтъ уже, ни въ публикѣ ни въ литературѣ, прежняго увлеченія, прежней горячности, и что многіе донашиваютъ теперь сочувствіе къ общественнымъ вопросамъ, какъ старомодное платье. Кто началъ читать русскіе журналы только съ нынѣшняго года и не имѣетъ понятія о томъ, что было у насъ два года тому назадъ, тотъ потерялъ нѣсколько прекраснѣйшихъ минутъ жизни. Странно говорить объ этомъ времени, какъ о давно-прошедшемъ: но тѣмъ не менѣе—нельзя сомнѣваться въ томъ, что оно прошло и что нескоро русская литература дождется опять такой же поры. Мы вообще какъ-то очень скоро и внезапно выростаемъ, пресыщаемся, впадаемъ въ разочарованіе, не успѣвши даже хорошенько очароваться. Растемъ мы скоро, истинно по-богатырски, не по днямъ, а по часамъ, но, выросши, не знаемъ, что дѣлать съ своимъ ростомъ. Намъ внезапно дѣлается тѣсно и душно, потому что въ насъ образуются все широкія натуры, а міръ-то нашъ узокъ и низокъ,—развернуться негдѣ, выпрямиться во весь ростъ невозможно. И сидимъ мы, съежившись и сгорбившись „подъ бременемъ познанья и сомнѣнья“ въ совершенномъ бездѣйствіи, пока не расшевелитъ насъ что-нибудь уже слишкомъ чрезвычайное. Одинъ изъ ученыхъ профессоровъ нашихъ, разбирая народную русскую литературу, съ удивительной прозорливостью сравнилъ русскій народъ съ Ильей-Муромцемъ, который сидѣлъ сиднемъ тридцать лѣтъ и потомъ, вдругъ, только выпивши чару пива крѣпкаго отъ каликъ перехожіихъ, ощутилъ въ себѣ силы богатырскія и пошелъ совершать дивные подвиги. Въ самомъ дѣлѣ, вся наша исторія отличается какой-то порывистостью: вдругъ образовалось у насъ государство, вдругъ водворилось христіанство, скоропостижно перевернули мы вверхъ днемъ весь старый бытъ свой, мгновенно догнали Европу и даже перегнали ее: теперь ужъ начинаемъ ее

побранивать, стараясь сочинить русское воззрѣніе... Такъ было въ большомъ, то же происходило и въ маломъ: рванемся мы вдругъ къ чему-нибудь, да потомъ и сядемъ опять, и сидимъ, точно Илья-Муромецъ, съ полнымъ равнодушіемъ ко всему, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ. Два года тому назадъ, насъ расшевелила война, заставившая убѣдиться въ могуществѣ европейскаго образованія и въ нашихъ слабостяхъ. Мы какъ-будто послѣ сна очнулись, раскрыли глаза на свой домашній и общественный бытъ и догадались, что намъ коечего недостаетъ. Едва эта догадка озарила нашъ умъ, какъ мы, съ рѣдкою добросовѣстностью и искренностью, принялись раскрывать „наши общественныя раны". Теперь многіе уже начинаютъ смѣяться надъ этимъ, и скептики, увѣрявшіе съ самаго начала, что все это

„Тяжелый бредъ души больной,
Иль плѣнной мысли раздраженье",

теперь злобно торжествуютъ, иронически поглядывая на взрослыхъ дѣтей, всегда склонныхъ къ увлеченію и видящихъ все въ розовомъ свѣтѣ. Но, какъ хотите, а надъ ними нечего смѣяться; въ ихъ увлеченіи было такъ много прекраснаго, благороднаго, такъ много юности и свѣжести. Любо смотрѣть было, въ самомъ дѣлѣ, на общее одушевленіе: самый робкій, самый угрюмый человѣкъ не могъ, кажется, не увлечься, видя, какъ всѣ единодушно и неутомимо хлопотали о томъ, чтобы раскрыть „наши общественныя раны", показать наши недостатки во всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ. Какихъ тогда вопросовъ ни подняли, до какихъ закоулковъ ни добрались!.. „Отъ Перми до Тавриды" пронесся одинъ громкій энергическій возгласъ: идите всѣ, кто можетъ, спасать Русь отъ внутренняго зла! И все поднялось, все заговорило—твердо, сильно, разумно. Старые люди стряхнули, повидимому, свою давнишнюю лѣнь, возникли молодые дѣятели и съ свѣжими силами принялись за общее дѣло. Литература, какъ всегда, послужила первою выразительницей общественныхъ стремленій, приводя ихъ въ ясность и умѣряя ихъ силу строгимъ и обдуманнымъ обсуживаньемъ всѣхъ затронутыхъ вопросовъ. Послышались въ обществѣ голоса о важности воспитанія и о неудовлетворительности того, что доселѣ у насъ было принято, — и тотчасъ о воспитаніи пишутся горькія статьи, предпринимаются педагогическіе журналы,

и публика тѣмъ большими рукоплесканіями вознаграждаетъ статью, чѣмъ болѣе горька правда, въ ней высказанная. Поднимается голосъ противъ злоупотребленій бюрократіи,—и „Губернскіе очерки“ открываютъ рядъ блестящихъ статей, безпощадно карающихъ и выводящихъ на свѣжую воду всѣ темныя продѣлки мелкаго подьячества. Горькіе упреки слышались отовсюду, и никто не думалъ противорѣчить имъ. Поэты и прозаики, ученые и дилетанты, теоретики и практики—всѣ бросались самоотверженно въ мрачное болото невѣжества и злоупотребленій съ пламенникомъ обличенія. Въ душѣ ихъ кипѣла могучая сила, ихъ рѣчи горѣли огнемъ вдохновенія, сожигая плевелы родной нивы. Возстань, поэтъ, ободряли поэты самихъ себя, размышляя о своемъ призваніи,

„Да звучитъ твой стихъ обронный,
Правды Божіей набатъ,
Въ пробужденье мысли сонной,
Въ кару жизни беззаконной,
На погибель всѣхъ неправдъ“.

Борьба во имя высшей правды противъ мелкихъ интересовъ времени!—восклицали высоко-образованные практики. „Съ первыхъ лѣтъ жизни, при самомъ начальномъ воспитаніи, должно пріучать къ этой борьбѣ, которая ожидаетъ въ нашемъ обществѣ каждаго порядочнаго человѣка!“...—„Наука должна смѣло вступить въ борьбу противъ невѣжества и предразсудковъ“,—говорили лучшіе изъ нашихъ ученыхъ. „Мы должны благодарить войну за то, что она открыла намъ многія темныя стороны нашей жизни, противъ которыхъ мы дружно должны итти теперь, отстаивая честь родины!“... Эти мощные, благородные, безкорыстные призывы не могли не находить отзыва въ сердцахъ людей, сочувствующихъ благу отечества,—и точно—у многихъ сердце билось сильнѣе отъ этихъ вдохновенныхъ звуковъ. Многіе съ грустною улыбкой, даже со слезами на глазахъ выслушивали русскую всенародную исповѣдь, но потомъ гордо поднимали голову, давая торжественный обѣтъ дѣятельности честной, неутомимой и безбоязненной. Были и такіе, силою обстоятельствъ и собственной слабостью увлеченные въ пошлость жизни, которые съ ужасомъ смотрѣли на собственное поприще и съ горечью сознавались въ его гадости. И что имѣли въ виду

всѣ эти люди? Что заставляло ихъ съ такимъ увлеченіемъ подвергать себя торжественному самообвиненію? Ничего особеннаго. Они просто повторяли слова одного изъ своихъ глашатаевъ—

„Раскаянья слеза намъ будетъ въ облегченье
И къ новымъ подвигамъ насъ мощно воззоветъ“,—

и добродушно вѣрили, что вслѣдъ за словомъ не замедлитъ явиться и дѣло. Самое пустозвонство приняло тогда характеръ серіозно-обличительный. Пустѣйшій изъ пустозвоновъ, г. Надимовъ, смѣло кричалъ со сцены Александринскаго театра: „Крикнемъ на всю Русь, что пришла пора вырвать зло съ корнями!“ и публика приходила въ неистовый восторгъ и рукоплескала г. Надимову, какъ-будто бы онъ, въ самомъ дѣлѣ, принялся вырывать зло съ корнями... „Что смѣетесь? надъ собой смѣетесь“,—вслухъ припомнилъ слова Гоголя кто-то изъ скептиковъ, во время одного изъ представленій „Чиновника“. Но эти слова никого не смутили: на скептика сосѣди его посмотрѣли такъ гордо и прямо, какъ-будто бы хотѣли отвѣтить ему словами того же комика: „Да, надъ собой смѣемся; потому что слышимъ благородную русскую нашу породу, потому что слышимъ приказанье высшее быть лучшими другихъ“.

Такъ все оживало, все одушевлялось желаніемъ итти впередъ по пути просвѣщенія и нравственнаго усовершенствованія.

Но прошло два года, и хотя ничего особенно важнаго не случилось въ эти годы, но общественныя стремленія представляются теперь далеко уже не въ томъ видѣ, какъ прежде. Много разочарованій испытали уже мы на новой дорогѣ, многія надежды оказались пустыми мечтами, много видѣли мы явленій, способныхъ сбить съ толку самаго простодушнаго изъ оптимистовъ, вообще отличающихся простодушіемъ. И нѣтъ прежняго увлеченія, прежняго задушевно-гордаго тона...

„Гдѣ дѣвалася
Рѣчь высокая,
Сила гордая?...“

Разговоры и теперь, конечно, продолжаются, и мы вовсе не хотимъ сказать, чтобъ общественное вниманіе вовсе забыло о тѣхъ вопросахъ, которые недавно возбуждены были

съ такою энергіей. Мы говоримъ только, что въ дѣятельности, въ жизни общества мало оказывается результатовъ отъ всѣхъ восторженныхъ разговоровъ, чѣмъ и доказывается, что большинство нашихъ доморощенныхъ прогрессистовъ играло до сихъ поръ, по выраженію г. Щедрина, „не внутренностями, а кожей".

Литература продолжаетъ свое дѣло добросовѣстно: служеніе дѣлу общественнаго совершенствованія она считаетъ своимъ священнѣйшимъ назначеніемъ. Она уже навсегда теперь вышла изъ пеленокъ, и, что бы ни случилось, не получатъ въ ней теперь права гражданства ни швейцарскія поздравленія съ высокоторжественнымъ праздникомъ, ни лакейскія оды на пожалованіе такого-то господина такимъ-то чиномъ, ни трактирные диѳирамбы въ честь какого-нибудь праздника, съ фейерверкомъ и иллюминаціей. Литература дѣятельно продолжаетъ свои обличенія, свои вызовы на все хорошее и благородное; она попрежнему твердитъ обществу о честной и полезной дѣятельности, она все поетъ ту же пѣсню—

„Встань, проснись, подымись,
На себя погляди!"

Но уже нѣтъ прежнихъ восторженныхъ отзывовъ со стороны публики. Она уже утомилась, она уже едва ли не считаетъ свое дѣло конченымъ, едва ли не считаетъ себя достойною вѣнка за участіе, оказанное общественнымъ вопросамъ и новымъ дѣятелямъ литературнаго обличенія. Только по временамъ вспыхиваетъ теперь кое-гдѣ, неровно и порывисто, огонь одушевленія, похожаго на прежнее. Но и эти вспышки скоро пропадаютъ безъ слѣда, не имѣя никакого вліянія на общественную дѣятельность. Оказывается, что увлеченіе и надежды были преждевременны, и что многіе изъ людей, горячо привѣтствовавшихъ зорю новой жизни, вдругъ захотѣли ждать полудня и рѣшились спать до тѣхъ поръ,—что еще большая часть людей, благословлявшихъ подвиги, вдругъ присмирѣла и спряталась, когда увидала, что подвиги нужно совершать не на однихъ словахъ, что тутъ нужны дѣйствительные труды и пожертвованія. Всѣ нетерпѣливо ждали, желали, просили улучшеній, озлобленно кричали противъ злоупотребленій, проклинали чужую лѣнь и апатію,—но рѣдко-рѣдко кто принимался за настоящее

дѣло. Испуганные воображаемыми трудностями и препятствіями, многіе изъ тѣхъ, кто даже могъ дѣлать истинно-полезное,—

„Въ началѣ поприща увяли безъ борьбы".

Произошло явленіе не слишкомъ возвышенное и даже довольно непредвидѣнное: русское общество разыграло, въ нѣкоторомъ родѣ, талантливую натуру. Читатели, конечно, прочли уже „Губернскіе очерки" и потому, вѣрно, знакомы съ нѣкоторыми изъ талантливыхъ натуръ, очерченными г. Щедринымъ. Но не всѣ, можетъ-быть, размышляли о сущности этого типа и о значеніи его въ нашемъ обществѣ. Потому мы рѣшаемся подробнѣе разсмотрѣть эти натуры, въ которыхъ, по нашему мнѣнію, довольно ярко выражается господствующій характеръ нашего общества. Виды талантливыхъ натуръ чрезвычайно разнообразны, но есть у нихъ и нѣчто общее, состоящее именно въ ихъ *талантливости*, которая можетъ иногда вызвать истинное сожалѣніе и навести на очень грустныя думы. Положеніе ихъ, конечно, смѣшно, даже отвратительно, но насмѣшку надъ положеніемъ этихъ господъ не нужно переносить на самую натуру ихъ, вовсе не лишенную добрыхъ качествъ. Занятія и свойства ихъ г. Щедринъ изображаетъ такимъ образомъ:

Одни изъ нихъ занимаются тѣмъ, что ходятъ въ халатѣ по комнатѣ и отъ нечего дѣлать посвистываютъ; другіе припикаются желчью и дѣлаются губернскими мефистофелями; третьи барышничаютъ лошадьми или передергиваютъ въ карты; четвертые выпиваютъ огромное количество водки; пятые переваривають на досугѣ свое прошедшее и съ горя протестуютъ противъ настоящаго... Общее у всѣхъ этихъ господъ, во-первыхъ, „червякъ", во-вторыхъ, то, что „на жизненномъ пирѣ" для нихъ не случилось мѣста, и, въ-третьихъ, необыкновенная размашистость натуры. Но главное — червякъ. Этотъ глупый червякъ причиною тому, что наши Печорины слоняются изъ угла въ уголъ, не зная, куда приклонить голову; онъ познакомилъ ихъ ближайшимъ образомъ съ помѣщиками: Полежаевымъ, Сопиковымъ и Храповицкимъ. Къ сожалѣнію, я долженъ сказать, что Печорины водятся, исключительно, между молодыми людьми. Старый, заиндевѣвшій чиновникъ или помѣщикъ не можетъ сдѣлаться Печоринымъ; онъ на жизнь смотритъ съ практической стороны, а на тернія или неудобства ея—какъ на неизбѣжныя и неисправимыя. Это блохи и клопы, которые до того часто и много его кусали, что сдѣлались не врагами, а скорѣе добрыми знакомыми его. Онъ не вникаетъ въ причины вещей, а принимаетъ ихъ такъ, какъ онѣ есть, не задаваясь мыслью о томъ, какими бы онѣ могли быть, если бы... и т. д. Молодой человѣкъ, напротивъ того, начинаетъ уже смутно понимать, что вокругъ него есть что-то неладное, разрозненное,

исключиться; онъ видитъ себя въ страшномъ противорѣчіи со всѣмъ окружающимъ, онъ хочетъ протестовать противъ этого, но, не обладая никакими живыми началами, необходимыми для примиренія, остается при одномъ зубоскальствѣ или псевдотрагическомъ негодованіи“ („Губернскіе очерки“ т. III, стр. 69 и сл.).

Видите ли, при всей насмѣшливости отношеній г. Щедрина къ талантливымъ натурамъ, онъ самъ не можетъ не обнаружить, что въ основаніи ихъ лежитъ нѣчто хорошее. Ихъ стремленія не заключаютъ въ себѣ ничего предосудительнаго, напротивъ—стремленія эти ставятъ ихъ дѣйствительно выше тѣхъ апатическихъ безличностей, которыя, смотря на жизнь съ практической стороны, находятъ блаженное успокоеніе отъ всѣхъ сомнѣній и вопросовъ въ учительской указкѣ или въ подписи того, кто повыше ихъ чиномъ. Вся бѣда пропавшихъ талантливыхъ натуръ состоитъ въ томъ, что у нихъ нѣтъ никакихъ живыхъ началъ. Стоитъ дать имъ во-время эти начала, и изъ нихъ можетъ выйти что-нибудь положительно доброе. Давно уже кто-то замѣтилъ, что на свѣтѣ нѣтъ собственно неспособныхъ людей, а есть только *неумѣстные;* что плохой извозчикъ и вываленный имъ изъ саней плохой чиновникъ, выгнанный изъ службы за неспособность,—оба, быть-можетъ, не были бы плохими, если бы помѣнялись своими мѣстами: чиновникъ, можетъ-быть, имѣетъ отъ природы склонность къ управленію лошадьми, а извозчикъ въ состояніи отлично разсуждать о судебныхъ дѣлахъ... Все горе происходитъ отъ ихъ неумѣстности, въ которой опять не виноваты ни чиновникъ ни извозчикъ, а виновата ихъ судьба, эта „глупая индѣйка“, по залихватскому русскому выраженію. То же самое происходитъ со всѣми талантливыми натурами: онѣ получаютъ одностороннее развитіе, несоотвѣтственное ихъ потребностямъ, и, уступая силѣ враждебныхъ обстоятельствъ, попадаютъ на ложную дорогу. Онѣ не столько животны, слабодушны и слѣпы, чтобы уступить безъ всякаго усилія, въ простодушной увѣренности, что такъ должно быть: это ихъ достоинство. Но онѣ не имѣютъ и настолько внутренней силы, ума и благородства, чтобы выдержать до конца, чтобы не измѣнить своимъ добрымъ влеченіямъ и не впасть въ апатію, фразерство и даже мошенничества: вотъ ихъ существенный, страшный недостатокъ. Но этотъ недостатокъ, очевидно, не природный. Онъ происходитъ отъ слабости характера, соеди-

пенной съ пылкостью стремленій. Пылкость стремленій сама по себѣ—вещь весьма похвальная и притомъ составляетъ въ человѣкѣ не что иное, какъ простой признакъ живой молодости,—а характеръ, какъ всѣ согласны, не родится съ человѣкомъ, а пріобрѣтается имъ во время воспитанія, установляясь окончательно въ послѣдующихъ треволненіяхъ жизни. Слѣдовательно, по строгомъ разсужденіи, на сторонѣ самой личности остается только живая воспріимчивость натуры, признакъ вовсе недурной; а все остальное ложится на отвѣтственность окружающей ее среды. Намъ скажутъ: отчего же эта среда не оказываетъ такого же вліянія на другихъ, отчего именно на талантливыя натуры она дѣйствуетъ такъ гибельно? Отвѣтъ простъ: эти натуры, по своей впечатлительности, забѣгаютъ дальше другихъ, часто захватываютъ больше, чѣмъ сколько могутъ вынести, и при этомъ чаще, чѣмъ другія, встрѣчаютъ противодѣйствія, которымъ онѣ не въ силахъ противиться. Между тѣмъ какъ дѣти милыя и благонравныя наслаждаются спокойствіемъ блаженнаго невѣдѣнія, помня, что они дѣти и, слѣдовательно, должны составлять свой меленькій міръ, не вступаясь въ дѣла большихъ,—дѣти воспріимчивыя и пылкія суются безпрестанно туда, гдѣ ихъ не спрашиваютъ, рано знакомятся съ житейскими дрязгами и рано получаютъ отъ большихъ практическія опроверженія своихъ дѣтскихъ разсужденій. Въ иныхъ естественная логика и привычка къ дѣятельности беретъ верхъ: они разсматриваютъ практическіе взгляды со всѣхъ сторонъ и оцѣниваютъ ихъ очень вѣрно; они не падаютъ передъ силою обстоятельствъ, не опускаются до злобнаго фразерства и цинической лѣни—съ досады, что ничего великаго сдѣлать нельзя,—а до конца идутъ противъ враждебной силы и если не успѣютъ ее покорить, то падаютъ, звукомъ самого паденія созывая на трупъ свой новыхъ самоотверженныхъ дѣятелей. Но такихъ крѣпкихъ людей немного. Бóльшая часть не выдерживаетъ враждебнаго напора и гибнетъ нравственно, безъ пользы, а часто даже съ вредомъ и для другихъ. Въ общественномъ отношеніи, разумѣется, хвалить ихъ нечего: они всегда являются въ обществѣ или тунеядцами или мошенниками. Отъ этого мы и не думаемъ ихъ оправдывать, равно какъ не думаемъ возвеличивать ихъ бездѣйствіе насчетъ незамѣтной дѣятельности скромныхъ тружениковъ. Мы только хотимъ

сказать, что въ сущности своей талантливыя натуры даютъ больше задатковъ хорошаго развитія, нежели благонравныя, милыя, послушныя и т. д. дѣти—и что при благопріятныхъ обстоятельствахъ ихъ развитіе принесло бы хорошіе плоды. Мы можемъ сравнить ихъ, пожалуй, съ плодородной землей. Засѣйте гдѣ-нибудь въ окрестностяхъ Петербурга хорошую почву (если таковая найдется) маисомъ, рожью и крапивой. Маисъ, разумѣется, не примется, по причинѣ разныхъ прелестей петербургскаго климата, а рожь заглушена будетъ крапивою. Вотъ поле и не годится никуда. Какъ же можно сравнить его по плодамъ съ другимъ, довольно, правда, скуднымъ полемъ, которое, однако же, вырастило рожь, хотя и очень тощенькую. А все-таки нельзя не сказать, что въ первомъ полѣ земля лучше. Брошенное и запущенное, да еще закрытое отъ солнышка какими-нибудь заборами да постройками, заваленное всякимъ мусоромъ, оно и все порастетъ крапивой. Но попадись оно въ руки хорошему хозяину, такъ тотъ не только его отъ мусора очиститъ и крапиву выполетъ, не только хорошую жатву соберетъ, а еще цѣлую оранжерею на немъ разведетъ и самыя нѣжныя растенія воспитаетъ, оградивши ихъ отъ разныхъ неблагопріятныхъ петербургскихъ вліяній.

Если нужно доказать наши слова примѣрами, то за ними ходить недалеко. У г. Щедрина представлены талантливыя натуры трехъ разрядовъ: мефистофельская, спившаяся съ кругу и пустившаяся въ мошенничество. Нельзя не сознаться, что выборъ этихъ трехъ категорій самъ по себѣ весьма удаченъ. Неудавшаяся дѣятельность талантливыхъ натуръ обыкновенно имѣетъ одинъ изъ этихъ исходовъ. Всѣ они гадки и вредны или, по крайней мѣрѣ, безполезны; но посмотрите на начало жизненнаго поприща этихъ господъ, вникните въ сущность ихъ натуры, и вы увидите, что всѣ ихъ увлеченія имѣютъ доброе начало, а паденіе происходитъ просто отъ безсилія противиться внѣшнимъ вліяніямъ. Отчего такое безсиліе происходитъ, мы уже отчасти объяснили. Прибавимъ только, что, завися отъ естественной, каждому предмету въ мірѣ присущей инерціи, — качество это усиливается отъ постоянной привычки къ пассивному воспріятію чужихъ идей и дѣлается тѣмъ отвратительнѣе, чѣмъ больше ума и свѣжихъ силъ въ такой пассивной натурѣ. На человѣка, не умѣющаго пяти словъ сказать со смысломъ, не досадно, если

онъ цѣлый вѣкъ сидитъ за переписываньемъ. Да его и не замѣтишь: онъ доволенъ своей судьбою и высоко не заносится, зная, что безъ крыльевъ опасно подниматься на воздухъ... Но человѣкъ, легко и быстро понимающій предметы, имѣющій живыя и высокія стремленія, знающій очень хорошо степень собственныхъ силъ,—такой человѣкъ, вдругъ, поддаваясь лѣни, отстаетъ отъ всякаго дѣла и употребляетъ свои способности только на пересыпанье изъ пустого въ порожнее или на различныя непохвальныя продѣлки—это уже досадно и горько. Такого человѣка сейчасъ всѣ замѣтятъ, потому что онъ всѣмъ надоѣдаетъ своими жалобами на несправедливость судьбы, ко всѣмъ навязывается съ пересмѣиваньемъ своихъ ближнихъ, всѣмъ кидается въ глаза своимъ сознательнымъ, преднамѣреннымъ бездѣльничествомъ. Вотъ, напримѣръ, передъ вами г. Корепановъ. Онъ не потому замѣченъ крутогорскимъ обществомъ, что тунеядствуетъ и въ пустякахъ всю свою жизнь проводитъ. Онъ пустъ не больше другихъ; какъ другіе, онъ служитъ,—какъ другіе, является на дѣтскіе балы княжны Анны Львовны,—какъ другіе, ничѣмъ особенно не занимается. Словомъ, въ немъ ничего нѣтъ замѣчательнаго, и вы проходите мимо него, бросая на него разсѣянный взглядъ и думая: „Вотъ еще одинъ изъ множества тѣхъ, которые прозябаютъ въ Крутогорскѣ, серіозно занимаясь дѣланьемъ ничего и не имѣя понятія о другихъ, лучшихъ сферахъ дѣятельности...“ Но г. Корепановъ вдругъ останавливаетъ васъ восклицаніемъ: „Прошу не смѣшивать меня съ этой толпой; я увѣряю васъ, что я гораздо лучше всѣхъ ихъ. Не смотрите на то, что я толкусь между ними и такъ же, какъ они, ничего не дѣлаю... Повѣрьте, что я могъ бы сдѣлать многое, очень многое если бы только захотѣлъ... Но я не хочу...“—„Тѣмъ хуже,—отвѣчаете вы,—значитъ, вы, мсьё Корепановъ, сами виноваты въ своемъ ничтожествѣ. На этихъ людяхъ нечего спрашивать: они дѣлаютъ то, что могутъ; виноваты ли они, что у нихъ нехватаетъ силъ на большее? А вы гораздо хуже ихъ, потому что не дѣлаете и того, что можете. Вы просто дрянь, мсьё Корепановъ“.—И что же бы вы думали? Корепановъ мгновенно съ вами соглашается и начинаетъ ругать себя. „Да,—говорилъ онъ, впрочемъ, не безъ оттѣнка тонкой проніи,—я глупъ, я слабъ, у меня мелкая, ничтожная душонка. Я завидую даже этому пошлому довольству и безмятежію,

которое написано на лицахъ моихъ сослуживцевъ: все-таки, значитъ, ихъ жизнь прошла недаромъ... А я только все сомнѣвался да метался безъ толку, изъ стороны въ сторону... А къ чему?.. Гораздо было бы спокойнѣе — добыть себѣ тепленькое мѣстечко, какъ Николай Ѳедорычъ, жениться на Анѳисѣ Ивановнѣ, которая изъ старыхъ панталонъ шаль устраиваетъ, да считать себѣ денежки, какъ Семенъ Семенычъ...“ Вы соглашаетесь, что это, дѣйствительно, было бы спокойнѣе, чѣмъ безъ толку цѣлый вѣкъ маяться; но Корепановъ обнаруживаетъ полное омерзѣніе къ дѣятельности Николая Ѳедорыча, Семена Семеныча и подобныхъ. Онъ даже дѣтямъ Семена Семеныча и Николая Ѳедорыча внушаетъ отвращеніе къ воровству и скаредной жизни родителей и гордится своими заслугами въ этомъ отношеніи. Онъ называетъ Крутогорскъ помойной ямой и очень недоволенъ тѣмъ, что здѣсь всякій долженъ безсмѣнно носить однажды накинутую на себя ливрею. По выходкамъ Корепанова вы видите, что онъ былъ въ хорошей школѣ, умѣетъ зло отъ добра отличить и имѣетъ понятіе о настоящей нравственности. Онъ и самъ признается, что въ молодости своей умныхъ людей съ каѳедры слушалъ, но только ученье не пошло ему въ прокъ. Онъ, видите, не хотѣлъ корпѣть надъ книжкой и клевать по крупицѣ, а ждалъ все, что ему кто-нибудь „вольетъ знаніе ковшомъ въ голову, и сдѣлается онъ послѣ того мудръ, какъ Минерва“. Вотъ вамъ и первое паденіе передъ трудностями, первое торжество лѣни. Далѣе, Корепановъ затѣмъ не остался служить тамъ, гдѣ бы лучше могли развернуться его таланты, что „онъ желаетъ кушать, а въ Петербургѣ или Москвѣ этого добра не найдешь сразу“. А ему—видите—лѣнь добиваться чего-нибудь трудомъ, понемножку; все сразу хотѣлось бы. Вотъ онъ и ѣдетъ въ Крутогорскъ, гдѣ у него есть родные, „которыми, слѣдовательно, ужъ насижено мѣсто и для него“. Здѣсь онъ кое-какъ служитъ, какъ и всѣ, но, главнымъ образомъ, злобствуетъ противъ всѣхъ, стараясь выставить собственное превосходство и несправедливость судьбы. Если хотите, судьба точно несправедлива къ нему, но несправедлива тѣмъ, что дала ему родныхъ, которые, съ грѣхомъ пополамъ, насидѣвши тунеядцу мѣсто, освободили его отъ необходимости работать самому для пріобрѣтенія мѣста и хлѣба. Не будь этого, Корепановъ былъ бы славнымъ работникомъ и не погибъ бы для честной и полез-

ной дѣятельности, обратившись въ мефистофеля средней руки.

Теперь посмотримъ на Лузгина, тоже талантливую натуру, только другого разбора. Положительно дурного въ этой натурѣ ничего нѣтъ. Припоминая прежніе годы Лузгина, г. Щедринъ говоритъ, что онъ былъ тогда безрасчетно добръ и великодушенъ, что въ немъ сильно кипѣла кровь, обильна и неистощима была животворная струя молодости. Самъ Лузгинъ въ откровенномъ разговорѣ высказываетъ, что у него и въ пожилыхъ лѣтахъ сохранилось еще много любви, горячности, жару. Онъ сожалѣетъ, что погано провелъ свою молодость и не столько лекціями, сколько ухарствомъ занимался. Въ жизни его есть прекрасныя явленія. Онъ женился на бѣдной гувернанткѣ своего сосѣда, которую притѣсняли сладострастный хозяинъ и капризная хозяйка. Онъ не хотѣлъ служить въ Петербургѣ затѣмъ, что тамъ „выморозки, что-то холодное, осклизлое", бѣгаютъ цѣлый день, чтобъ имѣть счастіе искривить ротъ въ улыбку при видѣ нужнаго лица. Онъ пересталъ ѣздить къ школьному товарищу, когда тотъ вздумалъ пустить ему въ глаза пыль въ видѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Стрекозы, княгини Оболдуй-Таракановой, и такъ далѣе. Все это, нельзя не сознаться, обнаруживаетъ натуру добрую, симпатичную, съ наклонностями истинно благородными. Можно бы почесть его просто прекраснымъ мирнымъ помѣщикомъ, нашедшимъ, наконецъ, въ кругу семейномъ успокоеніе отъ житейскихъ треволненій. Но такое заключеніе было бы неудачно: Лузгинъ хоть и не занимался лекціями, по его собственному признанію, но все же кое-что изъ высшихъ наукъ запало ему въ голову,— и онъ уже не можетъ довольствоваться своею тѣсной сферой. „Размѣры насъ душатъ,—говоритъ онъ,—природа у насъ широкая, желалъ бы захватить и вдоль и поперекъ, а размѣры маленькіе. Жару и теперь еще пропасть осталось, только некуда его дѣвать: сфера-то у насъ узка, разгуляться негдѣ..." Да кто же вамъ не велѣлъ, г. Лузгинъ, захватывать именно столько, сколько ваши силы позволяютъ? Зачѣмъ вы киснете въ деревнѣ и даже не служите, хоть бы по выборамъ? А вотъ видите,—когда Лузгинъ воротился изъ ученья, то мать стала его упрашивать: „около меня посиди", да и сосѣди лихіе нашлись,—онъ и остался, тѣмъ болѣе что къ лѣности съ юныхъ лѣтъ сердечное влеченье чувствовалъ...

Но въ деревнѣ его томитъ скука: образованіе его не столько полно, чтобъ онъ могъ довольствоваться самимъ собою и семейнымъ кругомъ; онъ ищетъ другихъ развлеченій и находитъ ихъ, разумѣется, безъ особенныхъ затрудненій; онъ начинаетъ каждый день напиваться до-пьяна, приводя въ отчаяніе свою жену и разстраивая собственное здоровье... Ну скажите на милость, природа ли тутъ виновата? Лузгинъ всячески старается всю вину сложить на природу, хотя онъ, собственно говоря, и не думаетъ себя оправдывать. Напротивъ, онъ, какъ и всѣ талантливыя натуры, безбоязненно и безстыдно распространяется о своихъ недостаткахъ, увѣряя, что онъ свинья, что онъ опустился, что онъ гнусенъ съ верхняго волоска головы до ногтей ногъ. Но все это самообвиненіе мало помогаетъ. Подняться онъ уже не въ силахъ: „Я,—говоритъ,—до такой степени привыкъ къ праздности, такъ въѣлся въ нее, что даже ужъ и думать ни о чемъ не хочется". При всемъ томъ онъ не хочетъ принять на себя отвѣтственности за все. Чувствуя, что не въ силахъ подняться, онъ старается увѣриться, что такъ ужъ судьбой рѣшено, что иначе и быть не можетъ, что такъ, видно, „и суждено этому огню перегорѣть въ груди, не высказавшись ни въ чемъ". И въ этой увѣренности принимается съ отчаянія за чарочку, чтобъ утопить въ винѣ свои досадные порывы. А потомъ жалуется на природу весьма комическимъ образомъ. „Для чего,—говоритъ,—она не сдѣлала меня Зенономъ, а наградила наклонностями сибарита? Для чего она не закалила мое сердце для борьбы съ терніями суровой дѣйствительности, а, напротивъ того, размягчила его и сдѣлала способнымъ откликаться только на доброе и прекрасное?.. Природа-то, вѣдь, дура, выходитъ..." Какая же тутъ природа, г. Лузгинъ? Природа всѣхъ людей рѣшительно выпускаетъ на Божій свѣтъ слабыми и безпомощными: никого она не калитъ и не мягчитъ нарочно, въ томъ соображеніи, что вотъ этотъ господинъ долженъ будетъ бороться, а тотъ нѣтъ, такъ, въ видахъ предусмотрительности, надобно дать имъ такія-то и такія-то свойства. Это вы все для оправданія своей лѣни выдумываете, что природа какъ-то непріязненно къ вамъ расположена и по какимъ-то интригамъ вздумала васъ размягчить. Ничего подобнаго не бывало: закаляются люди не на лонѣ природы, а въ горнилѣ житейской опытности. А этой-то закалки и нѣтъ у васъ, потому что вамъ не слу-

чилось надобности съ самаго начала преодолѣть вашу лѣнь, и вы позволили другимъ за васъ думать и дѣйствовать. Въ результатѣ и вышло, что хоть у васъ сердце доброе, хоть оно и откликается на все прекрасное, а сами-то вы вышли человѣкъ не только плохой, но и пошлый, даже грязный. Такъ скажемъ мы Лузгину, не желая поощрять его лѣни и цинизма. Но, обращаясь къ читателямъ, мы, разумѣется, не можемъ не прибавить, что, дѣйствительно, судьба была довольно жестока къ Лузгину. Его вывели изъ непосредственной простоты и патріархальности деревенскихъ отношеній, дали нѣкоторое понятіе о предметахъ высшихъ, но не дали основательныхъ и твердыхъ началъ, не заинтересовали даже наукой хоть бы до такой степени, чтобы предпочитать ее разнымъ ухарскимъ развлеченіямъ. При первыхъ попыткахъ что-нибудь дѣлать, ему встрѣчаются препятствія,—тамъ мать и родимое гнѣздо отвлекаютъ отъ службы, тамъ *лихіе* сосѣди увлекаютъ въ отъѣзжее поле да въ буйную оргію, тамъ надменныя выскочки и мягкотѣлые низкопоклонники отталкиваютъ его отъ петербургской жизни. Для него это уже слишкомъ много: его наклонность къ лѣни, привычка подчинять себя требованіямъ чужой воли и слишкомъ поверхностное образованіе не могутъ устоять противъ безпрестанныхъ искушеній. А тамъ судьба позаботилась приготовить родимое гнѣздо, въ которомъ можно жить на чужой счетъ... Вотъ и погибъ человѣкъ, изъ котораго, при другихъ обстоятельствахъ, могло бы и выйти что-нибудь.

Есть еще особаго рода талантливыя натуры, повидимому, совершенно непохожія на два образца, которые нами разсмотрѣны, но, въ сущности, чрезвычайно къ нимъ близкія. Образчикъ такихъ натуръ представляетъ Горехвастовъ, описанный г. Щедринымъ. Этотъ, съ перваго раза, можетъ показаться, пожалуй, очень дѣятельнымъ. Онъ прожектеръ, мошенникъ, шулеръ; онъ и въ офиціальное платье переодѣвался, и казенныя деньги кралъ, и заставлялъ кое-кого въ окно прыгать, и самъ изъ онаго прыгивалъ, и фортуну себѣ умѣлъ составить, и потерять оную. Кажется, чего больше дѣятельности — энергической, постоянной, только дурно направленной. Это ужъ, кажется, не слабая натура, носившая въ себѣ задатки добра, но погибшая только вслѣдствіе своей лѣни и слабости; это сильная злодѣйская душа, талантливая только на мерзости всякаго рода. Онъ

совсѣмъ непохожъ на двухъ малодушныхъ, только-что нами видѣнныхъ у г. Щедрина. Такъ кажется съ перваго взгляда. Но если всмотрѣться пристальнѣе, то найдется, что и Горехвастовъ, въ сущности, рѣшительно то же самое, что Корепановъ и Лузгинъ. Разница между ними только въ томъ, что тѣ двое все-таки учились чему-нибудь и, при всей поверхностности своего образованія, усвоили нѣкоторыя наиболѣе простыя внушенія, какъ, напримѣръ, что кража постыдна, шулерство гнусно и т. п. Горехвастову же и этого не внушили, а учили его имѣть только пріятныя манеры и *causer* обо всемъ. Какъ натура талантливая, онъ поддался этому направленію, и манеры его, дѣйствительно, казались хороши, и *causeur* вышелъ изъ него отличный. Товарищи его ѣздили къ француженкамъ по воскресеньямъ, и онъ ѣздилъ, потому что не въ силахъ былъ противиться искушенію, не имѣя никакой внутренней опоры, точно такъ, какъ и Лузгинъ съ Корепановымъ. Петръ Бурковъ сводитъ его съ людьми, которыхъ карьера и назначеніе жизни ограничиваются не совсѣмъ честными подвигами на зеленомъ полѣ, и онъ подвизается вмѣстѣ съ ними; затѣваютъ эти люди штуку en grand, чтобы купца надуть, и онъ является ревностнымъ исполнителемъ проекта; говоритъ ему Петръ Бурковъ о жизни en artistes,—онъ и en artistes жить соглашается; зоветъ его по ярмаркамъ ѣздить,—онъ и на это готовъ. Иногда какъ-будто добрые инстинкты въ немъ просыпаются: ему, напримѣръ, неловко становится продать себя безобразной барынѣ, которая задумала воспользоваться его атлетическими формами. Но Бурковъ сказалъ ему, что это вздоръ, *велѣлъ* ему рѣшиться во имя правъ дружбы,—и Горехвастовъ рѣшился. Скажите, на что же еще слабодушнѣе человѣка? Онъ гораздо слабѣе Лузгина и Корепанова, потому что еще менѣе, чѣмъ они, имѣетъ внутреннихъ убѣжденій; онъ рѣшительно не можетъ противиться окружающимъ вліяніямъ, не можетъ даже уклониться отъ нихъ въ бездѣйствіе, а прямо имъ подчиняется... А тамъ ужъ онъ идетъ дальше, по силѣ инерціи, и даже нерѣдко выказываетъ наружную твердость и храбрость, приличную обстоятельствамъ. Только эта энергія и твердость походятъ на храбрость лакея, который громогласно кричитъ съ крыльца: „подавай!", а потомъ тотчасъ же подобострастно усаживаетъ барина въ карету и смиренно стоитъ передъ нимъ, если

тому вздумается намылить ему шею. Храбрость Горехвастова мгновенно исчезаетъ: онъ трясется и блѣднѣетъ, какъ только увидитъ гдѣ-нибудь около себя *кавалера* или другую полицейскую власть, или даже просто въ чужомъ обществѣ получитъ „подлеца" съ любезнымъ обѣщаніемъ выбросить его изъ окна. Безсиліе противиться внѣшнимъ вліяніямъ обнаруживается въ немъ на каждомъ шагу еще болѣе, чѣмъ въ Корепановѣ и Лузгинѣ.

Лѣнь, отвращеніе отъ труда тоже составляютъ одну изъ существенныхъ сторонъ его характера, несмотря на видимую неутомимую дѣятельность. Онъ не хотѣлъ служить и сдѣлался мошенникомъ именно потому, что не хотѣлъ „сидѣть каждый день семь часовъ въ какой-то душной конурѣ, облизываясь на мѣсто помощника столоначальника". Онъ чувствуетъ, что „стоитъ выше общаго уровня", что можетъ быть и поэтомъ, и литераторомъ, и прожектеромъ, и капиталистомъ. Но ему непремѣнно хочется получить какъ можно больше безъ всякаго труда, и онъ избираетъ шулерство, какъ легчайшее средство обогащенія. Разорившись, онъ живетъ въ четвертомъ этажѣ, наманеръ артиста, и тутъ всего болѣе нравится ему полная безпечность, которой онъ можетъ предаваться. Ему тошно смотрѣть даже на своего сосѣда, Дремилова, только потому, что этотъ сидитъ все за книжкой. Негодованіе разыгрывается въ немъ при одномъ воспоминаніи о такомъ труженичествѣ. „Ну что это за жизнь, спрашиваю я васъ,—восклицаетъ онъ,—и можетъ ли, имѣетъ ли человѣкъ право отдавать себя въ жертву геморрою? И чего, наконецъ, онъ достигнетъ?" и т. д. Горехвастову мало быть практическимъ лѣнтяемъ: онъ старается свою лѣнь возвести въ теорію. Онъ даже положительно выражается, что „геніальная натура науки не требуетъ, потому что до всего собственнымъ умомъ доходитъ. Спросите, напримѣръ, меня... Ну, о чемъ хотите!.. на все отвѣтъ дамъ, потому что это у меня русское, врожденное". Какъ видите, и этотъ господинъ, подобно Лузгину, не прочь бы свалить свою пустоту на природу, на врожденность. Но въ его словахъ и разсказахъ нельзя не видѣть крайняго развитія лѣности, далеко превосходящей естественное и всякому человѣку дозволительное влеченіе къ покою.

„Однако, онъ играетъ, мошенничаетъ, прожектируетъ,—могутъ возразить намъ.—Для этого тоже нужно много дѣя-

тельности. Горехвастовъ работалъ и умомъ, и руками, и ногами, и всѣми членами тѣла, для пріобрѣтенія фортуны. Онъ цѣлыя ночи проводилъ безъ сна, опасностямъ подвергался, странствовалъ по ярмаркамъ, путешествовалъ черезъ окна изъ втораго этажа на улицу. Какъ хотите, а къ этому неспособна натура пассивная, лѣнивая, находящая высшее блаженство въ апатическомъ бездѣйствіи". Все это кажется очень справедливымъ при первомъ взглядѣ. Но при нѣкоторомъ вниманіи нетрудно сообразить, что и дѣятельность Горехвастова—совершенно пассивная, вынуждаемая обстоятельствами чисто-внѣшними. Почти всегда онъ дѣйствуетъ по чужой указкѣ, ведомый другими мошенниками, почти всегда слѣдуетъ неуклонно тому направленію, на которое его толкнули. Пожалуй, если хотите, и онъ не совсѣмъ безъ дѣла. Но развѣ тогда можно найти на свѣтѣ хоть одного человѣка бездѣльнаго? Тотъ бѣгаетъ цѣлый день около бильярда, другой сидитъ за шахматами, третій глубокомысленно куритъ сигару. Иной половину дня гуляетъ для моціона, а другую половину—употребляетъ на то, чтобы задавать работу своему желудку, который едва въ цѣлыя сутки ее выполнитъ... Иной всю жизнь свою вѣсти разноситъ, другой каждый вечеръ въ театрѣ томится, и т. д., и т. д. Все это, вѣдь, тоже дѣло, если хотите, и ни одинъ человѣкъ безъ дѣлъ подобнаго рода обойтись въ своей жизни не можетъ, потому что законъ самой природы непремѣнно какое-нибудь движеніе предписываетъ. Но что это за движеніе, къ чему оно стремится, какая сила его производитъ,—вотъ на что нужно обращать вниманіе при оцѣнкѣ человѣческой дѣятельности. И камень бросить, такъ онъ полетитъ, и даже, если его искусно направить на воду, то кружки на ней произведетъ. И если воду вскипятить, то она такъ разбушуется, что и черезъ край пойдетъ: но затѣмъ разольется по полу и простынетъ тотчасъ,—только лужа останется. Подобными вспышками ограничивается и дѣятельность пропавшихъ талантливыхъ натуръ. Внутреннее влеченіе къ дѣятельности имъ уже сдѣлалось непонятно; сознательно и постоянно преслѣдовать свою цѣль—у нихъ нехватаетъ терпѣнія и твердости. На одинъ порывъ, и даже сильный,—ихъ еще станетъ, потому что они, вообще, по слабости своихъ внутреннихъ силъ, склонны увлекаться внѣшними впечатлѣніями; но одна неудача, одно препятствіе, котораго нельзя

удалить сразу—и энергія оставляетъ ихъ, и природная лѣнь беретъ свое. Всѣ они являются дѣятельными представителями того взгляда на вещи, который высказываетъ Горехвастовъ такимъ образомъ:

„Я, Николай Иванычъ, патріотъ, я люблю русскаго человѣка за то, что онъ не задумывается долго. Другой, вотъ, нѣмецъ или французъ, надъ всякою вещью остановится, даже смотрѣть на него тошно, точно родить желаетъ, а нашъ братъ только подошелъ, глазами вскинулъ, руками развелъ: „этого-то не одолѣть?—говоритъ:—да съ нами крестная сила! да мы только глазомъ мигнемъ!“ И дѣйствительно—какъ почнетъ топоромъ рубить,—только щепки летятъ; геніальная, можно-сказать, натура! безъ науки всѣ науки прошелъ!.. Люблю я, знаете, иногда посмотрѣть на нашего мужичка, какъ онъ тамъ дѣйствуетъ: лежитъ, кажется, цѣлый день на боку, да за то ужъ какъ примется, такъ у него словно горитъ въ рукахъ дѣло, откуда что берется!“

Вмѣстѣ съ слабодушіемъ и лѣностью, Горехвастовъ имѣетъ и другіе второстепенные признаки талантливыхъ натуръ. Онъ съ удивительною откровенностью разсказываетъ свои подвиги и при этомъ энергически ругаетъ себя, превосходя въ этомъ случаѣ Корепанова и Лузгина настолько, насколько натура его размашистѣе ихъ натуръ.—„Я подлецъ,—восклицаетъ онъ и рветъ при этомъ свои волосы:—я не стою быть въ обществѣ порядочныхъ людей! я подлецъ, я погубилъ свою молодость! я долженъ просить прощенія у васъ, что осмѣлился осквернить вашъ домъ своимъ присутствіемъ“. Какое сильное раскаяніе!—можете вы подумать. Не безпокойтесь: это такъ, вспышка, для успокоенія собственной совѣсти. „Мы, дескать, не такіе пошляки, какъ другіе-прочіе; мы чуемъ нашу высшую русскую породу и знаемъ, что если бы захотѣли, такъ могли бы быть очень хорошими людьми“. На дѣятельность же Горехвастова всѣ подобныя вспышки не оказываютъ ни малѣйшаго вліянія. Въ то самое время, какъ онъ декламируетъ о своемъ недостоинствѣ, его арестуютъ за кражу казенныхъ денегъ женщиною, съ которой онъ находился въ „непозволительной“ связи. Проживъ свою молодость, этотъ господинъ до того излѣнился, что уже и украсть самъ по хочетъ, а заставляетъ свою любовницу.

Оставимъ теперь въ сторонѣ талантливыхъ пріятелей г. Щедрина и поставимъ вопросъ въ болѣе отвлеченномъ видѣ, чтобы не задѣвать никакихъ личностей. По нашему мнѣнію, въ обществѣ молодомъ, не успѣвшемъ еще основательно

переработать всѣхъ своихъ взглядовъ и мнѣній, не успѣвшемъ, по причинѣ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, развить въ себѣ самоопредѣляемости къ дѣйствію (говоря по ученому), непремѣнно являются два главные разряда членовъ. Одни—вполнѣ пассивные, безличные и крайне ограниченные, какъ въ своихъ способностяхъ, такъ и въ потребностяхъ. Эти—смирны; они не волнуются, не сомнѣваются и не только не выходятъ изъ своей колеи, но даже не подозрѣваютъ, что можно изъ нея выйти. Въ ученьи, въ службѣ, въ жизни—они всегда *исправны:* что имъ прикажутъ, то они сдѣлаютъ, что дадутъ выучить, выучатъ, до какихъ границъ позволятъ дойти, до тѣхъ и дойдутъ. Это ужъ люди убитые, безнадежные; нечего ждать отъ нихъ, нечего стараться направить въ хорошую сторону. Какъ ихъ ни направьте, они не выйдутъ изъ своего ничтожества, не разовьютъ вашихъ идей, не будутъ вашими помощниками. Они какъ балластъ на кораблѣ, даютъ только устойчивость кораблю общества противъ бурныхъ вѣтровъ и толчковъ взволнованнаго моря. Они тяжелы на подъемъ, неподвижны и тупо вѣрны одному, разъ навсегда заученному правилу, разъ навсегда принятому авторитету. Отступленія дѣлаются ими только на практикѣ, и всегда безсознательно. Они могутъ похвалить романъ Жоржъ-Занда, пока не знаютъ, что онъ написанъ Жоржъ-Зандомъ; могутъ даже посмѣяться надъ нелѣпостью, если вы имъ не скажете, что взяли эту нелѣпость изъ уважаемой ими книги; могутъ осудить гнусный поступокъ, не зная, что онъ учиненъ генераломъ. Но какъ скоро авторитетъ является наружу, сознаніе ихъ просвѣтляется, и тутъ ужъ никакія убѣжденія не помогутъ... Убѣжденій и принциповъ нѣтъ для этихъ людей: для нихъ существуютъ только правила и формы. Въ дѣятельности ихъ есть что-то похожее на медвѣжью пляску для выгоды хозяина и для потѣхи празднаго народа; въ разговорахъ же своихъ они напоминаютъ попугая, который на всѣ ваши вопросы отвѣчаетъ одно заученное слово, и часто, совершенно невпопадъ, говоритъ вамъ „дуракъ“ за всѣ ваши ласки. Нѣкоторые, впрочемъ, и этимъ утѣшаются: интересно дескать, что птица говоритъ, точно человѣкъ.

Другую половину молодого общества составляютъ именно тѣ люди, которыхъ называютъ современными героями, „провинціальными Печориными“, „уѣздными Гамлетами“, нако-

нецъ „талантливыми натурами“. Послѣднее названіе, можетъ быть, менѣе другихъ соотвѣтствуетъ мысли, которую мы хотимъ высказать; но—дѣло не въ названіи. Натуры тутъ, конечно, не много, а болѣе дѣйствуютъ обстоятельства житейскія, состоящія, во-первыхъ, въ отношеніяхъ времени. Печоринскія замашки и претензіи на талантливость натуры являются всегда, какъ уже замѣтилъ г. Щедринъ, въ молодомъ поколѣніи, обладающемъ сравнительно большею свѣжестью силъ, болѣе живою воспріимчивостью чувствъ. Подвергаясь разнообразнымъ вліяніямъ, молодые люди находятся въ необходимости сдѣлать, наконецъ, выборъ между ними. Начинается внутренняя работа, которая въ иныхъ исключительныхъ личностяхъ продолжается безостановочно, идетъ живо и самостоятельно, съ строгимъ разграниченіемъ внутреннихъ органически-естественныхъ побужденій отъ внѣшнихъ вліяній, дѣйствующихъ более или менѣе насильственно. Но подобныя личности представляютъ исключеніе, тѣмъ болѣе рѣдкое, чѣмъ ниже стоитъ образованность всего общества. Самая же большая часть людей, начинающихъ работать мыслью въ обществѣ малообразованномъ, оказывается слабою и негодною, чтобы устоять противъ ожидающихъ ихъ препятствій. Съ самаго появленія своего на бѣлый свѣтъ, въ самые первые впечатлительные годы жизни, — люди новаго поколѣнія окружены все-таки средою, которая не мыслитъ, не движется нравственно, о мысли, всякаго рода думаетъ, какъ о дьявольскомъ навожденіи и безсознательно-практически гнетъ и ломаетъ волю ребенка. Это второе обстоятельство, — противодѣйствіе начальнаго воспитанія и всей окружающей среды идеямъ времени, которому уже принадлежитъ новое поколѣніе,—и приводитъ къ паденію большую часть талантливыхъ натуръ. Возникли у нихъ кое-какія требованія, которымъ прежняя среда и прежняя жизнь не удовлетворяютъ: надобно искать удовлетворенія въ другомъ мѣстѣ. Но для этого надо много продолжительныхъ усилій, надо долго плыть противъ теченія. Между тѣмъ, корабль давно уже стоитъ на мели, и балластъ грузно лежитъ внизу. Талантливыя натуры, замѣтивъ, что все около нихъ движется,—и волны бѣгутъ, и суда плывутъ мимо,—рвутся и сами куда-нибудь; но снять корабль съ мели и повернуть по-своему они не въ силахъ, уплыть одни далеко отъ своихъ—боятся: море невѣдомое, а пловцы они плохіе. Напрасно

кто-нибудь, болѣе ихъ искусный и неустрашимый, переплывшій на противный берегъ, кричитъ имъ оттуда, указывая путь спасенія: плохіе пловцы боятся броситься въ волны и ограничиваются тѣмъ, что проклинаютъ свое малодушіе, свое положеніе, и иногда, заглядѣвшись на бѣгущую мимо струю, или ободренные крикомъ, вылетѣвшимъ изъ капитанскаго рупора, вдругъ воображаютъ, что корабль ихъ бѣжитъ, и восторженно восклицаютъ: „пошелъ, пошелъ, двинулся!“ Но скоро они сами убѣждаются въ оптическомъ обманѣ и опять начинаютъ проклинать или погружаются въ апатичное бездѣйствіе, забывая простую истину, что имъ придется умереть на мели, если они сами не позаботятся снять съ нея корабль и, прежде всего — хоть помочь капитану и его матросамъ выбросить балластъ, мѣшающій кораблю подняться.

Какой изъ этихъ двухъ разрядовъ лучше,—конечно, не затруднится сказать никто. Въ настоящемъ они *оба хуже*, и горе тому обществу, которое долго остановится на этихъ двухъ категоріяхъ, и въ которомъ не будетъ съ года на годъ увеличиваться число спасительныхъ исключеній. Отсутствіе всякой самостоятельности, лѣнивая апатія и увлеченіе внѣшностью составляютъ существенные признаки—какъ талантливыхъ натуръ, такъ и людей, принадлежащихъ къ общественному балласту, хотя и не во всѣхъ находятся эти качества въ одинаковой степени. Слѣдовательно, и тотъ и другой сортъ людей—не большая находка для общества, которое хочетъ жизни и дѣятельности сознательной и самобытной. Лучшая изъ талантливыхъ натуръ не пойдетъ дальше теоретическаго пониманія того, что нужно, и громкаго крика, когда онъ не слишкомъ опасенъ. Въ случаѣ же обстоятельствъ неблагопріятныхъ, они или заговорятъ двухсмысленно, или и совсѣмъ противно своимъ убѣжденіямъ. Самые отважные—замолчатъ, и свое молчаніе будутъ считать геройствомъ. „Мы, дескать, мученики своихъ убѣжденій: всѣ говорятъ противъ совѣсти и получаютъ отъ этого выгоду, и мы могли бы тоже получить выгоду, проповѣдуя чужія мысли, которыхъ не раздѣляемъ; но мы не хотимъ кривить душой и молчимъ, затаивъ въ себѣ собственное, самобытно-сочиненное воззрѣніе до того времени, когда можно будетъ его высказать безъ опасеній“. Такимъ образомъ и водворяется въ обществѣ невозмутимѣйшая тишина, пол-

пѣйшая неподвижность, возмущаемая только развѣ дебоширствами талантливыхъ натуръ, посягающихъ на безопасность смиренныхъ гражданъ.

Но у молодого, еще не совсѣмъ развитого общества есть будущее. И для этого будущаго второй разрядъ людей, т.-е. люди съ размашистыми натурами, даетъ все-таки несравненно больше хорошихъ надеждъ, чѣмъ убитыя существа безъ всякихъ стремленій. Они, по крайней мѣрѣ, не будутъ имѣть такого парализующаго вліянія на дѣятельность слѣдующихъ за ними поколѣній, потому что въ нихъ есть уже хоть смутное предчувствіе истины, хоть робкое, слабое оправданіе молодыхъ порывовъ. Лузгинъ уже не смѣетъ высѣчь своихъ дѣтей за то, что они уличаютъ его во лжи; Корепановъ безбоязненно внушаетъ крутогорскому молодому поколѣнію „отвращеніе къ тѣмъ мерзостямъ, въ которыхъ закоренѣли ихъ милые родители". Рудинъ (тоже талантливая натура) имѣлъ болѣе благотворное вліяніе на молодого студента Басистова, чѣмъ всѣ его профессора вмѣстѣ. Въ талантливыхъ натурахъ есть хоть слабые зачатки дѣятельности, хоть желаніе перевертывать на разныя манеры то, что имъ передано другими; въ натурахъ безталанныхъ, безличныхъ, нѣтъ даже мысли о томъ, что нужно и можно дѣйствовать самому; пассивное воспріятіе внѣшнихъ внушеній не только не возбуждаетъ ихъ къ дѣятельности, но даже еще болѣе усыпляетъ и успокоиваетъ въ томъ процессѣ механическаго передвиженія, который они называютъ жизнью и дѣятельностью... Винить этихъ несчастныхъ тружениковъ было бы несправедливо уже и потому, что у нихъ нѣтъ своей воли, нѣтъ своей мысли, слѣдовательно, имъ и отвѣчать не за что. Но нельзя не жалѣть объ ихъ положеніи, нельзя не желать, чтобы все уменьшалось въ человѣчествѣ число подобныхъ людей, напрасно носящихъ образъ человѣческій.

Обращаясь теперь къ началу нашей статьи, мы намѣрены предложить читателямъ вопросъ: не состоитъ ли и большинство нашего общества изъ членовъ двухъ названныхъ нами категорій? Не составляютъ ли у насъ исключенія люди, соединяющіе съ правдивостью и возвышенностью стремленій честную и неутомимую дѣятельность? Вѣроятно, каждый изъ читателей можетъ насчитать въ числѣ своихъ знакомыхъ десятки людей, которымъ, кажется, сроду не приходило въ

голову ни одного вопроса, не касавшагося ихъ собственной кожи, и десятки другихъ, безплодно тратящихъ всю жизнь въ вопросахъ и сомнѣніяхъ, не пытаясь разрѣшить своей дѣятельностью ни одного изъ нихъ, и измѣняющихъ на дѣлѣ даже тѣмъ рѣшеніямъ, которыя ими сдѣланы въ теоріи. Сколько мы видимъ людей, унижающихся передъ тѣми, кого они внутренно презираютъ; смѣющихся надъ тѣмъ, чего боятся; дѣлающихъ то, чего гадость они очень хорошо знаютъ; говорящихъ то, чему сами не вѣрятъ, и т. п. Отчего происходитъ все это? Оттого же, отчего погибаютъ талантливыя натуры,—отъ недостаточнаго развитія внутренней силы, необходимой, чтобы устоять противъ внѣшнихъ вліяній. Теперь мы, слава Богу, всѣ уже знаемъ кое-что, потому что всѣ учились понемногу. Но бѣда въ томъ, что ученье это рѣдкимъ изъ насъ впрокъ идетъ: рѣдкіе рѣшаются собственнымъ умомъ провѣрить чужія внушенія, внести въ чужія системы свѣтъ собственной мысли и ступить на дорогу безпощаднаго отрицанія для отысканія чистой истины; большая часть принимаетъ ученье только памятью и если дѣйствуетъ иногда разсудкомъ, то не потому, чтобы внутренняя, живая потребность была, а потому только, что въ голову заброшено такое ученіе, въ которомъ, именно, приказывается мыслить. И начинается мышленіе на заказъ, безъ всякаго участія сердца, съ соблюденіемъ только діалектическихъ тонкостей. И то хорошо, конечно: все-таки лучше, чѣмъ совершенно мертвое безмысліе. Но жизнь не уловляется діалектикой, и кто не вникалъ въ разнообразіе ея вліяній самъ, не стѣсняясь теоріями, навязанными въ лѣта невѣдѣнія,—тотъ не пойметъ ея хода. Въ томъ обществѣ, гдѣ сильно еще дѣйствуютъ въ отдѣльныхъ личностяхъ чужія, безсмысленно взятыя на вѣру формы и формулы, долго нельзя ожидать плодотворной и послѣдовательной дѣятельности. Во многихъ умахъ могутъ появляться прекрасные порывы, произведенные присталыми убѣжденіями; но всѣ они—и порывы и самыя убѣжденія—безполезно погибаютъ и разсыпаются впрахъ, не въ силахъ будучи противиться давленію темной и тяжелой массы, со всѣхъ сторонъ заграждающей имъ путь. Оттого-то и бываетъ такъ медленъ переходъ народовъ изъ состоянія пассивнаго воспріятія въ состояніе самобытной дѣятельности. Медленно, чуть замѣтно увеличивается, изъ поколѣнія въ поколѣніе,

число людей самобытно мыслящихъ, и еще медленнѣе получается возможность приложить мысль къ дѣлу. Идеала лично-самостоятельной дѣятельности не достигъ еще ни одинъ народъ, и не много есть народовъ, въ которыхъ сознательно развитыя личности не составляютъ исключенія.

Наше общество еще очень молодо въ отношеніи къ европейской цивилизаціи, и потому нечего удивляться, что огромное большинство его относится къ наукѣ и мысли чисто-страдательно. Между этимъ большинствомъ есть мирные люди, отличающіеся изумительной способностью легко переваривать всѣ противорѣчія, проистекающія изъ смѣшенія новыхъ понятій, вносимыхъ жизнью, съ старыми привычками, пріобрѣтенными въ дѣтствѣ. Есть и талантливыя натуры разныхъ сортовъ, шумно дающія знать о своемъ бездѣйствіи и переваривающія на досугѣ свое прошедшее, протестуя противъ настоящаго. Они-то, обыкновенно, и толкуютъ о высшей своей русской породѣ, которой достоинства опредѣляютъ на-манеръ Горехвастова: „геніальная, дескать, натура у русскаго человѣка: безъ науки всѣ науки прошелъ!“... И дѣйствительно,—продолжимъ мы рѣчь Горехвастова, соображая нѣкоторыя явленія нашей общественной жизни, — „какъ почнетъ топоромъ рубить, только щепки летятъ... Лежитъ, кажется, цѣлый день на боку, да зато ужъ какъ примется“...—„Въ полтора вѣка Европу мы догнали, да и перегнали“,—восклицаютъ у насъ, вторя Горехвастову, многія талантливыя натуры. „Да помилуйте, мы уже восемь вѣковъ назадъ были далеко впереди отъ Европы, — возражаютъ другіе,—мы всегда были не то, что прочіе люди; мы давно уже безъ науки всѣ науки прошли, потому что геніальная натура науки не требуетъ: это ужъ у насъ у всѣхъ русское, врожденное“.

Къ сожалѣнію, все это—слова, не имѣющія внутренняго смысла. Самые толки о необыкновенно быстромъ ростѣ нашемъ оказываются краснорѣчивымъ тропомъ. Отъ древней Руси довольно осталось намъ наивно-разсказанныхъ фактовъ кормленія и продѣлокъ подьячества. Сто лѣтъ тому назадъ Сумароковъ пріобрѣлъ благодарность современниковъ за успѣшное преслѣдованіе „крапивнаго сѣмени“. За шестьдесятъ лѣтъ до нашего времени, по поводу комедіи Капниста, журналы предсказывали искорененіе взяточничества. Не дальше какъ въ прошломъ году самъ господинъ Щедринъ

похоронилъ прошлыя времена. Но вотъ опять всѣ покойники оказались живехоньки и зычнымъ голосомъ отозвались въ третьей части „Очерковъ“ и въ другихъ литературныхъ произведеніяхъ послѣдняго времени. Доказываетъ ли это, что мы очень выросли въ нравственномъ и умственномъ отношеніи? Не напоминаетъ ли, напротивъ, Горехвастова, трагически декламирующаго о своей гадости и подлости, съ вырываніемъ собственныхъ волосъ приносящаго раскаяніе и, въ то же время, затѣвающаго новое воровство?...

„До чего жъ вы, наконецъ, договорились,—возражаютъ намъ практическіе люди:—вы сами сознаетесь, наконецъ, въ безсиліи вашего хваленаго рода литературы? Къ чему же привели всѣ эти отвратительныя картины, грязныя сцены, пошлые и подлые характеры? Къ чему привело все это раскрытіе общественныхъ ранъ, которое вы всегда такъ превозносили? Выходитъ, что отъ вашихъ литературныхъ обличеній никакого толку нѣтъ, да и быть не можетъ. Повѣрьте, что исправники и становые вашихъ разсужденій и очерковъ читать не станутъ, а если и прочтутъ, такъ только васъ же ругнутъ: хорошо, молъ, имъ сочинять-то у бездѣлья, а тутъ на шеѣ столько обязанностей виситъ, что только дай Богъ вынести. И повѣрьте, что сознаніе своихъ обязанностей въ отношеніи къ желудку, семейству, начальству и пр. будетъ въ человѣкѣ гораздо сильнѣе, чѣмъ убѣжденія всѣхъ вашихъ книжекъ. Напрасно только литература унижаетъ себя, опускаясь изъ свѣтлыхъ высотъ фантазіи въ омутъ грязной дѣятельности. Она должна приносить чистыя жертвы на алтарь музъ, а, вмѣсто того, жрецы ея берутся за метлу. Вы рождены для вдохновенья, для звуковъ *сладкихъ* и молитвъ; зачѣмъ же вы пускаетесь въ житейскія волненія, зачѣмъ преслѣдуете какія-то цѣли, достиженіе которыхъ васъ, кажется, очень интересуетъ? Искусство цѣлей внѣ себя допускать не должно. Иначе оно искажается, профанируется, низводится на степень ремесла, и все это безъ малѣйшей пользы для общества, единственно затѣмъ, чтобы дать исходъ желчи какого-нибудь господина. Оставьте лучше этотъ родъ: онъ не приводитъ ни къ чему хорошему. Вѣковый опытъ долженъ убѣдить васъ въ этой непреложной истинѣ. Изображайте намъ лучше чувства возвышенныя, натуры благородныя, лица идеальныя. Дайте намъ образцы добраго и изящнаго, которыми мы могли бы восхищаться, на которыхъ душа наша

могла бы отдохнуть и успокоиться отъ треволненій и сердечныхъ зрѣлищъ жизненнаго поприща. Пишите объ искусствѣ, о предметахъ, повергающихъ сердце въ сладостное умиленіе или благоговѣйный восторгъ,—описывайте, наконецъ, красы природы, неба... Тогда ваша литература будетъ исполнять свое прямое назначеніе — служеніе искусству и, слѣдовательно, будетъ полезна, пріятна и, главное, художественна".

Въ словахъ практическихъ людей звучитъ ожесточеніе безпощадное. Они давно уже косятся на это направленіе, которое насолило ихъ теоріи да не оставило-таки задѣть немножко и практику. Всѣ ихъ возраженія, конечно, не новы и составляютъ варіаціи стихотворенія Пушкина „Чернь", съ прибавленіемъ, можетъ-быть, чувствительныхъ стишковъ изъ Ильи-Муромца:

Ахъ, не все намъ слезы горькія
Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ...
На минуту позабудемся
Въ чародѣйствѣ красныхъ вымысловъ.

Отчего же не позабыться, если хотите,—особенно, если это только на минуту. Но при врожденной талантливымъ натурамъ лѣни онѣ любятъ забываться надолго, даже навсегда, если можно. Онѣ готовы, въ своей дремотѣ, отъ всего сердца проклясть „правды гласъ", если онъ вдругъ разрушитъ ихъ сладостныя мечтанія. Многія, эстетически обученныя талантливыя натуры сильно желаютъ этого забытья, чтобы блаженствовать въ покоѣ. Но, признаемся, мы никогда не понимали „блаженства безумія" и еще менѣе понимаемъ, зачѣмъ люди хотятъ сдѣлать искусство служителемъ этого безумія. Вамъ не хочется смотрѣть на гадость и пошлость жизни; да литература-то что же за штопальница, что вы хотите заставить ее зашивать кое-какія прорѣхи вашего изношеннаго наряда? Вы знаете, что человѣкъ не въ состояніи самъ отъ себя ни одной песчинки выдумать, которой бы не существовало на свѣтѣ; хорошее или дурное все равно берется изъ природы и дѣйствительной жизни. Когда же художникъ болѣе подчиняется заранѣе предположенной цѣли,—тогда ли, когда въ своихъ произведеніяхъ выражаетъ истину окружающихъ его явленій, безъ утайки и безъ прикрасъ, или тогда, когда нарочно старается выбрать одно возвышенное, идеальное, согласное съ опрятными инстинктами эсте-

тической теоріи? И чѣмъ же искусство болѣе возвышается,—описаніемъ ли журчанья ручейковъ и изложеніемъ отношеній дола къ пригорку, или представленіемъ теченія жизни человѣческой и столкновенія различныхъ началъ, различныхъ интересовъ общественныхъ? Вамъ угодно называть служителей общественнаго направленія подметателями всякаго сора. Пусть такъ; мы противъ этого не станемъ спорить; мы даже выскажемъ вамъ нашу искреннюю благодарность и удивленіе къ вашей эстетической мудрости, уподобивъ васъ тому нѣмецкому профессору (подумайте—профессору! нѣмецкому!), который у Гейне

Mit seinen Nachtmützen und Schlafrockfetzen
Stopft die Lücken des Weltbaues.

А что литературныя обличенія не производятъ практически-благотворныхъ результатовъ, или производятъ ихъ весьма мало,—такъ кто же опять виноватъ въ этомъ? Неужели опять вы скажете, что литература? Да на нее и безъ того вы же сами взводите обвиненія въ излишней рѣзкости, вмѣшательствѣ не въ свои дѣла и пр. Она дѣйствуетъ такъ сильно, какъ только можетъ, а вы недовольны ея дѣйствіями и хотите ихъ прекратить, потому что они слабы! Гораздо послѣдовательнѣе было бы съ вашей стороны, если бы вы сказали, что надобно поэтому усилить тонъ литературныхъ обличеній, для легчайшаго достиженія практическихъ результатовъ. Тогда бы мы съ вами и спорить не стали, хотя все-таки не рѣшились бы обѣщать слишкомъ замѣтнаго успѣха въ улучшеніи нравовъ посредствомъ литературы. Литература въ нашей жизни не составляетъ такой преобладающей силы, которой бы все подчинялось: она служитъ выраженіемъ понятій и стремленій образованнаго меньшинства и доступна только меньшинству; вліяніе ея на остальную массу—только посредственное, и оно распространяется весьма медленно. Да и по самому существу своему, литература не составляетъ понудительной силы, отнимающей физическую или нравственную возможность поступать противозаконно. Она не любитъ насилія и принужденія, а любитъ спокойное, безпристрастное и безпрепятственное разсужденіе. Она поставляетъ вопросы, со всѣхъ сторонъ ихъ разсматриваетъ, сообщаетъ факты, возбуждаетъ мысль и чувство въ человѣкѣ, но не присвоиваетъ себѣ какой-то исполнительной власти, которой вы отъ

нея требуете. Намъ приходитъ теперь на мысль начало одного знаменитаго, въ свое время, французскаго сочиненія объ одномъ важномъ вопросѣ. „Меня спросятъ,—говоритъ авторъ,—что́ я за правитель или законодатель, что смѣю писать о политикѣ? Я отвѣчу на это: оттого-то я и пишу, что я ни правитель ни законодатель. Если бы я былъ тѣмъ или другимъ, то не сталъ бы напрасно тратить времени въ разговорахъ о томъ, что нужно сдѣлать: я сдѣлалъ бы или бы молчалъ...“ Нужно же понять, наконецъ, значеніе писателя, нужно понять, что его оружіе—слово, убѣжденіе, а не матеріальная сила. Если вы признаете справедливость его убѣжденій и все-таки не исправляете по нимъ своей дѣятельности,—въ этомъ вы сами ужъ виноваты: въ васъ, значитъ, нѣтъ характера, нѣтъ умѣнья бороться съ трудностями, не развито понятіе о честномъ согласованіи поступковъ съ мыслями. Если же самыя убѣжденія вамъ не нравятся,—тогда другое дѣло. Тогда выскажите намъ всенародно ваши собственныя убѣжденія, докажите, что г. Щедринъ говоритъ неправду, что онъ изобрѣтаетъ небывалыя вещи. Публика послушаетъ и васъ, разберетъ тогда, на чьей сторонѣ правда. Въ такомъ случаѣ, литература, разумѣется, и значенія больше получитъ, хотя, конечно, и тогда чудесъ дѣлать не будетъ и не остановитъ хода исторіи. Для примѣра укажемъ, хоть, на древнюю исторію, чтобы не вмѣшивать сюда новыхъ народовъ. Ужъ на что, кажется, литературный народъ были аѳиняне! Судебныя дѣла рѣшались умиленіемъ судей отъ чтенія хорошей трагедіи, краснорѣчіе судьбой государства правило; но ничто не отвратило упадка аѳинской силы, когда народная доблесть пропала. Аристофанъ, не чета нашимъ комикамъ, не въ бровь, а въ самый глазъ кололъ Клеона, и бѣдные граждане рады были его колкимъ выходкамъ; а Клеонъ, какъ богатый человѣкъ, все-таки управлялъ Аѳинами съ помощью нѣсколькихъ богатыхъ людей. Демосѳенъ цѣлому народу громогласно проповѣдывалъ свои филиппики. Филиппъ зналъ силу оратора, говорилъ, что боится его больше, чѣмъ цѣлой арміи, и, понимая, что борьбу надобно производить равнымъ оружіемъ, подкупилъ Эсхина, который могъ помѣряться съ Демосѳеномъ. Борьба продолжалась долго, наконецъ, самый ходъ событій оправдалъ Демосѳена: аѳиняне послушались его, собрали, наконецъ, войско и пошли на Филиппа. Но все краснорѣчіе Демосѳена было не въ

силахъ возвратить времена Мильтіадовъ и Ѳемистокловъ. Аѳины покорились Филиппу. Неужто и тутъ Демосѳенъ виноватъ: зачѣмъ, дескать, онъ говорилъ? Какъ бы не говорилъ, такъ, можетъ, было бы и лучше.

Впрочемъ, подумавши хорошенько, мы убѣждаемся, что серіозно защищать г. Щедрина и его направленіе совершенно не стоитъ. Все отрицаніе г. Щедрина относится къ ничтожному меньшинству нашего народа, которое будетъ все ничтожнѣе съ распространеніемъ народной образованности. А упреки, дѣлаемые г. Щедрину, раздаются только въ отдаленныхъ, едва замѣтныхъ кружкахъ этого меньшинства. Въ массѣ же народа имя г. Щедрина, когда оно сдѣлается тамъ извѣстнымъ, будетъ всегда произносимо съ уваженіемъ и благодарностью: онъ любитъ этотъ народъ, онъ видитъ много добрыхъ, благородныхъ, хотя и неразвитыхъ или невѣрно направленныхъ инстинктовъ въ этихъ смиренныхъ, простодушныхъ труженикахъ. Ихъ-то защищаетъ онъ отъ разнаго рода талантливыхъ натуръ и безталанныхъ скромниковъ, къ нимъ-то относится онъ безъ всякаго отрицанія. Въ „Богомольцахъ“ его великолѣпенъ контрастъ между простодушною вѣрой, живыми, свѣжими чувствами простолюдиновъ и надменною пустотой генеральши Дарьи Михайловны или гадостнымъ фанфаронствомъ откупщика Хрептюгина. И неужели это будетъ отрицаніе народнаго достоинства, нелюбовь къ родинѣ, если благородный человѣкъ разскажетъ, какъ благочестивый народъ разгоняютъ отъ святыхъ иконъ, которымъ онъ искренно вѣруетъ и поклоняется, для того, чтобы очистить мѣсто для генеральши Дарьи Михайловны, небрежно говорящей, что c'est joli; или, какъ полуграмотный писарь глумится надъ простодушною вѣрой старика, увѣряя, что „простой человѣкъ, окромѣ какъ своего невѣжества, натуральнаго естества ни въ жизнь произойти не въ силахъ“; или, какъ у истомленныхъ, умирающихъ отъ жажды странницъ отнимаютъ ото рта воду, чтобы поставить серебряный самоваръ Ивана Онуфрича Хрептюгина. Нѣтъ, отрицательное направленіе принадлежитъ, именно, тѣмъ людямъ, которые обижаются подобными разсказами и безумно отрекаются отъ своей родины, ставя себя на мѣсто народа. Они—гнилыя части, сухія вѣтви дерева, которыя отмѣчаются знатокомъ для того, чтобы садовникъ обрѣзалъ ихъ, и они-то подымаютъ вопль о томъ, что рѣжутъ дерево, что гибнетъ

дерево. Да, дерево можетъ погибнуть, именно, отъ этихъ гнилыхъ и засохшихъ вѣтвей, если онѣ не будутъ отсѣчены. Безъ нихъ же дерево ничего не потеряетъ: оно свѣжо и молодо, его можно воспитать и выпрямить; его растительная сила такова, что на мѣсто обрѣзанныхъ у него скоро выростутъ новыя, здоровыя вѣтви. А о сухихъ вѣтвяхъ и жалѣть нечего: пусть ихъ пригодятся кому-нибудь хоть на растопку печки.

Сочувствіе къ неиспорченному, простому классу народа, какъ и ко всему свѣжему, здоровому въ Россіи, выражается у г. Щедрина чрезвычайно живо. Мы думаемъ, что самый эстетическій, самый восторженный человѣкъ можетъ отдохнуть на общей картинѣ богомольцевъ и странниковъ, ожидающихъ на соборной площади появленія святыхъ иконъ. Тутъ нѣтъ сентиментальничанья и ложной идеализаціи: народъ является какъ есть, со своими недостатками, грубостью, неразвитостью. Тутъ и горе, и бѣдность, и лохмотья, и голодъ являются на сцену, тутъ и пѣсни о томъ, что пришло время антихристово, потому что:

„Власы, бороды стали брити,
Латынскую одежду носити...“

Но эти бѣдные, невѣжественные странники, эти суевѣрныя крестьянки возбуждаютъ въ насъ не насмѣшку, не отвращеніе, а жалость и сочувствіе; становится грустно, какъ послушаешь толки женщинъ о предстоящемъ имъ переселеніи по-за Пермь, въ сибирскія страны. Жалко стараго мѣста, жалко родительскія могилки оставить, но что дѣлать? Житье-то плохое на старомъ мѣстѣ: земля—тундра да болотина, семья большая, кормиться нечѣмъ и подати взять неоткуда. А въ сибирской сторонѣ, говорятъ, и хлѣбъ родится и скотина живетъ... Вздыхаютъ собесѣдницы, и разговоръ, повидимому, стихаетъ. Но, продолжаетъ г. Щедринъ:

Этой боли сердечной, этой нуждѣ сосущей, которую мы равнодушно называемъ именемъ ежедневныхъ будничныхъ явленій, никогда нѣтъ сконченія. Они безконечно зрѣютъ въ сердцѣ бѣднаго труженика, выражаясь въ жалобахъ, всегда однообразныхъ и всегда безплодныхъ, но тѣмъ не менѣе повторяющихся безпрерывно, потому что человѣку невозможно не стонать, если стонъ, совершенно созрѣвшій безъ всякихъ съ его стороны усилій, вылетаетъ изъ груди.

— Такъ-то вотъ, братъ,—говоритъ пожилой и очень смирный съ виду мужичокъ, встрѣтившись на площади съ своимъ односельчаниномъ:—такъ-то вотъ, и Матюшу въ некруты сдали!

Въ загорѣлыхъ и огрубѣвшихъ чертахъ лица его является почти незамѣтное судорожное движеніе, въ голосѣ слышится дрожаніе, и обыкновенный сдержанный вздохъ вырывается изъ груди.

— А добрый парень былъ,—продолжаетъ мужичокъ:—какъ есть на свѣтѣ муха, и той не обидѣлъ, робилъ непрекословно, да и въ некруты непрекословно пошелъ, даже голосу не подалъ, какъ „лобъ" сказали!

Воображенію моему вдругъ представляется этотъ славный, смирный парень Матюша, не то, чтобъ веселый, а скорѣе боязный, трудолюбивый и честный. Я вижу его за сохой, бодраго и сильнаго, несмотря на капли пота, струящіяся съ его загорѣлаго лица; вижу его дома безропотно исполняющаго всякую домашнюю нужду; вижу въ церкви Божіей, стоящаго скромно и истово знаменующагося крестнымъ знаменіемъ; вижу его позднимъ вечеромъ, засыпающаго сномъ невиннымъ послѣ тяжкой дневной работы, для него никогда не кончающейся. Вижу я старика-отца и старуху-мать, которые радуются не нарадуются на ненаглядное дѣтище; вижу урну съ свернутыми въ ней жеребьями, слышу слова: „лобъ, лобъ, лобъ"!..

— Что жъ, помолиться что ли ты пришелъ, дядя Иванъ?—спрашиваетъ у мужичка его собесѣдникъ.

— Да, вотъ къ угоднику... Помиловалъ бы Онъ его, нашъ Батюшка!—отвѣчаетъ старикъ прерывающимся голосомъ:—никакого, то-есть, даже изъяну въ немъ не нашли, въ Матюшѣ-то; тѣло-то, слышь, бѣлое разбѣлое, да крѣпко таково...

„И вся эта толпа пришла сюда съ чистымъ сердцемъ, храня, во всей ея непорочности, душевную лепту, которую она обѣщала повергнуть къ пречестному и достохвальному образу Божьяго угодника. Прислушиваясь къ ея говору, я самъ начинаю сознавать возможность и законность этого стремленія къ душевному подвигу, которое такъ просто и такъ естественно объясняется всѣми жизненными обстоятельствами, оцѣпляющими незатѣйливое существованіе простого человѣка" (т. III, стр. 152—154).

Мы остановимся здѣсь подъ вліяніемъ этого трогательнаго чувства. Замѣтимъ только, въ заключеніе, какъ ровно, безпорывно, но зато какъ беззавѣтно, просто и открыто выражается глубокое чувство, глубокая вѣра этого народа и выражается не въ восклицаніяхъ, а на дѣлѣ. Это не то, что фразеры, о которыхъ говорили мы въ началѣ статьи. Толками тѣхъ господъ нечего увлекаться, на нихъ нечего надѣяться: ихъ станетъ только на фразу, а внутри существа ихъ господствуютъ лѣнь и апатія. Не такова эта живая, свѣжая масса: она не любитъ много говорить, не щеголяетъ своими страданіями и печалями, и часто даже сама ихъ не понимаетъ хорошенько. Но ужъ зато, если пойметъ что-нибудь этотъ „міръ", толковый и дѣльный, если скажетъ свое простое, изъ жизни вышедшее слово, то крѣпко будетъ его слово, и сдѣлаетъ онъ, что обѣщалъ. На него можно надѣяться.

Н. А. Добролюбовъ.

„Губернскіе очерки“.

Изъ записокъ отставного надворнаго совѣтника Щедрина. Собралъ и издалъ М. Е. Салтыковъ. Два тома. Москва. 1857 г. [1]).

*) Давно уже не являлось въ русской литературѣ разсказовъ, которые возбуждали бы такой общій интересъ, какъ „Губернскіе очерки“, Щедрина, изданные г. Салтыковымъ. Главная причина громаднаго успѣха этихъ разсказовъ оче-

---

1) „Современникъ“, 1857 г., 6 кн.

*) Эта статья принадлежитъ хорошо извѣстному читающей публикѣ Ник. Гаврил. Чернышевскому, автору многихъ научныхъ трудовъ, переводовъ, публицистическихъ статей, и литературному критику. Чернышевскій род. въ Саратовѣ въ 1828 г. и ум. въ 1889 г., въ одинъ годъ съ авторомъ „Губернск. очерковъ“. Происходя изъ духовной семьи, Чернышевскій сначала воспитывался въ духовной семинаріи, а затѣмъ перешелъ въ петерб. университетъ, на филологическій факультетъ. По выходѣ оттуда, Чернышевскій нѣкоторое время занимался педагогической дѣятельностью, но вскорѣ оставилъ ее и отдался всецѣло литературѣ. Небольшими статейками, рецензіями и переводами въ „Петерб. Вѣд.“ и „Отечеств. Зап.“ началъ онъ свою дѣятельность. Въ 1854 г. онъ переходитъ въ „Современникъ“ и занимаетъ тамъ мѣсто руководящаго сотрудника. Здѣсь онъ работаетъ исключительно по вопросамъ исторіи литературы и критики. Съ 1858 г. Чернышевскій почти оставляетъ область литературы и критики и пишетъ по вопросамъ политической экономіи и политики. Эта трансформація писательской энергіи Чернышевскаго произошла, главнымъ образомъ, потому, что въ журналѣ появилась такая крупная литературная сила, какъ Добролюбовъ. Между юношей Добролюбовымъ и Чернышевскимъ завязывается тѣсная дружба, вслѣдствіе огромнаго вліянія со стороны Чернышевскаго на умственное развитіе даровитаго критика. Чернышевскій со свойственнымъ ему великодушіемъ понялъ, что въ лицѣ Добролюбова онъ имѣетъ такого соперника, съ которымъ ему тягаться не подъ силу. Вліянію „Современника“, въ этотъ періодъ, на мыслящую часть общества, журналъ обязанъ исключительно этимъ двумъ людямъ. Въ 1864 г. Чернышевскій былъ сосланъ и вернулся изъ ссылки только въ 1883 г.

Статья о „Губернск. очеркахъ“ Щедрина весьма характерна для литературной физіономіи Чернышевскаго. Онъ здѣсь сосредоточиваетъ все вниманіе на „чисто-психологической сторонѣ типовъ“ нашего сатирика. Онъ доказываетъ, что герои Щедрина не нравственные уроды, а жертвы окружающей обстановки. *Примѣч. Н. Денисюка.*

видна каждому. Въ нихъ очень много правды—очень живой и очень важной.

Мы не будемъ говорить о томъ, какъ много чести приноситъ русскому обществу то, что правда принята имъ съ такимъ одобреніемъ и участіемъ. Не будемъ говорить и о томъ, какъ отрадно каждому, любящему свое отечество, это общее чувство, служащее свидѣтельствомъ господства честной мысли въ нашемъ обществѣ. Это понимается каждымъ.

Не будемъ много говорить и о томъ замѣчательномъ обстоятельствѣ, что правда, высказываемая надворнымъ совѣтникомъ Щедринымъ, правда, часто очень горькая, не вызвала со стороны немногихъ, которымъ она должна быть непріятна, тѣхъ ожесточенныхъ нападеній, какими, двадцать и пятнадцать лѣтъ тому назадъ, встрѣчены были „Ревизоръ" и „Мертвыя Души". Значитъ, не даромъ прошелъ для насъ опытъ жизни; значитъ, или исчезли, или чувствуютъ себя нынѣ безсильными люди, которые осмѣливались говорить, что правда можетъ быть вредна. Это ослабленіе голосовъ, враждебныхъ правдѣ, не есть обстоятельство случайное, обнаружившееся только въ послѣдніе годы, не есть явленіе непорочное по своей случайности: годъ за годомъ можно слѣдить, какъ уменьшались сила и самодѣятельность литературныхъ аристарховъ, находившихъ выгоднѣйшимъ для себя поддерживать незнаніе. Кромѣ друзей Пушкина, представителемъ которыхъ въ критикѣ былъ князь Вяземскій и нѣсколькихъ молодыхъ людей, писавшихъ въ „Телескопѣ", всѣ журналы негодовали на „Ревизора". Черезъ пять лѣтъ пользовался уже безспорнымъ превосходствомъ въ мнѣніи публики тотъ журналъ, который съ восторгомъ встрѣтилъ „Мертвыя Души". Но большинство нашей журналистики снова осудило Гоголя. Прошло еще пять лѣтъ, и не только большинство публики, но уже и большинство литераторовъ крѣпко стояло за г. Тургенева, когда онъ печаталъ: „Бурмистра", „Контору", „Малиновую воду", „Бирюка" и проч. Но все еще очень многіе и очень громкіе голоса возставали противъ разсказовъ г. Тургенева. Теперь, если кто хотѣлъ, то никто не рѣшался сказать что-нибудь противъ духа правды, оживляющаго „Очерки" г. Щедрина. Когда, десять лѣтъ тому назадъ, была напечатана „Деревня" г. Григоровича, сколькимъ упрекамъ подвергся авторъ! Но уже очень немногіе рѣшились выразить свое недовольство его „Рыба-

ками", которые явились черезъ семь лѣтъ послѣ того, а когда еще черезъ три года, въ прошедшемъ году, онъ написалъ „Переселенцевъ", никто не отважился и сказать, что не слѣдуетъ писать о переселенцахъ или можно писать иначе. Этихъ примѣровъ довольно, чтобы засвидѣтельствовать постепенное усиленіе той стороны въ нашемъ обществѣ и между нашими писателями, которая хочетъ правды, и постепенное изнеможеніе тѣхъ людей, которымъ противна правда. Кому интересно, тотъ можетъ, припоминая сужденія публики журналовъ о каждомъ замѣчательномъ явленіи нашей беллетристики, прослѣдить, какъ съ каждымъ новымъ годомъ возрастало убѣжденіе въ необходимости истины.

Мы только упоминаемъ объ этомъ замѣчательномъ фактѣ, но не останавливаемся на немъ, потому что въ настоящее время онъ очевиденъ для каждаго. Безполезно доказывать то, въ чемъ никто не сомнѣвается.

Но если для всѣхъ уже очевидно теперь, что необходимо для насъ знать о себѣ правду, если большинство, одобряющее писателей, выказывающихъ ее, такъ огромно, что бывшіе противники ея или сознаются въ томъ, что прежняя вражда ихъ была несправедлива, или лишились отважности защищать свое несправедливое дѣло, то далеко еще не всѣ согласны въ томъ, какой существенный смыслъ имѣютъ сочиненія, одобряемыя всѣми за правдивость. Всѣ согласны въ томъ, что факты, изображаемые Гоголемъ, г. Тургеневымъ, г. Григоровичемъ, Щедринымъ, изображаются ими вѣрно, и для пользы нашего общества должны быть приводимы передъ судъ общественнаго мнѣнія. Но сущность беллетристической формы, чуждой силлогическаго построенія, чуждой выводовъ въ видѣ опредѣлительныхъ моральныхъ сентенцій, оставляетъ въ умѣ многихъ читателей сомнѣніе о томъ, съ какимъ чувствомъ надобно смотрѣть на лица, представляемыя нашему изученію произведеніями писателей, идущихъ по пути, проложенному Гоголемъ; сомнѣніе о томъ, должно ли ненавидѣть или жалѣть этихъ Порфиріевъ Петровичей, Ивановъ Петровичей, Фейеровъ, Пересѣчкиныхъ, Ижбурдиныхъ и т. д.; надобно ли считать ихъ людьми дурными по своей натурѣ, или полагать, что дурныя ихъ качества развились вслѣдствіе постороннихъ обстоятельствъ, независимо отъ ихъ воли. Сколько можно заключать изъ журнальныхъ отзывовъ и изъ разговоровъ, которые каждый изъ

насъ много разъ имѣлъ случай слышать въ обществѣ по поводу произведеній, подобныхъ „Губернскимъ очеркамъ“ Щедрина, надобно думать, что очень значительная часть, быть-можетъ, большинство публики склоняется на сторону перваго мнѣнія. Подьячій, разсказывающій надворному совѣтнику Щедрину о „прошлыхъ временахъ“, восхищается тѣмъ, что въ эти „прошлыя времена“ все было шито и крыто, взяточники не опасались никакихъ преслѣдованій и наживались очень спокойнымъ образомъ; онъ восхищается безсовѣстными продѣлками Ивана Петровича и съ нѣкоторою гордостью вспоминаетъ, что самъ былъ не послѣднимъ сподвижникомъ этого удивительно изобрѣтательнаго взяточника. Продѣлки, отчасти одобряемыя, отчасти совершенныя подьячимъ-разсказчикомъ, каждому образованному и честному человѣку кажутся вредными для общества, гнусными, преступными; чувство негодованія, ими возбуждаемое, очень легко переходитъ въ чувство нравственнаго безпощаднаго осужденія человѣку, совершившему или одобряющему эти дѣла, и очень многіе изъ людей, восхищающихся „Губернскими очерками“, объявляютъ его человѣкомъ очень дурнымъ, совершенно безсовѣстнымъ. Иные, пожалуй, скажутъ, что этотъ подьячій даже находитъ положительное удовольствіе въ совершеніи мошенническихъ продѣлокъ и низкихъ преступленій; что онъ влечется къ нимъ не одною только выгодой, но и душевнымъ расположеніемъ. Онъ самъ подаетъ основаніе къ такому понятію о себѣ; онъ прямо говоритъ, что въ его времена люди, которыхъ онъ хвалитъ, главное удовольствіе свое находили не просто въ томъ, что много получаютъ денегъ, а въ томъ, что получаютъ ихъ хитрымъ мошенничествомъ. „Вотъ-съ какіе люди бывали въ наше время,—говоритъ онъ:—это не то, что грубые взяточники или съ большой дороги грабители; нѣтъ, все народъ—аматёръ былъ. Намъ и денегъ, бывало, ненадобно, коли сами въ карманъ лѣзутъ; нѣтъ, ты подумай, да прожектъ составь, а потомъ и пользуйся, пожалуй“. Одного изъ своихъ сослуживцевъ, который не былъ аматёромъ мошенничества, а просто изъ любви къ деньгамъ бралъ взятки, подьячій этотъ просто осуждалъ, какъ профана, не понимающаго высшихъ наслажденій мошенничества. „Мы, чиновники, этого Фейера не любили,—говоритъ онъ:—у него все это какъ-то ужъ больно просто выходило,—такъ, ломитъ нахрапомъ сплеча, да и

все. Что жъ и за удовольствіе этакъ-то служить!“ Не правда ли, онъ самъ выставляетъ себя бѣсомъ, любящимъ зло не только изъ выгодъ, доставляемыхъ зломъ, но и для самого зла? Возьмемъ другой примѣръ: Палохвостовъ, Ижбурдинъ и Сокуровъ, коммерческіе люди, разсуждаютъ о своихъ дѣлахъ. Они прямо говорятъ, что коммерческій расчетъ долженъ состоять въ мошенничествѣ. Они жалуются на медленность и расходы, соединенные съ доставкою хлѣба въ Петербургъ водянымъ путемъ; но на замѣчаніе, что желѣзныя дороги избавятъ нашу торговлю отъ этихъ тяжелыхъ затрудненій, они прямо отвѣчаютъ: „Для насъ чугунки все равно, что разореніе. Это (устраивать желѣзныя дороги) для насъ было бы все единственно, что въ петлю лѣзть. Это все враги нашего отечества выдумали, чтобъ насъ, какъ ни-на-есть, съ колен сбить. Основательный торговецъ никогда въ экое дѣло не пойдетъ, даже и разговаривать-то объ немъ не будетъ, по той причинѣ, что это все одно, что противъ себя говорить“. Почему же такъ? Потому что при перевозкѣ товаровъ по желѣзной дорогѣ нѣтъ возможности ни обсчитывать рабочихъ въ расчетѣ, ни нарушать контракты на поставку товаровъ, сваливая вину на Волгу, потопившую или задержавшую суда. Торговлѣ будетъ придано гораздо болѣе живости и обширности, она будетъ доставлять болѣе выгодъ,— нужды нѣтъ; все-таки желѣзныя дороги не нравятся Ижбурдину и его товарищамъ, потому что прекращаютъ возможность мошенничества. Не ясно ли, что это люди не просто корыстолюбивые, а любящіе зло для самого зла,—любящіе зло, хотя бы оно было даже вредно для нихъ самихъ? Почти такія же черты можно отыскать почти во всѣхъ другихъ людяхъ, изображаемыхъ Щедринымъ. Почти всѣ они могутъ представляться, и дѣйствительно представляются многимъ изъ читателей изъѣденными нравственною порчей до глубины души, не сохранившими въ себѣ никакого человѣческаго чувства.

Такой взглядъ на людей, изображаемыхъ Гоголемъ и его послѣдователями, внушается негодованіемъ, источникъ котораго, конечно, благороденъ. Но тѣмъ не менѣе, надобно сказать, что подобный взглядъ поверхностенъ, что если мы внимательнѣе всмотримся въ большинство людей, выводимыхъ Гоголемъ и его послѣдователями, то должны будемъ отказаться отъ слишкомъ строгаго приговора противъ этихъ

людей. Мы не найдемъ возможности называть ихъ людьми добродѣтельными: въ самомъ дѣлѣ, они совершаютъ очень много дурныхъ поступковъ, имѣютъ много дурныхъ привычекъ, держатся многихъ дурныхъ правилъ, но все-таки нельзя сказать, чтобы большинство этихъ людей не имѣло въ себѣ также многихъ хорошихъ чувствъ. Чтобы убѣдиться въ томъ, попробуемъ внимательнѣе посмотрѣть на людей, встрѣчающихся намъ въ разсказахъ Щедрина. Мы беремъ его „Губернскіе очерки" для этого испытанія, потому что ни у кого изъ предшествовавшихъ Щедрину писателей картины нашего быта не рисовались красками, болѣе мрачными. Никто (если употреблять громкія выраженія) не каралъ нашихъ общественныхъ пороковъ словомъ, болѣе горькимъ, не выставлялъ передъ нами нашихъ общественныхъ язвъ съ бо́льшею безпощадностью. У него нѣтъ ни одного веселаго или легкаго выраженія, не только цѣлаго очерка,—у него нѣтъ не только цѣлаго разсказа, похожаго на „Коляску", или на „Тяжбу", или на „Лакейскую" Гоголя,—нѣтъ двухъ строкъ, которыя бы не были пропитаны грустнымъ чувствомъ. Онъ писатель, по преимуществу, грустный и негодующій. Если кто изъ нашихъ беллетристовъ, то, конечно, онъ приводитъ васъ къ самымъ тяжелымъ мыслямъ, къ самымъ безотраднымъ заключеніямъ. Посмотримъ же, однако, каковы будутъ выводы о большинствѣ людей, имъ изображаемыхъ, если мы пристальнѣе всмотримся въ жизнь этихъ людей.

Въ каждомъ обществѣ есть люди съ дурнымъ сердцемъ, съ душой рѣшительно низкою. И въ древнемъ Римѣ, отечествѣ героевъ, были трусы, и въ Германіи, классической странѣ честности, есть люди коварные, недоброжелательные. Есть они и во Франціи, и въ Англіи, и въ Соединенныхъ Штатахъ. Есть такіе люди и въ нашемъ обществѣ. Попадаются они и въ числѣ лицъ, выводимыхъ Щедринымъ. Таковъ, напримѣръ, Порфирій Петровичъ, принадлежащій къ семейству Чичиковыхъ, но отличающійся отъ Павла Ивановича Чичикова тѣмъ, что не имѣетъ его мягкихъ и добропорядочныхъ формъ и болѣе Павла Ивановича покрытъ грязью всякаго рода; такова, напримѣръ, мать пріятнаго семейства, Марья Ивановна Размановская; таковы два-три изъ числа преступниковъ, находимыхъ Щедринымъ въ городской тюрьмѣ; таковъ особенно безыменный господинъ, элегантный и просвѣщенный, монологъ котораго мы читаемъ

въ очеркѣ, имѣющемъ заглавіе „Озорники“,—гнуснѣе этого человѣка читатель не находитъ во всей книгѣ Щедрина. Этихъ людей защищать нельзя. Они дѣйствительно злы и ненавистны. Но въ толпѣ лицъ, выводимыхъ Щедринымъ, они составляютъ очень малочисленное меньшинство, какъ дѣйствительно составляютъ меньшинство довольно малочисленное и въ нашемъ обществѣ. Другіе люди не таковы, въ нихъ вы откроете подлѣ дурныхъ качествъ и нѣкоторыя черты, примиряющія васъ съ ихъ личностью. Дурные поступки и привычки ихъ извиняются обстоятельствами ихъ жизни и нравственною близорукостью, навѣянною на нихъ туманною средой, въ которой развились и живутъ они. Они часто не замѣчаютъ разницы между хорошимъ и дурнымъ, не умѣютъ понимать дурноты многаго дурного; но тѣхъ-то дѣлъ, дурноту которыхъ они понимаютъ, они стараются не дѣлать; они отвращаются отъ такихъ дѣлъ, гнушаются ими; если же, по слабости характера, или по ошибкѣ, или по тяжелому стеченію обстоятельствъ, случится имъ сдѣлать поступокъ, дурныя стороны котораго они понимаютъ, то они осуждаютъ себя за этотъ поступокъ и осуждаютъ искренно. Такихъ людей нельзя назвать дурными по сердцу. Кромѣ того, они даже не лишены нѣкоторыхъ возвышенныхъ и безкорыстныхъ стремленій. „Какъ? въ подьячемъ, разсказывающемъ о прошлыхъ временахъ, или въ Ижбурдинѣ съ товарищами, вы находите, вмѣстѣ съ дурными чертами, и нѣкоторыя качества, заслуживающія извиненія?—замѣтитъ иной читатель, безусловно ихъ осудившій:—вы находите, что эти люди могутъ сдѣлаться людьми честными, и, чего добраго,—вы, пожалуй, скажете, могутъ сдѣлаться даже людьми добродѣтельными: не слишкомъ ли много этимъ сказано?“ Это мы посмотримъ. Но прежде всего напомнимъ, что не оправдывать или извинять ихъ пороки мы хотимъ, а говоримъ только, что даже и въ этихъ порочныхъ людяхъ человѣческій образъ не совершенно погибъ, и, при другихъ обстоятельствахъ, могли бы и эти люди отстать отъ своихъ дурныхъ привычекъ.

Вотъ, напримѣръ, разберемъ поближе обстоятельства и жизнь подьячаго, разсказывающаго о прошлыхъ временахъ, и, быть-можетъ, мы увидимъ, что онъ, въ сущности, не такой безсовѣстный и бездушный человѣкъ, какъ можетъ представляться на первый взглядъ. Если мы вздумаемъ судить по

понятіямъ, отвлеченнымъ отъ жизни, то, конечно, надобно будетъ сказать, что онъ могъ найти въ различныхъ честныхъ промыслахъ средство пріобрѣтать недостающія ему деньги. Онъ могъ заняться какимъ-нибудь ремесломъ. Такъ; но всѣ эти занятія считаются неблагородными, и общество строго осудило бы засѣдателя. Можно ли порицать человѣка за то, что онъ, по своимъ понятіямъ, не выше того общества, въ которомъ выросъ и живетъ, или не имѣетъ такой энергіи характера, чтобы пойти наперекоръ общественнымъ предразсудкамъ?—Но одни ли предразсудки удерживали подьячаго отъ другихъ занятій? Нѣтъ, такія занятія были бы для него опасны: они повредили бы его службѣ. О немъ подумали бы, что онъ службою занимается только для формы, пренебрегаетъ ею для своего ремесла, и онъ скоро прослылъ бы неисправнымъ, нерадивымъ человѣкомъ. Это помѣшало бы его повышенію по службѣ, а, можетъ-быть, повлекло бы за собою и потерю того мѣста, которое онъ уже занималъ. Какъ бы то ни было, этотъ человѣкъ прежде всего чиновникъ и больше всего долженъ дорожить своею служебною карьерой. Можно ли осуждать его за то, что онъ не рѣшается заняться дѣломъ, которое было бы вредно его служебной карьерѣ? Кромѣ того, дѣйствительно ли была ему возможность заняться какимъ-нибудь ремесломъ? Нечего говорить о томъ, что ремесло требуетъ изученія, а онъ не наученъ ничему. Но возьмемъ другое условіе. Производителю нужны покупщики, а гдѣ бы онъ нашелъ ихъ? Существующему запросу на товары уже удовлетворяютъ цеховые ремесленники и торговцы. Онъ не нашелъ бы покупщиковъ для своихъ произведеній или долженъ былъ бы продавать въ убытокъ. Итакъ, засѣдателю земскаго суда неприлично предъ обществомъ, вредно по службѣ, убыточно въ экономическомъ отношеніи и, наконецъ, невозможно по личной его неприготовленности искать пособій для своего существованія въ какомъ-нибудь торговомъ или промышленномъ занятіи. Но почему бы не заняться ему ходатайствомъ по частнымъ дѣламъ? Опять-таки практическая невозможность. Ходатайствовать по мелкимъ дѣламъ вовсе невыгодно, какъ видимъ по образу жизни отставныхъ уѣздныхъ чиновниковъ, въ родѣ Ризположенскаго (въ комедіи г. Островскаго „Свои люди—сочтемся“) и Перегоренскаго (въ „Губернскихъ очеркахъ“). Единственное вознагражденіе, на которое они могутъ раз-

считывать,—нѣсколько рюмокъ или стакановъ водки: домашній бытъ ходатая по дѣламъ не улучшится отъ такихъ вознагражденій. А ходатайства по важнымъ дѣламъ нашему разсказчику о прошлыхъ временахъ не поручатъ; для того выберутъ агента поважнѣе, нежели уѣздный чиновникъ или столоначальникъ губернскаго мѣста. Но самое важное обстоятельство здѣсь—та привычка, которую мы очень хорошо знаемъ изъ Гоголя и его послѣдователей. Люди, заинтересованные въ какомъ-нибудь дѣлѣ, находятъ, что гораздо удобнѣе для нихъ обращаться со своими желаніями прямо къ тѣмъ людямъ, въ рукахъ которыхъ находится производство ихъ дѣлъ, и считаютъ вовсе невыгоднымъ для себя имѣть какихъ-либо другихъ ходатаевъ по дѣламъ. При нашихъ провинціальныхъ нравахъ адвокаты совершенно излишни. Ихъ совѣты совершенно замѣняются усердіемъ чиновниковъ, производящихъ дѣло, которые всегда готовы помочь добрымъ совѣтомъ тяжущемуся: они объяснятъ ему, какъ начать дѣло, какое направленіе давать ему, на какіе законы опираться, какія средства употребить для направленія дѣла въ его пользу,—къ чему же тутъ еще ходатаи по дѣламъ изъ людей, постороннихъ производству дѣла.

Такимъ образомъ, постороннихъ средствъ къ увеличенію своихъ доходовъ для нашего подьячаго не существовало. Онъ долженъ былъ извлекать всѣ свои доходы единственно изъ своихъ должностныхъ занятій. Онъ видѣлъ, какъ поступаютъ другіе, и видѣлъ для самого себя необходимость поступить такимъ же образомъ. Слѣдовать примѣру—дѣло очень натуральное, и никто не долженъ обременять какими-либо упреками человѣка, поступающаго такъ, какъ поступаютъ всѣ. Хороша ли, дурна ли общая привычка, во всякомъ случаѣ, онѣ уничтожаютъ всякую заслугу или вину въ человѣкѣ, ея держащемся. Но довольно ли сказать, что общая привычка только *извиняетъ* отдѣльнаго человѣка, ей слѣдующаго? Обычай никогда не возникаетъ безъ причины; онъ всегда создается необходимою силой историческихъ обстоятельствъ. Если товарищи нашего разсказчика о прошлыхъ временахъ и ихъ предшественники съ незапамятныхъ временъ подчинялись той же самой дурной привычкѣ, какъ и онъ,—надобно думать, что были какія-нибудь обстоятельства, недопускавшія ихъ измѣнить этой привычкѣ. Одно изъ этихъ обстоятельствъ указываетъ намъ самъ подьячій-

разсказчикъ: „Жили мы какъ у Христа за пазушкой,—говоритъ онъ.—Съѣздишь, бывало, въ годъ разъ, въ губернскій городъ, поклонишься, чѣмъ Богъ послалъ, благодѣтелямъ, и знать больше ничего не хочешь“. Въ другомъ мѣстѣ, начиная разсказывать о городничемъ Фейерѣ, онъ замѣчаетъ: „Начальство наше все къ нему привержность большую имѣло, потому какъ собственно онъ изъ воли не выходилъ и все исполнялъ до точности: иди, говоритъ, въ грязь—онъ и въ грязь идетъ, въ невозможности возможность найдетъ, изъ песку веревку совьетъ, да ею же кого слѣдуетъ и удавитъ“. Иначе сказать: каждое общественное положеніе, давая человѣку извѣстныя права, вмѣстѣ съ тѣмъ налагаетъ на него и извѣстныя обязанности. Кто не хочетъ или не можетъ исполнять обязанностей, возлагаемыхъ на него положеніемъ, въ которое онъ поставленъ, тотъ долженъ лишиться и занятаго имъ положенія. Въ этомъ нѣтъ ничего несправедливаго.

Возвратимся же къ нашему разсказчику о прошлыхъ временахъ. Мы заговорили о томъ, что онъ былъ бы не совсѣмъ правъ, если бы не подчинялся общепринятымъ привычкамъ. Мы надѣемся, что наши слова не будутъ поняты читателями въ ложномъ смыслѣ. Мы не сомнѣваемся въ томъ, что многія привычки бываютъ соединены съ нѣкоторыми невыгодами и нуждаются въ благоразумныхъ измѣненіяхъ. Мы хотимъ только сказать, что не всякому прилично дѣйствовать въ противность общепринятымъ обычаямъ. Возьмемъ примѣръ незначительный — наши моды. Фракъ — костюмъ неудобный и неприличный. Надобно было бы желать, чтобы онъ былъ замѣненъ сюртукомъ, пальто или какимъ-нибудь другимъ подобнымъ костюмомъ. Если бы знаменитые люди въ исторіи модъ, д'Орсе или Бруммель, вздумали рѣшительно встать противъ фрака и начали бы являться на балы въ сюртукахъ, очень вѣроятно, что ихъ дѣло осталось бы не безъ вліянія на моду. Но каковы будутъ результаты, если это захочетъ сдѣлать какой-нибудь г. Ивановъ, Петровъ или Шапошниковъ, и безъ того допускаемый въ такъ-называемое лучшее общество почти только изъ милости? Пусть онъ попробуетъ явиться на балъ въ сюртукѣ или пальто,—его всѣ назовутъ невѣжею; знакомые его деликатно намекнутъ ему, чтобъ онъ удалился изъ общества, куда явился въ неприличномъ костюмѣ, и если онъ не послу-

шается этихъ дружескихъ замѣчаній, сдѣланныхъ ему шопотомъ, то они будутъ повторены уже вовсе не дружескимъ тономъ другими людьми. Произойдетъ сцена, непріятная для хозяина дома, непріятная для всего собравшагося общества, а болѣе всѣхъ непріятная для самого г. Иванова, Петрова или Шапошникова. Какъ бы ни были разумны и блестящи оправданія съ его стороны, какъ бы ни были хороши его намѣренія, онъ все-таки принужденъ будетъ удалиться изъ общества, нравы котораго оскорбилъ, спокойствіе котораго возмутилъ. Нелегко будетъ потомъ ему возвратить къ себѣ снисходительное вниманіе, которымъ его до сихъ поръ удостоивали, нелегко будетъ снова получить доступъ въ лучшее общество, хотя бы онъ искренно раскаялся въ своемъ неблагоразумномъ поступкѣ. Если же онъ будетъ упорствовать въ своей рѣшимости—являться въ сюртукѣ тамъ, гдѣ всѣ во фракахъ, то, конечно, онъ будетъ навсегда изгнанъ изъ такихъ собраній, и общественное мнѣніе, по всей справедливости, объявитъ его человѣкомъ, котораго нельзя принимать ни въ какое порядочное общество. Вѣроятно, нѣтъ надобности прибавлять, что примѣръ, поданный такъ неудачно и неприлично г. Ивановымъ или Петровымъ, не найдетъ ни одного подражателя; что, пока памятенъ будетъ этотъ примѣръ, каждый изъ людей, подобныхъ этому Петрову и Иванову по своему положенію въ обществѣ, будетъ ужасаться при одной мысли возстать противъ фрака.

Мы взяли такое дѣло, исполненію котораго нѣтъ рѣшительно никакихъ препятствій, кромѣ привычки. Но только въ такихъ ничтожныхъ, чисто формальныхъ вещахъ, какъ вопросъ о фракѣ и сюртукѣ, привычка не имѣетъ важныхъ фактическихъ основаній. Какъ скоро житейскій вопросъ имѣетъ хотя малѣйшій хорошій или дурной смыслъ, общее привычное рѣшеніе его бываетъ непремѣнно основано на какихъ-нибудь важныхъ житейскихъ фактахъ. Возьмемъ, напримѣръ, хотя бы дѣло о нашей старинной привычкѣ пускаться въ дорогу, набравъ съ собою многое множество всякой провизіи. Тарантасъ заваленъ булками, хлѣбами, жареными гусями и тому подобнымъ. Неудобства возникаютъ чувствительныя: сѣсть неловко, поворотиться нельзя стѣсненному путнику; вздумалъ онъ опереться — подъ локтемъ трещатъ банки съ вареньемъ или солеными огурцами; вздумалъ протянуть ногу—грязный сапогъ втиснулся въ индюшку

или въ сдобный пирогъ. Черезъ день, зимою—всѣ припасы замерзли и потеряли вкусъ, лѣтомъ — начали портиться и непріятно отзываются на нервы обонянія. Все это справедливо,—но что жъ дѣлать? Какъ было не брать съ собою всѣхъ этихъ припасовъ, когда по дорогамъ не было возможности достать кусокъ бѣлаго хлѣба, не вездѣ можно было найти хотя бы десятокъ яицъ или крынку молока?

Вы видите, что недостаточно было объяснять нашему путнику неудобства, которымъ его подвергаетъ старая привычка. Быть-можетъ, онъ самъ не хуже насъ и безъ васъ понималъ всѣ эти неудобства; быть-можетъ, онъ даже посмѣялся бы надъ вашею охотой доказывать и раскрывать неудобства, и безъ того всѣмъ извѣстныя и очевидныя. Тутъ надобно было сдѣлать нѣчто другое. Это нѣчто другое уже и сдѣлано на многихъ дорогахъ: устроены порядочныя гостиницы; и, какъ видите, на этихъ дорогахъ безъ всякихъ толковъ со стороны поэтовъ, романистовъ, философовъ и филантроповъ, или быстро исчезаетъ, или уже совершенно исчезла привычка забирать съ собою изъ дому грузъ съѣстныхъ припасовъ. Можно прибавить еще одно замѣчаніе. Гостиницы не вездѣ возникли по щучьему велѣнью, по Иванову прошенью: во многихъ мѣстахъ онѣ заведены мудрою предусмотрительностью администраціи, и благое содѣйствіе, ею оказанное, было основаніемъ всѣхъ улучшеній въ способахъ и привычкахъ нашихъ разъѣздовъ по родинѣ.

Мы не имѣемъ особенной наклонности защищать предразсудки, но нельзя не сказать, что такъ-называемые люди безъ предразсудковъ не всегда съ достаточной внимательностью разсматриваютъ основанія, изъ которыхъ возникъ обычай, кажущійся предразсудкомъ. Вотъ, хотя бы, и въ настоящемъ случаѣ. Надобно ожидать, что многіе, имѣвшіе терпѣніе дочитать нашу статью до настоящей страницы, скажутъ: „Подьячаго все-таки нельзя оправдать. Если ему нельзя было соединить своей карьеры съ исполненіемъ непреклонныхъ нравственныхъ убѣжденій, то зачѣмъ онъ избралъ эту карьеру? Есть на свѣтѣ много другихъ, честныхъ занятій, не оставляющихъ честнаго человѣка безъ средствъ къ довольству въ жизни. Онъ увлекся предразсудкомъ, заставляющимъ предпочитать службу всякому другому роду занятій“. Предразсудокъ этотъ существуетъ

не у насъ однихъ. Онъ очень силенъ также во Франціи и въ Германіи. И въ тѣхъ странахъ постоянно слышатся очень раціональныя и многословныя доказательства противъ него. Помнится, когда-то Тьеръ въ очень длинной и блестящей рѣчи доказывалъ, что напрасно молодые люди во Франціи непремѣнно хотятъ быть чиновниками: „Будьте купцами, будьте ремесленниками, будьте земледѣльцами,—говорилъ онъ своимъ юнымъ соотечественникамъ.—Повѣрьте, что этотъ родъ занятій будетъ и выгоднѣе для васъ, и полезнѣе для вашей родины". Затѣмъ онъ обращался къ отцамъ и матерямъ и заклиналъ ихъ всѣмъ священнымъ на землѣ и на небѣ—любовью къ отечеству, любовью къ дѣтямъ—не допускать къ себѣ и мысли о томъ, чтобы воспитывать дѣтей для чиновничества, и ни подъ какимъ видомъ не дозволять этимъ неопытнымъ птенцамъ совращаться съ полезнаго и почтеннаго поприща земледѣльческаго, промышленнаго и т. п. Не оказали ни малѣйшаго дѣйствія эти благонамѣренныя увѣщанія. Вѣроятно, потому, что факты не уступаютъ никакимъ увѣщаніямъ, а подчиняются только силѣ другихъ фактовъ. Поэтому надобно думать, что во Франціи и Германіи предпочтеніе чиновнической карьеры всякому другому роду занятій не есть только предразсудокъ, а основывается на какихъ-нибудь фактахъ. И нетрудно отыскать эти факты. Во Франціи, напримѣръ, еще не очень давно, только личность тѣхъ людей, которые занимались государственною службой, была ограждена отъ оскорбленій и униженій всякаго рода. Какой-нибудь интендантъ могъ ни за что, ни про что посадить въ тюрьму самаго почтеннаго и богатаго негоціанта и постоянно третировалъ его почти такъ же, какъ своего лакея. На интенданта нельзя и сердиться за то. У него и его подчиненныхъ была въ рукахъ рѣшительно вся власть, и очень натурально было ему, человѣку, облеченному властью, смотрѣть на людей, не имѣвшихъ никакой власти, какъ на людей другой, низшей породы. А какъ скоро образовалось такое понятіе о различіи породъ, ходъ дѣла извѣстенъ. Съ людьми низшей породы, конечно, не будутъ обращаться такъ, какъ съ подобными себѣ. Примѣръ тому мы видимъ въ отношеніяхъ между различными расами въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ: бѣлый съ бѣлымъ тамъ чрезвычайно деликатенъ, но съ чернымъ обращается онъ совершенно иначе.—Нѣкогда было

предпочтеніе службы всѣмъ другимъ занятіямъ и въ Англіи. Тамъ оно основывалось на другой причинѣ, извѣстной нашимъ читателямъ изъ разсказовъ Маколея. Съ служебными должностями были соединены огромные доходы. Въ концѣ XVII вѣка не было въ Англіи ни одного негоціанта, ни даже землевладѣльца, который доходами своими равнялся бы лорду-намѣстнику Ирландіи или лорду-президенту. Мало было землевладѣльцевъ или негоціантовъ, которые получали бы по пяти тысячъ фунтовъ; но въ государственной службѣ было много такихъ мѣстъ, которыя доставляли по 5,000 фунтовъ дохода. Въ Англіи факты, на которыхъ основывалось предпочтеніе службы всякому другому занятію, давно исчезли. Вслѣдъ за ними исчезло и пренебреженіе всякою другою карьерой для служебной. Во Франціи тѣ отношенія, о которыхъ упомянули мы, не совсѣмъ еще исчезли. Потому еще продолжаетъ существовать во французскомъ обществѣ и предпочтеніе службы всѣмъ другимъ занятіямъ. Вообще, надобно сказать, что общественныя предупрежденія и пристрастія быстро исчезаютъ изъ нравовъ народа, какъ скоро уничтожаются факты, которыми они поддерживались. Если же какой-нибудь обычай, повидимому, неразумный и невыгодный, упорно держится въ народныхъ нравахъ, то не спѣшите называть его просто слѣдствіемъ предупрежденій. Надобно прежде поискать, не опирается ли онъ на какихъ-нибудь фактахъ? Осуждать національные обычаи очень легко, но зато и совершенно безполезно. Упреками дѣлу не поможешь. Надобно отыскать причины, на которыхъ основывается непріятное намъ явленіе общественнаго быта, и противъ нихъ обратить свою ревность. Основное правило медицины: „Отстраните причину, тогда пройдетъ и болѣзнь“,— sublata causa, tollitur morbus.

Мы не расположены осуждать подьячаго прошлыхъ временъ за его пристрастіе къ службѣ уже и потому, что если бы онъ оставилъ службу, его мѣсто было бы занято другимъ, который находился бы точно въ такомъ же положеніи. Слѣдовательно, тутъ измѣненіе могло бы быть только въ фамиліи лица, а не въ сущности дѣла.

Мы опять далеко уклонились отъ нашего подьячаго прошлыхъ временъ, вовсе не подозрѣвавшаго, что кто-нибудь можетъ сказать ему: зачѣмъ ты предпочелъ службу какому-нибудь ремеслу? Навѣрное, онъ нашелъ бы такой вопросъ

нелѣпымъ, и весь тотъ городокъ, въ которомъ онъ служилъ, также въ одинъ голосъ объявилъ бы этотъ нелѣпый вопросъ дѣйствительно нелѣпымъ. Такъ или иначе, нашъ подъячій служилъ и не могъ не сообразоваться на службѣ съ общепринятыми правилами. Посмотримъ же теперь, какова была его служба и справедливо ли было бы сказать, что онъ дѣйствовалъ на службѣ противъ своей совѣсти или оскорбилъ чѣмъ-нибудь общее мнѣніе, которымъ воспитался и руководился. Онъ человѣкъ не безъ грѣховъ; но что жъ въ томъ особеннаго? Всѣ мы смертны и грѣшны. Героевъ добродѣтели во всѣ времена и у всѣхъ народовъ очень мало. Онъ бралъ взятки, это правда. Но его товарищи дѣлали то же самое, и даже тѣ люди, съ которыхъ онъ бралъ взятки, были убѣждены, что безъ благодарности ни одно дѣло никѣмъ не дѣлается. Всѣ они осуждали только такихъ взяточниковъ, которые, взявъ деньги, не исполняютъ дѣла, за которое получена взятка, или прибѣгаютъ къ особенному обману, или къ особеннымъ жестокостямъ. Онъ ничего такого не дѣлалъ: разсмотримъ его похожденія. Онъ пріѣхалъ въ Шарковскую область для собранія подати. Поселяне знаютъ, что подать нужно заплатить, но они просятъ его подождать до того времени, пока они продадутъ новый хлѣбъ. Согласиться или не согласиться на эту просьбу—въ его власти: онъ имѣетъ право требовать подати теперь же. За каждую добровольную уступку человѣкъ можетъ ожидать вознагражденія отъ тѣхъ, въ пользу кого дѣлается уступка. Такъ думаютъ поселяне, такъ думаетъ и онъ. Потому обѣимъ сторонамъ кажется очень естественнымъ требованіе нашего подьячаго прежнихъ временъ, чтобы ему за его снисходительность дали приличное вознагражденіе. Конечно, какъ и при всякой сдѣлкѣ, тутъ происходятъ споры о цифрѣ. Конечно, сторона, дающая вознагражденіе, не совсѣмъ охотно разстается съ деньгами; но и тутъ нѣтъ ничего особеннаго: сама по себѣ уплата ни для кого ни въ какомъ случаѣ не есть что-либо пріятное.

Противъ такого понятія читатель замѣтитъ, что точка зрѣнія, съ которой смотрятъ на изложенное нами дѣло подьячій и поселяне, совершенно фальшива. Конечно, эти люди ошибаются въ своихъ понятіяхъ, но дѣло не въ томъ. При обсужденіи вопроса: честно или безчестно поступаетъ человѣкъ, должно смотрѣть не на то, справедливы ли его

убѣжденія, а на то, дѣйствительно ли онъ поступаетъ сообразно своимъ убѣжденіямъ.

Перечитавъ разсказы подьячаго прошлыхъ временъ, мы видимъ, что онъ во всѣхъ дѣлахъ поступалъ согласно своему убѣжденію о сущности своего званія, своихъ правъ и своихъ обязанностей, и что это убѣжденіе раздѣлялось тѣми людьми, съ которыми онъ заключалъ свои сдѣлки. Потому образъ его дѣйствій вообще не заслуживалъ особеннаго порицанія.

Какъ человѣкъ, не отличавшійся ни геніальнымъ умомъ, ни желѣзнымъ характеромъ, онъ иногда подчинялся вліянію людей, натура которыхъ была сильнѣе его натуры,—и въ томъ нѣтъ ничего особенно безчестнаго. Когда эти сильнѣйшія натуры бывали дурны, нашъ подьячій вовлекался въ такіе поступки, которыхъ не сдѣлалъ бы самъ по себѣ. Однакожъ и тутъ мы не видимъ, чтобы онъ слишкомъ далеко уклонялся отъ правилъ, внушаемыхъ ему его убѣжденіями. Разберемъ самое дурное изъ этихъ дѣлъ. Чтобы читатель не могъ предполагать укрывательства какихъ-нибудь обстоятельствъ изъ пристрастія къ нашему подьячему, мы вполнѣ выпишемъ весь этотъ эпизодъ.

— Жилъ у насъ въ уѣздѣ купчина мильонщикъ, фабрику имѣлъ кумачную, большія дѣла велъ. Ну, хоть что хочешь, нѣтъ намъ отъ него прибыли, да и только! такъ держитъ ухо востро, что на́-поди. Развѣ только иногда чайкомъ попотчуетъ, да бутылочку холодненькаго разопьетъ съ нами—вотъ и вся корысть. Думали мы, думали, какъ бы намъ этого подлеца-купчишку на дѣло натравить—не идетъ, да и все тутъ, даже зло взяло. А купецъ видитъ это, смѣяться не смѣется, а такъ, равнодушествуетъ, будто не замѣчаетъ.

Что же бы вы думали? Ѣдемъ мы однажды съ Иваномъ Петровичемъ на слѣдствіе: мертвое тѣло нашли неподалеко отъ фабрики. Ѣдемъ мы это мимо фабрики и разговариваемъ межъ себя, что вотъ, подлецъ, дескать ни на какую штуку не лѣзетъ. Смотрю я, однако, мой Иванъ Петровичъ задумался, и какъ я въ него вѣру большую имѣлъ, такъ и думаю: выдумываетъ онъ что-нибудь, право, выдумываетъ. Ну, и выдумалъ. На другой день сидимъ мы это утромъ и опохмеляемся.

— А что,—говоритъ:—дашь половину, коли купецъ тебѣ тысячи двѣ отвалитъ?

— Да что ты, Иванъ Петровичъ, въ умѣ ли? двѣ тысячи!

— А вотъ увидишь; садись и пиши:

„Свиногорскому 1-й гильдіи купцу, Платону Степанову Троекурову. Вѣдѣніе. По указаніямъ такихъ-то и такихъ-то поселянъ (валяй больше) вышепоименованное мертвое тѣло, по подозрѣнію въ насильственномъ убитіи съ таковыми же признаками безчеловѣчныхъ побоевъ, и притомъ рукою нѣкоего злодѣя, въ предшедшую предъ симъ ночь, скрылось въ

фабричномъ вашемъ прудѣ. А посему благоволите въ оный для обыска допустить".

— Да помилуй, Иванъ Петровичъ, вѣдь, тѣло-то въ шалашѣ на дорогѣ лежитъ!

— Ужъ дѣлай, что говорятъ.

Да только засвисталъ свою любимую: *„При дороженькѣ стояла"*, а какъ былъ чувствителенъ и не могъ эту пѣсню безъ слезъ слышать, то и прослезился немного. Послѣ я узналъ, что онъ и впрямь велѣлъ сотскимъ тѣло-то на время въ оврагъ куда-то спрятать.

Прочиталъ борода наше вѣдѣніе, да такъ и обомлѣлъ. А между тѣмъ и мы слѣдомъ на дворъ. Встрѣчаетъ насъ, блѣдный весь.

— Не угодно ли, молъ, чаю откушать?

— Какой, братъ, тутъ чай!—говоритъ Иванъ Петровичъ:—тутъ нечего чаю, а ты прудъ спущать вели.

— Помилуйте, отцы родные, за что разорять хотите?

— Какъ разорять! видишь, слѣдствіе пріѣхали дѣлать,—указъ есть.

Слово за словомъ, купецъ видитъ, что шутки тутъ плохія, хоть и впрямь прудъ спущай; заплатилъ три тысячи,—ну, и дѣло покончили. Послѣ мы по пруду-то маленько поѣздили, крючьями въ водѣ потыкали, и тѣла, разумѣется, никакого не нашли. Только я вамъ скажу, на угощеньи, когда ужъ были мы всѣ выпивши, и разскажи Иванъ Петровичъ купцу, какъ все дѣло было; вѣрите ли, такъ обозлилась борода, что даже закоченѣлъ весь!

Дѣло очень дурное, скажетъ читатель, и мы скажемъ вмѣстѣ съ нимъ, только прибавимъ: очень дурное по нашимъ понятіямъ, но не по мнѣнію людей, въ немъ участвовавшихъ: съ ихъ точки зрѣнія также было въ этомъ дѣлѣ обстоятельство, не совсѣмъ похвальное; но каково это обстоятельство, мы узнаемъ отъ нихъ самихъ. Чиновникамъ не было прибыли отъ богатаго фабриканта. Чиновники считали фабриканта дурнымъ человѣкомъ за то, что онъ не исполняетъ своихъ обязанностей относительно къ нимъ (нашъ подьячій прямо называетъ его подлецомъ); самъ фабрикантъ смотрѣлъ на себя, не какъ на человѣка, отклоняющаго несправедливыя притязанія, а какъ на человѣка, который, по своему уму и своей ловкости, умѣетъ отклоняться отъ исполненія невыгодныхъ для него обязанностей. Чиновники обижены, купецъ гордится своимъ торжествомъ надъ ними. („Думали мы, думали, какъ бы намъ этого подлеца-купчишку на дѣло натравить—не идетъ, да и все тутъ, даже зло взяло. А купецъ видитъ это, смѣяться не смѣется, а такъ, равнодушествуетъ, будто не замѣчаетъ".) Наконецъ, чиновники перехитрили купца и получили отъ него прибыль. Купецъ озлобился; но за что? За то ли, что съ него взяли

деньги? Нѣтъ. Хотя ему непріятно было платить, но онъ полагалъ, что обязанъ заплатить. Отдавши деньги, онъ начинаетъ пировать вмѣстѣ съ чиновниками и вмѣстѣ съ ними напивается пьянъ. Этого онъ не сдѣлалъ бы, если бы считалъ себя обиженнымъ. Какъ человѣкъ гордый, онъ ушелъ бы изъ-за стола, если бъ чувствовалъ себя обиженнымъ; какъ человѣкъ хитрый, онъ бы нашелъ благовидный предлогъ уйти. Но этого не было. Какъ видимъ, до сихъ поръ обѣ стороны остаются довольны полюбовною сдѣлкой. Но когда всѣ были навеселѣ, Иванъ Петровичъ разсказалъ фабриканту свою хитрую выдумку—похвастался тѣмъ, что перехитрилъ его. Тутъ фабрикантъ обидѣлся, разсердился. За что же разсердился? Очевидно за то, что нашелся человѣкъ хитрѣе его и хвастается въ глаза ему тѣмъ, что перехитрилъ его. Мы съ самаго начала сказали, что между людьми, выводимыми въ „Очеркахъ“ Щедрина, есть люди дурные, достойные порицанія, что Иванъ Петровичъ принадлежитъ къ такимъ людямъ, что мы не хотимъ защищать его. Иванъ Петровичъ дѣйствительно былъ виноватъ и въ этомъ случаѣ; однако, въ чемъ же состоитъ его проступокъ въ этомъ дѣлѣ? Онъ похвастался, онъ затронулъ амбицію человѣка,—это неделикатно. Но осуждая неделикатность Ивана Петровича, не забудемъ, что онъ началъ хвастаться, когда былъ уже навеселѣ. Пока онъ былъ трезвъ, онъ былъ скроменъ. И тутъ, какъ во многихъ случаяхъ, лишняя чарка испортила дѣло.

За пристрастье къ чаркѣ осуждаетъ Ивана Петровича и нашъ подьячій, какъ осуждали, конечно, всѣ благомыслящіе люди. Если бы вы увидѣли тѣ пирушки, въ которыхъ участвовалъ нашъ подьячій, эти пирушки показались бы вамъ, безъ сомнѣнія, грязны и гадки. Но это потому, что вы человѣкъ другого воспитанія, другихъ привычекъ. Не будьте слишкомъ строги къ людямъ, неимѣвшимъ случая пріобрѣсть изящныя манеры и тонъ лучшаго общества. Вѣдь, вы не осуждаете вашего пріятеля, когда онъ за обѣдомъ выпиваетъ стаканъ бургонскаго или шампанскаго? Вы находите дурнымъ только то, если вашъ пріятель пьетъ неумѣренно. Точно также судитъ и нашъ подьячій. Онъ строго осуждаетъ Ивана Петровича за подобный порокъ: „Былъ въ Иванѣ Петровичѣ грѣхъ“, говоритъ подьячій, „къ напитку имѣлъ не то что пристрастіе, а такъ какое-то

остервенѣніе. Конечно, и всѣ мы этого придерживались, да все же въ мѣру: сидишь себѣ да благодушествуешь, и много-много что въ подпитіи; ну, а онъ, я вамъ доложу, мѣру не зналъ, напивался даже до безобразія лица". Видите ль, нашъ подьячій не только не пьяница, онъ гнушается пьяницами. Видите ли,—если случилось ему въ дружеской бесѣдѣ выпить нѣсколько рюмокъ, то никогда не напивался онъ допьяна. Ни одинъ изъ друзей, ни мать ни жена, конечно, не осуждали его за то, что онъ не отказывается отъ рюмки водки.

Взятка, по мнѣнію подьячаго прошлыхъ временъ, есть полюбовная сдѣлка. Онъ никогда не прибѣгалъ для заключенія сдѣлки къ мѣрамъ, которыя бы казались насильственными въ глазахъ его и общества, среди котораго онъ жилъ („истязаній и вымогательствъ" онъ не употреблялъ самъ и не одобрялъ въ Иванѣ Петровичѣ). Мало того, свои желанія онъ выражалъ деликатнымъ и ласковымъ образомъ. („И все это ласковымъ словомъ", говоритъ онъ самъ.) Итакъ, онъ былъ человѣкъ мягкаго характера. За уступки и льготы, которыя давалъ онъ поселянамъ, получалъ онъ вознагражденіе—это правда, но какимъ образомъ получалъ его? Пріѣдетъ онъ въ село по какому-нибудь дѣлу; поселяне просятъ, чтобы онъ скорѣе отпустилъ ихъ. „Тутъ и смекаешь: коли ребяты сговорчивы, отчего жъ имъ и удовольствіе не сдѣлать? а коли больно много артачиться станутъ, ну, и еще погодятъ денекъ, другой. Главное тутъ дѣло характеръ имѣть, не скучать бездѣльемъ, не гнушаться избой да кислымъ молокомъ. Увидятъ, что человѣкъ-то дѣльный, такъ и поддадутся, да и какъ еще: прежде по гривенкѣ, можетъ, просилъ, а тутъ шалишь! по три пятака, дешевле не моги и думать".

Такимъ образомъ, самый предубѣжденный противъ нашего подьячаго читатель долженъ согласиться, что въ общественной дѣятельности этого подьячаго не было ничего, считавшагося дурнымъ или нечестнымъ во мнѣніи какъ этого подьячаго съ его товарищами, такъ и тѣхъ людей, которые имѣли съ ними дѣло. Напротивъ, были черты, свидѣтельствовавшія о мягкости, добротѣ характера, о благорасположеніи ко всякому хорошему человѣку, о желаніи каждому принести пользу. Поступки, совершаемые подьячимъ, дурны. Люди съ подобными ему понятіями вредны для общества.

Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы сами по себѣ эти люди непремѣнно были дурными людьми. Повторяемъ то, что уже нѣсколько разъ говорили выше. Хвалить и бранить можно только людей эксцентрическихъ, поступающихъ не такъ, какъ поступаетъ огромное большинство людей въ ихъ время и въ ихъ положеніи. Привычки и правила, руководящія обществомъ, возникаютъ и сохраняются вслѣдствіе какихъ-нибудь фактовъ, независимыхъ отъ воли человѣка, имъ слѣдующаго; на нихъ надобно смотрѣть непремѣнно съ исторической точки зрѣнія. Въ каждомъ классѣ общества, какой бы странѣ, какому бы времени ни принадлежало это общество, каковы бы ни были понятія и привычки, имъ пріобрѣтенныя вслѣдствіе историческихъ обстоятельствъ, огромное большинство людей всегда имѣетъ наклонность къ доброжелательству и правдѣ.

Нѣтъ надобности доказывать, что нашъ подьячій старыхъ временъ былъ хорошимъ семьяниномъ. Съ этой стороны онъ очень точно обрисованъ г. Островскимъ въ послѣдней его комедіи. Бѣлогубовъ—большой руки взяточникъ; но посмотрите на него въ домашнемъ быту и вы убѣдитесь, что онъ человѣкъ очень добрый, и въ родственныхъ отношеніяхъ даже благородный. Тотъ, кто щедро помогаетъ своей бѣдной тещѣ, при всей несносной сварливости ея характера, кто не жалѣетъ ничего, чтобы помочь бѣдной свояченицѣ и ея мужу, хотя этотъ мужъ постоянно оскорблялъ и оскорбляетъ его самымъ чувствительнымъ образомъ, тотъ, воля ваша, не есть дурной человѣкъ.

Мы очень долго останавливались на разсказахъ подьячаго о прошлыхъ временахъ. Не знаемъ, нужно ли было такъ подробно доказывать нашу мысль, справедливость которой очевидна для каждаго, опытомъ извѣдавшаго жизнь и людей и не остановившагося на безплодномъ чувствѣ разочарованности, чувствѣ, приличномъ неопытному юношѣ, воображающему себя и всѣхъ на свѣтѣ героями и красавцами, но нелѣпо въ человѣкѣ, который уже привыкъ смотрѣть на свѣтъ глазами безпристрастнаго наблюдателя. Лично намъ казалось бы даже скучно толковать о такихъ несомнѣнныхъ вещахъ.

Было бы утомительно и безполезно столь же долго останавливаться на другихъ типахъ взяточниковъ, выводимыхъ Щедринымъ, кромѣ тѣхъ немногихъ, дурныхъ по сердцу людей, на которыхъ мы указали въ началѣ статьи и которые

могутъ служить для рельефности картины, но по своей малочисленности не могутъ имѣть особенной важности въ общественныхъ вопросахъ: о каждомъ изъ остальныхъ взяточниковъ надобно сказать почти то же самое, что о подьячемъ прошлыхъ временъ. Сходства между ними гораздо больше, нежели разницы, которая, вообще, ограничивается только различіемъ темпераментовъ: у одного характеръ вспыльчивый, у другого—спокойный; у одного—прямой, у другого—скрытный; у одного—веселый, у другого—печальный или скучный; у одного—смѣлый, у другого—боязливый. Съ той точки зрѣнія, на которую мы стали, эта разница не имѣетъ первостепенной важности. Извѣстно, что различіе темпераментовъ не мѣшаетъ почти одинаковому подчиненію всѣхъ людей общественнымъ привычкамъ и понятіямъ и неотразимому вліянію общихъ историческихъ фактовъ. Вмѣсто того, чтобы о каждомъ изъ этихъ людей повторять почти то же самое, что мы должны были сказать о подьячемъ прошлыхъ временъ, мы взглянемъ на представителей другого класса людей, послушаемъ бесѣду трехъ негоціантовъ о томъ, „что такое коммерція?" Мы уже замѣчали, что, подобно подьячему прошлыхъ временъ, Палахвостовъ, Ижбурдинъ и Сокуровъ могутъ представляться поверхностному взгляду людьми, лишенными всякаго понятія о честности, „аматерами" зла, по выраженію подьячаго прошлыхъ временъ. Каждый изъ нихъ совершенно хладнокровно и даже съ похвальбою говоритъ о своихъ мошенничествахъ. Каждый думаетъ только о томъ, какъ бы придумать обманъ похитрѣе. Но когда мы безпристрастно выслушаемъ ихъ показанія о причинахъ, принуждающихъ ихъ вести свои дѣла подобнымъ образомъ, то придемъ къ заключенію такому же, какое сдѣлали о подьячемъ прошлыхъ временъ.

Людямъ, составляющимъ огромное большинство публики, частный бытъ нашихъ купцовъ менѣе извѣстенъ по опыту, нежели бытъ чиновниковъ. Почти каждый изъ насъ имѣетъ въ числѣ своихъ близкихъ знакомыхъ нѣсколько провинціальныхъ чиновниковъ. Это составляетъ важную выгоду для отверженія предразсудковъ противъ нравственныхъ качествъ чиновничьяго класса. Находя, въ числѣ своихъ знакомыхъ чиновниковъ, людей, достойныхъ полнаго уваженія въ частномъ быту, каждый изъ насъ уже до нѣкоторой степени расположенъ выслушать апологію чиновничьяго класса

вообще. Не таково отношеніе большинства публики къ классу купцовъ. Быть-можетъ, половина нашихъ читателей не имѣла съ купцами никакихъ другихъ сношеній, кромѣ дѣловыхъ. Сошлемся же на свидѣтельство тѣхъ изъ нашихъ читателей, которые имѣли случай близко сходиться съ купцами, какъ добрые знакомые, бывали въ купеческихъ семействахъ, подобно Щедрину, домашними людьми. Конечно, ни одинъ изъ нихъ не откажется согласиться съ Щедринымъ, выводящимъ въ разсказѣ „Христосъ Воскресъ“ свѣтлыя личности этого сословія. Мы нимало не расположены считать купеческій, или мѣщанскій, или крестьянскій бытъ идеаломъ русской жизни, мы совершенно признаемъ вѣрность тѣхъ красокъ, какими рисуются купцы въ „Ревизорѣ“ и „Женитьбѣ“ Гоголя, въ комедіи г. Островскаго „Свои люди—сочтемся“ и въ сценѣ Щедрина „Что такое коммерція?“ Но безпристрастіе обязываетъ насъ сказать, что люди, подобные Подхалюзину (въ комедіи г. Островскаго), должны быть отнесены къ исключеніямъ, довольно малочисленнымъ. Всѣ тѣ добрыя качества, которыми любитъ гордиться русскій народъ, принадлежатъ также огромному большинству нашихъ купцовъ. Каковы бы ни были ихъ нравы и привычки, но вообще они люди не только доброжелательные, но и положительно добрые. Готовность помочь и услужить сильна почти въ каждомъ изъ нихъ. Дай Богъ, чтобы въ другихъ классахъ нашего народа и въ людяхъ другихъ земель было такъ сильно развито сознаніе обязанности—дать средства къ пріобрѣтенію независимаго положенія тѣмъ людямъ, доброй службѣ которыхъ обязанъ бываетъ человѣкъ своимъ собственнымъ благосостояніемъ: рѣдкій изъ нашихъ провинціальныхъ купцовъ, если имѣетъ вѣрнаго приказчика, не заботится о томъ, чтобы вывесть его въ люди, поставить на ноги, сдѣлать его самого купцомъ. Каковы бы ни были отношенія обыкновеннаго купеческаго образа мыслей къ понятію гуманности, но должно сказать, что съ прислугою своею купцы обращаются очень гуманно. Каждый, кто знакомъ съ нравами купцовъ, легко увеличитъ этотъ слишкомъ краткій эпизодъ еще многими чертами, внушающими уваженіе къ добрымъ качествамъ нашего купеческаго сословія въ частной жизни.

Если мы обратимся къ изученію картины дѣлового, общественнаго быта нашихъ купцовъ, представляемой сценою Щедрина „Что такое коммерція?“, прежде всего мы уви-

димъ зависимость купеческихъ дѣлъ отъ чиновниковъ. Очень многіе изъ нашихъ купцовъ занимаются подрядами и поставками. Въ большей части провинціи таково главное занятіе большей части значительнѣйшихъ купцовъ. По общему закону торговли во всѣхъ странахъ, образъ веденія коммерческихъ дѣлъ опредѣляется тѣмъ порядкомъ, какимъ ведутъ ихъ первостепенные торговцы. Кромѣ того, каждый торговый человѣкъ имѣетъ по своимъ дѣламъ ежедневную надобность въ полицейскомъ управленіи и судебномъ покровительствѣ. Такимъ образомъ, привычки, издавна пріобрѣтенныя чиновничьимъ классомъ, опредѣляютъ своимъ характеромъ и порядокъ нашей торговли. Послѣ этого важнѣйшаго обстоятельства надобно принять въ соображеніе медленность и невѣрность торговыхъ оборотовъ, происходящую отъ употребительныхъ доселѣ средствъ сообщенія. Хлѣбная операція до сихъ поръ требовала у насъ цѣлаго года времени, иногда почти двухъ лѣтъ. При такомъ продолжительномъ срокѣ оборотовъ всѣ шансы могутъ измѣниться. Почти таково же положеніе двухъ другихъ важнѣйшихъ послѣ хлѣба отраслей нашей торговли — торговли саломъ и льномъ. Удивительно ли, что, подъ вліяніемъ двухъ столь важныхъ обстоятельствъ, купечество наше принуждено было прибѣгать къ оборотамъ, чуждымъ правильной торговлѣ? Не забудемъ и того обстоятельства, на которое часто съ прискорбіемъ указываютъ политико-экономисты. У насъ нѣтъ старинныхъ большихъ торговыхъ домовъ. Обыкновенно, богатые наши торговцы бываютъ люди, не наслѣдовавшіе никакого капитала, а бывшіе въ молодости торговцами очень бѣдными. Нѣтъ ничего удивительнаго, что они сохраняютъ привычки мелочной торговли и тогда, когда, посредствомъ оборотовъ, ей свойственныхъ, пріобрѣли значительный капиталъ. Дѣти ихъ, обыкновенно, спѣшатъ промѣнять торговую дѣятельность на служебную. Эта привычка сильно осуждается многими. Но мы уже видѣли, что обычай всегда проистекаетъ изъ фактовъ быта. Осуждать людей за то, что они подчиняются вліянію фактовъ, невозможно. Справедливо только то, что нѣкоторые факты имѣютъ вліяніе невыгодное для общества. Отъ перехода разбогатѣвшихъ купеческихъ родовъ къ другимъ занятіямъ вся внутренняя торговля наша находится въ рукахъ людей, которые или не имѣютъ значительныхъ капиталовъ, или сохранили привычку вести

свои дѣла тѣмъ порядкомъ, какимъ ведутъ ихъ люди, неимѣющіе капиталовъ. При недостаткѣ капиталовъ торговецъ не можетъ вести своихъ дѣлъ правильнымъ образомъ. Необходимость заставляетъ прибѣгать его къ изворотливости. Значительные торговцы въ другихъ странахъ, противодѣйствующіе такому порядку своимъ примѣромъ и торговымъ вліяніемъ, у насъ почти всегда сами слѣдуютъ той системѣ, какой держатся незначительные торговцы. Если мы сообразимъ силу всѣхъ этихъ обстоятельствъ, то не будемъ понапрасну обвинять личный характеръ людей торговаго класса. Мы опять прибѣгаемъ къ сравненію, заимствованному отъ одежды и путешествій. Если вамъ придется въ январѣ мѣсяцѣ ѣхать изъ Казани въ Москву въ обыкновенныхъ нашихъ саняхъ, я не имѣю права предполагать въ васъ недостатка вкуса за то, что вы надѣваете безобразные мѣховые сапоги. Быть-можетъ, вы человѣкъ, отличающійся чрезвычайно любовью къ изяществу, во всякомъ случаѣ, достовѣрно то, что вы не хуже моего чувствуете тяжесть мѣховыхъ сапогъ и неудобство ходить въ нихъ. Но что же вамъ дѣлать? Возможно ли вамъ отправляться въ вашу дорогу безъ этихъ неуклюжихъ и тяжелыхъ сапогъ? Я не имѣю даже права осуждать васъ, если вы презрительно посмѣетесь надъ моими выходками противъ вашихъ мѣховыхъ сапогъ. Но лучше не сердитесь на меня, а спокойно отвѣчайте, что когда у васъ будетъ теплый возокъ и медвѣжье одѣяло для ногъ, то вы безъ всякихъ указаній съ моей стороны будете путешествовать зимою въ тѣхъ самыхъ легкихъ, удобныхъ и красивыхъ сапогахъ, которые носите дома.

Купцы, выводимые Щедринымъ, сами указываютъ намъ обстоятельства, подъ вліяніемъ которыхъ установились привычки ихъ торговли. Мы заимствуемъ изъ ихъ разговоровъ двѣ-три страницы. Палахвостовъ, старикъ, начавшій съ гроша и наторговавшій себѣ большое состояніе, съ нѣкоторою насмѣшкой замѣчаетъ Ижбурдину, человѣку среднихъ лѣтъ, только еще стремящемуся къ цѣли, ужъ достигнутой Палахвостовымъ, что онъ, Ижбурдинъ, мечется во всѣ стороны, хватается за всѣ отрасли торговли, а не торгуетъ однимъ предметомъ, какъ, напримѣръ, хлѣбомъ. Подлѣ этихъ двухъ главныхъ лицъ сидятъ: Сокуровъ, юноша, мечтающій о томъ, какъ онъ будетъ жить на благородную ногу, когда получитъ наслѣдство послѣ старика Сокурова, купца мил-

сіонера, и Праздношатающійся, нѣчто въ родѣ фельетониста съ европейскими понятіями обо всемъ, между прочимъ, и о торговлѣ. Ижбурдинъ отвѣчаетъ на замѣчаніе Палахвостова указаніемъ невозможности заниматься одною отраслью торговли человѣку, не имѣющему большого капитала:

— Да куда же я съ однимъ-то предметомъ сунусь! Нонче, вонъ, пошли вездѣ выдумки—ничего и сообразить-то нельзя. Цѣна-то сегодня полтина, а завтра она рубль; ты думаешь, какъ бы тебѣ польза, анъ выходитъ, что тебѣ же шею наколотятъ; вотъ и торгуй! Теперича, примѣрно, кожевенный товаръ въ ходу, сукно тоже требуется, — ну, мы и сукно помалости скупаемъ, и кожи продаемъ: все это нашей совѣсти дѣло-съ. Намеднись, доложу я вамъ, былъ я въ Лежневѣ на ярмаркѣ,—и что-что тамъ комиссинеровъ наѣхало, ровно звѣздъ небесныхъ: все сапожный товаръ покупать. Конечно-съ, ихнее дѣло простое. Казна имъ, примѣрно, хоть рубль отпущаетъ, такъ ему надо, чтобъ у него полтина или тамъ сорокъ копеекъ пользы осталось. А съ мужикомъ ему дѣло имѣть несподручно. Этотъ хоть, можетъ, и больше пользы дастъ, да оно неспокойно: неровенъ часъ, слѣдствіе или другая напасть—всѣмъ ротъ не зажмешь. Опять же и за отчетностью они запутаны; поди да каждаго расписываться заставляй, да урезонивай, чтобъ онъ тебѣ, вмѣсто полтины, рубль написалъ. А какъ съ опытнымъ-то дѣло заведешь, оно и шито и крыто; первое дѣло, что хлопотъ никакихъ нѣтъ, а второе, что предательству тутъ быть невозможно почему какъ купецъ всякій знаетъ, что за такую механику и ему заодно съ комиссинеромъ не сдобровать. Эта штука для насъ самая выгодная; тутъ, можно сказать, не токмо что за трудъ, а больше за честь пользу получаешь.

Сокуровъ *(важничая)*. Да; съ казной дѣло имѣть выгоднѣе всего; она, можно сказать, всѣмъ намъ кормилица... *(наливаетъ вино въ бокалы. Къ Праздношатающемуся.)* Не прикажите ли, не имѣемъ счастья знать по имени и по отечеству...

Праздношатающійся. Съ охотою. *(Пьетъ.)* А гдѣ вы это, господа, такой здѣсь тенерифъ достаете... отличный! И жжетъ и першитъ... славно! точно водка.

Ижбурдинъ. Изъ Архангельска-съ; мы тоже и тамотка дѣла имѣемъ-съ.

Праздношатающійся *(къ Сокурову)*. Вотъ-съ вы изволили выразиться, что съ казною дѣло имѣть выгодно. Не позволите ли узнать, почему вы такъ заключаете?

Сокуровъ. Да-съ, это точно-съ, сами изволите знать... казна... выгодно...

Палахвостовъ. Во то-то, молодецъ! брешешь! выгодно, а почему—объяснить не умѣешь.

Ижбурдинъ. А вотъ позвольте... вы вѣрно, комиссинеръ?

Праздношатающійся *(обижаясь)*. Почему же комиссіонеръ?.. Я просто для своего удовольствія... Желательно, знаете, этакъ, по торговой части заняться...

Ижбурдинъ. Такъ вы приказный? Понимаемъ-съ. Это точно, что нонче приказные много насчетъ торговли займуются—капиталы завелись..

Такъ вотъ изволите ли видѣть, съ казной потому намъ дѣло имѣть естественнѣе, что тутъ, можно сказать, риску совсѣмъ не бываетъ. Въ срокъ ли, не въ срокъ ли, — казна все миетъ. Конечно-съ, тутъ не безъ расходовъ, да зато и цѣны совсѣмъ другія, насупротивъ обыкновенныхъ-съ. Ну, и опять-таки оттого для насъ это дѣло сподручно, что принимаютъ тамъ все, можно сказать, по-Божески. Намеднись, вонъ я полушубки въ казну ставилъ; только развѣ-что кислятиной отъ нихъ пахнетъ, а по прочему и званія-то полушубка нѣтъ — тѣсто тѣстомъ; поди-ка я съ этими полушубками не токмо что къ торговцу хорошему, а на рынокъ—на смѣхъ бы подняли! Ну, а въ казнѣ все изойдетъ, по той причинѣ, что потребленіе тамъ большое. Вотъ тоже случилось мнѣ однажды муку въ казну ставить. Я, было, въ тѣ поры и барки ужъ погрузилъ: сплыть бы только, да и вся недолга. Анъ тутъ подвернулся приказчикъ отъ купцовъ заграничныхъ—цѣну даетъ славную. Думалъ я, думалъ, да, перекрестившись, и отдалъ весь хлѣбъ приказчику.

Праздношатающійся. А какъ же съ казной-то?

Рыжбурдинъ. Съ казной-то? А вотъ какъ: пошелъ я, запродавши хлѣбъ-отъ, къ писарю станового, такъ онъ мнѣ, за четвертакъ, такое свидѣтельство написалъ, что я даже самъ подивился. И наводненіе, и мелководіе тутъ; только нашествія непріятельскаго не было. *(Всѣ смѣются.)* Такъ оно и доподлинно скажешь, что казна-матушка всѣмъ намъ кормилица... Это точно-съ. По той причинѣ, что если бъ не казна, куда же бы намъ съ торговлей-то дѣваться? Это все единственно, что деньги въ ломбардъ положить, да и сидѣть самому на печи, сложа руки.

Праздношатающійся *(глубокомысленно)*. Да, это такъ... недостатокъ предпріимчивости... Это, такъ сказать, болѣзнь русскаго купечества... Это знаете... *(Палахвостовъ улыбается.)* Вы смѣетесь? Но скажите, отчего же? Отчего же англичане, напримѣръ, французы...

Рыжбурдинъ. А оттого это, батюшка, что на все свой резонъ есть-съ. Положимъ, вотъ хоть я предпріимчивый человѣкъ. Снарядилъ я, примѣрно, корабь, или тамъ подрядился къ какому ни-на-есть иностранцу выставить столько-то тысячъ кулей муки. Вотъ-съ, и искупилъ я муку, искупилъ дешево—нече сказать, это все въ нашихъ рукахъ—погрузилъ ее въ барки... Ну-съ, а потомъ-то куда жъ я съ ней дѣнусь?

Праздношатающійся. Какъ куда?

Рыжбурдинъ. Да точно такъ-съ. Позвольте полюбопытствовать, изволили вы по Волгѣ плавать? Нѣтъ-съ? Такъ это точно, что вы на этотъ счетъ сумнѣнье имѣть можете; а вотъ какъ мы въ эвтомъ дѣлѣ, можно сказать, съ младенчества произошли, такъ и знаемъ, какъ это рѣка-съ. Это рѣка, доложу я вамъ, съ позволенія сказать-съ. Сегодня она вонъ здѣсь, а на другой, сударь, годъ, на эвтомъ мѣстѣ ужъ песокъ, и она во-куда побѣгла. Никакъ тутъ и не сообразишь. Тащишься-тащишься этта съ грузомъ-то, индо злость тебя одолѣетъ. До Питера-то изъ нашихъ мѣстъ года въ два не доѣдешь, да и то еще Бога благодари, коли угодники тебя доѣхать допустятъ. А то вотъ не хочешь ли на мели посидѣть или совсѣмъ затонуть; или вотъ рабочіе у тебя съ барокъ поубѣгутъ—ну, и плати за все втридорога. Какая же тутъ, сударь, цѣна? Могу ли я теперича доскональпо себя въ эвтакомъ дѣлѣ разсчитать? Что вотъ, молъ, купилъ я по томъ-то, провозъ будетъ стоить столько-то, продамъ по такой-то

цѣнѣ? А неустойка? Вѣдь, англичанинъ-то не казна-съ; у него нѣтъ этихъ ни мелководій, ни мировыхъ повѣтріевъ; ему вынь да положь. Нѣтъ-съ, наша торговля еще, можно сказать, въ рукахъ Божьихъ находится. Вывезетъ Волга-матушка — ну, и съ капиталомъ; не вывезетъ—зубы на полку клади.

Если вы не прислушивались внимательно къ откровеннымъ разговорамъ Ижбурдина и его товарищей, вы, пожалуй, предположите, судя по его привычкамъ, что онъ держится своего порядка коммерческихъ оборотовъ по личной наклонности къ такому порядку. Если вы незнакомы съ нимъ ни по какимъ другимъ дѣламъ, кромѣ коммерціи, вы можете вообразить, что онъ человѣкъ безъ души и совѣсти. Но когда, узнавъ его поближе, какъ человѣка, вы найдете въ немъ очень много хорошихъ качествъ и еще больше прекрасныхъ зародышей, остающихся неразвитыми и ожидающихъ только благопріятной поры для своего развитія, вы, быть-можетъ, посовѣститесь думать о немъ такъ презрительно, какъ привыкли думать. Быть-можетъ, вы признаетесь, что вы поступили бы подобно ему, если бы находились въ его положеніи; быть-можетъ, даже вы сказали бы, что этотъ человѣкъ, каковы бы ни были въ настоящее время его коммерческіе обороты, не только человѣкъ положительно добрый въ душѣ, но и способный совершенно переродиться.

А быть-можетъ, вы человѣкъ, привыкшій осуждать и хвалить поступки людей, не принимая въ соображеніе силу обстоятельствъ, при которыхъ невозможно образоваться въ обществѣ благороднымъ привычкамъ или невозможно отстать отъ дурныхъ привычекъ. Въ такомъ случаѣ, вы прямо назовите пустяками мнѣніе, высказанное нами. На такой рѣшительный приговоръ позвольте отвѣчать вамъ разсказомъ о дѣйствительномъ случаѣ. Разсказъ этотъ умѣстенъ здѣсь. Онъ познакомитъ читателей съ чертою изъ жизни человѣка, всѣ силы котораго были посвящены благу его родины.

Дмитрій Ивановичъ Мейеръ, скончавшійся въ Петербургѣ, въ началѣ прошлаго года, профессоромъ здѣшняго университета, около десяти лѣтъ занималъ каѳедру гражданскихъ законовъ въ Казанскомъ университетѣ. Постоянною мыслью его было улучшеніе нашего юридическаго быта силой знанія и чести. Здѣсь не мѣсто говорить о его трудахъ по званію профессора, о его чрезвычайно сильномъ благотворномъ вліяніи на слушателей, которые всѣ на всю жизнь сохранили

благоговѣніе къ его памяти. Цѣль нашего разсказа требуетъ только замѣтить, что задушевнымъ его стремленіемъ было соединеніе юридической науки съ юридическою практикой. Онъ устроилъ при своихъ лекціяхъ въ университетѣ консультаціи и самъ занимался веденіемъ судебныхъ дѣлъ, разумѣется, безъ всякаго вознагражденія (это былъ человѣкъ героическаго самоотверженія), съ цѣлью показать своимъ воспитанникамъ на практикѣ, какъ надобно вести судебныя дѣла. Одно изъ такихъ дѣлъ и будетъ предметомъ нашего разсказа.

Въ томъ городѣ, гдѣ жилъ Мейеръ, былъ купецъ, разъ или два съ большою пользой для себя совершавшій продѣлку, на которую рѣшается Большаковъ (въ комедіи г. Островскаго). Пріобрѣтя опытность въ этомъ выгодномъ упражненіи, онъ вздумалъ еще разъ объявить себя банкротомъ и предложилъ своимъ кредиторамъ получить по пяти или по десяти копеекъ за рубль. Прежнія продѣлки такого рода удачно сходили ему съ рукъ. Никто не могъ или не хотѣлъ уличить его въ злостномъ банкротствѣ. Онъ думалъ, что и теперь дѣло кончится по прежнимъ примѣрамъ. Но Мейеръ сказалъ кредиторамъ, что готовъ взять на себя управленіе дѣлами конкурса. Вице-губернаторомъ былъ тогда человѣкъ благонамѣренный, и Мейеръ могъ вести дѣло строгимъ законнымъ порядкомъ. Долгаго времени, большого труда стоило ему привести въ порядокъ счеты торговца, веденные, по общему обычаю, безалабернымъ образомъ и, сверхъ того, умышленно запутанные и наполненные фальшивыми цифрами. Всѣ средства подкупа, обмана и промедленія были употреблены должникомъ и его партизанами. Все напрасно. Мейера нельзя было ни запугать, ни обольстить, ни обмануть. Онъ сидѣлъ надъ счетными книгами и записками и, наконецъ, привелъ дѣло въ ясность. Онъ доказалъ злостность банкротства, и банкротъ былъ арестованъ. Мѣсяцъ проходилъ за мѣсяцемъ въ извѣстныхъ переговорахъ между банкротомъ и его партизанами. Всѣ ихъ усилія оказывались напрасными. Банкротъ сидѣлъ подъ арестомъ, Мейеръ былъ непоколебимъ. Такъ прошло около года. Наконецъ, банкротъ убѣдился, что не можетъ ни обольстить Мейера, ни пересилить его. Онъ заплатилъ долги своимъ кредиторамъ и былъ выпущенъ изъ-подъ ареста. И прямо изъ-подъ ареста явился въ квартиру Мейера. Какъ

вы думаете, съ какими словами? „Благодарю тебя, уважаю тебя". сказалъ онъ своему бывшему сопернику: „на твоемъ примѣрѣ увидѣлъ я, что значитъ быть честнымъ. Черезъ тебя я узналъ, что я поступалъ дурно. У насъ такъ принято дѣлать, какъ дѣлалъ я. Ты мнѣ раскрылъ глаза. Теперь я понимаю, что дурно и что хорошо. Изъ всѣхъ людей, съ которыми имѣлъ я дѣло, я вѣрю тебѣ одному. Во всѣхъ своихъ дѣлахъ я буду слушаться тебя, а ты не оставь меня своимъ совѣтомъ".

Фактъ, нами разсказанный, могутъ засвидѣтельствовать всѣ, жившіе тогда въ томъ городѣ, гдѣ находился Мейеръ и производилось дѣло. Обратите же вниманіе на этого банкрота, вы, которые не вѣрите въ коренное благородство, во врожденную любовь и уваженіе къ правдѣ въ душахъ, повидимому, самыхъ загрубѣлыхъ и испорченныхъ. Въ лицѣ этого банкрота соединены были всѣ тѣ признаки, которыми можетъ доказываться совершенная испорченность сердца, совершенная неспособность виновнаго обновиться для честной жизни; соединились всѣ обстоятельства и побужденія, которыя могутъ сдѣлать признаніе правды противнымъ самолюбію и эгоизму человѣка. Злостное банкротство есть одно изъ тѣхъ преступленій, которыя требуютъ наибольшей ожесточенности сердца. Оно совершается не въ минуту гнѣва или увлеченія, оно совершается хладнокровно, обдуманно. Обдуманная рѣшимость погубить многихъ людей должна господствовать въ сердцѣ преступника не нѣсколько часовъ или дней, а цѣлые мѣсяцы, быть-можетъ, цѣлые годы потому, что для исполненія его преступной мысли нужно ему очень долго хлопотать, чтобы, съ одной стороны, получить всѣ деньги отъ своихъ должниковъ, съ другой стороны, задолжать какъ можно болѣе своимъ кредиторамъ и, не роняя своего кредита, значительно уменьшить наличный запасъ товаровъ въ своихъ магазинахъ. Привести къ желаемому концу эти различныя операціи, изъ которыхъ одна препятствуетъ другой, очень затруднительно для торговца. Наконецъ, когда цѣль достигнута, когда въ магазинахъ нѣтъ товаровъ, когда получены всѣ деньги съ должниковъ и роздано множество векселей, начинаются новыя, труднѣйшія испытанія, противъ которыхъ устоитъ только самая черствая душа. Преступникъ объявляетъ себя банкротомъ и съ этой минуты каждый день долженъ выдерживать

самыя возмутительныя сцены. Къ нему являются люди, имъ разоряемые: они плачутъ передъ нимъ, умоляютъ его, осыпаютъ его проклятіями,—онъ долженъ оставаться хладнокровнымъ и непоколебимымъ въ своей рѣшимости. Самый закоснѣлый разбойникъ, совершившій десятки убійствъ, содрогается сердцемъ отъ мольбы своихъ жертвъ и говоритъ, что если бы сцена убійства не была дѣломъ минуты, онъ не могъ бы выдержать ее. Для банкрота подобныя сцены непрерывно тянутся въ теченіе недѣль и мѣсяцевъ, и онъ непреклонно выдерживаетъ свой характеръ. Въ этомъ страшномъ дѣлѣ нашъ банкротъ былъ не новичокъ. Не въ первый разъ занялся онъ имъ, когда встрѣтилъ противникомъ себѣ Мейера. Возвысить такого человѣка до любви къ справедливости и добру было, кажется, дѣломъ гораздо болѣе неправдоподобнымъ, нежели обратить шайку разбойниковъ въ героевъ добродѣтели. И въ чьемъ лицѣ приходилось этому банкроту полюбить справедливость и доброту? Въ лицѣ того человѣка, котораго изъ всѣхъ людей въ мірѣ онъ долженъ наиболѣе ненавидѣть. Нашъ банкротъ считалъ себя непобѣдимымъ хитрецомъ—Мейеръ, раскрывъ всѣ его уловки, жесточайшимъ образомъ оскорбилъ его самолюбіе; Мейеръ разорилъ его, надолго лишилъ его свободы, подвергъ жестокимъ страданіямъ продолжительнаго ареста—и этого жесточайшаго гонителя и врага своего долженъ былъ полюбить человѣкъ съ закоснѣлою душой, имъ оскорбленный, разоренный, измученный. Дѣло совершенно неправдоподобное для тѣхъ поверхностныхъ наблюдателей, которые не знаютъ, какъ много остатковъ и зародышей добра и благородства таится въ душѣ самаго дурного изъ дурныхъ людей, которые забываютъ, что самый закоснѣлый злодѣй все-таки человѣкъ, т.-е. существо, по натурѣ своей, наклонное уважать и любить правду и добро и гнушаться всѣмъ дурнымъ, существо, могущее нарушать законы добра и правды только по незнанію, заблужденію или по вліянію обстоятельствъ сильнѣйшихъ, нежели его характеръ и разумъ, но никогда не могущее, добровольно и свободно, предпочесть зло добру. Отстраните пагубныя обстоятельства, и быстро просвѣтлѣетъ умъ человѣка и облагородится его характеръ.

Такіе люди, какъ Мейеръ, составляютъ рѣдкое исключеніе во всякомъ обществѣ въ каждое время. Ихъ примѣръ,

конечно, самымъ благотворнымъ образомъ дѣйствуетъ на каждаго, кто вступаетъ въ близкія отношенія съ ними. Сила ихъ личности такова, что для человѣка, вовлеченнаго въ сферу ея дѣйствія, уравновѣшивается, часто даже превозмогается вліяніемъ ея вліяніе всѣхъ другихъ обстоятельствъ, дѣйствующихъ въ противномъ направленіи. Но число баярдовъ, людей „безъ страха и упрека“, какъ Мейеръ, всегда и вездѣ было такъ невелико, что сила ихъ личнаго вліянія могла отражаться лишь на незначительной части общества, которому они принадлежали. Примѣръ жизни отдѣльнаго героя добродѣтели увлекаетъ лишь нѣсколькихъ отдѣльныхъ людей, но не цѣлыя общества. Напрасно успокоивать себя мечтою: пусть явятся добродѣтельные люди, и примѣръ ихъ исправитъ общество. Въ исторіи обществъ примѣръ не можетъ имѣть такой силы. Онъ важенъ, если указываетъ практическій способъ достичь цѣли, которой и безъ того каждому хотѣлось уже достигнуть, имѣя на то средства. Васко-де-Гама обогнулъ мысъ Доброй-Надежды, и тысячи кораблей устремились вслѣдъ за нимъ Но это потому только, что, уже и безъ Васко-де-Гамы и прежде него, всѣмъ хотѣлось доходить моремъ до Индіи, а корабли были уже готовы. Но никогда въ исторіи не можетъ имѣть примѣръ такой силы, чтобы имъ устранялось дѣйствіе закона причинности, по которому нравы народа сообразуются съ обстановкою народной жизни. Десятки тысячъ гордыхъ своимъ достоинствомъ и дѣятельныхъ англичанъ живутъ въ Индіи среди народа, обстоятельства жизни котораго сложились такъ, что главными чертами нравовъ его стала низость и лѣность. Обстоятельства эти до сихъ поръ не устранены и, какъ видимъ, индійцы, попрежнему, остаются низки и лѣнивы, хотя имѣютъ передъ глазами множество примѣровъ противныхъ качествъ въ англичанахъ. Но пусть англичане позаботятся объ отстраненіи тѣхъ фактовъ, вліяніемъ которыхъ развратились и унизились индійцы: тогда не много нужно будетъ лѣтъ для того, чтобы воскресли въ индійскомъ народѣ трудолюбіе, уваженіе передъ закономъ, любовь къ справедливости и чувство человѣческаго достоинства.

Но оставимъ Остъ-Индію и англичанъ. Пусть они воображаютъ, что лучшее средство имъ утвердиться въ Остъ-Индіи не пріобрѣтеніе преданности отъ индійцевъ, а пріобрѣтеніе

Герата и Кандагара. Пусть они забываютъ, что если Великобританія съ своими тридцатью милліонами населенія не опасается никакого иноземнаго нашествія, то Индія съ своими полутораста милліонами населенія не нуждалась бы, конечно, ни въ какихъ Гератахъ, если бы признавала пользу защищать учрежденія, которыми была бы обязана англичанамъ. Это дѣло однихъ предположеній, которыя мы сами готовы назвать праздными. И какое намъ дѣло до всѣхъ этихъ азіатцевъ? Пусть себѣ лѣнятся. У нихъ такой благодатный климатъ, что имъ очень можно лѣниться. Если бы, напримѣръ, г. Буеракинъ жилъ въ Остъ-Индіи, его нравы чрезвычайно хорошо пришлись бы къ тропическому климату, и мы не сказали бы ни слова противъ его образа жизни. Онъ мечтаетъ. Это было бы очень удобно и прилично на берегахъ Нербудды, подъ тѣнью банановъ. Но мы думаемъ, что ему очень скучно мечтать въ селѣ Заовражьѣ, и что, раньше или позже, соскучившись мечтать, онъ, подобно Ижбурдину и подьячему прошлыхъ временъ, вздумаетъ заняться дѣломъ. Конечно, онъ будетъ поступать не такъ, какъ эти невѣжды. Онъ человѣкъ благородный и просвѣщенный. Онъ захочетъ перенести въ жизнь свои гуманныя убѣжденія. О людяхъ съ гуманными убѣжденіями существуетъ у насъ повѣрье, будто они люди вовсе не практическіе и, принявшись за дѣло, сочинятъ такую путаницу, что для замѣшаннаго въ нее народа будетъ тяжелѣе, нежели когда бы попался онъ въ руки подьячему прошлыхъ временъ или даже самому Ивану Петровичу. Въ литературѣ было очень много заслуженныхъ насмѣшекъ надъ такими людьми; и Щедринъ, подобно другимъ нашимъ сатирикамъ, очень строго и справедливо уличаетъ представителя непрактическихъ людей съ возвышенными стремленіями въ очеркѣ „Неумѣлые". Но Буеракинъ не таковъ. Онъ человѣкъ проницательный. Если онъ захочетъ взяться за дѣло, онъ сумѣетъ повести дѣло, какъ нужно по его мнѣнію.

До сихъ поръ мы очень мало касались воззрѣній самого Щедрина на людей, имъ изображаемыхъ. Типы и факты, о которыхъ мы говорили, такъ просты, что между порядочными людьми не можетъ быть никакого личнаго различія въ понятіяхъ о нихъ. Никто не станетъ восхищаться подьячимъ прошлыхъ временъ и Ижбурдинымъ съ товарищами. Но на людей, подобныхъ Буеракину, можно смотрѣть различно.

Слова его гуманны. Людямъ, зависящимъ отъ него, приходится жить очень плохо. Очень многіе, не колеблясь, скажутъ, что онъ человѣкъ дурной, говорящій одно, дѣлающій другое, лжецъ и лицемѣръ. Мнѣніе очень натуральное. Но Щедринъ не раздѣляетъ его, и въ томъ надобно видѣть одно изъ убѣдительныхъ доказательствъ рѣдкаго знанія жизни и умѣнья цѣнить людей. У Щедрина Буеракинъ вовсе не лицемѣръ. Онъ не только говоритъ о благѣ общемъ, онъ дѣйствительно желаетъ его, насколько понимаетъ. Скажемъ больше: въ томъ кругу жизни, который зависитъ отъ него, онъ приводитъ въ исполненіе тѣ мысли, которыя кажутся ему справедливыми. Справедливо самъ Буеракинъ называетъ себя человѣкомъ отмѣнно добрымъ. Весь тонъ разсказа свидѣтельствуетъ, что Щедринъ раздѣляетъ это мнѣніе. Какъ честный докладчикъ, Щедринъ нимало не скрывалъ тѣхъ дурныхъ вещей, которыя допускаются или даже дѣлаются Буеракинымъ. Объ этихъ вещахъ говоритъ онъ съ справедливымъ негодованіемъ и, однакоже, все-таки видно, что онъ расположенъ къ Буеракину, хотя за многое строго осуждаетъ его. Щедринъ не могъ бы имѣть „добрымъ пріятелемъ“ человѣка дурного.

Какимъ же образомъ человѣкъ добрый и хорошій, человѣкъ съ очень просвѣщеннымъ образомъ мыслей и проницательнымъ умомъ можетъ дозволять дѣлать такія дурныя вещи, какъ Буеракинъ? Многіе скажутъ: это потому, что онъ человѣкъ безхарактерный, слабый, излѣнившійся. Самъ Буеракинъ отчасти намекаетъ на такое объясненіе, конечно, выгоднѣйшее для его добраго имени. Онъ, видите ли, представляетъ себя чѣмъ-то въ родѣ Гамлета, человѣка сильнаго только въ безплодной рефлексіи, но слабаго на дѣло, по причинѣ отсутствія воли. Это ужъ не первый Гамлетъ является въ нашей литературѣ,—одинъ изъ нихъ даже такъ и назвалъ себя, прямо по имени, „Гамлетомъ Щигровскаго уѣзда“; а нашъ Буеракинъ, по всему видно, хочетъ быть „Гамлетомъ Крутогорской губерніи“. Видно, не мало у насъ Гамлетовъ въ обществѣ, когда они такъ часто являются въ литературѣ,—въ рѣдкой повѣсти вы не встрѣтите одного изъ нихъ, если только повѣсть касается жизни людей съ такъ-называемыми благородными убѣжденіями.

Однакожъ, мы не остановимся на одномъ прозваніи такихъ людей; намъ мало имени, мы хотимъ знать дѣло,—мы

хотимъ знать, почему Гамлетъ—Гамлетъ, то-есть человѣкъ, при всѣхъ прекрасныхъ качествахъ своей души дѣлающійся мученіемъ для самого себя и причиной погибели для тѣхъ, судьба которыхъ отъ него зависитъ, и которымъ онъ очень искренно желаетъ добра,—напримѣръ, причиной погибели Офеліи и Лаэрта. Одною слабостью характера при силѣ ума, наклоннаго къ рефлексіи, этого дѣла не объяснишь: мало ли людей съ слабымъ характеромъ, сильнымъ умомъ и наклонностью къ рефлексіи, проживаютъ свой вѣкъ очень счастливо для себя и для близкихъ къ себѣ? Есть тутъ другое обстоятельство: Гамлетъ находится въ фальшивомъ или, проще сказать, ненатуральномъ положеніи. Онъ, какъ сынъ, долженъ былъ бы любить свою мать и, однакоже, долженъ ненавидѣть ее, какъ убійцу своего отца. Онъ искренно и очень горячо любитъ Офелію,—и, однако же, не считаетъ приличнымъ для себя жениться на ней. Положеніе обоихъ дѣлъ такъ противоестественно, что можетъ надѣлать чепухи въ головѣ человѣка и неимѣющаго наклонности къ рефлексіи; можетъ вывести къ поступкамъ, нелѣпо непослѣдовательнымъ и пагубнымъ для него самого и для другихъ, даже такого человѣка, который не отличается особенною слабостью воли. Только немногіе негодяи, одаренные очень рѣдкою безсовѣстностью, или еще менѣе многочисленные счастливцы, одаренные желѣзнымъ стоицизмомъ, могли бы поступать благоразумно и быть счастливы на мѣстѣ Гамлета. Изъ ста человѣкъ девяносто-девять, будучи въ его положеніи, точно такъ же мучились бы, надѣлали бы точно такихъ же бѣдъ и себѣ и другимъ. Различіе темпераментовъ относительно такихъ дѣлъ имѣетъ мало важности. Въ томъ и заключается всемірное значеніе драмы Шекспира, что въ Гамлетѣ вы видите самихъ себя въ данномъ положеніи, каковъ бы ни былъ вашъ темпераментъ.

Взглянемъ же съ этой точки зрѣнія на нашего Буеракина. Оставимъ на время психологическія особенности его характера.—Всмотримся только въ его положеніе, и для васъ будетъ ясно, почему онъ, говоря такъ хорошо, поступаетъ такъ дурно. Отношенія его къ людямъ, судьба которыхъ отъ него зависитъ, такъ же ненатуральны, какъ отношенія Гамлета къ Офеліи. Любить женщину и не желать назвать ее своею женой, желать добра людямъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, брать у нихъ необходимое имъ для удовлетворенія своимъ прихо-

тямъ,—которое изъ этихъ двухъ положеній кажется вамъ менѣе противоестественно, менѣе фальшиво? На наши глаза оба они равно ненатуральны, равно дурны.

Многіе обвиняютъ Буеракина въ невѣрности своимъ убѣжденіямъ; быть-можетъ, и вы, читатель, назвали его лицемѣромъ? Въ такомъ случаѣ, вы выразились неосторожно и неосновательно. Измѣна убѣжденіямъ! Мизантропы говорятъ, что это нравственное преступленіе совершается людьми гораздо рѣже, нежели какъ кажется; что человѣкъ, сознательно измѣняющій своимъ основнымъ убѣжденіямъ, человѣкъ, у котораго мысль раздвоилась съ желаніемъ, такое же рѣдкое явленіе, какъ человѣкъ, у котораго правая половина лица непохожа на лѣвую. Бёрне,—кажется, онъ не слишкомъ выгодно думалъ о людяхъ и достаточно бранилъ ихъ,— Бёрне прямо говоритъ, что едва ли когда-нибудь хотя одинъ человѣкъ измѣнялъ своимъ убѣжденіямъ. Едва ли не придется согласиться съ Бёрне, если только не будешь обольщаться общими фразами, принимающими различные оттѣнки смысла въ различныхъ устахъ, и станешь внимательно присматриваться къ точному содержанію убѣжденій. Часто самъ человѣкъ не замѣчаетъ истиннаго содержанія своихъ убѣжденій, воображаетъ, что онъ думаетъ вовсе не то, что въ самомъ дѣлѣ онъ думаетъ,—вотъ хотя бы, напримѣръ, Буеракинъ. Онъ отъ искренней души называетъ себя „негоднымъ“ человѣкомъ, т.-е. негоднымъ для жизни и для принесенія пользы ближнему, и воображаетъ, что въ самомъ дѣлѣ считаетъ себя человѣкомъ негоднымъ. А на самомъ дѣлѣ, неужели таково его убѣжденіе о себѣ? Постороннему человѣку это виднѣе, нежели ему самому. Послушайте только, что онъ отвѣчаетъ черезъ нѣсколько строкъ Щедрину на вопросъ о его лѣности и бездѣйствіи. Щедринъ говоритъ:— Вы ничего не дѣлаете и воображаете, что ничего полезнаго нельзя сдѣлать.

— Угадали,—говоритъ Буеракинъ:—угадали. Но отъ васъ ускользнули нѣкоторыя подробности, которыя я и постараюсь объяснить вамъ. Первое дѣло, которымъ я занимаюсь,—это мое искреннее желаніе быть благодѣтельнымъ помѣщикомъ. Это дѣло нетрудное, и я достигаю достаточно удовлетворительныхъ результатовъ, коль скоро какъ можно менѣе вмѣшиваюсь въ дѣла управленія. Вы, однакожъ, не думайте, чтобъ я поступалъ такимъ образомъ изъ безпечности или преступной лѣности. Нѣтъ, у меня такое глубокое убѣжденіе въ совершенной ненужности вмѣшательства, что

и управляющій мой существуетъ только для вида, для очистки совѣсти, чтобъ не сказали, что овцы безъ пастыря ходятъ... Поняли вы меня?

— Ну, тутъ еще не много работы...

— Больше, нежели вы предполагаете...

Конечно, въ этомъ монологѣ есть оттѣнокъ ироніи, но подъ ироніей скрывается положительно доброе мнѣніе о своей дѣятельности. Да и каковъ смыслъ самой ироніи? Онъ очень ясенъ. „Правда, я дѣлаю кое-что хорошее; но столько ли еще хорошаго способенъ былъ бы я сдѣлать, если бъ дано было мнѣ болѣе обширное поприще дѣятельности!“—А какъ же онъ самъ себя, за минуту, называлъ „негоднымъ“ человѣкомъ?—Это ничего. Когда человѣкъ, не переводя духа, говоритъ о себѣ: „Правда, я дрянь, но все-таки я хорошій человѣкъ“,—въ этой фразѣ нѣтъ нисколько противорѣчія. Не много нужно проницательности, чтобы видѣть, какое именно слово этой, повидимому, противорѣчивой фразы положительно выражаетъ мнѣніе говорящаго. Это слово:—„я хорошій человѣкъ“. Предыдущая половина фразы нимало ему не противорѣчитъ; напротивъ, она только усиливаетъ его значеніе, имѣя такой смыслъ: „Нынѣ обстоятельства не даютъ обнаружиться моему превосходству во всемъ его объемѣ. Я не могу дѣлать ничего достойнаго моихъ великихъ качествъ. Теперь вы смотрите на меня, какъ на человѣка замѣчательнаго: но какъ вы удивились бы моей геніальности и моему благородству, если бы обстоятельства когда-нибудь позволили проявиться всему богатству моей натуры!“ Въ сущности, Буеракинъ вовсе не считаетъ себя человѣкомъ недѣятельнымъ и безполезнымъ. Напротивъ, мысль о противорѣчіи его поступковъ его убѣжденіямъ не приходитъ ему и въ голову. Напротивъ, онъ гордится своимъ образомъ дѣйствій, какъ совершенно сообразнымъ съ его убѣжденіями. Приведенная нами выписка убѣдитъ каждаго, что наружность лѣнивца, дѣйствительно, не мѣшаетъ ему быть человѣкомъ дѣятельнымъ. Внимательное разсмотрѣніе его убѣжденій докажетъ, что какова бы ни была его дѣятельность, но она сообразна съ его убѣжденіями.

Въ самомъ дѣлѣ, положеніе человѣка имѣетъ рѣшительное вліяніе на характеръ его убѣжденій. Чрезъ всю исторію можно прослѣдить тотъ неизмѣнный фактъ, что, при переходѣ человѣка изъ наблюдательнаго, теоретическаго положенія къ практической дѣятельности, онъ, обыкновенно,

очень во многомъ начиналъ слѣдовать примѣру своихъ предмѣстниковъ въ этомъ практическомъ положеніи, хотя прежде осуждалъ ихъ образъ дѣйствій. Односторонніе и поверхностные теоретики называютъ это недобросовѣстностью. Но фактъ, столь всеобщій, не можетъ зависѣть отъ личныхъ слабостей или пороковъ отдѣльныхъ людей. Онъ долженъ необходимо имѣть какія-нибудь основанія въ самой необходимости вещей. Дѣло въ томъ, что съ каждой новой точки зрѣнія перспектива измѣняется. Какому-нибудь французскому публицисту очень легко было осуждать англійскихъ министровъ за то, что они, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, вели войну съ Китаемъ для поддержанія торговли опіумомъ. Съ своей точки зрѣнія публицистъ былъ правъ. Но если бъ ему самому случилось сдѣлаться англійскимъ министромъ, онъ, по всей вѣроятности, продолжалъ бы войну за опіумъ, которую прежде такъ строго осуждалъ. Онъ сказалъ бы: „Конечно, торговля опіумомъ безнравственна, но она уже существуетъ и не можетъ быть искоренима моими усиліями, потому что сами китайцы ее хотятъ поддерживать. Если бъ англичане перестали продавать китайцамъ опіумъ, китайцы нашли бы себѣ другихъ продавцовъ: американцевъ, французовъ, португальцевъ. Притомъ же честь англійскаго флага была оскорблена китайцами. Этого нельзя оставить безъ наказанія. Наконецъ, война ведется вовсе не за опіумъ, а за то, что китайцы нарушили договоры, съ нами заключенные“. И опять, съ своей точки зрѣнія, этотъ человѣкъ былъ бы правъ. Добросовѣстность его въ обоихъ случаяхъ одинакова, различенъ только его взглядъ на вещи, и различіе этого взгляда зависитъ отъ разности положеній. Въ первомъ случаѣ, какъ французскій публицистъ, онъ не имѣлъ ни охоты, ни нужды принимать особенно близко къ сердцу частные интересы Англіи. Онъ рѣшалъ дѣло единственно на основаніи идеи справедливости. Во второмъ случаѣ, какъ англійскій министръ, онъ долженъ заботиться объ этихъ интересахъ. Если они не близки къ его сердцу, тогда именно онъ былъ бы человѣкомъ недобросовѣстнымъ и дурнымъ. Его прежніе товарищи, французскіе журналисты, скажутъ: „Онъ измѣнилъ своимъ прежнимъ убѣжденіямъ!“ Онъ будетъ отвѣчать имъ: „Нимало не измѣнялъ. Попрежнему я думаю, что справедливость выше всего. Но, вы согласитесь, справедливость требуетъ, чтобы англійскій министръ

принималъ въ соображеніе интересы Англіи. Торговля опіумомъ несправедлива. Но нелѣпо было бы англичанамъ передать эту торговлю въ руки своихъ соперниковъ. Если бы она могла быть прекращена, мы отказались бы отъ нея. Но прекратиться она не можетъ. Ее поддерживаютъ сами китайцы. Они повсюду ищутъ опіума. Или вы хотите, чтобы мы завоевали Китай для истребленія въ китайцахъ насильственными мѣрами привычки къ куренію опіума? Завоеваніе Китая нами было бы единственнымъ средствомъ прекратить торговлю опіумомъ. Видите ли, въ какое противорѣчіе вы впадаете? Для прекращенія нашей войны съ Китаемъ вы требуете, чтобы мы завоевали Китай. Вы не хотите понимать настоящаго положенія дѣлъ и требуете вещей несообразныхъ и невозможныхъ,—вещей болѣе несправедливыхъ, нежели самая война за опіумъ. Прежде я, подобно вамъ, не зналъ фактовъ, судилъ по отвлеченной теоріи. Я нимало не измѣнилъ своимъ прежнимъ убѣжденіямъ. Справедливость выше всего. Но въ чемъ же справедливость?—вотъ вопросъ. Чтобы разрѣшить его, нужно знать факты. Прежде я, подобно вамъ, не зналъ ихъ; теперь знаю. Вотъ вся разница между вами и мною". Съ своей точки зрѣнія, онъ будетъ совершенно правъ.

Итакъ, два различныя положенія необходимо ведутъ къ двумъ различнымъ взглядамъ на вещи. Съ измѣненіемъ положенія человѣка измѣняется его точка зрѣнія, измѣняется и характеръ его убѣжденій. Но къ чему намъ говорить объ Англіи и англичанахъ? Иной можетъ сказать, что въ наше время люди дурны, что въ наше время нѣтъ твердости убѣжденій. Лучше мы сошлемся на другой примѣръ, заимствуемый изъ міра непоколебимыхъ убѣжденій и непреклонныхъ характеровъ, изъ міра Римскаго. Лѣтъ тысячи за двѣ до нашего времени Цицеронъ надѣлалъ страшнаго шума, нападая на гнусные, по его мнѣнію, поступки Верреса въ Сициліи. Страшно дурнымъ человѣкомъ выставилъ онъ несчастнаго Верреса: нарушителемъ всѣхъ законовъ, нарушителемъ всякой правды и совѣсти, грабителемъ, убійцей и т. д., и т. д. По словамъ Цицерона, оказывалось, что никогда еще въ мірѣ не бывало негодяя и злодѣя, подобнаго Верресу. Верресъ струсилъ и бѣжалъ изъ Рима, не защищаясь. Совершенно напрасно. Почему бы ему не защищаться. Развѣ не было у него оправданій? Онъ могъ бы сказать

Цицерону, напримѣръ, слѣдующее: „Мой другъ! вы не были пропреторомъ [1]) въ Сициліи. Вы не знаете этихъ людей. Войдите въ мое положеніе. Я желалъ бы знать, что вы сами стали бы дѣлать на моемъ мѣстѣ? Вы говорите объ уваженіи къ законамъ. Я самъ уважаю ихъ не меньше, нежели вы. Я былъ въ Римѣ Praetor Urbanus [2]). Скажите, нарушалъ ли я тогда законы? Допускалъ ли я подкупъ и клятвопреступленіе на судѣ? Нѣтъ. Вы этого не можете сказать. Вы видите, въ городѣ, гдѣ возможно правосудіе и законность, я строго держался этихъ священныхъ принциповъ. Но знаете ли вы Сицилію?—Въ этой странѣ нѣтъ понятія о честности, о законности. Если бы вы, мой другъ, вздумали тамъ рѣшать какую-нибудь тяжбу по римскимъ законамъ, говорящимъ, что приговоръ долженъ быть основанъ на документахъ и на показаніяхъ свидѣтелей, вы, мой другъ, ни одного дѣла не рѣшили бы справедливо: вамъ представили бы фальшивые документы, облеченные въ строго-легальную форму; вамъ представили бы ложныхъ свидѣтелей, показанія которыхъ были бы неопровержимы по правиламъ легальности; знаете ли вы, мой другъ, что въ Сициліи за какія-нибудь десять сестерцій составятъ вамъ какой-угодно фальшивый документъ, что вы на рынкѣ найдете тысячи людей, готовыхъ дать какое-угодно показаніе въ вашу пользу за пять сестерцій? Пропреторъ Сициліи имѣетъ подчиненныхъ ему судей и администраторовъ—всѣ они продажные плуты; вы можете, сколько угодно, смѣнять и наказывать этихъ людей,—преемники ихъ будутъ точно таковы же. Таковы, mon cher (какъ говорятъ въ Галліи), нравы сициліанцевъ. Васъ обманывали бы на каждомъ шагу. Если бы вы возстановили противъ себя этихъ людей, васъ поймали бы въ такую ловушку, что вы лишились бы и своего пропреторства и головы. Теперь вы обвиняете меня въ административныхъ злоупотребленіяхъ—наказаніемъ можетъ мнѣ за то служить только изгнаніе изъ вашего города Рима (въ которомъ я и жить не хочу — мнѣ гораздо пріятнѣе жить въ Аѳинахъ, между образованными людьми, нежели въ вашемъ полудикомъ Римѣ), если бы я возстановилъ противъ себя людей, съ которыми я

[1]) Въ древнемъ Римѣ пропреторами или проконсулами назывались управлявшіе провинціями сановники.

[2]) Преторъ—верховный судья.

имѣлъ дѣло въ Сициліи, этихъ взяточниковъ и плутовъ, они обвиняли бы меня въ измѣнѣ Риму, и я, mon cher, рисковалъ бы головою. И какой полезной цѣли я достигъ бы, возстановляя противъ себя всѣхъ и каждаго въ Сициліи? Неужели мнѣ удалось бы, въ самомъ дѣлѣ, водворить вашу законность и справедливость? Знакомы ли вы, mon cher, съ иберійцемъ Сервантесомъ? Вы хотите, чтобы я разыгрывалъ въ Сициліи роль Донъ-Кихота. Carissime! глупо сражаться съ вѣтряными мельницами. Повѣрьте: не намъ съ вами остановить могущественное дѣйствіе крыльевъ, движимыхъ силами стихій. Благоразумному человѣку лучше всего быть мельникомъ, и брать за свой трудъ по горсти отъ медимна, доставляемаго на обработку въ его мельницы".

Мы не знаемъ, что могъ бы отвѣчать Цицеронъ на эти возраженія? Юлій Цезарь, конечно, не смутился бы ими. Онъ просто сказалъ бы: „Надобно съ Сициліей поступить такъ, какъ я поступилъ съ Транспаданскою Галліей. Я далъ жителямъ ея право римскаго гражданства. Теперь транспаданцы управляются собственными сановниками. Нѣтъ у нихъ ни пропреторовъ, ни тѣхъ порядковъ или безпорядковъ, которые существовали до моего времени".

Вотъ, въ этомъ дѣлѣ мы имѣемъ трехъ людей, занимающихъ различныя положенія. Верресъ пропреторъ, Цицеронъ юристъ, очень благонамѣренный, но ровно ничего не понимающій въ историческомъ ходѣ событій своего времени; Юлій Цезарь государственный человѣкъ. Сообразно различію своихъ положеній, каждый изъ нихъ смотритъ на дѣло совершенно различными глазами. Верресъ думаетъ: „Сициліанцами нельзя управлять съ соблюденіемъ законности и справедливости. Но между тѣмъ, нужно же какъ-нибудь управлять ими. Я поставленъ въ необходимость управлять ими такъ, какъ я управляю". У него исходный пунктъ—нравы сициліанцевъ. Цицеронъ говоритъ: „Законы должны быть уважаемы. Кто нарушаетъ ихъ, тотъ злодѣй, и долженъ быть наказанъ. Ты, Верресъ, нарушилъ законы, ты злодѣй, и долженъ быть наказанъ". У него исходная точка—буква закона. Обстоятельствъ онъ не принимаетъ въ соображеніе. Съ своей точки зрѣнія каждый изъ нихъ правъ. Но и тотъ и другой поставлены своимъ положеніемъ на одностороннюю точку зрѣнія. И оба, могущіе быть равно добросовѣстными, равно гибельные люди для Сициліи.

Если положеніе человѣка имѣетъ столь рѣшительную силу надъ его дѣятельностью, надъ міромъ фактовъ столь твердыхъ, опредѣлительныхъ, неуступчивыхъ, то, конечно, не меньше силы должно оно оказывать надъ его убѣжденіями, предметомъ столь общимъ, гибкимъ, измѣнчивымъ. Утопить или вытащить изъ воды человѣка—вотъ факты: въ нихъ нѣтъ двусмыслія, въ нихъ невозможна ошибка. Я топлю человѣка,—я не могу ошибаться въ смыслѣ своего дѣйствія. Я никакъ не могу скрыть отъ себя, что я лишаю его жизни. Я вытаскиваю его изъ воды—опять для меня невозможны никакія недоразумѣнія. Я совершенно опредѣлительно знаю, что я спасаю ему жизнь. Таковы ли отношенія человѣка къ общимъ мыслямъ, къ отвлеченнымъ понятіямъ? Каждое слово, входящее въ формулу моихъ убѣжденій, допускаетъ столько различныхъ оттѣнковъ смысла, принимаетъ столько истолкованій! Тутъ очень легки непроизвольныя недоразумѣнія предъ самимъ собой; тутъ открыто, при всей добросовѣстности человѣка, самое широкое поле заблужденія передъ самимъ собой. У трехъ людей въ различныхъ положеніяхъ на устахъ одна и та же фраза, о которой каждый изъ нихъ говоритъ, что она выражаетъ основное его убѣжденіе: „Я хочу справедливости“, говорятъ и Верресъ, и Цицеронъ, и Юлій Цезарь. Значитъ ли это, что они сходятся въ своихъ убѣжденіяхъ и стремленіяхъ? Не торопитесь объявлять ихъ людьми одинаковаго образа мыслей. Прежде разберите, въ какомъ смыслѣ представляется эта фраза каждому изъ нихъ. Говоря: „Я хочу справедливости“, Верресъ говоритъ: „Я хочу, чтобы меня оправдали за мое управленіе Сициліей. Несправедливо было бы наказать человѣка за то, что онъ не соблюдалъ формальностей, соблюденіе которыхъ было для него физически невозможно“. Тою же самою фразой: „Я хочу справедливости“, Цицеронъ говоритъ совершенно иное: „Я хочу, чтобы наказанъ былъ Верресъ. Справедливость требуетъ, чтобы человѣкъ, нарушившій законы, былъ наказанъ по законамъ“. Опять тою же самою фразой: „Я хочу справедливости“, Юлій Цезарь говоритъ совершенно иное: „Я хочу низвергнуть Помпея и Цицерона“.

Весь этотъ эпизодъ, быть-можетъ, слишкомъ длинный, клонится къ тому, чтобъ извинить Буеракина, давно нами покинутаго подъ тяжестью обвиненія, будто бы его дѣйствія

противорѣчатъ его убѣжденіямъ. Намъ кажется, что обвиненіе противъ него взведено совершенно напрасно. Если вы, читатель, пренебрегаете Буеракинымъ, какъ человѣкомъ двуличнымъ, какъ эгоистомъ, жертвующимъ своими убѣжденіями своей лѣности или выгодѣ, вы введены въ совершенное заблужденіе и, притомъ, очень грубое заблужденіе, поверхностнымъ предположеніемъ, будто бы Буеракинъ смотритъ на вещи такими же глазами, какъ вы (я предполагаю, что вы смотрите на вещи такими же глазами, какъ я,—предположеніе также, быть-можетъ, ошибочное); вы введены въ ошибку тѣмъ, что онъ употребляетъ фразы, которыя употребляете вы, что онъ любитъ слова, входящія въ составъ этихъ фразъ, точно такъ же, какъ и вы. Но съ чего же взяли вы, что подъ этими словами онъ понимаетъ то же самое, что понимаете вы? Вникните хорошенько въ выраженія, которыми онъ окружаетъ свои слова, одинаковыя съ вашими словами, и вы убѣдитесь, что, въ сущности, онъ придаетъ этимъ словамъ тотъ самый смыслъ, о какомъ свидѣтельствуютъ его поступки; вы увидите, что теоретическая сторона жизни этого человѣка совершенно соотвѣтствуетъ практической; вы увидите, что Буеракинъ—человѣкъ, вѣрный въ жизни своимъ убѣжденіямъ. Ключъ къ убѣжденіямъ Буеракина находится въ тѣхъ фразахъ, которыя произноситъ онъ по случаю ссоры между Абрамомъ Семенычемъ и Ѳедоромъ Карлычемъ. По его мнѣнію, Ѳедоръ Карлычъ правъ, и, сверхъ того, безъ Ѳедора Карлыча плохо пришлось бы самому Абраму Семенычу и его товарищамъ, какъ людямъ непривычнымъ и неспособнымъ къ порядочной жизни. Кромѣ того, Буеракинъ совершенно убѣжденъ, что можетъ положиться на Ѳедора Карлыча, который вѣрно соблюдаетъ выгоды его, Буеракина. Въ этихъ убѣжденіяхъ разгадка всей личности Буеракина, всего образа его мыслей и всей его жизни. Если вы убѣдитесь въ томъ, вамъ трудно будетъ не признать полной добросовѣстности Буеракина. Вамъ могутъ не нравиться его убѣжденія, но вы не откажете ни убѣжденіямъ этимъ въ искренности, ни лицу его въ строгой честности и благонамѣренности.

Мы много разъ упоминали о томъ, что различіе темпераментовъ и личныхъ наклонностей не имѣетъ столь важнаго вліянія на образъ жизни и дѣятельность людей, какъ мно-

гіе предполагають. У Владиміра Константиныча Буеракина есть родственникъ, съ которымъ знакомитъ насъ Щедринъ въ монологѣ, имѣющемъ эпиграфъ: „Vir bonus, dicendi peritus". Темпераментомъ этотъ родственникъ совершенно отличается отъ Владиміра Константиныча. У Владиміра Константиныча есть наклонность къ созерцательной жизни. У его кузена, напротивъ, чрезвычайно развита практичность. Тотъ Платонъ, этотъ Аристотель или, даже, Ѳемистоклъ. Такъ мы ихъ и будемъ называть въ нашей параллели, отчасти изъ подражанія Плутарху, отчасти для краткости. Платонъ живетъ дикаремъ въ деревнѣ, Ѳемистоклъ—душа общества въ губернскомъ городѣ. Платонъ, какъ мы положительно знаемъ, человѣкъ холостой и любитъ волочиться. Ѳемистоклъ, по всей вѣроятности, женатъ, очень любитъ свою жену и совершенно вѣренъ ей (точно такъ же, какъ подругѣ, которую имѣетъ, конечно, независимо отъ жены). У Платона нѣтъ дѣтей; а если бъ и были, то, безъ сомнѣнія, пошли бы по міру нищими. У Ѳемистокла, безъ сомнѣнія, есть очень миленькія дѣти, и отецъ такъ заботится о нихъ, что хотя и достанется имъ наслѣдство послѣ ихъ родственника Платона, но отецъ, не жалѣя силъ своихъ, старается еще болѣе обезпечить ихъ будущность. Платона всѣ считаютъ злоязычникомъ и избѣгаютъ встрѣчи съ нимъ, хотя въ душѣ, а часто и на словахъ, всѣ надъ нимъ смѣются, и никто его не боится, всѣ, напротивъ, помыкаютъ имъ. Ѳемистоклъ чрезвычайно любезенъ и остороженъ въ обращеніи, всѣ находятъ удовольствіе быть съ нимъ въ обществѣ, но всѣ боятся его. Одну только общую точку можно отыскать въ личностяхъ Платона и Ѳемистокла: оба они чрезвычайно обходительны съ людьми, низшими ихъ по званію, и, вообще, очень гуманны въ своемъ обращеніи. Словомъ сказать,—трудно найти контрастъ болѣе полный и рѣзкій, нежели контрастъ между Платономъ и Ѳемистокломъ, но, однакоже, при всемъ безконечномъ различіи въ темпераментахъ и наклонностяхъ, рѣчь Ѳемистокла могла бы служить продолженіемъ и, во всякомъ случаѣ, должна служить дополненіемъ къ рѣчамъ Платона. Чтобы убѣдить въ томъ читателя, мы приведемъ начало этой мастерской рѣчи, одной изъ лучшихъ въ книгѣ Щедрина:

— Если вы думаете, что мы имѣемъ дѣло съ этою грязью, avec cette canaille, то весьма ошибаетесь. На это есть писаря, ну, и другіе тамъ; это

ихъ обязанность, они такъ и созданы... Мы всѣ слишкомъ хорошо воспитаны, мы обучились разнымъ наукамъ, мы мечтаемъ о томъ, чтобы у насъ все было чисто, у насъ такіе опрятные взгляды на администрацію... согласитесь сами, что даже самое comme il faut запрещаетъ намъ мараться въ грязи. Какой-нибудь Иванъ Петровичъ или Фейеръ—это понятно: они тамъ родились, тамъ и выросли; ну, а мы совсѣмъ другое. Мы желаемъ, чтобы и формуляръ нашъ былъ чистъ, и репутація не запятнана—vous comprenez?

Повторяю вамъ, вы очень ошибаетесь, если думаете, что вотъ я призову мужика, да такъ и начну его собственными руками обдирать... Фи! Вы забыли, что отъ него тамъ, Богъ знаетъ, чѣмъ пахнетъ... да и не хочу я совсѣмъ давать себѣ этотъ трудъ. Я, просто, призываю писаря, или тамъ другого, et je lui dis: „mon cher, tu me dois tant et tant"—ну, и дѣло съ концомъ. Какъ ужъ онъ тамъ дѣлаетъ—это до меня не относится.

Я самъ терпѣть не могу взяточничества—фуй, мерзость! Взятки опять-таки берутъ только Фейеры да Трясучкины, а у насъ на это совсѣмъ другой взглядъ. У насъ не взятки, а администрація; я требую только *должнаго*, а какъ оно тамъ изъ нихъ выходитъ, до этого мнѣ дѣла нѣтъ. Моя обязанность только исчислить статьи; гоньба тамъ что ли, дорожная повинность, рекрутство... Tout cela doit rapporter".

Много матеріаловъ для размышленія представляетъ книга, „собранная и изданная г. М. Е. Салтыковымъ". Изъ двух- или трехсотъ типовъ, представляемыхъ записками его Щедрина, мы разсмотрѣли только три. Изъ двадцати-трехъ статей, составляющихъ „Губернскіе очерки", мы коснулись только нѣкоторыхъ страницъ изъ пяти очерковъ. Тотъ, кто захотѣлъ бы осудить все замѣчательное и важное въ „Запискахъ" Щедрина, долженъ былъ бы къ двумъ томикамъ его „Губернскихъ очерковъ" прибавить двадцать огромныхъ томовъ комментарій. Работа,—читатель, вѣроятно, ожидаетъ, что мы скажемъ: громадная или утомительная? Нѣтъ—работа легкая и до такой степени заманчивая для пишущаго, что трудно намъ теперь сказать себѣ: „Довольно, довольно: и безъ того статья уже длинна, вѣроятно, слишкомъ длинна".

Читатели, по всей вѣроятности, совершенно разочарованы въ своихъ предположеніяхъ содержаніемъ нашей статьи. Читатели, вѣроятно, ожидали, что, по поводу книги Щедрина, мы будемъ говорить объ общественныхъ вопросахъ, которые возбуждаются „Губернскими очерками". Другіе, быть-можетъ, думали, что мы коснемся художественныхъ вопросовъ, ими возбуждаемыхъ. Первая задача, дѣйствительно, имѣетъ значительную привлекательность. Но пусть простятъ насъ читатели. Гораздо интереснѣе показалось намъ сосредоточить все наше вниманіе исключительно на чисто-психологической сторонѣ типовъ, представляемыхъ Щедринымъ.

Мы охотно признаемся, что этотъ личный нашъ вкусъ, быть-можетъ, ошибоченъ; но что жъ дѣлать?—У каждаго человѣка есть свои любимыя пристрастія, есть свои любимыя теоріи, есть свои любимыя мысли, о которыхъ онъ готовъ говорить кстати и некстати. У насъ два такихъ пристрастія: во-первыхъ, наклонность къ разрѣшенію чисто-психологическихъ задачъ, во-вторыхъ, наклонность къ извиненію человѣческихъ слабостей. Намъ показалось, что, защищая людей, мы не защищали злоупотребленій. Намъ казалось, что можно сочувствовать человѣку, поставленному въ фальшивое положеніе, даже не одобряя всѣхъ его привычекъ, всѣхъ его поступковъ. Удалось ли намъ провести эту мысль съ достаточной точностью, пусть судятъ другіе.

Что же касается литературныхъ достоинствъ книги, изданной г. Салтыковымъ, о нихъ также пусть судятъ другіе. „Губернскіе очерки“ мы считаемъ не только прекраснымъ литературнымъ явленіемъ,—эта благородная и превосходная книга принадлежитъ къ числу историческихъ фактовъ русской жизни.

„Губернскими очерками“ гордится и долго будетъ гордиться наша литература. Въ каждомъ порядочномъ человѣкѣ русской земли Щедринъ имѣетъ глубокаго почитателя. Честно имя его между лучшими и полезнѣйшими и даровитѣйшими дѣтьми нашей родины. Онъ найдетъ себѣ многихъ панегиристовъ, и всѣхъ панегириковъ достоинъ онъ. Какъ бы ни были высоки тѣ похвалы его таланту и знанію, его честности и проницательности, которыми поспѣшатъ прославлять его наши собратія по журналистикѣ, мы впередъ говоримъ, что всѣ эти похвалы не будутъ превышать достоинствъ книги, имъ написанной.

Н. Чернышевскій.



„Губернскіе очерки“.

Изъ записокъ отставного надворнаго совѣтника Щедрина. Собралъ и издалъ М. Е. Салтыковъ. Москва. 1857 г. [1]).

*) Нѣтъ ничего труднѣе, какъ произносить критическій судъ надъ книгами, которыя, вслѣдствіе какихъ-либо особенныхъ обстоятельствъ, совершенно не касающихся литературы, сразу обратили на себя всеобщее вниманіе публики и, такимъ обра-

---

[1]) „Отечественныя Записки“, 1857 г., 8 кн.

*) „Отечественныя Записки“ возникли въ началѣ XIX столѣтія и до 1839 г. влачили жалкое существованіе. Съ этого времени онѣ переходятъ въ руки А. А. Краевскаго; въ журналѣ группируются выдающіеся люди науки и литературы во главѣ съ Бѣлинскимъ. Здѣсь встрѣчаются имена Герцена, Грановскаго, Кудрявцева, извѣстнаго энциклопедиста В. Боткина и мн. др. Съ 1848 г. „Отеч. Зап.“ снова становятся безцвѣтны и оживаютъ только съ января 1868 г., когда фактическими редакторами ихъ дѣлаются Щедринъ, Некрасовъ и Елисѣевъ.

Предлагаемая здѣсь статья принадлежитъ, кажется, если не ошибаюсь, перу извѣстнаго лектора и педагога Ник. Өедоров. Бунакова. Она написана въ худшія времена существованія журнала и раздѣляетъ всѣ недостатки этого органа въ періодъ 48—68 гг. Въ этой статьѣ авторъ, отказывая Щедрину въ самостоятельномъ художественномъ дарованіи, а отсюда, и въ художественной, внутренней правдѣ, признаетъ за его „Очерками“ большое общественное значеніе. Онъ указываетъ на Щедрина, какъ на родоначальника обличительной литературы у насъ, и говоритъ, что онъ первый раскрываетъ ненормальности дѣятельности русскихъ чиновниковъ. Не отрицаетъ онъ также за нашимъ авторомъ и знанія описываемой среды, а также большой наблюдательности, точнаго изображенія явленій, „умъ бойкій и смѣлый, наконецъ, сердце благородное, сочувствующее высшимъ интересамъ времени“. Несмотря, однако, на всѣ эти качества, Щедринъ, по мнѣнію автора этой статьи, не идетъ дальше умѣнія хорошо разсказать анекдотъ. Когда за частный случай берется хорошій писатель, онъ всегда сумѣетъ изобразить намъ его со всѣми корнями, доберется до самаго первоисточника, покажетъ ту глубину, гдѣ онъ получилъ свое начало, обнажитъ всѣ его связки и, такимъ образомъ, изъ-подъ пера его выйдетъ изъ отдѣльнаго случая толкованіе законовъ, управляющихъ данными явленіями. Въ этой способности авторъ статьи отказываетъ Щедрину.

Примѣч. Н. Денисюка.

зомъ, какъ бы застраховали себя напередъ отъ всякаго критическаго разбора. Успѣхъ книги въ обществѣ, толки, которые она возбуждаетъ, расходъ ея въ большомъ количествѣ экземпляровъ—все это такіе, повидимому, неоспоримые аргументы, говорящіе въ пользу книги, что малѣйшее сомнѣніе въ ея достоинствахъ можетъ показаться пристрастнымъ, недобросовѣстнымъ, подозрительнымъ. А между тѣмъ, всѣ эти аргументы, при всей ихъ кажущейся неоспоримости, не всегда составляютъ доказательство истиннаго достоинства книги. Минутный успѣхъ, всеобщіе толки, огромный расходъ экземпляровъ—все это можетъ сопровождать и такія произведенія литературы, которыя та же самая публика относитъ, впослѣдствіи, въ разрядъ второстепенныхъ или даже предаетъ совершенному забвенію. Исторія литературы представляетъ намъ безчисленное множество примѣровъ, какъ, иногда, самыя пустыя книжонки пользовались громаднымъ успѣхомъ минуты и, наоборотъ, величайшія созданія геніевъ долгое время лежали въ пыли, не пользовались даже просто извѣстностью. Стоитъ только припомнить Шекспира, забытаго Европой на цѣлое XVII-е столѣтіе, и Коцебу, собиравшаго всеобщія рукоплесканія своими бездарными комедіями.

На что́ молода наша русская литература, а и она сколько ужъ успѣла представить слинявшихъ знаменитостей и поздно оцѣненныхъ достоинствъ. Тотъ самый Марлинскій, котораго слава гремѣла недавно чуть не отъ Балтійскаго моря до Чернаго, теперь восхищаетъ однѣхъ перезрѣлыхъ невѣстъ да провинціальныхъ юношей, напѣвающихъ имъ подъ гитару чувствительные романсы; зато въ наше время отдана справедливость многимъ произведеніямъ Пушкина, встрѣтившимъ при первомъ своемъ появленіи одну безотрадную холодность.

Наученный этими примѣрами критикъ не долженъ восхищаться какимъ-нибудь новымъ сочиненіемъ только потому, что о немъ кричитъ вся публика; но, съ другой стороны, онъ неправильно поступитъ и тогда, когда осудитъ его безъ внимательнаго разбора, или пройдетъ его обиднымъ равнодушіемъ, успокоившись тѣмъ, что оно не произвело въ обществѣ благопріятнаго впечатлѣнія.

Вотъ въ этомъ-то, своего рода, стоицизмѣ и заключается главная трудность дѣла критики, когда идетъ рѣчь о произведеніи, которому уже достались на долю внѣшніе признаки истиннаго достоинства. Положимъ, что у критики и

хватило бы достаточно смѣлости, чтобъ подать безпристрастный голосъ въ говорѣ всеобщаго хваленія; положимъ, что онъ не побоялся бы насмѣшекъ, упрековъ въ близорукости, двусмысленныхъ и тому подобныхъ манифестацій, на которыя всегда готова торжествующая сторона; но гдѣ ему взять силъ для того, чтобъ умственно оторваться отъ среды, въ которой онъ живетъ и дѣйствуетъ? Гдѣ возможность подняться надъ интересами времени, чтобъ прозрѣть въ будущее и съ высоты его осудить настоящее? Гдѣ тотъ непогрѣшительный критеріумъ, на основаніи котораго онъ можетъ сказать современникамъ: „Вы заблуждаетесь, восхищаясь такимъ-то или другимъ произведеніемъ“?

Теоріи? Но, вѣдь, теоріи сами не что иное, какъ произведенія времени. И если каждая новая эпоха несетъ съ собой новыя условія жизни, если жизнь—дѣйствительно *развитіе*, то какъ рѣшиться приступить къ современному произведенію съ требованіями, возникшими изъ условія и потребностей иной эпохи? Какъ судить Бомарше по теоріи Буало или Гоголя—по теоріи романтиковъ? Какъ предположить, что *та* теорія, которая кажется намъ вѣрною, есть именно истинная и непогрѣшительная, когда мы уже исторически знаемъ паденіе множества теорій, считавшихся въ свое время истинными и непогрѣшительными?

Нравственные принципы? Но эти принципы гораздо слышнѣе въ голосѣ цѣлаго общества, нежели въ личныхъ сужденіяхъ, ибо нравственный принципъ вырабатывается многосложнымъ механизмомъ всей общественной жизни, а не отдѣльными личностями. Стало-быть, обращаясь къ произведенію отъ лица нравственныхъ принциповъ, критикъ или только повторитъ то, что произнесено уже прежде него цѣлымъ обществомъ, или же скажетъ такое слово, которое раздастся праздно, какъ гласъ вопіющаго въ пустынѣ. Общество и не судитъ иначе, какъ на основаніи нравственнаго принципа, безсознательно или сознательно, по неизбѣжно въ немъ развивающагося. Его приговоръ — непремѣнно выраженіе нравственнаго начала, разумѣется, на той ступени, до которой общество доросло въ данную минуту.

Изъ всего этого слѣдуетъ, что хвалить или порицать какое-нибудь произведеніе во имя какой бы то ни было теоріи или нравственныхъ принциповъ—дѣло почти рѣшительно-безплодное. Что ни говори критика, во всякомъ слу-

чаѣ успѣхъ или неуспѣхъ сочиненія (я предполагаю успѣхъ въ цѣломъ обществѣ, а не въ какомъ-нибудь узенькомъ кружкѣ) будетъ стоять передъ нашими глазами, какъ неотразимый *фактъ*, требующій объясненія и гораздо болѣе занимательный, нежели всякіе критическіе разборы. Время возьметъ свое: произведеніе будетъ оцѣнено по достоинству и займетъ свое законное мѣсто въ литературѣ; но эта оцѣнка будетъ плодомъ цѣлостнаго развитія общества, а не слѣдствіемъ только критическаго разбора, какъ бы онъ хорошъ ни былъ, и передъ нами опять будетъ стоять другой *фактъ*, имѣющій также высокую занимательность и могущій повести къ весьма важнымъ размышленіямъ о состояніи того общества, въ которомъ этотъ фактъ оказывается.

Да не въ томъ и состоитъ дѣло серіозной критики, чтобъ хвалить или осуждать. Критикъ—не учитель, который поправляетъ упражненія учениковъ, имѣя въ виду усовершенствованіе ихъ слога или развитіе ихъ мыслительной способности. Не его обязанность руководить литераторовъ или публику своими совѣтами. Безполезность этихъ совѣтовъ уже окончательно признана въ наше время. Я не сталъ бы и говорить объ этомъ, если бы къ понятію „критики" не примѣшивалось, къ сожалѣнію, еще и въ наше время, въ извѣстной степени понятіе похвалы и порицанія. Приступая къ разбору „Губернскихъ очерковъ", мнѣ бы хотѣлось совершенно отклонить читателей этой статьи отъ всякой мысли найти въ ней похвалу или осужденіе. Не съ тѣмъ принимаюсь я за этотъ разборъ, чтобъ указывать ошибки автора или несостоятельность его „Очерковъ" передъ судомъ художественной теоріи; не имѣю притязанія становиться выше публики и голосомъ педагога спрашивать ее, какъ она смѣла восхищаться сочиненіемъ, не удовлетворяющимъ законамъ строгаго искусства; не стану также и навязывать насильственно этому сочиненію такихъ художественныхъ достоинствъ, которыя бы оправдывали успѣхъ его въ глазахъ присяжныхъ теоретиковъ,—нѣтъ, я постараюсь взглянуть на эту книгу, *какъ на фактъ въ исторіи нашего общественнаго развитія*, и, по возможности, объяснить его. Признаюсь, мнѣ кажется, что гораздо больше значенія имѣетъ *появленіе такой книги* въ наше время, нежели самая книга; гораздо больше ея громадный успѣхъ въ нашей публикѣ, нежели ея безотносительныя достоинства; наконецъ, гораздо больше личность

самого автора, прорывающаяся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ „Записокъ“, нежели всѣ тѣ *случаи*, которые онъ записывалъ.

Чтобы сразу покончить дѣло съ требованіями теоріи и перейти къ настоящему содержанію моей статьи, я долженъ сказать, что въ „Очеркахъ“ г. Щедрина прежде всего недостаетъ... какъ бы вы думали, чего?—*правды*. Да, критика *должна* это сказать, не обращая вниманія на крики, которые могутъ на нее подняться со стороны безусловныхъ поклонниковъ г. Щедрина; она уронитъ свое достоинство, она войдетъ въ противорѣчіе съ самыми основными законами искусства, если не осмѣлится объявить этого, опасаясь поверхностнаго суда, который именно въ правдивости-то и нашелъ будто бы главное достоинство „Губернскихъ очерковъ“. Но это достоинство приписано имъ необдуманно; сто́итъ только вникнуть въ сущность этого сочиненія, чтобъ открыть, что въ немъ не только нѣтъ правды, но она даже и не нужна для объясненія его необыкновеннаго успѣха.

И вотъ уже я слышу раздающіеся вокругъ меня крики негодованія: „Да что вы? да какъ это? да неужели же г. Щедринъ обманываетъ публику? да развѣ не бываетъ у насъ тѣхъ гадостей, которыя онъ описываетъ въ своей книгѣ? да развѣ вы сами не видѣли никогда подобныхъ случаевъ? да откуда вы пріѣхали? ужъ не съ девятой ли версты?“ и пр., и пр., и пр.

Затыкаю уши, чтобъ не услышать какой-нибудь еще бо́льшей дерзости, и собираюсь со всѣми силами, чтобъ спокойно продолжать начатую рѣчь, прерванную возгласами господъ, у которыхъ, обыкновенно, все рѣшается напередъ и потомъ уже никакое возраженіе не считается достойнымъ вниманія.

Итакъ—выражаясь языкомъ покойнаго Полонія—въ „Очеркахъ“ г. Щедрина нѣтъ правды, то-есть въ нихъ нѣтъ того, что называется въ литературныхъ произведеніяхъ правдой или, вѣрнѣе, что должно называться правдой; другими словами: вся правда, какая въ нихъ встрѣчается, не есть собственно правда и не имѣетъ права называться правдою.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое большая часть „Очерковъ“?—Случаи изъ дѣйствительной жизни, разсказанные очень умно и занимательно, но все же не болѣе, какъ *случаи*, которые могли быть, могли и не быть. Всѣ эти продѣлки и плутни подьячихъ, уѣздныхъ врачей, городничихъ и тому подобныхъ чиновниковъ, составляющія содержаніе большей части „Очер-

ковъ", положимъ, дѣйствительно *бываютъ* у насъ; положимъ, мы съ удовольствіемъ читаемъ разсказъ о нихъ человѣка бывалаго, слѣдователя, которому эти дѣла должны быть хорошо извѣстны, но не можемъ изъ этихъ разсказовъ вывести никакого заключенія. Во всей книгѣ нѣтъ почти ни одного *типа*, который бы оставался ясно и отчетливо въ душѣ читателя; почти ни одного разсказа, который бы запечатлѣнъ былъ внутреннею правдой такъ, чтобы въ умѣ читающаго не оставалось и тѣни сомнѣнія, что разсказанное событіе могло совершиться какъ-нибудь иначе. Изъ книги г. Щедрина мы узнаемъ только, что вотъ какія у насъ водятся злоупотребленія чиновническихъ обязанностей, вотъ какъ обдѣлываются иногда дѣла и т. д. Но почему все это дѣлается такъ, а не иначе—на этотъ вопросъ книга г. Щедрина не даетъ никакого отвѣта. Предметъ не захваченъ глубоко, не проникнутъ идеей, а предстаетъ передъ нашими глазами въ видѣ голаго, ничего неговорящаго факта. По содержанію своему эта книга принадлежитъ къ тому разряду книгъ, къ которому относятся „Открытія таинства карточной игры" и т. п. сочиненія. Ее слѣдовало бы, собственно, назвать: „Открытыя плутни русскихъ чиновниковъ"—вотъ и все ея значеніе.

Вотъ почему я и говорю, что въ „Губернскихъ очеркахъ" нѣтъ правды. Случай, взятый изъ дѣйствительной жизни и перенесенный въ литературное произведеніе, тогда только становится правдой въ истинномъ смыслѣ этого слова, когда проникнутъ идеей, которая одна можетъ дать ему смыслъ и значеніе, скрѣпить между собою подробности событія и освѣтить ихъ надлежащимъ образомъ. Безъ идеи фактъ, какъ бы онъ справедливъ ни былъ, остается не больше какъ случайностью, не имѣющею никакого значенія и не допускающею никакихъ выводовъ. Что слѣдуетъ, напримѣръ, изъ того, что такой-то Иванъ Петровичъ вынудилъ какого-то фабриканта заплатить ему даромъ три тысячи, настращавъ его тѣмъ, что онъ пріѣхалъ спускать его прудъ, чтобъ отыскивать въ немъ мертвое тѣло, будто бы туда попавшее? Какое заключеніе выведете вы изъ того, что такой-то Фейеръ (городничій) взялъ съ родственниковъ другого купца взятку за то, что позволилъ имъ похоронить этого купца въ мундирѣ, котораго онъ не выслужилъ? Какой въ этомъ смыслъ, какое значеніе? Во всѣхъ подобныхъ разсказахъ столько же

значенія, сколько въ разсказѣ о томъ, что на Лубянской площади сгорѣлъ балаганъ среди бѣлаго дня или что въ подмосковномъ селѣ Котлахъ найдена мамонтовая кость. И эти послѣдніе случаи такая же правда, какъ тѣ, про которые разсказываетъ намъ г. Щедринъ въ своихъ „Запискахъ". Но они—правда до тѣхъ только поръ, пока не вырваны изъ дѣйствительности; перенесите же ихъ цѣликомъ въ поэзію, они теряютъ всякое значеніе, ибо не представляютъ никакого смысла. Дѣйствительность не иное что, какъ собраніе сырого матеріала для художниковъ: въ ней нѣтъ типовъ; она—гіероглифъ, который еще должна разгадывать человѣческая проницательность. И когда эта проницательность откроетъ смыслъ того или другого гіероглифа, тогда открытіе это можетъ быть названо правдой или неправдой. А пока гіероглифъ остается гіероглифомъ, онъ не есть ни правда ни неправда; онъ не больше, какъ фактъ, *матеріалъ* для мышленія. Правдой или неправдой можно называть только идею, мысль, сужденіе.

Теперь, кажется, понятно, что, отказывая „Очеркамъ" г. Щедрина въ названіи правды, я вовсе не думалъ отрицать дѣйствительное существованіе фактовъ, какіе въ нихъ находятся, а хотѣлъ только сказать, что факты, собранные г. Щедринымъ, большею частью такъ и остались голыми фактами, не проникнутыми мыслью, сырымъ матеріаломъ, который еще ждетъ своего художника. Нельзя не отдать справедливости г. Щедрину: его память хранитъ много фактовъ, и между этими фактами есть чрезвычайно любопытные, но Гоголь, надобно думать, не то сдѣлалъ бы изъ этихъ фактовъ. Лица у него превратились бы въ типы, событія—въ прозрачныя формы, освѣщенныя глубокимъ смысломъ. Если бъ г. Щедринъ сдѣлалъ это, мы не стали бы говорить, что въ его „Очеркахъ" нѣтъ правды. Въ теперешнемъ же своемъ видѣ, не будучи выведены изъ сферы случайности, они не имѣютъ права называться правдой въ истинномъ смыслѣ этого слова.

До сихъ поръ я говорилъ только о *лицахъ и событіяхъ*, встрѣчающихся въ „Губернскихъ очеркахъ". Утверждая, что они *почти* всѣ случайны, сыры, не проникнуты идеей, я долженъ оговориться, что нѣкоторые изъ очерковъ справедливость требуетъ исключить изъ этого приговора. Самое блистательное исключеніе составляетъ Порфирій Петровичъ—

лицо, очерченное авторомъ превосходно. Я еще поговорю впослѣдствіи объ этомъ очеркѣ, а теперь возвращаюсь къ начатому дѣлу.

Кромѣ лицъ и событій, о которыхъ разсказываетъ г. Щедринъ, почти въ каждомъ его очеркѣ встрѣчаются и собственныя его *мысли*, высказанныя или отъ лица автора, или устами выводимыхъ имъ лицъ, но и въ этомъ случаѣ, несомнѣнно, принадлежащія ему самому, какъ это сейчасъ видно по замѣтному на нихъ отпечатку его личности. Эти мысли представляютъ собою плодъ обширной и глубокой наблюдательности и обличаютъ въ г. Щедринѣ полное знакомство съ дѣломъ. Перечислить всѣ его вѣрныя замѣтки, всѣ справедливыя разсужденія и мѣткія наблюденія рѣшительно нѣтъ никакой возможности: они попадаются на каждой почти страницѣ. Чтобъ читатели знали, о какихъ именно замѣткахъ и наблюденіяхъ мы говоримъ, приведемъ на выдержку хоть два-три, предупреждая читателей, что намъ попадутся, можетъ-быть, и не самыя замѣчательныя.

Дмитрій Борисычъ Желваковъ, городничій Черноборска, ждетъ къ себѣ на вечеръ ревизора и готовитъ для него „приличную" партію. Эту партію составили: „Михаилъ Трофимовичъ Сертуковъ, окружной начальникъ, молодой человѣкъ, образованный и съ направленіемъ; асессоръ палаты, Кшенщицульскій, тоже образованный и съ направленіемъ, и, наконецъ, той же палаты чиновникъ особыхъ порученій Пшикшецульскій, не столько образованный, сколько съ направленіемъ. *Всѣ они согласны играть во что угодно и по скольку угодно.*

— Господи! *кабы не было хозяйственныхъ управленій!* — говоритъ про-себя Дмитрій Борисычъ: — пропала бы моя головушка.

И второпяхъ, съ размаху останавливается передъ уѣзднымъ судьей, скромно сидящимъ въ углу, и, задумавшись, разсуждаетъ во всеуслышаніе:

— Что если бъ все этакіе-то были! Вотъ онъ какой убогій! Нищему даже подать нечего!"

Какъ хотите, это говоритъ не Дмитрій Борисычъ, а самъ авторъ. Дмитрію Борисычу, во-первыхъ, не до того, чтобъ разсуждать о выгодахъ, получаемыхъ чиновниками хозяйственныхъ управленій, и о сравнительной невыгодности собственно судебной части, разсуждать въ ту критическую

минуту, когда у него на носу ревизоръ, который притомъ уже успѣлъ задать ему и головомойку за употребленіе пожарныхъ лошадей по домашнимъ надобностямъ; а во-вторыхъ, Дмитрія Борисыча и самъ авторъ описалъ въ началѣ „Очерка" („Непріятное посѣщеніе") человѣкомъ, вовсе неспособнымъ на такія тонкія замѣчанія.

А вотъ примѣръ размышленія, которое авторъ уже не маскируетъ и высказываетъ прямо отъ себя:

Въ провинціи [1]) о казнѣ существуютъ между чиновниками весьма странныя понятія. Она представляется чѣмъ-то отвлеченнымъ, символическимъ, невѣсомымъ: такъ, паръ какой-то, нѣчто въ родѣ Ѳемиды въ воображеніи секретаря уѣзднаго суда. Извѣстное дѣло, что такую особу какъ ни обижай, все-таки ничѣмъ обидѣть не можно: она все-таки сидитъ себѣ, не морщится и не жалуется никому. „Кому отъ этого вредъ? Ну, скажите, кому?" восклицаетъ остервенившійся идеологъ-чиновникъ, который великимъ постомъ въ жизнь никогда скоромнаго не ѣлъ, ни одной взятки, не перекрестясь, не биралъ, а о любви къ отечеству отродясь безъ слезъ не говаривалъ: „Кому вредъ отъ того, что вино въ казну не по сорока, а по сорока пяти копеекъ за ведро ставится?"

И начнетъ вамъ доказывать это такъ убѣдительно, что вы и руками разставите.

Особенно много любопытныхъ и дѣльныхъ замѣчаній высказываетъ г. Щедринъ въ „Очеркѣ", носящемъ названіе: „Что такое коммерція?" Тутъ, черезъ посредство купца Ижбурдина, онъ раскрываетъ такія вещи, про которыя, конечно, ни одинъ благоразумный подрядчикъ публично разсказывать не станетъ.

Очень много вѣрныхъ и прекрасныхъ мыслей разбросано также въ очеркѣ „Скука", заключающемъ первую часть книги.

Если бъ я захотѣлъ указывать всѣ замѣчательныя размышленія г. Щедрина о разныхъ сторонахъ жизни вообще и въ особенности русской, которая ему такъ хорошо извѣстна, мнѣ пришлось бы выписать цѣлыя страницы изъ нѣкоторыхъ очерковъ. Вмѣсто этого укажу только на окончаніе очерка „Неумѣлые", на весь очеркъ подъ названіемъ „Надорванные", на первыя страницы „Перваго шага", на окончаніе „Дороги". И этимъ я укажу еще далеко не все, заслуживающее вниманія въ книгѣ г. Щедрина, а только лучшее, что мнѣ пришло на память.

Но всѣ эти прекрасныя размышленія, тонкія замѣтки, практическія наблюденія стоятъ въ „Запискахъ" г. Щедрина

---

1) *Только?*

совершенным особнякомъ и рѣзко выдѣляются среди разсказовъ о разныхъ человѣческихъ продѣлкахъ и описаній разныхъ личностей, какія случалось встрѣчать автору. Между этими размышленіями и самыми „Очерками" не существуетъ неразрывной связи. Мысли г. Щедрина не сливаются съ тѣми фигурами, которыя онъ намъ рисуетъ. Они стоятъ сами по себѣ, а фигуры—сами по себѣ. Умъ и сердце украсили его „Записки" прекрасными, благородными чувствованіями и размышленіями; его память вынесла на свѣтъ множество чрезвычайно любопытныхъ анекдотовъ и интересныхъ личностей; но между этими анекдотами и размышленіями не прошла фантазія, которая дѣлаетъ событіе прозрачнымъ выраженіемъ мысли, а мыслямъ даетъ плоть и кровь посредствомъ событія. Вслѣдствіе этого, мысли г. Щедрина, при всей ихъ справедливости, представляются не болѣе, какъ субъективными впечатлѣніями, въ которыхъ не столько рисуется дѣйствительность, сколько самъ мыслящій, и которымъ поэтому можно и вѣрить и не вѣрить. Не нашедши себѣ воплощенія въ образахъ, онѣ черезъ это самое потеряли значительную долю своей истинности. Если мы вѣримъ имъ, то вѣримъ только на́-слово, уважая въ авторѣ качество слѣдователя, дававшее ему возможность многое видѣть, и благородную личность, которой не было надобности искажать событія.

Мы разсмотрѣли два элемента, входящіе въ составъ „Губернскихъ очерковъ": размышленія автора и его разсказы. Разборъ тѣхъ и другихъ привелъ насъ къ тому заключенію, что мыслямъ автора недостаетъ образовъ, а образамъ, хранящимся въ его памяти, недостаетъ идеи. Теперь, кажется, совершенно должно быть понятно, почему я въ началѣ своей статьи сказалъ, что въ этихъ „Очеркахъ" нѣтъ правды. Я разумѣлъ правду внутреннюю, объективную правду, а не одно согласіе съ случайной дѣйствительностью. Въ нихъ нѣтъ этой правды потому, что мысль, не воплотившаяся въ образѣ, требуетъ еще доказательствъ и, слѣдовательно, не можетъ считаться истиной, пока они не будутъ представлены; а образъ, не осмысленный идеей, не имѣетъ никакого значенія, не допускаетъ никакихъ выводовъ и есть не больше, какъ случайный фактъ, котораго нельзя называть ни правдой, ни неправдой.

Теперь нѣсколько словъ о Порфиріи Петровичѣ, соста-

вляющемъ, какъ я сказалъ выше, блистательное исключеніе между лицами, выведенными у г. Щедрина. Замѣтно, что автору самому хотѣлось осмыслить разные анекдоты изъ чиновническаго быта, которые хранила его память. Такъ, въ очеркѣ „Первый шагъ", разсказывая о продѣлкѣ, придуманной чиновниками, чтобъ взять деньги съ одного раскольника, авторъ обстанавливаетъ главное дѣйствующее лицо этой комедіи разными обстоятельствами, располагающими насъ въ его пользу, предпосылаетъ проступку изображеніе крайней нищеты этого чиновника, какъ бы желая этимъ сказать, что источникъ разныхъ нечистыхъ дѣлъ заключается въ недостаточности окладовъ низшихъ инстанцій—мысль старая и притомъ замѣтно пришитая къ дѣлу бѣлыми нитками, а на первомъ-то планѣ все-таки остается анекдотъ, продѣлка, случай... Точно такъ же пытался, кажется, г. Щедринъ возвести въ типъ и личность „злющаго" городничаго Фейера и съ этой цѣлью помѣстилъ въ разсказъ о его подвигахъ съ купцами и съ „губерніей" нѣсколько словъ о его прежней жизни и объ отношеніяхъ къ нѣкоторой Каролинхенъ (см. *второй разсказъ подьячаго*): но и ухарская жизнь Фейера въ молодости и эта Каролинхенъ, которую подьячій называетъ „дѣвица не дѣвица, а просто мадамъ", какъ-то плохо вяжутся съ дѣйствіями Фейера, составляющими настоящій предметъ очерка. Есть что-то похожее на типъ въ лицѣ Перегоренскаго, являющагося въ книгѣ два раза: одинъ разъ въ пріемной у ревизора (см. „Непріятное посѣщеніе"), другой—въ острогѣ; но этому лицу недостаетъ опредѣленности, чтобъ быть вполнѣ типическимъ. То же должно сказать и о Филоверитовѣ, котораго г. Щедринъ отнесъ почему-то къ разряду „Надорванныхъ". Больше жизни и опредѣленности оказывается въ лицѣ доброй Пелагеи Ивановны, чувствующей особенное состраданіе къ „несчастнымъ" (см. очеркъ „Христосъ воскресе", во 2 части). Но всего удачнѣе вышелъ очеркъ Порфирія Петровича, этого почтеннаго человѣка, *казенныхъ денегъ не расточающаго, свои берегущаго, чужихъ не желающаго.*

Порфирій Петровичъ—это одна изъ тѣхъ низкихъ натуръ, которыя, вступая въ службу безъ всякихъ нравственныхъ принциповъ, смотрятъ на нее чисто какъ на спекуляцію, и, не разбирая средствъ, разными пронырствами добиваются, наконецъ, теплаго мѣстечка съ такъ-называемыми „безгрѣш-

ными“ доходами, на которомъ и проводятъ спокойно свою старость, окруженные нелицемѣрнымъ уваженіемъ близорукихъ согражданъ. Такіе люди—не выдумка празднаго воображенія и не случайныя явленія: они встрѣчаются на каждомъ шагу и суть неизбѣжный плодъ незрѣлости нашего общества, которое еще уважаетъ богатство, несмотря на средства, какими оно пріобрѣтено,—чинъ, не обращая вниманія на то, за какія заслуги онъ полученъ, наконецъ,—мѣсто, занимаемое человѣкомъ, не разбирая того, понимаетъ ли этотъ человѣкъ и исполняетъ ли обязанности, соединенныя съ занимаемымъ имъ мѣстомъ, или только „числится“ и пользуется почетомъ, предоставляя работать за себя другимъ.

Лицо Порфирія Петровича вышло у г. Щедрина необыкновенно-рельефно и ясно. Изображая его, онъ почти не разсказываетъ анекдотовъ, а только рисуетъ человѣка. Отсутствіе нравственныхъ началъ въ этомъ будущемъ украшеніи Крутогорска превосходно подготовляется примѣромъ пьяницы-отца и безнравственной матери, оставившихъ въ сынѣ глубокіе слѣды, когда еще онъ былъ не Порфиріемъ Петровичемъ, а Порфиркой. Тутъ же возникло въ немъ и неодолимое желаніе зашибить копейку, которое необходимо должно было развиться при безпрестанныхъ разговорахъ о деньгахъ, которые были неизбѣжны въ подобномъ семействѣ. „Отецъ ли пьяный проспится—все хнычетъ, что денегъ нѣтъ; мать къ *благодѣтелю* пристаетъ—все деньгами попрекаетъ“. Похожденія Порфирія Петровича, начиная отъ перваго, спрятаннаго имъ въ тряпочку гривенника до самаго полученія мѣстечка съ безгрѣшными доходами и пріобрѣтенія всеобщаго уваженія, „честная“ продѣлка съ исправникомъ, пріобрѣтеніе неограниченнаго довѣрія губернатора „невинными“ средствами, контрибуція съ исправникомъ, женитьба — все это ведено превосходно. Одно дѣйствіе вытекаетъ изъ другого и каждое изъ нихъ служитъ къ разъясненію характера, объясняясь въ то же время само характеромъ. Нѣтъ ничего лишняго, ничего случайнаго, и въ то же время личность очерчена вполнѣ. Авторъ даже не разсказываетъ намъ, какими способами получилъ Порфирій Петровичъ желаемое мѣсто: способы подразумѣваются сами собою, и читатель не чувствуетъ при этомъ ни малѣйшаго пробѣла. Въ немъ возбужденъ не анекдотическій интересъ (какой возбуждается, большею частью, другими „очерками“

г. Щедрина), а интересъ болѣе высокій. Тутъ изображенъ не только человѣкъ, но и самая атмосфера, въ какой должны непремѣнно зарождаться подобные люди: читатель почти забываетъ о Порфиріи Петровичѣ и невольно задумывается надъ судьбою общества, въ условіяхъ своей жизни носящаго возможность и неизбѣжность такихъ людей, какъ Порфирій Петровичъ. Не говорю уже о томъ, что самъ Порфирій Петровичъ мечется передъ глазами какъ живой. Вы его видите. Вотъ онъ, этотъ „милый" Порфирій Петровичъ, который, по мнѣнію батальоннаго командира, былъ бы и отличнымъ губернаторомъ, если бъ только прибавить ему немножко роста, который, хотя не поетъ и не играетъ ни на какомъ инструментѣ, но могъ бы и пѣть и играть, если бъ только захотѣлъ, какъ твердо убѣждены всѣ чиновники и всѣ знакомые его. Вотъ онъ съ своею позой, полною достоинства, съ своими уклончивыми сужденіями, съ своею тихой, деликатной рѣчью. Заключу словами, которыми авторъ начинаетъ этотъ превосходный очеркъ: „Если вы не знакомы съ Порфиріемъ Петровичемъ, то совѣтую какъ можно скорѣе исправить эту опрометчивость".

Отчего же только Порфирій Петровичъ вышелъ у г. Щедрина такимъ оконченнымъ, типическимъ лицомъ, когда всѣ другія лица его очерковъ представляются не болѣе какъ смутными отраженіями дѣйствительности или совершенно случайными фигурами, интересующими своею большею или меньшею исключительностью, но не имѣющими почти никакого общаго значенія? Кажется, это произошло оттого, что Порфирій Петровичъ—собственно варіація на тему, уже разыгранную великимъ художникомъ. Порфирій Петровичъ не иное что, какъ Чичиковъ, достигшій конечной цѣли своихъ желаній. Главные пункты, чрезъ которые должны проходить подобные люди, уже намѣчены Гоголемъ. Г. Щедрину приходилось почти только повторять. Его описаніе дѣтства Порфирія Петровича сильно напоминаетъ дѣтство Павла Ивановича; дальнѣйшіе его подвиги на службѣ совершаются въ томъ же характерѣ, въ какомъ подвизался и Павелъ Ивановичъ. Порфирій Петровичъ точно такъ же старается на первыхъ порахъ прославиться безкорыстіемъ, чтобъ потомъ легче грабить. Даже ѳиміамъ всеобщаго уваженія, которымъ пользуется Порфирій Петровичъ въ награду своихъ „праведныхъ" трудовъ, уже поднесенъ въ нѣкоторой

степени и Гоголемъ своему герою. По всему видно, что г. Щедринъ не родной, а только крестный отецъ Порфирія Петровича.

Г. Щедринъ не владѣетъ самобытнымъ творчествомъ. Но, взамѣнъ того, у него есть много прекрасныхъ качествъ, которыя даютъ ему одно изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ между нашими беллетристами. Ему неоспоримо принадлежитъ сильная степень наблюдательности, услужливая память, сохраняющая рѣзко и вѣрно отпечатки видѣннаго, мастерство разсказывать, умъ бойкій и смѣлый, наконецъ, сердце благородное, сочувствующее высшимъ интересамъ времени. Нельзя не сказать, что мѣстами проглядываетъ у него какая-то раздражительность, доходящая иногда до болѣзненной безнадежности; онъ на все смотритъ иронически: и на преступленіе, и на слѣдователя, и даже на современные толки объ улучшеніяхъ. Эта иронія не всякому можетъ понравиться, но для меня лично она придаетъ его разсказамъ особенную прелесть.

Дѣло, однакожъ, все-таки не въ томъ. Хороши или нехороши „Губернскіе очерки", типичны или нетипичны выведенныя въ нихъ лица, развиты или неразвиты высказанныя въ нихъ мысли: во всякомъ случаѣ, важно то, что въ этомъ сочиненіи является чуть ли не въ первый разъ попытка разоблачить закулисную сторону нашей администраціи. А еще важнѣе, что это разоблаченіе закулисной стороны администраціи, по крайней мѣрѣ, въ низшихъ ея инстанціяхъ, является *въ печати*. Это уже значительный фактъ въ исторіи нашего общественнаго развитія. Прежде чинъ и званіе были оградой противъ всякаго порицанія; безнаказанность считалась равносильною невинности; теперь прежде всего требуется истинное достоинство, какъ единственное право на уваженіе, и безчестный человѣкъ, ускользнувшій отъ суда закона, предается суду общественнаго мнѣнія. Обнародованіе такихъ злоупотребленій явно свидѣтельствуетъ еще о томъ, что само правительство, давая голосъ литературѣ, дѣлаетъ ее проводникомъ общественнаго мнѣнія.

Еще замѣчательно то, что первымъ литераторомъ, начавшимъ разоблаченіе закулисныхъ тайнъ администраціи, явился человѣкъ, который самъ былъ дѣйствительнымъ членомъ этой администраціи. Этотъ фактъ показываетъ,

во-первыхъ, что въ наше время есть чиновники, которые уже не смотрятъ на службу какъ на спекуляцію, а видятъ въ ней служеніе общественному благоденствію; во-вторыхъ, что теперь и для беллетриста нужно *знаніе*, потому что нѣтъ сомнѣнія, что большею частью своего успѣха г. Щедринъ обязанъ своему знанію дѣла.

Наконецъ, самый успѣхъ книги подобнаго содержанія есть также значительный фактъ въ исторіи нашего общества. Онъ служитъ доказательствомъ, что для публики уже прошло время легкой беллетристики и что она охотнѣе занимается чтеніемъ дѣльныхъ произведеній. Примѣръ г. Щедрина вызвалъ множество подражателей: гг. С—въ, Т—нъ и другіе встряхнули свою память, чтобы также поразсказать читателямъ дремавшія въ ней похожденія чиновниковъ, и ихъ статьи читаются съ жадностью, между тѣмъ, какъ легкіе разсказы, въ родѣ „Сценъ изъ армейской жизни“ или „Губернскихъ камелій“, остаются у многихъ неразрѣзанными.

По всему видно, что и правительство, и публика, и литература требуютъ въ наше время *знанія, знанія и знанія.* Намъ нужно прежде всего познакомиться съ самими собой; мы слишкомъ мало до этихъ поръ себя знали. Пускай же знающіе люди разсказываютъ намъ все, что они знаютъ. Пусть жизнь предстанетъ передъ нами во всей ея наготѣ. Идеи выработаются впослѣдствіи, и художественное представленіе жизни возникнетъ, какъ цвѣтъ образованія.

А теперь пока это даже хорошо, что г. Щедринъ не даетъ своимъ очеркамъ насильно-художественной обработки, то-есть не проводитъ въ нихъ никакихъ заранѣе приготовленныхъ идей. Мы къ этому еще не приготовлены. Жизненныя идеи мы беремъ еще пока напрокатъ у нашихъ сосѣдей; изъ своей собственной жизни мы еще ихъ не пробовали выработывать, потому что мы не знаемъ своей собственной жизни или знаемъ ее очень мало. Стало-быть, проводить тѣ или другія идеи въ немногихъ фактахъ, только-что начинающихъ передъ нами раскрываться, значило бы навязывать нашей жизни то, чего, можетъ-быть, въ ней нѣтъ. Положимъ, что отдѣльныя мысли, какія намъ приходятъ въ голову, не воплощенныя въ образы, потребуютъ доказательствъ: но пусть и ищутъ доказательствъ. Положимъ, что

отдѣльные факты не будутъ имѣть значенія и не дадутъ объективныхъ истинъ: но пусть соберутъ какъ можно больше фактовъ, и тогда сама собой окажется правда. Только, ради Бога, не искажайте фактовъ, даже во имя какихъ бы то ни было идей: тогда можно смѣло поручиться, что правда какъ-нибудь выберется на свѣтъ, а вмѣстѣ съ этимъ явится и возможность художественныхъ произведеній, проникнутыхъ этою правдой.

П. Б—въ.

Щедринъ. „Губернскіе очерки“ [1]).

„Губернскіе очерки“ г. Щедрина имѣютъ такое же высокое значеніе, какъ и предыдущіе разсказы, печатавшіеся въ прошломъ году подъ тѣмъ же названіемъ. Мы уже говорили, при обзорѣ годичной дѣятельности нашей литературы, что „Очерки“ эти самое замѣчательное явленіе 1856 года, и теперь должны повторить то же самое. Три нынѣ напечатанные разсказа проникнуты тою же благородною, прекрасною мыслью, какъ и предыдущіе. Въ одномъ изъ нихъ, „Первый шагъ“, разсказывается исторія мелкаго чиновника, попавшаго подъ слѣдствіе за сочиненіе фальшиваго указа, съ цѣлью получить за неисполненіе его приличное вознагражденіе. Молодой бѣднякъ, подвигнутый къ преступленію другими опытными мошенниками, путается съ перваго шага и попадается. Разсказъ веденъ отъ лица самого преступника, сознающагося слѣдователю въ томъ, какія обстоятельства довели его до преступленія, но разсказу предпослано замѣчательное разсужденіе о слѣдователяхъ. Тотъ, кому надобно было выслушать исповѣдь бѣдняка, сознается самъ, что онъ человѣкъ слабый, не можетъ отстать отъ несчастной привычки симпатизировать: „Если я вижу человѣка въ самомъ преступникѣ, говоритъ онъ, то это потому, что мысль о томъ, что я самъ человѣкъ, никакъ не хочетъ покинуть мою ограниченную голову... Иногда эта добродѣтельная наклонность вознаграждается самымъ обиднымъ образомъ. Трудишься, трудишься иной разъ, выбиваешься изъ силъ, симпатизируя

[1]) „Сынъ Отечества“, 1857 г., № 8, стр. 189. (См. стран. 65.)

и стараясь что-нибудь вывѣдать изъ преступника—разумѣется, pour son propre bien—и достигнешь только того, что обвиняемый не безъ горькой ироніи къ тебѣ же обращается съ слѣдующими простыми словами:

— Да что жъ ты не бьешь меня, ваше благородіе? А ты бей... може и скажу что-нибудь.

Самый разсказъ производитъ впечатлѣніе еще тяжелѣе этихъ немногихъ строкъ; вообще, г. Щедринъ обладаетъ удивительнымъ искусствомъ нѣсколькими словами трогать читателя. Но тяжелое впечатлѣніе, возбуждаемое его разсказами, гораздо благотворнѣе всѣхъ идиллическихъ прославленій безпримѣрныхъ добродѣтелей, всѣхъ повѣствованій на розовой водицѣ, разведенныхъ разными свѣтскостями и элегантностями. Г. Щедринъ прикасается иногда жестоко, даже грубо, къ чувствительнымъ фибрамъ сердца, но прикосновеніе это спасительно, какъ спасительно лезвее хирургическаго ножа, спокойно углубляющаго гнойную рану, чтобы легче было потомъ очистить и залѣчить ее. Въ разсказѣ „Первый шагъ“ много ужасныхъ подробностей, но общее впечатлѣніе его—нравственно и полезно. Жизнь мелкаго чиновника въ судѣ описана дагерротипически вѣрно. Разсказъ о томъ, какъ можно жить, получая пять цѣлковыхъ въ мѣсяцъ жалованья, полонъ глубокаго интереса. Слова бѣдняка о томъ, какую важную роль играютъ сапоги въ этомъ страшномъ быту, полны потрясающаго чувства. Страсть къ пьянству выводится какъ логическая послѣдовательность такой жизни для слабыхъ натуръ... „Какъ я въ ту пору жилъ, этого и объяснить даже не умѣю,—говоритъ бѣднякъ.—Матушка у меня вскорѣ померла, а отецъ не то чтобъ мнѣ помогъ, а еще у меня норовитъ, бывало, денегъ выманить. И встрѣчался-то я съ нимъ мало, развѣ-что идешь домой изъ присутствія и видишь, что въ грязи на дорогѣ родитель въ безчувствіи валяется...“ Вотъ что бѣднякъ говоритъ дальше о своемъ безвыходномъ положеніи: „Васъ, вотъ, ваше благородіе, оно можетъ и разсмѣшить, какъ разсказать вамъ, какимъ манеромъ лѣкарь нашъ въ холеру мужичковъ съ однимъ сифономъ лѣчить ѣздилъ, да по двугривенному съ души отступного бралъ, а насъ оно и не смѣшитъ. Во грѣхѣ, говорятъ, человѣкъ рожденъ, ну, и мы, значитъ, въ кляузѣ рождены, кляузой повиты, съ кляузой и въ гробъ пойдемъ...“ Не выписываемъ далѣе, потому что пришлось бы цитиро-

вать всю статью.—Второй разсказъ, „Озорники“, веденъ отъ лица свѣтскаго человѣка, поставленнаго управлять мужиками: „наблюдать, чтобъ административная машина какъ-нибудь не соскочила съ рельсовъ. Великосвѣтскій господинъ этотъ смотритъ на жизнь не съ матеріальной, узкой, такъ-сказать, навозной точки зрѣнія: я *долженъ* быть прилично одѣтъ, мнѣ *необходимо,* чтобъ у меня въ домѣ все было комфортабельно. Le gouvernement me doit tout cela. У насъ не взятки, администрація,—я требую только *должнаго...* Мужикъ даже не понимаетъ, что я не для того тутъ сижу, чтобъ ихнія эти мелкія дрязги разбирать. Какая же мнѣ надобность, кто тамъ, Кузёмка или Прошка, пойдетъ въ рекруты: развѣ для государства это не все равно, je vous demande un peu?“ Этотъ превосходный типъ, мастерски очерченный, вѣренъ до послѣдней степени. Само собою разумѣется, что этотъ элегантный чиновникъ приходитъ къ тому убѣжденію, что „грамотность еще не пришлась по нашему желудку, что все, что существуетъ, оправдывается и исторически, и физіологически, и этнографически“.—Третій разсказъ—„Надорванные“—новый типъ безпощаднаго слѣдователя, машины, исполняющей только приказанія начальства, не трогающейся никакими человѣческими чувствами, хотя чувства эти и не заглохли въ душѣ его, потому что онъ даже обѣды чиновниковъ у лицъ, имѣющихъ съ ними дѣла, считаетъ хуже взятокъ, говоря: „Можно ли отказать въ чемъ-нибудь человѣку, который оказывалъ вамъ тысячу предупредительностей, тысячу маленькихъ услугъ, которыя цѣнятся не деньгами, а сердцемъ? Деньги можно назадъ отдать, если дѣло окажется черезчуръ сомнительнымъ, а невѣсомыя, моральныя взятки остаются навѣки на совѣсти чиновника и рано или поздно вылѣзутъ изъ него или подлостью или казнокрадствомъ“.—Кто такъ прямо и благородно смотритъ на вещи, принесетъ много пользы не одной литературѣ.



„Губернскіе очерки“.

Изъ записокъ отставного надворнаго совѣтника Щедрина. Собралъ и издалъ М. Е. Салтыковъ. Москва. 2 тома [1]).

Статья первая.

„Много есть путей служить общему дѣлу, но смѣю думать, что обнаруженіе зла, лжи и порока также небезполезно, тѣмъ болѣе, что предполагаетъ полное сочувствіе къ добру и истинѣ. Смѣю думать, что всѣ мы, отъ мала до велика, видя ту упорную и непрестанную борьбу со зломъ, предпринимаемую тѣми, въ рукахъ которыхъ хранится судьба Россіи, всѣ мы обязаны, по мѣрѣ силъ, содѣйствовать этой борьбѣ и облегчать ее“.

Эти слова, которыми г. Салтыковъ оканчиваетъ введеніе въ свои очерки, тотчасъ же ставятъ критику и читателей на ту точку, съ которой должно смотрѣть на его книгу, объясняютъ ея цѣль и значеніе, какъ произведенія преимущественно не художественнаго, но полезнаго, общественнаго, „моральнаго“, какъ выражались старыя реторики.

Въ самомъ дѣлѣ, слово *мораль* не заключаетъ въ себѣ понятія объ одномъ сухомъ, безжизненномъ поученіи, наставленіи. Даже риторы сознавались, что можно служить человѣчеству, не только выставляя примѣры добродѣтели, чтобы имъ слѣдовали, но и примѣры порока, чтобы отвращались отъ него. Этотъ отрицательный способъ поученія въ древности являлся въ одной формѣ: каранія, осужденія порока. Древній моралистъ, изображая порокъ, считалъ необходимостью тутъ же бичевать его, осыпать упреками, насмѣшками, что, конечно, не обходилось безъ фразъ, безъ преувеличенія. Нашъ вѣкъ, рѣдко принимая на себя роль проповѣдника, карателя, оставилъ для обличенія порока сатиру и простое, вѣрное его изображеніе. Мы поняли, что ясное,

---

1) „Сынъ Отечества“, 1857 г., № 19, стр. 449. (См. стран. 65.)

дагерротипическое представленіе зла, безъ громкихъ разсужденій о вредѣ этого зла, сильнѣе дѣйствуетъ на современниковъ, чѣмъ преднамѣренное преувеличеніе, карикатура порока. Мы перестали быть дѣтьми, по крайней мѣрѣ, настолько, чтобы не бояться пугалъ, понимать басни безъ нравоученія въ концѣ ихъ, смотрѣть прямо въ лицо пороку, безъ слабонервныхъ припадковъ, сознаваясь, что это зло, хотя утѣшая себя тѣмъ, что это зло необходимое.

Утѣшеніе это мѣшаетъ намъ, покамѣстъ, дружно, всѣми силами приняться за искорененіе зла, но мы довольны и тѣмъ, что сдѣлали первый шагъ къ нашему исправленію и улучшенію сознаніемъ въ нашихъ порокахъ и недостаткахъ. Мы теперь уже не прикрываемъ ихъ, не оправдываемъ, а только извиняемъ; не гордимся мы, а стыдимся ихъ. Недавній переходъ къ этому сознанію былъ такъ быстръ и рѣшителенъ, что многіе не успѣли привыкнуть къ нему, отказаться отъ застарѣлыхъ идей, отъ своихъ теплыхъ и прибыльныхъ пороковъ. Эти старцы мысли и движенія, дѣти, гордящіяся своими сѣдинами, конечно, не могутъ сочувствовать нашимъ убѣжденіямъ и желаніямъ. Къ такимъ отсталымъ людямъ Гервегъ писалъ свое знаменитое стихотвореніе, начинающееся стихами:

Du bist jung—du sollst nicht sprechen.
Du bist jung—wie sind die Alten;
Lass die Wogen erst sich brechen
Und die Gluten erst erkalten *).

Объ нихъ прекрасно говоритъ одинъ изъ нашихъ поэтовъ:

Подъ шумъ заботы ежедневной,
Спокойно задремавъ душой,
Они выслушиваютъ гнѣвно
Сужденья жизни молодой.
Ихъ будитъ какъ-то непріятно
Свободный говоръ свѣжихъ силъ.
Имъ эти чувства непонятны:
Кто ихъ не зналъ, кто пережилъ.
Имъ страшно это увлеченье,
Имъ дерзко кажется оно,
Досадно наше убѣжденье,
Безумно, гордо и смѣшно.

*) Ты молода и потому не должна высказывать своихъ сужденій. Ты молода, а потому пусть, сначала, какъ у стариковъ, улягутся жизненныя волненія и охладится жизненный жаръ.

Такимъ людямъ, очевидно, непріятно всякое обличеніе порока: они или не сознаютъ его, или называютъ преувеличеннымъ, или, при совершенной невозможности отрицать его, поднимаютъ умилительный хоръ о безотрадности подобныхъ картинъ, о томъ, что онѣ огорчаютъ ихъ чувствительную душу, о сладости прощенія и примиренія, при чемъ даютъ тонко замѣтить, что вѣрный сынъ своей родины не станетъ раскрывать ея ранъ, вопіять гласно о ея недостаткахъ и ошибкахъ. Къ сожалѣнію, эти іереміады слышатся даже въ печатной литературѣ, даже въ защиту давно погибшихъ учрежденій прошлыхъ временъ. И тутъ отсталые люди плачутся на то, что въ темной картинѣ нашей средневѣковой жизни нѣтъ ни одной свѣтлой стороны, не хотятъ вѣрить даже исторіи, заподозрѣваютъ автора въ преднамѣренномъ искаженіи фактовъ, называютъ его человѣконенавистникомъ, чуть не людоѣдомъ. Что же должны говорить эти Маниловы исторіи, когда писатель раскрываетъ современные недостатки, выставляя ихъ въ вымышленныхъ лицахъ и событіяхъ? Хорошо еще, если такого писателя будутъ считать только клеветникомъ. Вспомнимъ озлобленіе, съ которымъ преслѣдовали Гоголя, горько жаловавшагося въ своихъ письмахъ, что его называютъ даже врагомъ отечества; но вспомнимъ также слова его, въ которыхъ онъ объясняетъ, почему оставилъ въ покоѣ добродѣтельнаго человѣка и принялся описывать негодяевъ. Дѣйствительно, описаніе послѣднихъ можетъ принести гораздо болѣе пользы дѣлу, чѣмъ всѣ панегирики добродѣтели: хорошій человѣкъ не дѣлается лучше отъ того, что его начнутъ прославлять, а дурной можетъ исправиться, если ему явно укажутъ на его недостатки, сдѣлаютъ ихъ гласными. Для многихъ лицъ, по словамъ Грибоѣдова—„грѣхъ—не бѣда, молва не хороша"—и боязнь этой молвы можетъ остановить отъ дурного дѣла. Знай каждый мошенникъ, что ни одинъ поступокъ его не укроется отъ суда общественнаго, хотя бы и не подходилъ подъ судъ гражданскій,—и на землѣ было бы гораздо меньше и дурныхъ поступковъ и необходимости судить ихъ.

Все это истины, давно извѣстныя нашему поколѣнію, сознавшему свои недостатки и твердо рѣшившемуся искоренить ихъ. Послѣдній членъ образованнаго общества понимаетъ, что онъ всѣми силами обязанъ содѣйствовать и правительству и своимъ согражданамъ въ этомъ благомъ

дѣлѣ. Не понимаютъ или, скорѣе, не хотятъ понять этого только тѣ аркадскіе идиллики, которымъ въ каждой кучѣ грязи мерещится жемчужина, хотя она литературѣ принесетъ точно такую же пользу, какъ пѣтуху въ извѣстной баснѣ Крылова. Мы такъ привыкли къ золотой серединѣ, къ смягченію, къ скрадыванію всего рѣзкаго, что подлѣ негодяя непремѣнно хотимъ видѣть героя добродѣтели, для контраста, и если таковаго не отыскивается, громко вопіемъ о пессимизмѣ автора. Говорятъ, что китайцы никогда не изображаютъ совершенно темной ночи: они боятся ея и всегда освѣщаютъ мракъ хоть однимъ фонаремъ. У насъ роль фонаря выпадаетъ зачастую на долю добродѣтельнаго человѣка. Писатели, изслѣдовавшіе вліяніе литературныхъ идей на общество, замѣчаютъ, что произведенія, въ которыхъ преслѣдовался порокъ, имѣли всегда гораздо больше успѣха и значенія, нежели такія, въ которыхъ прославлялась добродѣтель. Въ нашей литературѣ сатирическій элементъ игралъ всегда первую роль: комедіи Фонвизина и Грибоѣдова, басни Хемницера и Крылова, горькіе разсказы Гоголя, желчные стихи Лермонтова производили впечатлѣніе сильнѣе громкихъ одъ и элегическихъ воздыханій. Въ сатирическомъ родѣ пишутъ теперь всѣ поэты, слѣдящіе за вѣкомъ, хотя и писали прежде совершенно въ другомъ родѣ, какъ, напр., Бенедиктовъ. Припомнимъ, какъ скоро разошлось второе изданіе сочиненій Гоголя и третье „Мертвыхъ душъ“, которыхъ теперь нѣтъ въ продажѣ точно такъ, какъ нѣтъ „Записокъ охотника“, книги, которая послѣ „Мертвыхъ душъ“ произвела самое сильное впечатлѣніе на читателей. Послѣ „Записокъ охотника“ почти такое же впечатлѣніе производятъ „Губернскіе очерки“; имъ принадлежитъ третье почетное мѣсто подлѣ двухъ лучшихъ произведеній нашей современной литературы. Авторъ „Губернскихъ очерковъ“, написавъ двѣ прекрасныя повѣсти въ „Отечественныхъ Запискахъ“ *), молчалъ болѣе восьми лѣтъ, но молчаніе это не было безплодно, и, когда, въ прошломъ году, начали появляться въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ его первые очерки, публика привѣтствовала въ немъ сильный талантъ, созрѣвшій въ однообразной жизни губернскаго города, выработанный долгимъ наблюденіемъ, подробнымъ знаком-

*) „Противорѣчія“ и „Запутанное дѣло“. (См. стран. 19.) *Прим. Н. Д.*

ствомъ съ провинціальною жизнью и ея особенностями. Авторъ „Противорѣчій“ не отличался и въ прежнее время идиллическимъ взглядомъ на жизнь, но теперь, пріобрѣтя опытность тяжелою борьбой съ жизнью, закалившись душой въ отупляющей атмосферѣ одного изъ нашихъ сѣверныхъ городовъ, онъ сталъ еще строже смотрѣть на людей, сталъ безпощаднѣе преслѣдовать ихъ пороки и слабости. Картины его неутѣшительны; лица, выводимыя имъ, большею частью, отталкиваютъ отъ себя съ первыхъ словъ; разсказы его безотрадны, самый смѣхъ звучитъ какъ-то рѣзко, вовсе не добродушно и нисколько не весело; но тѣмъ выше значеніе автора, тѣмъ благороднѣе его подвигъ,—потому что подобныя произведенія относятся не только къ литературѣ, но и къ общественной жизни. Грустный взглядъ на извѣстное лицо и сословіе составляетъ особенность дарованія г. Щедрина, и требовать, чтобы онъ представлялъ намъ провинціальныя идилліи, было бы такъ же странно, какъ ждать отъ Ювенала панегириковъ Мессалинѣ. Авторъ „Губернскихъ очерковъ“ предоставилъ другимъ, болѣе свѣдущимъ писателямъ изображать свѣтлыя стороны губернскаго города и вывелъ только темныя явленія стараго времени въ поученіе нашему вѣку. Онъ не нашелъ въ себѣ достаточно способности описывать добрыя и примѣрныя лица. Будемъ ли мы обвинять его за это? Кто не знаетъ, что хорошее выказывается само-собою, а дурное надо силою выводить на свѣтъ, показывать во всемъ его безобразіи, чтобъ получили къ нему отвращеніе. Заслуги вносятся и въ формуляръ; за нихъ даютъ награды и знаки отличія, объ нихъ не зачѣмъ распространяться, но дурныя дѣла прикрываются часто благовидными побужденіями, оправдываются громкими фразами! Поэтому, уличить патріархальнаго взяточника, вывести на свѣжую воду благонамѣреннаго разбойника, сорвать маску съ добродѣтельнаго мошенника—въ десять разъ полезнѣе всѣхъ типовъ честности, прямодушія, безкорыстія,—и въ этомъ отношеніи заслуга г. Щедрина велика передъ литературой и передъ родиной. Небольшой кругъ отдаленнаго города, куда его, противъ воли, забросили обстоятельства, выбралъ онъ для своихъ очерковъ, но типы, выведенные имъ, до того полны жизни и правды, анекдоты, приводимые имъ, до того вѣрны и поразительны, что лица и разсказы „Губернскихъ очерковъ“ не забудутся въ нашей литературѣ.

Авторъ не создавалъ новаго рода, но довелъ принятую имъ форму разсказовъ до такой степени художественности и рельефности, что у него явились послѣдователи, между которыми гг. Печерскій и С—овъ занимаютъ почетное мѣсто. Мы даже думаемъ, что для этого рода произведеній форма отрывочныхъ, часто недосказанныхъ очерковъ приличнѣе послѣдовательныхъ разсказовъ многотомнаго романа. Въ двухъ томахъ „Губернскихъ очерковъ" помѣщенъ двадцать-одинъ разсказъ, кромѣ введенія и эпилога. Всѣ очерки были напечатаны въ „Русскомъ Вѣстникѣ", и мы не имѣемъ надобности разбирать ихъ отдѣльно, потому что о каждомъ изъ нихъ говорилось въ нашемъ журналѣ, по мѣрѣ ихъ появленія. Мы должны только оцѣнить общее впечатлѣніе, производимое очерками, разсмотрѣть типы, выставленные авторомъ, показать точку зрѣнія, съ которой онъ смотритъ на цѣлыя сословія и отдѣльныя личности этихъ сословій.

Авторъ взялъ предметомъ своихъ изслѣдованій одну сѣверную губернію, которую называетъ Крутогорской, и представляетъ нѣсколько типовъ изъ всѣхъ званій въ этой губерніи. Посмотримъ прежде всего, какъ онъ изображаетъ крестьянъ этой губерніи. Съ крутогорскими крестьянами знакомимся мы въ невеселомъ мѣстѣ—въ острогѣ. Любопытные типы арестантовъ этого званія выводитъ авторъ въ своихъ очеркахъ. Одинъ изъ мужиковъ убилъ женщину, которую любилъ дикой, необузданной любовью, и которая не хотѣла отвѣчать его любви. Онъ и самъ видитъ, „что у него на душѣ убивство, да, вѣдь, надо его сообразить, убивство-то, а коли по правдѣ-то разсудить, говоритъ онъ, такъ, вѣдь, истинно я не въ своемъ разумѣ тогда былъ". И съ этимъ нельзя не согласиться. Предметъ его страсти, далеко не примѣрнаго поведенія, мучитъ бѣднаго крестьянина долго своимъ страннымъ деревенскимъ кокетствомъ. „Хочу люблю, говоритъ она, не хочу не люблю",—и на основаніи этого вывода безжалостно поддразниваетъ и выводитъ изъ себя неукротимаго парня. Ихъ разговоры, свиданія у колодца набросаны мастерскою кистью; и когда онъ встрѣчаетъ ее случайно въ лѣсу, съ топоромъ за поясомъ, кровавая развязка этой интимной драмы становится неизбѣжна. Правда и естественность видны въ каждомъ словѣ арестанта, который самъ повинился въ преступленіи, самъ добродушно разсказываетъ о немъ, не стараясь запутать дѣло или

оправдать себя; онъ понимаетъ вину свою, признаетъ справедливость готовящагося ему наказанія, и больно ему только, что „всякъ тебя убійцей зоветъ, всякъ пальцемъ на тебя указываетъ. Другой сызмалѣтства воръ, всю жизнь по чужимъ карманамъ лазилъ, а и тотъ норовитъ въ глаза тебѣ наплевать: я, дескать, только воръ, а ты убійца!“ Въ противоположность этой жертвѣ дикихъ страстей авторъ вывелъ типъ другого, простоватаго, несмышленаго мужика, совершившаго преступленіе для того, чтобы заплатить подать въ волостное правленіе... Сборщикъ требовалъ настоятельно: „Я, говоритъ, тебя нагишомъ въ снѣгъ посажу, доколѣ все до копейки не заплатишь... и посадилъ бы, именно посадилъ“. А податей слѣдовало всего рубль семьдесятъ копеекъ, и, какъ нарочно, повезъ бѣдняка дядя Онисимъ до правленія, располагая по дорогѣ купить себѣ полведра водки. Полведро стоило ровно рубль семьдесятъ, и лукавый соблазнилъ мужика: онъ швырнулъ въ дядю Онисима камнемъ, взялъ у него ни больше ни меньше, какъ рубль семьдесятъ, и представилъ подать въ волостное правленіе. Третьяго мужика еще болѣе жалко: напротивъ его избы умеръ прохожій, и мужикъ три года просидѣлъ въ острогѣ, пока разбирали дѣло; видѣлъ онъ потомъ, какъ у его сосѣда воръ свелъ со двора корову, донесъ объ этомъ въ полицію, и вотъ бѣдняка держатъ опять нѣсколько лѣтъ въ острогѣ „по прикосновенности“.—„Какое же тутъ будетъ хозяйство?“ говоритъ бѣднякъ. Исторія о мертвомъ тѣлѣ повторяется съ болѣе тяжелыми подробностями въ разсказѣ Аринушки, въ которомъ много граціознаго и элегическаго. Бѣдная старуха, больная странница, идетъ во градъ Іерусалимъ, но умираетъ по дорогѣ у мужика, пріютившаго ее на ночь. Боясь становыхъ и розыска, крестьянинъ отвозитъ ночью трупъ за гумна, но объ этомъ узнаютъ, и бѣдняка сажаютъ въ острогъ. И Аринушка и мужикъ, давшій ей пріютъ, обрисованы превосходно. Вообще, съ этой стороны на крестьянъ нашихъ рѣдко смотрѣли писатели, избиравшіе предметомъ своимъ простонародный бытъ, и только г. Григоровичъ въ своемъ „Бобылѣ“ разсказываетъ ту же неутѣшительную исторію о бѣднякѣ, котораго въ холодную осеннюю ночь гонятъ всѣ отъ своихъ избъ, боясь, чтобы больной старикъ не умеръ и не навлекъ на нихъ полицейскаго розыска. Кромѣ этихъ крестьянскихъ типовъ,

авторъ выводитъ еще одного нахальнаго злодѣя, убившаго двухъ старухъ изъ-за пяти цѣлковыхъ, и инородца, удавившагося оттого, что его мучилъ лѣкарь, который лѣчилъ его цѣлый годъ, по предписанію начальства, отъ раны, давно уже зажившей. Всѣ эти типы, какъ живые, рисуются въ памяти читателя, когда онъ закрываетъ „Губернскіе очерки". Въ томъ же острогѣ знакомимся мы также съ типомъ преступника-мѣщанина. Здѣсь образованіе немного выше, а упадокъ нравственныхъ чувствъ еще ниже. Негодяй, утопившій купца, которому служилъ, говоритъ уже хитросплетенныя фразы, не сознается въ преступленіи, несмотря на явныя улики; слова его возмутительны. Гораздо выше стоитъ другой мѣщанинъ, принадлежавшій нѣкогда къ раскольникамъ, но отказавшійся отъ своихъ заблужденій и сознающійся въ нихъ, потому что, какъ говоритъ онъ, „великій монархъ просвѣтилъ насъ своимъ милосердіемъ, и нынѣ настало время, всѣхъ освѣщающее". Разсказъ этого старца въ высшей степени замѣчателенъ; въ первый разъ въ литературѣ нашей явилось описаніе нелѣпыхъ раскольничьихъ повѣрій и распутной жизни этихъ мнимыхъ ревнителей стараго благочестія. Въ показаніяхъ своихъ авторъ часто ссылается на „Исторію русскаго раскола" епископа винницкаго Макарія и другихъ духовныхъ писателей. Едва вѣришь картинѣ, представляемой въ такихъ страшныхъ краскахъ; голова готова закружиться, какъ у самихъ старцевъ, которые, начитавшись своихъ книгъ, ничего не видятъ кругомъ, и кажется имъ, „будто въ углу самъ Діоклетіанъ царь сидитъ, и видъ у него звѣроподобный, суровый". Невозможно разсказать всего, что дѣлаютъ въ своихъ скитахъ эти старцы и что съ ними дѣлаютъ становые, засѣдатели, частные и другія предлежащія власти, сдирающія со старцевъ неистовыя взятки. Каждая строка этого очерка фактъ новый, любопытный, драгоцѣнный. Не приводимъ выписокъ, какъ и вообще, изъ всѣхъ другихъ очерковъ, убѣжденные, что ихъ прочтутъ всѣ, кому дороги успѣхи русской литературы. Съ купеческими типами мы встрѣчаемся въ одномъ, драматизированномъ разсказѣ: „Что такое коммерція?" Здѣсь выведены три художнически-очерченныя лица: молодой купчикъ Сокуровъ, порывающійся на свободу изъ-подъ власти своего родителя; Палахвостовъ, сѣдой старикъ, который крестится двумя перстами и воруетъ молча, съ

чувствомъ собственнаго достоинства; третій—разбитной купчикъ Ижбурдинъ, нрава до крайности сообщительнаго, наивно высказываетъ всѣ мошенническія продѣлки купцовъ, называемыя ими „коммерческими оборотами". Очень занимателенъ его разсказъ о томъ, какъ всего выгоднѣе надувать казну. „Намеднись, говоритъ онъ, вонъ я полушубки въ казну ставилъ; только развѣ-что кислятиной отъ нихъ пахнетъ, а по прочему и званія-то полушубка нѣтъ—тѣсто тѣстомъ; поди-ка я съ этими полушубками не токмо-что къ торговцу хорошему, а на рынокъ,—на смѣхъ бы подняли. Ну, а въ казнѣ все изойдетъ, по той причинѣ, что потребленіе тамъ больщое"... Само собою разумѣется, что это лицо понимаетъ по-своему и компаніи, и желѣзныя дороги, и даже общечеловѣческія чувства. Барка ли тонетъ на Волгѣ, онъ проходитъ мимо нея со своею баркой, потому что ему выгоднѣе, если товарищъ опоздаетъ поставить къ сроку заподряженный товаръ; а если совсѣмъ потонетъ и того лучше: „Выходитъ, что коммерція, что война,—одно и то же. Называютъ это и мошенничествомъ и, просто, расчетомъ; какъ на что кто глядитъ". Равнодушіе торгующаго сословія къ остальнымъ классамъ общества Ижбурдинъ объясняетъ антагонизмомъ между этимъ сословіемъ, покупщиками и начальствомъ. „Ужъ чего, кажется, деньги по повѣсткѣ получать! а и тутъ измаешься, ждамши въ передней; не пускаютъ дальше, да и все тутъ; полтинникъ тебѣ стоитъ, чтобы передъ лицо-то почтмейстерское тебѣ стать; а онъ тоже: не время, приходи завтра. На станціи только тебѣ и есть отвѣтъ отъ всѣхъ: подождешь, молъ, борода, не велика чина птица". Шаткость понятій въ купечествѣ и его безсовѣстные обманы происходятъ оттого, что „старые порядки къ концу доходятъ, а новыхъ мы еще не доспѣли". Этотъ взглядъ на купечество у автора также новъ и оригиналенъ. Никто не станетъ сомнѣваться, что въ этомъ сословіи, какъ и во многихъ другихъ, теперь настала эпоха кризиса, перелома.

Въ эпилогѣ автору кажется, что передъ его глазами проходитъ похоронная процессія... „Но кого же хоронятъ?" спрашиваетъ онъ, томимый какимъ-то тоскливымъ предчувствіемъ. „Прошлыя времена хоронятъ!" отвѣчаютъ ему торжественно, хотя и не безъ ироніи. О чиновникахъ и помѣщикахъ, выведенныхъ въ разсказахъ г. Салтыкова, поговоримъ въ слѣдующемъ нумерѣ.

Статья вторая [1]).

Міръ чиновниковъ, въ очеркахъ г. Салтыкова, представляетъ намъ болѣе всего самыхъ разнообразныхъ и любопытныхъ типовъ; но прежде чѣмъ перейти къ нимъ, отмѣтимъ два прекрасные разсказа, въ которыхъ описанъ Рождественскій сочельникъ и первый день Святой недѣли въ городѣ Крутогорскѣ. Въ первомъ очеркѣ, „Замѣчательный мальчикъ", выведенъ типъ ребенка, уже испорченнаго дурными примѣрами и тяжелой бѣдностью: онъ сынъ кузнеца; дома у него нѣтъ не только вина, но даже и хлѣба: „Чѣмъ еще разговѣемся завтра?" говоритъ онъ, и, когда авторъ беретъ его къ себѣ разговѣться, мальчикъ, въ разговорѣ, высказываетъ страшную, раннюю испорченность нрава. Авторъ спрашиваетъ его: „И мать у васъ есть?"—„Какъ же! этого добра гдѣ не водится! только, надо-быть, тятенька ей скоро конецъ сдѣлаетъ... больно ужъ онъ нонѣ зашибаться началъ—это, пожалуй, и не ладно ужъ будетъ".—„За что жъ онъ ее бьетъ?"—„За что бьетъ! пришла—не такъ, и ушла—не такъ! вотъ и бьетъ!" Очевидно, что при такой семейной жизни нетрудно сдѣлаться безнравственнымъ, но въ мальчикѣ ужъ очень рано развиваются дурныя наклонности; рано начинаетъ онъ пить и пѣть разные романсы, и грустное чувство оставляетъ весь этотъ неутѣшительный очеркъ. Совершенно другое, успокоительное чувство остается отъ разсказа „Христосъ Воскресе!" Въ немъ выведена добрая купчиха, Пелагея Ивановна, которая изготовляетъ несчетное число куличей и пасхъ къ свѣтлому празднику,—для „несчастненькихъ", какъ она называетъ арестантовъ. Высокимъ, гуманнымъ лиризмомъ проникнута вся эта картина.

„Для всѣхъ воскресъ Христосъ,—говоритъ авторъ:—Онъ воскресъ и для тебя, мрачный и угрюмый взяточникъ, и для тебя, бѣдный труженикъ, кроткая жертва свирѣпой бюрократіи, и для тебя, сѣрый армякъ, и для васъ, бѣдные заключенники, несчастные, неузнанные странники моря житейскаго. Христосъ, сходившій во адъ, сошелъ и въ ваши сердца и очистилъ ихъ въ горнилѣ любви Своей. Нѣтъ татей, нѣтъ душегубовъ, нѣтъ прелюбодѣевъ! Всѣ мы братья, всѣ мы невинны и чисты передъ гласомъ любви, все прощающей, все искупающей.... Для всѣхъ воскресъ Христосъ; большіе и малые, іудеи и эллины, пришедшіе рано и пришедшіе поздно, мудрые и юродивые, богатые и нищіе—всѣ мы равны передъ Его воскресеніемъ".

[1]) „Сынъ Отечества", 1857 г., № 20. (См. стран. 65.)

Такой примирительной, свѣтлой картины не встрѣчаемъ мы ни въ одномъ очеркѣ г. Щедрина, и отрадно видѣть намъ, какъ въ отдаленномъ городѣ Руси человѣкъ дѣлается лучше въ этотъ великій день: картежникъ не беретъ въ руки картъ, взяточникъ не грабитъ, спившійся съ кругу приказный считаетъ за грѣхъ итти въ кабакъ. Вся эта неиспорченность губернской жизни, совершенно противоположная столичному индиферентизму, трогаетъ сердце,—и изъ лицъ, умиренныхъ великимъ праздникомъ, авторъ исключаетъ только одного отщепенца: „потому что онъ для всего заперъ свое сердце, кромѣ узкаго тщеславія, кромѣ безплодныхъ и безполезныхъ преній о формахъ и словахъ, не имѣющихъ никакого значенія безъ духа любви, безъ духа общенія, ихъ оживляющаго". Съ чиновными „несчастненькими", о которыхъ такъ заботилась Пелагея Ивановна, мы знакомимся опять въ острогѣ. Одинъ изъ типовъ, сутуловатый, ограниченный, довольно пошлый мошенникъ: онъ „собиралъ статистику", и, ссылаясь на предписанія начальства, приказывалъ мужику считать, сколько именно у него пчелъ, и, когда мужикъ не могъ сдѣлать этого, взялъ съ него по цѣлковому съ улья, а въ вѣдомости все-таки показалъ сдуру, что у мужика тридцать одна тысяча девятьсотъ девяносто семь пчелъ". Другой арестантъ, канцелярскій чиновникъ, посаженъ за то, что „въ одномъ мѣстѣ, гдѣ всѣ были въ подпитіи", подравшись изъ-за какой-то Аннушки, убилъ мѣщанина. Третій арестантъ, Перегоренскій, является сначала въ разсказѣ „Непріятное посѣщеніе" къ чиновнику, посланному въ Крутогорскъ ревизоромъ. Это—великолѣпнѣйшій экземпляръ закоренѣлаго ябедника; являясь къ Алексѣю Дмитріевичу (ревизору) съ самымъ подлымъ доносомъ, онъ начинаетъ съ громкихъ фразъ, называя себя христіаниномъ и вѣрноподданнымъ, а ревизора—„добродѣтельнымъ царедворцемъ", но когда тотъ, не видя ни связи ни доказательствъ въ доносѣ Перегоренскаго, замѣчаетъ ему это, Перегоренскій называетъ его уже „коварнымъ царедворцемъ" и грозитъ обратиться „съ покорнѣйшей просьбой къ господину министру, умолять на колѣняхъ его высокопревосходительство". Вся эта сцена ведена мастерски. Въ острогѣ Перегоренскій является уже нѣсколько измѣнившимся. Желчное состояніе духа взяло въ немъ верхъ надъ кляузничествомъ; онъ жестоко озлобленъ и ругается безъ пощады

на каждомъ шагу. „Я поклонникъ правды и ненавистникъ лжи,—такъ рекомендуетъ онъ себя,—будучи еще секретаремъ въ магистратѣ, изобрѣлъ науки: правдистику и патріотистику... Тщетно я обращался ко всѣмъ властямъ земнымъ о допущеніи меня къ преподаванію наукъ сихъ, тщетно указывалъ на растленіе, царствующее въ сердцахъ чиновническихъ". Этотъ ябедникъ, издержавшій до тысячи рублей серебромъ на гербовую бумагу, подавая доносы, взятъ, наконецъ, за то, что не представилъ доказательствъ послѣднему доносу, въ которомъ описывалъ „зрѣлище въ питейномъ домѣ, относящееся къ двумъ пунктамъ". Въ острогѣ онъ продолжаетъ также доносить: бьетъ самъ стекла, и говоритъ, что начальство „оставляетъ страждущихъ заключенниковъ въ жертву лютому морозу и буйствующимъ стихіямъ"—въ жаркіе іюльскіе дни; самъ „бросаетъ сапоги въ сортиръ" и жалуется, что онъ босъ и сыръ; требуетъ вафель—и жалуется, что его морятъ голодомъ и жаждой.—Такой типъ, дѣйствительно, заслуживалъ подробнаго изученія, и обрисованъ авторомъ превосходно. Еще интереснѣе, въ разсказѣ „Первый шагъ", положеніе канцелярскаго чиновника, попавшагося за сочиненіе фальшиваго указа, съ цѣлью получить за неисполненіе его приличное вознагражденіе. Чиновникъ взятокъ не бралъ, былъ страшно бѣденъ и только изъ-за этой страшной бѣдности рѣшился на преступленіе. Получалъ онъ пять цѣлковыхъ въ мѣсяцъ жалованья,—жить, по его словамъ, было можно, только „сапоги очень одолѣвали": „Для насъ бы все одно и въ лаптишкахъ сбѣгать—а тутъ опять начальство не велитъ, требуетъ, чтобъ ты завсегда въ своемъ видѣ былъ. Вотъ, хошь бы, судья у насъ былъ, такъ тотъ прямо тебѣ говоритъ: мнѣ, говоритъ, наплевать, какъ ты тамъ деньги на платье себѣ достаешь, а только чтобъ былъ ты всегда въ своемъ видѣ". Только женившись, для того, чтобы спасти одну дѣвушку отъ дурной жизни, на которую она рѣшилась по бѣдности, чиновникъ увидѣлъ, что жить ему съ семьей на пять цѣлковыхъ рѣшительно невозможно. А тутъ пріятели и научили его сдѣлать фальшивый указъ, чтобы содрать взятку съ богатаго раскольника. Неопытный въ мошенничествѣ бѣднякъ попался съ „перваго шага". Переходя отъ подсудимыхъ къ судіямъ, мы встрѣтимъ такіе же любопытные типы. Говоря о положеніи „слѣдователя", которое онъ занималъ не разъ по службѣ,

г. Щедринъ самъ сознается, что онъ человѣкъ слишкомъ мягкій. „Шевельнется ни съ того ни съ сего въ сердцѣ разсовѣсть,—говоритъ онъ,—взбунтуется слѣдомъ за ней разсудокъ, который начнетъ цѣлымъ рядомъ самыхъ строгихъ силлогизмовъ доказывать, какъ дважды-два четыре, что будь слѣдователь самъ на мѣстѣ обвиняемаго, то... и такъ далѣе. Ну и раскиснешь совсѣмъ“. Напрасно и его превосходительство выговариваетъ ему: „Ты, любезный другъ, не проповѣдуй,—это, братецъ, безнравственно, потому что, тебя, чиновника, ставитъ въ какія-то панибратскія отношенія съ какой-нибудь канальей“. Идеалистъ-слѣдователь все-таки остается „мямлей и размазней“ и никакъ не можетъ употребить въ дѣло кулаковъ, „сихъ истинныхъ и нелицемѣрныхъ помощниковъ во всѣхъ случаяхъ, касающихся человѣческаго сердца“. Бываютъ, конечно, слѣдователи и другого рода, - называемые авторомъ „Надорванными“. Типъ такихъ господъ, олицетворенный въ Филоверитовѣ, любопытенъ въ высшей степени. Слѣдователь этотъ самъ признается, что его называютъ не иначе, какъ собакой, что его главная обязанность: уничтожать разныхъ бѣдняковъ, по приказанію своего начальства; онъ находится вѣчно въ состояніи заказного озлобленія, не имѣетъ права разсуждать и тѣмъ менѣе соболѣзновать.

И между тѣмъ, этотъ разбойникъ по убѣжденію совершенно дѣльно разсуждаетъ о томъ, что чиновникъ не долженъ быть за панибрата ни съ кѣмъ въ обществѣ, а тѣмъ болѣе—ѣздить на обѣды къ иному субъекту, который „только потому и кормитъ чиновника, чтобы потомъ казну обворовать поделикатнѣе“.—Да обѣдъ—не взятка, говорятъ обыкновенно. Не взятка, но хуже взятки. Взятку беретъ чиновникъ съ осмотрительностью, а иногда и съ невольнымъ угрызеніемъ совѣсти, а ѣдучи на обѣдъ, не ощущаетъ ничего, кромѣ удовольствія. Разсудите сами: можете ли вы отказать въ чемъ-нибудь человѣку, который оказалъ вамъ тысячу предупредительностей, тысячу маленькихъ услугъ, которыя цѣнятся не деньгами, а сердцемъ. Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ. Деньги можно назадъ отдать, если дѣло оказывается черезуръ сомнительнымъ, а невѣсомыя моральныя взятки остаются на вѣки на совѣсти чиновника и рано или поздно вылѣзутъ изъ него или подлостью или казнокрадствомъ. Со всѣмъ этимъ, конечно, нельзя не согласиться,

и такой „надорванный“ господинъ, несмотря на всѣ свои дурныя стороны, могъ, очевидно, разсуждать такъ благородно. Типы г. Салтыкова потому и производятъ сильное впечатлѣніе, что они не преувеличены, что его дурные люди не вполнѣ лишены нѣкоторыхъ хорошихъ сторонъ, или, по крайней мѣрѣ, пониманія дурной стороны своихъ поступковъ,—что, въ самомъ дѣлѣ, бываетъ въ дѣйствительности. Очень многіе поступаютъ дурно только потому, что думаютъ, будто другіе извиняютъ эти дурные поступки и, при случаѣ, сами поступили бы точно такъ же. Если же они увидятъ, что общество, ни на словахъ ни въ печати, не раздѣляетъ и не одобряетъ ихъ мнѣнія—они должны будутъ сами измѣнить образъ своихъ дѣйствій. Въ такихъ случаяхъ гласность выраженія общественнаго суда можетъ предупредить много дурныхъ поступковъ. Встрѣчаются, конечно, и такого рода индивидуумы, которые открыто проповѣдуютъ о необходимости взятокъ, объясняя ихъ административными соображеніями. Такихъ людей авторъ называетъ неточно—„озорниками“. Не понимаемъ, откуда имъ сіе названіе? Одинъ изъ такихъ людей дѣлаетъ автору очень наивныя признанія,—но замѣтимъ, что подобныя признанія могутъ быть сдѣланы только очень близкому человѣку, въ минуты дружескаго изліянія, подогрѣтаго хорошимъ обѣдомъ и нѣсколькими стаканами „честнаго“ вина—по выраженію г. Дружинина. Такой „озорникъ“ говоритъ:

„Вы ошибаетесь, если думаете, что, вотъ, я призову мужика, да начну его собственными руками обдирать... Фи! Вы забыли, что отъ него, тамъ, Богъ знаетъ чѣмъ пахнетъ!.. да и не хочу я совсѣмъ дѣлать себѣ этотъ трудъ. Я просто призываю писаря или тамъ другого et je lui dis: mon cher, tu me dois tant et tant—ну и дѣло съ концомъ. Какъ ужъ онъ тамъ дѣлаетъ—это до меня не относится. Я самъ терпѣть не могу взяточничества—фуй, мерзость! У насъ не взятки, а администрація; я требую только должнаго, а какъ оно тамъ изъ нихъ выходитъ, до этого мнѣ дѣла нѣтъ. Моя обязанность только исчислять статьи: гоньба тамъ, что ли, дорожная повинность, рекрутство... Tout cela doit rapporter... Je suis un homme comme il faut; мнѣ необходимо, чтобы у меня въ домѣ все было комфортабельно—le gouvernement me doit tout cela. Я человѣкъ холостой, j'ai besoin d'une belle“.

Все это совершенно вѣрно, хотя повторимъ еще разъ: во всемъ этомъ гласно не сознаются. Вы найдете сотни, тысячи людей, убѣжденныхъ, что правительство должно дать имъ все это, что они требуютъ только должнаго, что это не

взятки, а администрація. А между тѣмъ, этотъ же господинъ comme il faut замѣчаетъ справедливо, что „мужики еще мало развиты, что имъ дали сходы, дали свой судъ, что это почти уже Selfgovernment, а онъ все-таки лѣзетъ ко мнѣ, потому что, благодаря моимъ административнымъ усиліямъ, моему неусыпному попечительству—хоть инстинктивно, но понимаетъ, что и онъ ничего, что и сходъ его—ничего“. Тяжелое чувство возбуждаютъ очень многія слова этого „озорника“, человѣка образованнаго, великосвѣтскаго. Сказавъ, что ни одинъ мужикъ не знаетъ, для чего ему дана жизнь, что такое назначеніе человѣка—онъ прибавляетъ: „Говорятъ, что нужно распространять грамотность, заводить школы, учить ариѳметикѣ. Eh bien, je vous dirai, что если мы ихъ образуемъ, выучимъ ариѳметикѣ—конецъ нашимъ высшимъ соображеніямъ“. Да; то-есть, конецъ и взяткамъ и администраціи, въ томъ смыслѣ, какъ ее понимаютъ господа. Очевидно, что если бы не было взяткодателей, то не было бы и взяткобрателей, и законъ поступаетъ прекрасно, наказывая одинаково дающаго и берущаго взятку. И здѣсь мы не можемъ не обратить вниманія на эту сторону вопроса, упускаемую обыкновенно, изъ виду всѣми, пишущими о взяткахъ. Для искорененія этой язвы Россіи честнымъ людямъ слѣдуетъ твердо рѣшиться: не только не брать, что разумѣется само собою, но и не давать ни малѣйшей взятки. Пусть каждый изъ насъ проиграетъ свое дѣло, испытаетъ всякаго рода притѣсненія и неудовольствія, лишится своей собственности, но пусть онъ такъ же строго и рѣшительно не даетъ, какъ не беретъ—тогда,—и только тогда,—можемъ мы ожидать искорененія этого возмутительнаго порока, который мы всосали съ молокомъ матери, по словамъ одного изъ нашихъ поэтовъ. Есть въ нашей народной мудрости пословица, которую постоянно приводятъ защитники взятокъ: „Хоть бери, да дѣло дѣлай“, говорятъ они; хоть пей, да дѣло разумѣй. Не говоря уже о томъ, что пословицы ко всему какъ-то прилаживаются (это замѣчаетъ и „озорникъ“ г. Щедрина), замѣтимъ, что пьянство вредитъ одному лицу, а не цѣлому обществу; пьяница, когда не пьетъ, способенъ и на доброе дѣло; взяточникъ не сдѣлаетъ ничего для того, кто не дастъ взятки. Вреденъ, слова нѣтъ, слонъ въ воеводствѣ; но еще вреднѣе лиса-воровка. Вотъ почему гораздо снисходительнѣе смотришь на новый разрядъ чиновниковъ, выводимый г. Щедри-

нымъ, подъ именемъ „неумѣлыхъ“. Жаль и досадно бываетъ видѣть, какъ они портятъ дѣла своею неопытностью, но все-таки съ большимъ удовольствіемъ встрѣчаешься съ этими „неумѣлыми“, чѣмъ съ черезчуръ „умѣлыми“ лицами. Подъ мѣткимъ названіемъ этимъ авторъ изобразилъ мастерской типъ, Михайлы Трофимыча: „Онъ, пожалуй, и не говоритъ, а такъ всею фигурой въ лицо тебѣ хлещетъ, что, вотъ, онъ честный да образованный, такъ ему за эти добродѣтели молебны служить слѣдуетъ. Вотъ, молъ, до чего вы, скоты, дожили, что честный-то человѣкъ у васъ словно жаръ-птица“. И между тѣмъ, этотъ дѣйствительно честный человѣкъ только путаетъ дѣла, отправляясь на слѣдствіе; горячность его ни къ чему не ведетъ; онъ говоритъ прямо мужикамъ: „Оттого всѣ эти мерзости, что вы сами, скоты, все это терпите; кабы вы разумѣли, что подлецъ—подлецъ и есть, что его подлецомъ и называть надо, такъ не смѣлъ бы онъ рожу-то свою мерзкую на свѣтъ Божій казать“. Всѣ эти „истины“, конечно, нисколько не подвигаютъ дѣла, и бѣдный Михайла Трофимычъ поминутно попадаетъ впросакъ: про него говоритъ дѣльно мѣщанинъ, посланный вмѣстѣ съ нимъ на слѣдствіе.

„Выходитъ по-ихнему, что они насъ спасать, примѣрно, пришли, а позабудь онъ хоть на минуточку, что онъ лучше всѣхъ, поменьше онъ насъ спасай,—можетъ, и могъ бы онъ дѣло дѣлать... Во всякомъ дѣлѣ мало одной честности да доброй воли: нужно тоже знаніе; грязью-то не гнушайся, а разбери ее, да разобравши хорошенько и суй въ ту пору туда свой носъ. Ты коли хочешь служить вѣрой, такъ по верхамъ-то не лазай, а держись больше около земли, около земства-то. Ты благодѣтельствуй намъ—слова нѣтъ, да въ мѣру, сударь, въ мѣру, а не то, вѣдь, намъ и тошно будетъ... ты, вотъ, лучше поотпусти маленько, дай дохнуть-то! Можетъ, она и пошла бы, машина!“

Противъ этихъ здравыхъ, благородныхъ, глубокихъ словъ, конечно, никто не будетъ спорить, а такихъ чисто-русскихъ сужденій въ очеркахъ г. Щедрина разбросано множество; приводить ихъ всѣ значило бы цитировать всю книгу, а выписки наши и безъ того слишкомъ часты. Свойство статей автора таково, что пересказывать ихъ своими словами—значить уменьшать ихъ значеніе. Наши ежемѣсячные журналы имѣютъ возможность разобрать подробно каждый очеркъ книги г. Щедрина; этого она вполнѣ заслуживаетъ. Въ нашей сжатой статьѣ мы хотимъ только познакомить читателей съ новыми типами, выведенными авторомъ,—и потому переходимъ къ

другимъ лицамъ чиновничьяго міра, изображеннымъ въ слѣдующихъ очеркахъ. Еще ниже, въ нравственномъ отношеніи, спускаемся мы въ разсказѣ „Выгодная женитьба". Здѣсь выведены два типа: мелкаго чиновника, который хочетъ жениться на дочери своей квартирной хозяйки, потому что много задолжалъ ей за столъ и квартиру,—и его начальникъ, который позволяетъ жениться, имѣя въ виду, что будущая жена его подчиненнаго не слишкомъ строгой нравственности. И начальникъ и подчиненный въ этомъ разсказѣ внушаютъ отвращеніе. Дернова (подчиненнаго) его секретарь учитъ „эквилибристикѣ", такой наукѣ „чтобы передъ начальникомъ всегда въ струнѣ ходить; чтобы, когда начальство говоритъ тебѣ: „Кривляйся, Сашка!" ну и кривляйся! Да и считай ты себя еще счастливымъ, коли тебѣ говорятъ: кривляйся! Это значитъ, вниманіе на тебя обращаютъ. Вотъ и выходитъ, что кривлякъ этихъ столько развелось, что и для того, чтобы покривлячать-то тебѣ позволили, нуженъ случай, протекція нужна, другой и радъ бы, да случая нѣтъ". Все это, разумѣется, относится къ прошлымъ временамъ, хотя и увѣряетъ одинъ старый подьячій, въ первомъ разсказѣ, что „чиновникъ все тотъ же, только тоньше, продувнѣе сталъ". Въ подьячемъ, очевидно, говоритъ пристрастіе; и анекдоты, разсказываемые имъ, до того неправдоподобны, что только, зная добросовѣстность автора, можно имъ повѣрить. Не приводимъ продѣлокъ лѣкаря Ивана Петровича, городничаго Фейера и исправника Живоглота, но скажемъ, что лица эти производятъ самое сильное впечатлѣніе и болѣе всего нравятся читателямъ. Сознаемся, что намъ они нравятся меньше, потому что въ нихъ менѣе типическихъ особенностей, а гораздо болѣе частныхъ, принадлежащихъ только одному, извѣстному лицу. Такіе доктора, исправники и городничіе, конечно, существуютъ, но не какъ типы, а какъ исключенія, и потому мы не будемъ разсказывать ихъ подвиги, отдавъ полную справедливость автору въ томъ, что они у него истинно живыя лица. Къ тому же разряду принадлежитъ и Порфирій Петровичъ,—отъявленный мошенникъ, накопившій состояніе самыми гнусными поступками и пользующійся уваженіемъ въ городѣ, гдѣ, по словамъ автора: „Не только человѣка съ живымъ словомъ встрѣтить было невозможно, но даже въ хорошей говядинѣ ощущалась скудность великая". Изъ властей этого города выведенъ ревизоръ, о

которомъ мы уже говорили, приводя типъ Перегоренскаго,— человѣкъ пустой и добродушный, съ густыми волосами, хотя по словамъ автора: „Добродѣтель представляется ему всегда не иначе, какъ въ видѣ плѣшиваго старца, съ немного телячьимъ выраженіемъ въ очахъ". Алексѣй Дмитричъ охотникъ, чтобы его угощали и уважали. Балъ городничаго, удостоенный посѣщеніемъ ревизора, описанъ мастерски. Другой начальникъ въ городѣ, князь Левъ Михайловичъ, смотритъ на всѣ правительственныя лица съ высоты своего аристократизма, и, однакоже, „въ удобное для охоты время командируетъ своего секретаря, подъ видомъ дѣлъ службы, собственно, для стрѣлянія дичи, къ столу его сіятельства". Конечно, онъ горячо вступается за это, говоря: „Что же тутъ дурного? развѣ это взятка? вы мнѣ скажите: взятка ли это? Развѣ я вымогался сдѣлать какую-нибудь подлость, развѣ это деньги? Деньги ли дичь—спрашиваю я васъ?"—И мы убѣждены въ томъ, что его сіятельство, въ глубинѣ своей аристократической совѣсти, дѣйствительно не считаетъ этого взяткой, какъ чиновникъ Прокофій Николаичъ не считаетъ взяткой денегъ, присланныхъ ему откупщикомъ, объясняя: „Нынче, пожалуй, говорятъ: и съ откупщика не бери. А я вамъ доложу, что это одно вольнодумство; это все единственно, что деньги на дорогѣ найти да не воспользоваться. Господи!" Именно: не воспользоваться найденными деньгами, по мнѣнію такихъ господъ, не только глупость, а, пожалуй, и преступленіе. То же понятіе существуетъ у нихъ о казнѣ. По словамъ автора, казна представляется чиновникамъ „чѣмъ-то отвлеченнымъ, символическимъ, невѣсомымъ, какъ паръ какой-то, нѣчто въ родѣ Ѳемиды въ воображеніи секретаря уѣзднаго суда".— „Кому отъ этого вредъ, ну скажите, кому? восклицаетъ остервенившійся идеологъ-чиновникъ, который Великимъ постомъ въ жизнь никогда скоромнаго не ѣлъ, ни одной взятки не перекрестясь не бралъ, а о любви къ отечеству отродясь безъ слезъ не говаривалъ:—кому вредъ отъ того, что вино въ казну не по сорока, а по сорока-пяти копеекъ за ведро ставится". А покамѣстъ всѣ не поймутъ, какой, именно, вредъ происходитъ отъ обсчитыванія казны, до тѣхъ поръ не истребятся и взятки... Военныхъ лицъ немного въ очеркахъ г. Щедрина. Одинъ типъ отставного армейскаго подпоручика верхъ совершенства. Онъ поминутно пьетъ водку,

не пьянѣя, „служилъ въ полку—бросилъ, жилъ въ имѣніи—пропилъ, собственнымъ тѣломъ своимъ торговалъ, пускался на разныя штуки, являлся къ англійскому посланнику, услыхавъ, что англичане предлагаютъ милліонъ тому, кто цѣлый годъ однимъ сахаромъ питаться будетъ—не вывезло, шельма кривая!“ Что за натура у этого подпоручика, можно судить по тому, что „въ восемьсотъ четырнадцатомъ году, походомъ—въ мѣсяцъ по четыре ведра на брата выходило, а шли восемь мѣсяцевъ“. Хороши также гарнизонные офицеры въ разсказѣ „Пріятное семейство“: одѣты они съ иголочки оттого, что „нынѣшнимъ лѣтомъ покормились-таки: партію сводили, такъ тутъ кой-чего къ ладонямъ пристало, и мундирцы новенькіе пошили; на цѣлый міръ они смотрятъ съ точки зрѣнія пайка“, на балу танцуютъ очень усердно, за чѣмъ смотритъ самъ командиръ,—но все-таки остаются безъ ужина. Въ этомъ же разсказѣ мы знакомимся съ помѣщиками, живущими въ Крутогорскѣ, но въ этихъ типахъ мало новаго, какъ въ изображеніи отдѣльной личности добраго, но безхарактернаго помѣщика Буеракина, напоминающаго нѣкоторыя лица повѣстей Тургенева. Господинъ этотъ философствуетъ очень удачно: въ оттепели онъ видитъ возрожденіе природы и въ то же время обнаженіе всѣхъ навозныхъ кучъ,—благоуханіе весны и міазмы помойныхъ ямъ; находитъ, что напрасно ловить какую-нибудь крохотную блошинку, потому что „на то самое мѣсто сотни другихъ блохъ отъ нечистоты выскакиваютъ: такое ужъ удобное для этой твари мѣсто“.

Буеракинъ увѣряетъ даже, что онъ служитъ потому, что каждый мѣсяцъ посылаетъ становому четыре воза сѣна, двѣ четверти овса и куль муки. Но слабый помѣщикъ, позволяющій управлять собою дворовой смазливой дѣвкѣ, а управителю—пороть его мужиковъ, на основаніи его поговорки: „На то сидѣнье у тебя, чтобы его стегать“—не новость въ нашей литературѣ. Что же касается до страсти нѣкоторыхъ изъ насъ къ тѣлеснымъ наказаніямъ и собственноручной расправѣ, объ этомъ авторъ говоритъ, что „такъ ужъ всѣ сформированы, что у всякаго есть природное желаніе—руками впередъ совать, но за то большая часть дерется откровенно, безъ злобы, наотмашь, куда попало—такъ, чтобы порядокъ только соблюсти“.

Мы представили всѣ типы, выведенные авторомъ: строгъ

онъ къ нимъ, порою даже безжалостенъ; но строгость эта полезна и благотворна, но щадить мерзавцевъ значитъ наказывать честныхъ людей. Не пощадилъ авторъ и дамъ Крутогорска: всѣ онѣ выходятъ у него какъ-то весьма непривлекательны.

Жены и возлюбленныя этихъ господъ не могутъ быть лучше ихъ. Такъ, женщину безъ сердца и безъ правилъ представляетъ намъ супруга чиновника Дернова (въ „Выгодной женитьбѣ"), у которой, кромѣ стараго начальника ея мужа, есть еще обожатель—молодой чиновникъ, близко знакомый ей еще до свадьбы. Изъ этого тяжелаго круга дамъ отдѣляются типы: крестьянки, рѣшающейся на преступленіе, чтобъ итти на поселеніе вмѣстѣ со своимъ возлюбленнымъ; Аринушки, убогой странницы, не дошедшей до святого града Іерусалима, да типъ бѣдной княжны Анны Львовны, которую потребность любви заставляетъ обратиться къ подленькому канцеляристу, добивающемуся у княжны не взаимности, а мѣста станового пристава. Правда, что и объ этой княжнѣ авторъ отзывается не безъ желчной ироніи, но очевидно, что онъ озлобленъ на Крутогорскъ и его жителей, говоря положительно: „О провинція, ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодѣятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать!" Не явное ли это ожесточеніе? И зачѣмъ автору такъ жестоко отзываться о миломъ Крутогорскѣ, о которомъ другой, болѣе примирительный человѣкъ говоритъ тутъ же: „Господи! кабы не было блохъ да становыхъ, что́ бы это за рай, а не жизнь была". Мы готовы скорѣе согласиться съ послѣднимъ заключеніемъ. Прощаясь съ книгой г. Салтыкова, которая составитъ эпоху въ нашей литературѣ, не можемъ не упомянуть, что находятся лица, упрекающія автора въ рѣзкости и жестокости выраженій. Такимъ господамъ мы отвѣтимъ словами самого автора, начавъ и кончивъ нашу рецензію его собственными цитатами: „Знакомятъ съ какими-то мужиками, лакеями-солдатами!.. слова нѣтъ, что они есть въ природѣ, эти мужики—да отъ нихъ пахнетъ,—ну, и опрыскай его авторъ чѣмъ-нибудь, чтобы, знаете, въ гостиную его ввести можно. А то такъ со всѣмъ, и съ запахомъ, и ломятъ... это не только неприлично, но даже безнравственно".

Именно, безнравственно!..

„Женихъ" [1]).

Картина провинціальныхъ нравовъ.

(„Современникъ", 1857 г., кн. 10.)

Октябрьская книжка „Современника" открывается разсказомъ Щедрина: „Женихъ" — картина провинціальныхъ нравовъ. Намъ очень пріятно встрѣчать статьи этого писателя и въ петербургскихъ журналахъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, мы должны сказать, что статьи эти гораздо слабѣе тѣхъ, которыя печатались въ „Русскомъ Вѣстникѣ". Такъ „Женихъ", по нашему мнѣнію, не болѣе какъ карикатура—и то не весьма удачная. Содержаніе разсказа напоминаетъ нѣкоторые не совсѣмъ удачные шаржи г. Григоровича и типы Новаго Поэта. Герой разсказа, капитанъ Махоркинъ— лицо совершенно невозможное, и самое событіе, въ которомъ онъ играетъ важную роль, очевидно, выдумано, а не взято изъ дѣйствительности, какъ „Губернскіе очерки". Таинственный капитанъ, бродящій по ночамъ подъ окнами своей возлюбленной, выражающійся языкомъ плохихъ романовъ двадцатыхъ годовъ и приводящій въ ужасъ даже губернатора, очевидно, не могъ существовать въ дѣйствительности. Соперникъ его, элегантный Вологжанинъ, не болѣе какъ блѣдный сколокъ съ Чичикова, съ примѣсью хлестаковскихъ маперъ, и, если его сватаніе къ толстенькой героинѣ довольно правдоподобно, зато развязка разсказа совершенно неестественна. Такой человѣкъ, какъ Вологжанинъ, не позволитъ себя надуть и, не получивъ обѣщаннаго приданаго, не поѣдетъ вѣнчаться только потому, чтобы не заставить его превосходительство дожидаться. Остальныя лица разсказа также довольно блѣдны, и мы не разбираемъ его подробно, убѣжденные въ томъ, что одна неудача не уменьшаетъ дарованія автора, и что послѣдующіе очерки его будутъ нисколько не ниже первыхъ, доставившихъ ему такую лестную и вполнѣ заслуженную извѣстность.

---

1) „Спб. Вѣд.", 1857 г., № 245. (См. стран. 74.)

„Первый шагъ“ [1]).

Очеркъ г. Щедрина изъ серіи „Губернскіе очерки“.

Я хотѣлъ бы сказать нѣсколько словъ по поводу одного изъ очерковъ г. Щедрина, такъ хорошо всѣмъ извѣстныхъ, вызывающихъ такъ много толковъ и комментаріи.

О г. Щедринѣ говорятъ какъ о первоклассномъ художникѣ. Я согласенъ съ этимъ, но съ извѣстною оговоркой. Я думаю, что ту мѣрку, которую прилагаютъ ко всякому художественному произведенію, а, въ томъ числѣ, и къ очеркамъ Щедрина, слѣдовало бы на этотъ разъ оставить. Это, дѣйствительно, большая художественная сила, но ей, какъ-будто, тѣ формы, въ которыя обычно беллетристы-авторы облекаютъ свои идеи, чужды. Мнѣ кажется, что г. Щедринъ насилуетъ себя общепринятою формой разсказа. Мнѣ кажется, что ему слѣдовало бы отрѣшиться отъ узаконенныхъ формъ и традицій словесности, раздѣляющихъ художественныя произведенія на романы, повѣсти, драмы и т. д., и попытаться пойти своею оригинальною дорогой. Онъ долженъ поступить такъ же, какъ сбившійся съ пути ѣздокъ, благоразумно предоставляющій своему коню отыскивать дорогу, не безъ основанія полагая, что природное чутье поможетъ животному сдѣлать то, чего не могъ сдѣлать его разсудокъ. При этихъ условіяхъ г. Щедринъ подаритъ русскому обществу нѣчто такое, что дастъ начало новому виду литературы, у насъ еще не существующему.

Я перехожу къ предмету статьи—очерку „Первый шагъ“, очень характерному въ извѣстномъ смыслѣ.

Въ этомъ очеркѣ г. Щедринъ продолжаетъ знакомить насъ съ типами нашей провинціи, такъ далеко отстоящей отъ столицы и такъ тѣсно связанной съ нею. Въ разсказѣ мелкаго чиновника захолустнаго города русской провинціи

[1]) Литературный сборникъ „Украина“. Кіевъ, 1858 г.

вы, какъ въ зеркалѣ, видите отраженіе административной машины, управляющей ходомъ огромнаго корабля, именуемаго Россіей. Этотъ несчастный является однимъ изъ ничтожныхъ колесиковъ, на которыхъ эта машина вершила судьбы многомилліоннаго государства. Его воспиталъ существовавшій режимъ: онъ кость отъ кости, плоть отъ плоти отживающаго строя съ его всевластнымъ чиновникомъ, безотвѣтнымъ народомъ и безотвѣтственною администраціей. Этотъ „молодой человѣкъ лѣтъ 25-ти, въ потасканномъ вицъ-мундирѣ", является живымъ и вѣчнымъ укоромъ, отходящимъ, кажется, въ область исторіи порядкамъ нашей государственной жизни. Этотъ преступникъ попался за составленіе фальшиваго указа, а, собственно, даже и не за самое дѣяніе, а лишь за неумѣнье выполнить операцію съ тою же ловкостью, съ какою это продѣлывали всѣ его товарищи. Онъ менѣе опытенъ и обдѣлистъ въ техникѣ обложенія подвѣдомственныхъ лицъ. Онъ попадается „со всѣми онёрами" и потому долженъ быть подвергнутъ законной карѣ, дабы впредь никому неповадно было брать взятки, не обезпечивъ себя въ этихъ случаяхъ соотвѣтственными гарантіями со стороны формальности. Брать можно, потому что не брать нельзя, но только осторожно. Взяточникъ не тотъ, который беретъ взятки, а тотъ, который не умѣетъ ихъ брать. Поборы, взятки, безсудіе и неправда—необходимая принадлежность бюрократическаго строя, но представители его выбросятъ изъ своей среды всякаго, кто не сумѣетъ все это продѣлать такъ, чтобы обыватель и не почувствовалъ, какъ у него вдругъ нестало ассигнацій, съ такою тщательностью запрятанныхъ въ самыя интимныя мѣста его сапоговъ. Тишина—первое и самое главное условіе такой общественной жизни. Обдѣлывать всѣ дѣла административнаго воздѣйствія надо тихимъ манеромъ, полюбовно-не-полюбовно, одначе, такъ, чтобы жертва не имѣла формальнаго права закричать: „Караулъ, грабятъ!.." Тамъ, гдѣ нѣтъ законовъ, тамъ не можетъ быть и законныхъ основаній, а отсюда ясно, что для чиновника единственнымъ руководствомъ оставалось „усмотрѣніе". Онъ посмотритъ-посмотритъ и направитъ силы и служебную энергію въ сторону наименьшаго сопротивленія. Жалованьишко плохое, по штатамъ екатерининскихъ временъ, а жить и плодиться, за всѣмъ тѣмъ, надо, вотъ онъ и начинаетъ, по мѣрѣ силъ и разумѣнія, промышлять насчетъ

добровольныхъ приношеній, отъ лицъ заинтересованныхъ притекающихъ.

Невеселую картину русской дѣйствительности рисуетъ разсказъ щедринскаго чиновника. Картина за картиной возникаютъ въ мозгу читателя. Становится страшно и жутко за общественный строй, покоящійся на такихъ основаніяхъ. Отказываешься понимать, какъ могло существовать общество при такихъ условіяхъ! Какъ не задохнулось оно въ этой атмосферѣ, какъ не исчезъ навсегда человѣческій обликъ у членовъ этого общества! Какое непонятное терпѣніе, какая удивительная выносливость, какой недостатокъ общественнаго темперамента! Правда, все это осталось по ту сторону Севастополя, и врядъ ли когда-либо русское общество добровольно пожелаетъ снова вернуться къ системѣ господства бумаги надъ дѣйствительною жизнью. Однако, закорузлость и реакція не могутъ быть такъ уже слабы среди общества, такъ долго жившаго этими порядками. Въ годину, когда эти элементы будутъ брать верхъ надъ справедливостью и правомъ, пусть общество вспомнитъ, что у него на книжныхъ полкахъ имѣются „Губернскіе очерки“ г. Щедрина. Пусть оно снова развернетъ эти страницы „и, пыль отъ хартій отряхнувъ, правдивыя сказанья“ перечтетъ. Если, послѣ этого, оно снова пожелаетъ вернуть жизнь своихъ дѣдовъ, если снова оно начнетъ наполнять свои тюрьмы не людьми злой воли, а неповинными жертвами ненормальнаго режима, то такому обществу не суждено занять почетное мѣсто въ исторіи европейскихъ народовъ.

Н. Б.

„Пріѣздъ ревизора" [1]).

(„Русскій Вѣстникъ", 1857 г., кн. 12.)

Въ декабрьскихъ книжкахъ „Русскаго Вѣстника" напечатаны стихотворенія гг. Фета и Курочкина, разсказы Щедрина и Андрея Печерскаго, ученыя статьи гг. Безобразова, Зедергольма, Капустина, Богдановича, Кулиша и другихъ. Изъ этого исчисленія лицъ, доставившихъ свои труды въ 1 мѣсяцъ, видно, какъ богатъ московскій журналъ даровитыми сотрудниками. Познакомимъ нашихъ читателей съ содержаніемъ нѣкоторыхъ изъ этихъ статей. A Iove principium,—начнемъ съ господина Щедрина, еще моднаго, все еще самаго современнаго разсказчика, главы цѣлой школы, которую многіе называютъ „судебною литературой" въ параллель „судебной медицинѣ" и „медицинской полиціи". Новый разсказъ называется: „Пріѣздъ ревизора", и на эту тему, уже много разъ бывшую подъ перомъ нашихъ литераторовъ, авторъ выводитъ новыя и занимательныя варіаціи, не выходя изъ преданнаго имъ безсмертію Крутогорска. Бывшій начальникъ Крутогорской губерніи, князь Чебылкинъ, извѣстный сколько по своимъ собственнымъ заслугамъ, столько и по достоинствамъ своей дочери, сорокалѣтней княжны Анны Львовны, сошелъ съ горизонта. Какъ, когда и почему?—никто не знаетъ. Можетъ-быть, рано или поздно, тайну эту огласитъ г. Щедринъ въ одномъ изъ будущихъ своихъ разсказовъ: подождемъ. Покуда, передъ нами начальникъ края, генералъ Голубовицкій, и его супруга Дарья Михайловна, женщина въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ и красоты, душа мѣстнаго общества не по положенію только, но и по граціи, уму и образованности; въ послѣднемъ отношеніи въ ней довольно мишуры, но, какъ видно, въ Крутогорскѣ это идетъ за золото.

---

[1]) „Сынъ Отечества", 1858 г., № 9. (См. стран. 65.)

Получается извѣстіе, что изъ Петербурга ѣдетъ ревизоръ, статскій совѣтникъ Максимъ Ѳедоровичъ Голынцевъ, „подъ предлогомъ освидѣтельствованія богоугодныхъ заведеній, въ дѣйствительности же для доскональныхъ разузнаній о нравственномъ состояніи служащихъ въ губерніи чиновниковъ". Въ секретномъ письмѣ изъ Петебурга объ отъѣздѣ ревизора его качества описываются такъ: „Словоохотливъ и добросердеченъ; любитъ женскій полъ и тонкое вино; выпивши, откровененъ и шутливъ безъ мѣры; въ особенности, уважаетъ людей, которые говорятъ по-французски, хотя бы то были даже и молокососы; въ карты играетъ, но насчетъ рукъ— ни-ни! Еще любитъ, чтобъ его называли вашимъ превосходительствомъ".—Можно заранѣе представить себѣ успѣхъ ревизіи этого лица надъ Фурначевыми, Змѣищевыми, Порфиріями Петровичами и всѣми прочими непромахами Крутогорскаго края, извѣстными по прежнимъ разсказамъ г. Щедрина. Ожиданіе ревизора, недѣли двѣ-три, проведенныя имъ въ Крутогорскѣ, и отъѣздъ—вотъ все содержаніе разсказа; но онъ оживленъ яркими картинами житья-бытья мѣстныхъ аристократовъ и ихъ удовольствій: краски этихъ картинъ, можетъ-быть, нѣсколько рѣзкія, превосходно ложатся подъ сатирическою кистью автора „Губернскихъ очерковъ". Безкорыстный ревизоръ кончилъ свой подвигъ къ общему удовольствію губернской аристократіи, которая, при всемъ наружномъ поклоненіи, хорошо поняла пустоту этой личности и, продавая товаръ лицомъ, провела почтеннаго Максима Петровича какъ нельзя лучше. Этотъ игривый и мѣткій разсказъ г. Щедрина имѣетъ отъ всѣхъ другихъ его произведеній то отличіе, что въ немъ, отъ начала до конца, никто не беретъ денежной взятки: чуть ли не первый примѣръ въ литературной дѣятельности автора „Губернскихъ очерковъ".

„Два отрывка изъ книги объ умирающихъ“ [1].

Въ послѣднее время голосъ г. Щедрина, къ которому такъ привыкла наша литература, сталъ раздаваться въ ней очень рѣдко: его новѣйшее произведеніе „Два отрывка изъ книги объ умирающихъ“ напечатано въ шестой книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ (второй за мартъ). Авторъ говоритъ, что, подъ названіемъ „Книги объ умирающихъ“, онъ предположилъ написать цѣлый рядъ разсказовъ, въ которыхъ дѣйствуютъ люди, „ставшіе, вслѣдствіе извѣстныхъ причинъ, въ разладъ съ общимъ строемъ воззрѣній и убѣжденій“, и что въ двухъ отрывкахъ онъ показываетъ крайнія границы этой галлереи, начало и конецъ ея. И точно, трудно вообразить себѣ двѣ личности, болѣе противоположныя между собою, чѣмъ герои этихъ двухъ разсказовъ; а, между тѣмъ, въ смертный часъ оба они оплакиваютъ ничтожество своего прожитого, свои обманутыя надежды — въ одинаковомъ настроеніи духа, хотя и съ самыхъ различныхъ точекъ зрѣнія и въ самыхъ несходныхъ сужденіяхъ. Въ первомъ отрывкѣ представляется намъ смерть Живновскаго, „обманутаго подпоручика“, и дѣйствующаго лица во многихъ другихъ очеркахъ г. Щедрина. Какъ и слѣдовало ожидать, онъ умираетъ въ нищетѣ, на голыхъ доскахъ; при немъ одинъ Рогожкинъ, этотъ оруженосецъ крутогорскихъ рыцарей плутовства, тоже давнишній знакомецъ читателей „Губернскихъ очерковъ“. Живновскій умираетъ; онъ охотно и даже весело переносилъ всѣ потасовки судьбы, всѣ невзгоды жизни, но, наконецъ, налитая желчью чаша переполнилась: спина покоробилась подъ ударами, и силы не выдержали... Онъ столько въ свою жизнь на базарахъ искупилъ овса и сѣна по порученію крутогорскихъ купцовъ, столько истопталъ сапоговъ, бѣгая въ аптеку и назадъ по порученію различныхъ благодѣ-

[1] „Сынъ Отечества“, 1858 г., № 27. (См. стран. 65.)

телей, во столькихъ пожарахъ принималъ живѣйшее участіе, что, наконецъ, сломился подъ тяжестью своей собственной дѣятельности. „На смертномъ одрѣ онъ проходитъ, воспоминаніемъ, всю жизнь свою, неудачи и щелчки судьбы приписываетъ недостатку „счастія“ и упорно доказываетъ передъ сговорчивымъ Рогожкинымъ свои высокія достоинства“.

Умирающій второго отрывка, не названный по имени, подходитъ подъ типъ разочарованнаго, развитого современнаго человѣка; онъ по-своему жалуется на обманувшія его надежды, на превратное воспитаніе и на жизненныя неправды. „Безсильные и недовольные прошли мы по жизненному пути, который для насъ былъ безплодною и опаленною лучами тропическаго солнца пустыней. Двери жизни навсегда остались закрытыми для насъ; повторяю, мы были слишкомъ младенчески-чисты, чтобы войти на это торжище, на которомъ все поглощено однимъ закономъ—закономъ купли и продажи“. Какъ видите, его жалобы не чужды риторики.— Мы боимся, чтобы, при продолженіи галлереи „умирающихъ“, авторъ не впалъ въ однообразіе, неизбѣжное при единствѣ настроенія и при повтореніи этихъ неновыхъ мыслей о жизненныхъ обманахъ и разочарованіяхъ, хотя бы слѣдующія лица его галлереи различались между собою развитіемъ и нравственнымъ достоинствомъ еще болѣе, нежели герои двухъ первыхъ отрывковъ.

Провинціальные корреспонденты и г. Щедринъ [1].

*) Въ ряду русскихъ обличителей всевозможныхъ сортовъ и покроевъ г. Щедринъ безспорно занимаетъ первое, вполнѣ заслуженное имъ мѣсто. Онъ первый развернулъ то широкое заманчивое знамя, подъ которымъ многіе и теперь идутъ „на бой со грѣхомъ и неправдой“; онъ первый, владѣя большимъ юморомъ и наблюдательностью, запустилъ свою

---

[1]) „Сѣверная Пчела“, 1861 г., № 1?9.

*) Эта статья принадлежитъ извѣстному публицисту Алекс. Петровичу Пятковскому, работавшему въ это время въ „Сѣверной Пчелѣ“. Авторъ статьи подкрѣпляетъ мысли, высказанныя Щедринымъ въ его очеркѣ „Литераторы-обличители“, примѣрами изъ текущей журналистики. Онъ доказываетъ, что Щедринъ глубоко правъ, осмѣивая тѣхъ литературныхъ обличителей нашей общественной жизни, которые частные случаи, мелочи, сплетни и дрязги дѣлаютъ предметомъ своихъ статей. Несомнѣнно, что этотъ видъ литературныхъ дѣятелей губитъ самое дѣло, за которое онъ берется безъ достаточной подготовки и сознанія тѣхъ задачъ и цѣлей которыя должна преслѣдовать журналистика. Не умѣя разглядѣть коренныя причины общественнаго зла, эти публицисты обращаютъ, исключительно, вниманіе на его единичныя проявленія и, такимъ образомъ, что называется, „палятъ изъ пушекъ по воробьямъ“. Правда, и сами обличители нашей прессы поставлены въ такія условія, при которыхъ только и можно, и то далеко не всегда, обличать мелкія провинности и упущенія по службѣ исправниковъ и городничихъ. Это испыталъ на себѣ, между прочимъ, и журналъ, въ которомъ напечатана приведенная здѣсь статья.

„Сѣверная Пчела“ стала выходить въ 1825 году подъ редакціей извѣстныхъ О. Булгарина и Н. Греча. Газета была крайне бѣдна содержаніемъ и не всегда по винѣ издателей. Нашей печати въ то время разрѣшалось говорить обо всемъ, за исключеніемъ вопросовъ, которые представляли дѣйствительный общественный интересъ. Ни вопросы внутренней жизни, ни мѣстной, ни городской, ни политической не подлежали оцѣнкѣ печати. Она не могла не только порицать администрацію и правительство, но и хвалить. „О чемъ же писать?“—спросилъ Булгаринъ начальника III отдѣл. ген. Дубельта. „Театръ, выставка, гостиный дворъ, толкучка, трактиры, кондитерскія—вотъ твоя область и дальше ся не моги ни шагу“... Эти условія для печати, приблизительно, ограничивали и во времена Щедрина сферу „компетенціи“ нашей печати. При такихъ условіяхъ трудно, конечно, „смотрѣть въ корень дѣла“. *Примѣч. Н. Денисюка.*

тигровую лапу въ тѣло провинціальнаго общества и, безъ вины виноватый, выучилъ насъ относиться къ этому обществу съ задорной жестокостью и излишнимъ высокомѣріемъ. Послѣ него почтенное знамя, имъ завѣщанное, уже сильно истрепалось въ рукахъ неопытныхъ носителей, а яркіе цвѣта, на немъ красовавшіеся, потеряли мало-по-малу свою первобытную яркость и чистоту. Но г. Щедринъ невиноватъ, по нашему мнѣнію, ни въ томъ ни въ другомъ: ни въ чрезмѣрномъ неуваженіи, которое наши передовые люди стали питать къ своимъ собратамъ-провинціаламъ, ни въ томъ, что бичъ обличенія, прежде серіозно хлеставшій по дѣйствительно больнымъ мѣстамъ провинціальнаго общества, нынѣ свищетъ больше надъ головами виновныхъ, которые отъ частаго и безтолковаго употребленія этого орудія потеряли уже къ нему всю свою прежнюю чувствительность. Правда, и въ повѣстяхъ г. Щедрина является по временамъ, въ видѣ мѣрки къ описываемому имъ обществу, какой-то благороднѣйшій человѣкъ, безстрастно проводящій идею правды и закона, и тѣмъ питаетъ отчасти самолюбіе читателя, желающаго стать, именно, на мѣсто этого „благороднѣйшаго“ человѣка, а никакъ не тѣмъ, надъ которымъ произносилъ онъ судъ свой; правда, что г. Щедринъ иногда увлекался желаніемъ сдѣлать поуродливѣе своихъ и безъ того некрасивыхъ героевъ, но, владѣя несомнѣннымъ художественнымъ талантомъ, онъ никогда не вдавался въ узко-обличительный тонъ и не затушевывалъ той среды, которая такъ хорошо объясняетъ и такъ много оправдываетъ дѣйствія отдѣльныхъ лицъ. Сквозь его грубоватые, иногда немного карикатурные очерки дѣйствующихъ лицъ вамъ всегда виднѣлась та сфера, которая производитъ именно такихъ, а не другихъ дѣятелей, виднѣлись пружины, которыя подчасъ насильно поворачиваютъ человѣка въ ту, а не въ другую сторону, заставляютъ его жить не такъ, какъ хочется, упорно подводя подъ неизбѣжный житейскій уровень. Совсѣмъ не то у преемниковъ г. Щедрина, которые вслѣдъ за нимъ пустились разрабатывать художественнымъ образомъ до тѣхъ поръ нетронутый или почти нетронутый родникъ общественныхъ золъ, нашей домашней грязи, такъ мѣтко и безжалостно опозоренный въ знаменитыхъ „Губернскихъ очеркахъ“. Читая послѣдніе, вы чувствуете, что входите въ совершенно новый для васъ міръ, имѣющій свои солнце и планеты, свою атмосферу и

свои собственные законы тяготѣнія; вы замѣчали, что въ немъ есть исключительныя генерическія[1]) черты и что этого міра нельзя слишкомъ горячо и торопливо прикидывать на аршинъ вашего собственнаго издѣлія. Позднѣйшіе обличители распорядились иначе: забывъ среду, изъ которой почерпнули своихъ героевъ, хорошо зная дешевизну и легкость отвлеченной морали, они пустились обличать выводимыя ими личности—да, вѣдь, какъ обличать?—такъ, что даже опошлили, въ сущности, очень благородное слово, т.-е. стали подводить каждый поступокъ этихъ лицъ подъ какой-нибудь параграфъ нравственно-уголовнаго кодекса, какъ говорится, не при нихъ писаннаго. Рьяность этихъ обличителей, къ которымъ примкнули многіе изъ провинціальныхъ корреспондентовъ нашихъ газетъ и журналовъ, перешла, наконецъ, всякіе предѣлы — и вотъ г. Щедринъ, глава и патріархъ семьи русскихъ обличителей, пишетъ новую повѣсть; въ ней онъ проводитъ окончательную рѣзкую черту между собою и своими задорными потомками,—повѣсть называется: „Литераторы-обыватели“ („Соврем.“, 1861 г., № 2)—и стремится охарактеризовать, по поводу одного частнаго случая, всѣхъ провинціальныхъ литераторовъ, которыхъ онъ назвалъ литераторами - обывателями. „Въ нынѣшнихъ письмахъ изъ провинціи, — говоритъ г. Щедринъ, — уже не найдетъ рѣчи о томъ, что вчерашняго числа въ городѣ N выпалъ градъ величиной съ голубиное яйцо, но повѣствуется, преимущественно, о предметахъ, близко касающихся нашего умственнаго и гражданскаго развитія; о градѣ же хотя иногда еще и упоминается, но вскользь, единственно для того, чтобы заявить, что при единодушныхъ усиліяхъ мѣстныхъ полицейскихъ властей и этотъ бичъ не могъ бы имѣть тѣхъ пагубныхъ для земледѣльца послѣдствій, съ которыми онъ сопряженъ въ настоящее время. Не говорится въ нихъ даже и о томъ, что такого-то числа въ городѣ Б. на бульварѣ играла музыка бѣлобородовскаго пѣхотнаго полка, а господа офицеры наслаждались благопріятною погодой и очаровывали дамъ своимъ благонравіемъ; напротивъ того, если порою и встрѣчается разсказъ о какомъ-либо происшествіи, то музыка и самая погода являются здѣсь дѣломъ побочнымъ; главныя же усилія автора направлены къ тому, чтобы

---

[1]) Родовыя.

заявить, что во время музыки произведенъ былъ скандалъ, причемъ прапорщикъ К. ущипнулъ жену пристава. (Не сынъ ли это вышневолоцкаго готтентота, Козляинова? спрашиваетъ анонимный корреспондентъ.) Я съ сердечнымъ замираніемъ жду каждаго новаго нумера „Москов. Вѣдомостей“. Изъ нихъ я узнаю во-первыхъ, что у насъ, въ городѣ Глуховѣ, городничій совсѣмъ отъ рукъ отбился; на главной площади стоитъ навозъ; торгующее сословіе продаетъ втридорога и, притомъ, дурной товаръ; въ довершеніе же всего на-дняхъ виденъ былъ на небѣ метеоръ, и никто не заблагоразсудилъ обратить на него вниманіе. Еще, наконецъ, узнаю, что въ окрестностяхъ г. Лякадина ухаетъ какая-то птица, что крестьяне въ одинъ голосъ говорятъ, что это ухаетъ лѣшій и предвѣщаетъ войну, а исправникъ и не думаетъ объ истребленіи этихъ предразсудковъ. Меня до слезъ трогала полемика между селомъ Ивановымъ и Вознесенскимъ посадомъ. „Коварные вознесенцы!“ воскликнулъ я, читая статью ивановскаго обывателя. „Да куда жъ, однако, вы лѣзете, ивановцы?“ думаю я, съ другой стороны, смакуя возраженіе обывателя вознесенскаго. И я до сихъ поръ не могу уяснить себѣ, въ чемъ заключаются обиды и язвы, которыми преисполненъ этотъ знаменитый споръ двухъ муниципій...“

„Прочитавши все это“, заключаетъ авторъ свой мастерской и весьма вѣрный очеркъ провинціальныхъ корреспонденцій, „я ощущаю спокойствіе во всемъ моемъ организмѣ. Я убѣждаюсь до очевидности, что нѣтъ уголка на Руси, который бы не имѣлъ своего пѣснопѣвца, карателя пороковъ и оградителя чистоты и невинности“.

Спокойствіе г. Щедрина совершенно законно и основательно. Дѣйствительно, рѣдкій уголокъ на Руси чувствуетъ теперь недостатокъ въ мѣстномъ бардѣ, всегда держащемъ наготовѣ перо свое, чтобы судить и рѣшать мірскія дѣла по всѣмъ правиламъ книжной, легко добытой морали. Отъ этой морали насъ не избавилъ и Н. Ф. Павловъ *), когда-то громко провозгласившій, что онъ чиновничьихъ взятокъ не считаетъ большимъ грѣхомъ на томъ основаніи, что это печальное явленіе есть не больше, какъ рѣзкій и очевидный продуктъ того же самаго настроенія души, которое носитъ

*) Извѣстный публицистъ, издававшій въ это время (1860—68 г.) газету „Наше Время“. *Прим. Н. Д.*

въ себѣ и „честнѣйшій чиновникъ гр. Соллогубъ“ *). Мы до сихъ поръ не убѣждены, что внѣшній фактъ, самъ по себѣ, ровно ничего не значитъ: все дѣло въ корнѣ, который даетъ отъ себя и цвѣточки и ягодки, а этотъ-то корень сидитъ во многихъ изъ насъ, побуждая схватить взятку, если не чистоганомъ и кредитными бумагами, то хоть извѣстною долей общественной боязни, пріятнаго для самолюбія трепета предъ нашимъ геніемъ, которымъ почтятъ насъ за яркую обличительную статейку. Тутъ взятка является болѣе утонченною и воздушною, больше, такъ-сказать, одухотворенною, но ея специфическія свойства и здѣсь остаются въ полнѣйшей неизмѣнности. Развѣ не пріятно прослыть вдругъ либераломъ и умнымъ человѣкомъ, перевысить свой натуральный ростъ, стать цѣлою головой выше своего ближняго, который предполагается въ этомъ случаѣ совсѣмъ неимѣющимъ головы, и все это не за какія-нибудь дѣйствительныя заслуги, а просто за счастливую память, удержавшую въ себѣ пять-шесть наставленій изъ прописи, въ родѣ того, что „добродѣтель полезна, а порокъ вреденъ“. Что большая часть общихъ мыслей, высказываемыхъ литераторами-обывателями, не выше давно затверженныхъ нами прописныхъ истинъ — это хорошо видно изъ повѣсти г. Щедрина и фактически подтверждается провинціальною корреспонденціей.

Стереотипныя фразы: „Въ настоящее время, когда...“, „Въ наше время прогресса и общественнаго преуспѣянія...“, все рѣже и рѣже встрѣчающіяся на страницахъ столичныхъ изданій, еще находятъ себѣ убѣжище подъ перомъ литераторовъ-обывателей, часто приклеенныя ни къ селу ни къ городу. Одинъ умный писатель (не помню, кто именно) сказалъ, что есть темы до того обширныя и избитыя, что всякій считаетъ себя способнымъ упражняться въ ихъ разработкѣ: сюда относится, между прочимъ, и вопросъ о прогрессѣ — общественномъ преуспѣяніи. Положимъ, что голова ваша не произвела ни одной самостоятельной мысли; положимъ, что вы не прочли ни одной серіозной книги; положимъ, даже, что вамъ все равно, подъ какимъ знаменемъ итти въ жизни; но ужъ насчетъ прогресса вы навѣрно составите себѣ хотя какое-нибудь, очень смутное и сбивчивое

*) Извѣстный писатель-беллетристъ.

понятіе. Двѣ-три газетныя строчки, случайно долетѣвшій до васъ разговоръ объ этомъ предметѣ, наконецъ, самая атмосфера, насквозь проникнутая тревожною борьбой разнородныхъ принциповъ,—и немудрено, что при такихъ условіяхъ въ вашемъ мозгу сложится, наконецъ, нѣкоторое смутное представленіе, нѣкій идеалъ прогресса. Тогда останется только схватить мечъ и, по-бенедиктовски,

Открыто летѣть
Навстрѣчу нечистому міру.

Конечно, не проживъ ни умомъ ни сердцемъ чисто внѣшней пропаганды своей, вы частенько будете сбиваться съ толку: увидите прогрессъ тамъ, гдѣ другой, болѣе осторожный судія найдетъ только одну пустую, ничего необѣщающую сумятицу, и, наоборотъ, проклянете то, въ чемъ есть много задатковъ хорошаго; но вы все-таки можете указать дорогу настолько же точно и определенно, насколько опредѣляетъ какую-нибудь мѣстность взмахъ руки, отмѣрившей цѣлую половину небосклона (какъ дѣлаютъ наши крестьяне, указывая путь проѣзжему). Въ ляказинскомъ болотѣ ухаетъ какая-то птица, а грубый народъ называетъ ее лѣшимъ: ясное дѣло, что это непростительный и несносный предразсудокъ; ясно, что благодать просвѣщенія не коснулась этихъ глупыхъ и неотесанныхъ головъ, задерживающихъ, такъ-сказать, естественный ходъ прогресса; ну, а если все это ясно, то отчего бы для скорости не поручить исправнику пропагандировать между ними просвѣщеніе? Вѣдь, полагалъ же „Атеней", по убѣжденію г. Ап. Григорьева (см. „Время" № 2) *), что австрійскій солдатъ съ своею просвѣщенною выправкой является цивилизаторомъ въ славянскихъ земляхъ, доселѣ коснѣющихъ во мракѣ невѣжества и незнакомыхъ съ тонкостями военнаго артикула! Какой-то офицеръ ущипнулъ жену винпаго пристава; катай его, офицера! тѣмъ больше, что онъ носитъ фамилію К. и состоитъ въ подозрѣніи родства съ вышневолоцкимъ готтентотомъ, хотя, можетъ-быть, въ этомъ поступкѣ виноватъ не столько самъ офицеръ, сколько жена виннаго пристава, подавшая къ тому поводъ, ибо, какъ есть на свѣтѣ всякіе пристава, такъ точно есть у нихъ и всякія жены...

*) Ап. Григорьевъ, извѣстный критикъ, писавшій въ этотъ періодъ въ журналѣ „Время". *Прим. Н. Д.*

Но эти смягчающія и разъясняющія дѣло обстоятельства нимало не входятъ въ кругозоръ мѣстнаго обличителя: ему лишь бы заявить свой современный образъ мыслей, извергнуть изъ себя литературную идейку да и пристегнуть къ ней наскоро какой-нибудь частный случай. Было, конечно, время, когда мы должны были услаждаться и тѣмъ, что отъ либеральныхъ идей не запирались семью замками: но это аркадское самоуслажденіе, кажется, осталось ужъ позади насъ...

„Какое-то подглядываніе и подслушиваніе,—говоритъ г. Щедринъ,—всасывается повсюду: и въ присутственныя мѣста, и въ клубы, и въ частные дома, не говоря уже объ улицахъ и распутьяхъ. Садитесь ли вы въ клубѣ за карты,—вы, даже, зажмурившись, ощущаете, какъ изъ темнаго угла сверкаютъ на васъ глаза мѣстнаго публициста, какъ-будто говоря: „Малодушный, какъ могъ ты найти въ себѣ рѣшимость заниматься презрѣнными картами въ то время, когда отечество столь сильно нуждается въ хорошихъ людяхъ?“ Идете ли по улицѣ и, зазѣвавшись по сторонамъ, ощущаете необходимость заняться своимъ носомъ,—предъ вами изъ земли выростаетъ другой публицистъ и, прерывая ваши занятія, вопіетъ: „Время ли, сударь, ковырять въ носу, когда отечество требуетъ служенія безпрестаннаго, неуклоннаго, неумытнаго?“

Словомъ, нѣтъ возможности предпринять самое простое дѣйствіе: сшить себѣ новое платье, купить фунтъ икры и т. п., чтобы дѣйствія этого не подсмотрѣлъ мѣстный бардъ и тутъ же безцеремонно не выразилъ: „Чѣмъ икру-то пожирать, лучше бы эти деньги на воскресную школу пожертвовать!“ Понятно послѣ этого, какъ плохо перерабатываются мѣстные нравы подъ вліяніемъ подобныхъ обличеній. Въ повѣсти г. Щедрина прекрасно разсказано, какое именно дѣйствіе произвела на провинціальныя власти та обличительная статейка, въ которой безпечному городничему ставили въ образецъ губернатора, отъ излишней ревности на пожарѣ „спалившаго себѣ фалды“; обвиняли того же городничаго въ томъ, что онъ играетъ въ карты, а засѣдателей мѣстнаго суда—что они „ковыряютъ въ носу“, когда милое отечество такъ нуждается въ рабочихъ рукахъ. „Отчего жъ и не утѣшить себя—отчего не поиграть въ картишки?“ говоритъ весьма основательно городничій въ отвѣтъ на такое обвиненіе: „днемъ-то набѣгаешься, такъ, вечеромъ

позволительно и къ зеленому столу присѣсть".—„Чѣмъ же я виноватъ, что ковыряю въ носу?" невинно замѣчаетъ добрѣйшій засѣдатель. „А что я не больно рано явился на пожаръ и не обжегъ себѣ фалдъ", продолжаетъ городничій, „такъ это потому, что у меня, во-первыхъ, испорчены всѣ трубы, а для ихъ починки мнѣ до сихъ поръ не прислали казенныхъ денегъ; во-вторыхъ, мой собственный бюджетъ далеко не такъ цвѣтущъ, чтобъ я сталъ жечь свое платье и возрождаться послѣ каждаго раза, какъ фениксъ. Итакъ", заключаетъ онъ свою рѣчь, разглаживая при этомъ поднесенныя ему въ даръ депозитки: „пусть ихъ пишутъ, пусть пишутъ!" Да и не въ правѣ ли онъ сказать это, вполнѣ сознавая, что всѣ подобныя обличенія бьютъ совершенно мимо цѣли и только щекочутъ его самолюбіе, какъ тѣ маленькія и язвительныя стрѣлки, которыми потчуютъ быковъ на испанскихъ бояхъ. Но на этихъ бояхъ въ концѣ спектакля выходитъ тореадоръ и окончательно поражаетъ раздразненнаго звѣря, а у насъ еще долго ждать этихъ благодѣтельныхъ тореадоровъ, да если бы они и были, то врядъ ли подняли бы мечъ за такое ничтожное обстоятельство, какъ ковырянье въ носу или отсутствіе обгорѣлыхъ фалдъ.

Спѣшимъ оговориться: мы ничуть не умаляемъ тѣхъ безспорныхъ заслугъ, которыя принесла намъ гласность понемногу обогащающаяся собственными именами, и избави насъ Богъ послужить дѣлу ея подавленія! Напротивъ, намъ хотѣлось бы, чтобы ея младенческій, беззубый возрастъ поскорѣе миновалъ для нея, перейдя въ цвѣтущее и полное силъ юношество, чтобы мы взглянули серіознѣе на гражданское обличеніе, не смѣшивая его съ дешевымъ остроумничаньемъ или съ жалкою выставкой распухшаго самолюбія. Мы увѣрены больше, чѣмъ кто-нибудь, что эта обличительная лихоманка недолго будетъ засорять свой живой источникъ, что она скоро пройдетъ, и изъ глубины нашихъ провинцій безпрепятственно выйдутъ на доброе дѣло тѣ богатыя силы, которыя покуда, большею частью, уплываютъ въ одну изъ столицъ и, преимущественно, въ Петербургъ, лишенныя возможности дѣйствовать честно въ своей собственной, провинціальной средѣ. Намъ кажется, что покуда дѣло гражданскаго обличенія, подверженное профанаціи, какъ и всякое другое человѣческое дѣло, досталось людямъ, далеко не лучшимъ въ провинціи и не тѣмъ, которые были бы

всего способнѣе направлять, куда слѣдуетъ, общественное мнѣніе. Читая нѣкоторыя обличительныя статейки, невольно чувствуешь, что благодѣтельная труба гласности попала въ очень слабыя и неприготовленныя руки, что не отъ избытка сердца говорятъ уста обличителя и что самъ онъ отказался бы приложить и палецъ къ общественной машинѣ, чтобы существенно двинуть ее впередъ. Стихъ Лукреція: „Пріятно, сидя на берегу, смотрѣть на борьбу вѣтра съ морскими волнами", какъ нельзя лучше примѣняется здѣсь къ дѣлу. Вслѣдствіе такого пассивнаго и небрежнаго отношенія къ дѣйствительной жизни гг. обличители, естественно, теряютъ всякое чутье этой жизни, простое и практическое пониманіе ея нуждъ и требованій, а бродятъ впотьмахъ, наобумъ, руководясь русскою пословицей: „Куда кривая не вынесетъ!" Такимъ образомъ, они не трудятся, да и не умѣютъ вникать въ коренныя причины существующаго зла, ограничиваясь на этотъ счетъ тупыми, доктринерскими фразами, а кажущееся добро слишкомъ торопятся расхваливать, не пытаясь анализировать его до той, часто, очень недалекой границы, на которой добро это мгновенно теряетъ всю свою прелесть. Вотъ хоть бы, напримѣръ, учрежденіе женской гимназіи, про которое говорится въ повѣстяхъ г. Щедрина: ну что можно возразить противъ самой идеи этого полезнаго учрежденія? Но взгляните попристальнѣе — и вамъ будетъ извѣстно, что эта гимназія основана не дружными, взаимными усиліями членовъ общества, сознавшихъ, наконецъ, всю пользу предпринимаемаго дѣла, а родилась просто изъ вынужденнаго пожертвованія откупщика, на котораго наложена тяжкая контрибуція въ пользу просвѣщенія. Къ тому же нельзя принять за норму общественнаго устройства такое осадное положеніе нѣкоторыхъ лицъ, хотя бы они назывались даже „откупщиками" и нажились путями весьма невыгодными для общества.

Все сказанное нами подтверждаетъ, какъ кажется, два несомнѣнныхъ факта. Во-первыхъ, провинціальное общество, за исключеніемъ тѣхъ теплыхъ, просвѣщенныхъ кружковъ, которые давно начали въ немъ формироваться, за исключеніемъ той „молодой Россіи", которая снабжаетъ благородными дѣятелями и общество и самую литературу, стоитъ, дѣйствительно, въ массѣ на очень низкой степени развитія, и достаточно провинціалу дохнуть хоть немного

свѣжимъ воздухомъ, чтобы почувствовать весь гной окружающей его атмосферы; во-вторыхъ, многіе литераторы-обыватели забываютъ, что они сами далеко не гиганты сравнительно съ этимъ обществомъ и нимало не соразмѣряютъ своихъ силъ съ тою ролью, которую они принимаютъ или, вѣрнѣе сказать, напускаютъ на себя. Придираясь къ мелочамъ, хватаясь за верхушки, толкуя объ обгорѣлыхъ фалдахъ, они какъ-будто и не видятъ центральнаго, большого зла, той „огромной болотины", по выраженію г. Щедрина, которая заражаетъ воздухъ и часто производитъ больныхъ, а не виноватыхъ. Городничій Гоголя невообразимъ безъ той среды, которая произвела его—она его мать, нянька и мамка; она родила его, вскормила, вспоила, и сколько вы ни браните такихъ городничихъ, но отъ вашей брани ихъ не убудетъ: это листья на деревѣ, „спадутъ одни, взойдутъ другіе",

— А лавръ все зеленъ, вѣчно свѣжъ,
И листья, будто, вѣчно тѣ жъ.

Великій доктринеръ, Гизо сказалъ:

„Мы постоянно колеблемся между двумя противоположностями: жалуемся на пустяки и пустяками удовлетворяемся. Въ желаніяхъ своихъ, въ мысляхъ, въ воображеніи мы до крайности впечатлительны, требовательны и безгранично честолюбивы; но когда дѣло доходитъ до дѣйствительной жизни, когда для достиженія цѣли необходимы усилія и жертвы, мы устаемъ и опускаемъ руки". Какъ бы и съ нами не случилось того же самаго, гг. литераторы-обличители. Въ одной изъ приведенныхъ нами выписокъ обличитель говоритъ: „Чѣмъ икру-то пожирать, не лучше ли было бы пожертвовать эти деньги на воскресную школу?" Мы очень рады, если всѣ литераторы-обыватели такъ кропотливо сокращаютъ свои издержки на пользу общую; но, подъ вліяніемъ тревожащаго насъ сомнѣнія, мы готовы повернуть эту фразу такимъ образомъ: „Чѣмъ бумагу-то марать и толковать о ляказинскихъ птицахъ, не лучше ли употребить свое время и ту же свою бумагу на пользу обучающагося народа?" Авось онъ со временемъ воспользуется лучше насъ и нашею книжною образованностью, и нашею задорною въ мелочахъ, но, въ сущности, очень робкою и недозрѣлою гласностью.

А. Пятковскій.

„Какъ кому угодно“ [1].

Разсказы, сцены, размышленія и афоризмы.

(„Современникъ“, 1863 г., кн. 8).

*) Собравшись писать къ вамъ по поводу одного литературнаго явленія, именно, повѣсти г. Щедрина, носящей заглавіе: „Какъ кому угодно“, я считаю нелишнимъ, милостивый государь, начать съ объясненія: кто я и почему пишу.

Именно, да будетъ вамъ извѣстно, что я читаю не только правильно и бѣгло, но я вполнѣ понимаю то, что читаю. Вотъ мои достоинства, которыя осмѣлюсь поставить вамъ на видъ. Я знаю, что ихъ, обыкновенно, цѣнятъ очень низко; сколько мнѣ извѣстно, одинъ только г. Косица **) имѣлъ счастливую мысль настойчиво хвалиться, что онъ понимаетъ статьи, которыя читаетъ. Между тѣмъ, если похвальба спра-

---

[1]) „Библіотека для чтенія“, 1863 г., 9 кн.

*) Эта статья напечатана въ „Библіотекѣ для чтенія“ въ періодъ упадка этого журнала (редакція А. Ѳ. Писемскаго). Начавшій удачно свою дѣятельность въ 30-хъ годахъ, съ такими сотрудниками, какъ: Пушкинъ, Языковъ, Барятинскій, Жуковскій, Гоголь, Козловъ, И. Киріевскій и т. д., журналъ имѣлъ необычайный по тому времени успѣхъ (7000 подписчиковъ). Съ появленіемъ „Отечествен. Запис.“ (1839 г.), во главѣ съ Бѣлинскимъ, „Библіот. для чтенія“ стала медленными, но вѣрными шагами клониться къ упадку. Этому еще способствовало и то обстоятельство, что журналъ, въ лицѣ своего редактора Сенковскаго (баронъ Брамбеусъ) и Дружинина, сталъ непріязненно относиться къ новой „натуральной школѣ“, во главѣ которой стояли Бѣлинскій и Гоголь. „Поэзіи мало,—пишетъ Дружининъ,—въ послѣдователяхъ Гоголя, поэзіи нѣтъ въ излишне-реальномъ направленіи многихъ новѣйшихъ дѣятелей. Самое это направленіе не можетъ называться натуральнымъ, ибо изученіе одной стороны жизни не есть еще натура. Наша текущая словесность изнурена, ослаблена своимъ сатирическимъ направленіемъ“. Когда же Некрасовъ взялъ въ свои руки „Современникъ“ (1847 г.) и умѣлымъ веденіемъ оживилъ журналъ, „Библіотека для чтенія“ еще быстрѣе пошла къ упадку. *Прим. Н. Денисюка.*

**) Подъ этимъ псевдонимомъ писалъ извѣстный публицистъ Н. Н. Страховъ въ журналѣ „Время“. *Прим. Н. Д.*

ведлива, то онъ хвалился дѣйствительнымъ преимуществомъ. Читать, конечно, многіе хорошо умѣютъ, но понимать—дѣло совсѣмъ другое. Могу васъ увѣрить, милостивый государь, что въ настоящее время не мало гуляетъ по бѣлу-свѣту людей съ поднятою головой, со смѣлымъ взглядомъ, съ рѣзкимъ словомъ, и которые, однакоже, понимаютъ только то, что они сами изволятъ думать. И мало ли случаевъ на каждомъ шагу, которые доказываютъ отсутствіе хорошаго пониманія. Зайдетъ ли рѣчь о какой-нибудь серіозной статьѣ, вы непремѣнно услышите и отзывъ такого рода: „Непонятно! Чортъ знаетъ что такое! Какая-то ерунда!" Заведется ли полемика, всѣ кричатъ: „Такого-то тамъ-то обругали!" Попробуйте спросить: почему, въ чемъ дѣло? Обыкновенно, вамъ отвѣтятъ: „Сильно обругали, ахъ какъ отдѣлали!"—и часто больше вы ничего не добьетесь. Впрочемъ, и пониманіе пониманію рознь. Нетрудно понимать отчасти, понимать криво, понимать шиворотъ-на-выворотъ; но понимать тонко, до совершенной ясности, такъ, чтобы вамъ была видна насквозь всякая мысль и всякое поползновеніе мысли—вотъ пониманіе, къ которому я стремлюсь и котораго достигъ во многихъ случаяхъ, ибо я издѣтства пристрастенъ къ словесности, издѣтства изощряю на ней свои способности. А наша словесность, кстати сказать, несравненно труднѣе для пониманія, чѣмъ какая бы то ни было другая. Въ самомъ дѣлѣ, многія ея явленія до того блѣдны, неустойчивы, хаотичны, до того мало въ нихъ опредѣленныхъ чертъ и твердыхъ точекъ, что понимать ихъ бываетъ не легко. Я, однакоже, старался и не унывалъ.

Недавно, однакоже, одинъ случай привелъ меня въ такое жестокое недоумѣніе, которое я едва ли когда испыталъ. Дѣло идетъ о г. Щедринѣ. Г. Щедринъ, несомнѣнно, одно изъ самыхъ яркихъ свѣтилъ нашей словесности. Долгое время я читалъ его съ великимъ удовольствіемъ и только изрѣдка останавливался надъ разными пятнышками и заковычками, которыя не совсѣмъ были ясны. Но съ нынѣшняго года звѣзда г. Щедрина попала въ плеяду „Современника", и тутъ-то и начинается недоумѣніе. Съ обыкновеннымъ моимъ тщаніемъ прочиталъ я все, что принадлежало перу г. Щедрина въ каждой изъ книжекъ его журнала. И что же вы думаете?

Представьте мое горе и мученіе, когда я началъ мало-

по-малу чувствовать, что я не понимаю его. То-есть, я не понималъ до конца, не понималъ такъ, чтобы мнѣ была ясна каждая его мысль и каждое поползновеніе его мысли. Напрасно я читалъ и перечитывалъ его статьи. Вы знаете, онъ мастеръ изъясняться картинно, рельефно, съ необыкновенно выразительнымъ подмигиваньемъ, прищелкиваньемъ и поплевываньемъ. Но хотя онъ усердно подмигивалъ, прищелкивалъ и поплевывалъ, хотя я съ ревностнымъ вниманіемъ слѣдилъ за нимъ, я никакъ не могъ понять, что же, наконецъ, все это значитъ и къ чему клонятся эти непомѣрныя усилія. Я находилъ въ нихъ какую-то неясность, шаткость, неустойчивость, однимъ словомъ, „виляньe", если позволите мнѣ на сей разъ выразиться слогомъ самого г. Щедрина, слогомъ, подражать которому я, вообще, не намѣренъ, да и не чувствую въ себѣ для этого достаточно силы. И вотъ я молчалъ, подавленный недоумѣніемъ, и тщательно скрывая отъ другихъ жестокую неудачу, которую терпѣла моя проницательность. Я молчалъ и ждалъ, что будетъ дальше. Нетерпѣніе мое проникнуть смыслъ неожиданной загадки возрастало съ каждою книжкой „Современника". Получаю, наконецъ, восьмую книжку, читаю съ замираніемъ сердца... и вдругъ—все ясно, все разоблачилось, передъ мною вдругъ обнаружилась тайна, по которой я такъ томился. Вы понимаете, теперь, милостивый государь, волненіе, въ которое долженъ былъ меня повергнуть этотъ случай! Вы понимаете мою радость, когда все вдругъ для меня объяснилось и я насквозь увидѣлъ то, что прежде казалось мнѣ смутнымъ! Вы понимаете, наконецъ, почему я почувствовалъ настоятельную потребность приняться за настоящее письмо, почему я долженъ написать его, чтобъ указать другимъ на внезапное открытіе, мною сдѣланное, и которое не всякій, можетъ-быть, сдѣлаетъ! Читайте, и вы увидите! Лукавый авторъ далъ своему разсказу заглавіе: „Какъ кому угодно", какъ-будто смыслъ его можетъ быть понятъ различно; на самомъ же дѣлѣ, нашъ сатирикъ уже въ самомъ заглавіи хотѣлъ осмѣять сомнѣнія тѣхъ, кто вздумалъ бы воспротивиться всесокрушающей силѣ истины. Онъ какъ-будто говоритъ: „Толкуйте, какъ угодно; смыслъ выйдетъ, все-таки, мой". Дѣйствительно, цѣль разсказа видна въ высочайшей степени. Г. Щедринъ имѣлъ въ виду осмѣять и поразить своею сатирой неправильный взглядъ на долгъ и обязанности.

Именно, нѣкоторые думаютъ, что у человѣка нѣтъ, собственно, никакого долга, никакихъ обязанностей, а есть только потребности. Долгъ и обязанности, думаютъ эти мыслители, есть нѣчто такое, что исполнять тяжело, что непремѣнно требуетъ жертвы собственнымъ благополучіемъ. Между тѣмъ, потребности есть нѣчто такое, что удовлетворять весьма пріятно. А такъ какъ пріятное несравненно лучше, чѣмъ тяжелое, то, по мнѣнію этихъ мыслителей, наилучшее устройство между людьми будетъ то, когда никто не будетъ исполнять никакихъ долговъ, а всѣ будутъ заниматься удовлетвореніемъ своихъ потребностей. Таковъ рецептъ для всеобщаго счастія. Если же нынѣ люди не слѣдуютъ этому рецепту и не догадываются объ его существованіи, то причина этому, будто бы, въ томъ, что нѣкоторые злоумышленники, для удовлетворенія собственнымъ выгодамъ, выдумали понятіе долга и обязанности, что они внушили это понятіе людямъ, и, пользуясь имъ, заставляютъ людей служить себѣ и приносить имъ жертвы. Вотъ доктрина, противъ которой вооружился г. Щедринъ всею силой своего сатирическаго ума. Чувствуя всю важность предмета, г. Щедринъ, какъ видно, намѣренъ дать своей сатирѣ обширные размѣры,—настоящій разсказъ, о которомъ мы говоримъ, составляетъ только вступленіе. „Не будучи въ состояніи,—говоритъ авторъ,—написать правоучительный романъ, я предпочитаю достигать своей цѣли посредствомъ ряда доступныхъ мнѣ очерковъ, въ которыхъ поочередно будутъ являться люди, относящіеся равнодушно къ своимъ обязанностямъ“. Вы тотчасъ увидите, милостивый государь, почему, именно, нужно было взять людей равнодушныхъ къ своимъ обязанностямъ, такихъ, которые тяготятся своими обязанностями, не чувствуютъ никакого внутренняго побужденія къ ихъ исполненію. Въ этомъ-то вся и сила, въ этомъ-то вся коварная злость сатирика, что она выбрала такихъ людей и прикинула къ нимъ препрославленную теорію потребностей.

Въ самомъ дѣлѣ, вся сила этой знаменитой теоріи заключается въ томъ главномъ пунктѣ, что долгъ будто бы постоянно противорѣчитъ потребностямъ; что исполненіе долга всегда непріятно, требуетъ мучительнаго напряженія, составляетъ тяжелое испытаніе. „А такъ какъ обязанности, въ коихъ человѣку упражняться предоставлено, разнообразны и многочисленны, и такъ какъ, притомъ, умъ человѣческій непсто-

щимъ въ изобрѣтеніи новыхъ таковыхъ же, то ясно, что жизнь человѣка усерднаго должна равняться поджариванію, на неугасимомъ огнѣ производимому. Этому человѣку всегда недосугъ, ибо нѣтъ той минуты, которая не несла бы за собой и своей обязанности. Даже посидѣть некогда на мѣстѣ, а все долженъ бѣжать и поспѣшать". Такъ излагаетъ г. Щедринъ мнѣнія, которыя вздумалъ опровергнуть. Полюбуйтесь же теперь, какъ ловко и искусно онъ это сдѣлалъ.

Противорѣчіе между потребностями и обязанностями—явленіе весьма нерѣдкое, о которомъ немало говорили и думали. Гдѣ есть различіе, тамъ бываетъ и противорѣчіе. Долгъ говоритъ одно, а потребности могутъ говорить совсѣмъ другое. Но здѣсь нужно различать между разными случаями. Бываютъ случаи, когда потребности по своему содержанію стоятъ выше того, что называютъ долгомъ; а бываютъ случаи, когда потребности ниже долга. Этотъ второй случай и есть самый обыкновенный и всего чаще встрѣчающійся. Въ самомъ дѣлѣ, кто, обыкновенно, страдаетъ отъ противорѣчія между долгомъ и потребностью? Страдаютъ люди, у которыхъ потребностей, сколько-нибудь соотвѣтствующихъ идеѣ долга, вовсе нѣтъ, у которыхъ душа чувствуетъ только грубыя, своекорыстныя, животныя потребности. Для такихъ людей всякія требованія, напримѣръ, требованіе долга, недоступны и непонятны; они знакомы имъ только по наслышкѣ. Но такъ какъ хуже другихъ быть не хочется, такъ какъ имъ боязно и стыдно откровенно сознаться въ своихъ чувствахъ и желаніяхъ, то вотъ они и принуждены лицемѣрить и передъ другими и передъ собою. Вотъ у такихъ людей и гнѣздится въ душѣ постоянное противорѣчіе между поползновеніями ихъ натуры и предписаніями долга.

„Давай-ка я изображу", думалъ г. Щедринъ, чтобы какъ можно рѣзче и выпуклѣе указать на свою руководящую идею. Г. Щедринъ взялъ предметъ, гдѣ не требовалось большой тонкости пониманія, гдѣ сущность дѣла прямо бросается въ глаза. Въ самомъ дѣлѣ, для перваго очерка онъ выбралъ обязанности дѣтей къ родителямъ и родителей къ дѣтямъ. Очевидно, легче ничего невозможно было и выбрать. Тутъ уже совершенно ясно, что если, напримѣръ, мать и сынъ чувствуютъ сколько-нибудь по-человѣчески, то ихъ обязанность любить другъ-друга есть, вмѣстѣ, и ихъ естественная потребность. Тутъ несомнѣнно, что отношенія

между родителями и дѣтьми бываютъ дурны только въ томъ случаѣ, если или родители дрянь или дѣти дрянь. Если же тѣ и другіе не дрянь, то тутъ можетъ быть множество столкновеній и разногласій, но, въ концѣ концовъ, громкая нота взаимной любви покрываетъ всякую разногласицу. Если же, наконецъ, среди людей съ крѣпкою душой и теплымъ сердцемъ является иногда потребность, которая заглушаетъ и эту ноту, которая разрываетъ и эту твердую цѣпь, то тогда остается только преклоняться и благоговѣть передъ подобнымъ нарушеніемъ обязанностей. Бываютъ, дѣйствительно, случаи, когда человѣкъ долженъ, какъ сказано, „оставить отца своего и матерь“ и прочее.

Но, вѣдь, дѣло у насъ идетъ не о такихъ случаяхъ, не объ этой, такъ-сказать, героической жизни: дѣло идетъ о жизни обыкновенной. Въ обыкновенной жизни, когда въ семействѣ сумбуръ и разладъ, знайте, навѣрное, что здѣсь есть какая-нибудь пакость. Или отецъ пьяница, или мать—femme galante (примѣры, приводимые самимъ г. Щедринымъ), или господствуетъ другая подобная потребность. Такъ-что, показать на отношеніяхъ между родителями и дѣтьми, что противорѣчіе между потребностями и обязанностями имѣетъ источникомъ и основаніемъ нѣчто гнусное,—весьма удобно, и нельзя выбрать лучшаго предмета для того, чтобы сразу и во всей рѣзкости выразить свой взглядъ на эти вещи. Полюбуйтесь же теперь, какую язвительную, тонкую и прелестную форму умѣлъ придать г. Щедринъ изображенію простой и элементарно-ясной истины! Со временемъ, если г. Щедринъ твердо укрѣпится на избранномъ имъ пути, онъ подаетъ блестящія надежды стать великимъ поборникомъ нравственности. При той психологической тонкости, съ которою онъ схватываетъ все мерзкое, онъ можетъ быть необычайно полезенъ въ нашей литературѣ. Наша литература отчасти заражена благодушнымъ оптимизмомъ, нѣкоторою преувеличенною вѣрой въ доброкачественность человѣческой души. Г. Щедринъ, при его художественной гадливости, могъ бы показать осязательно для всѣхъ, что зло не такъ легко уничтожается и добро не такъ легко достигается, какъ многіе предполагаютъ. Многіе думаютъ, что людямъ дурно жить на свѣтѣ только оттого, что они дурно стасованы, что стоитъ только ихъ перетасовать получше—все пойдетъ хорошо. Г. Щедринъ можетъ совер-

шенно наглядно показать намъ, что какъ ни тасуй свиней или ословъ, они все-таки останутся свиньями или ослами. Многіе думаютъ, что, какъ ни дурны и зловредны дѣйствія людей, они слагаются изъ элементовъ, будто бы годныхъ на хорошее и способныхъ произвести это хорошее, если ихъ употребить какъ слѣдуетъ. Г. Щедринъ можетъ въ картинахъ и въ дѣйствіи представить, что гнусность есть всегда гнусность, и что, какъ ни переворачивай и ни перетряхивай дрянь, изъ нея, кромѣ дряни, ничего не выйдетъ.

Вотъ богатыя темы для его будущихъ созданій. Вотъ важныя, полезныя и многосодержательныя истины, которыя онъ способенъ разрабатывать и пояснять съ величайшимъ успѣхомъ. Въ настоящемъ случаѣ г. Щедринъ исполнилъ свою задачу превосходно, и всякій, безъ сомнѣнія, принесетъ ему дань заслуженной хвалы. Онъ представилъ намъ въ лицахъ и картинахъ дурное или, скорѣе, дрянное семейство, въ которомъ нѣтъ никакихъ добрыхъ семейственныхъ отношеній, и показалъ, что корень зла заключается въ сквернѣйшихъ потребностяхъ и въ полнѣйшемъ отсутствіи всякихъ потребностей, сколько-нибудь чистыхъ и человѣчныхъ. Милое семейство состоитъ изъ матери, трехъ сыновей, внука и внучки. Никакой родственной любви между ними нѣтъ. Такая любовь, равно какъ и другія вещи, на которыя они ссылаются, напримѣръ, долгъ, молитва, грѣхъ, спасеніе души и тому подобное, знакомы имъ только по преданію; въ сущности, все это остается для нихъ вещами посторонними и не имѣетъ никакого корня въ ихъ душѣ. Въ сущности, сыновья ухаживаютъ за матерью только потому, что послѣ нея останется наслѣдство, раздѣлъ котораго зависитъ отъ нея. Кромѣ этого общаго для всѣхъ интереса, у нихъ есть еще особыя настоятельныя потребности, которымъ они ревностно служатъ, а именно: у двухъ старшихъ—желаніе составить себѣ карьеру на службѣ, а у младшаго—побуйствовать и поразвратничать. Внучка родительницы этихъ милыхъ сыновей тоже имѣетъ весьма опредѣленную потребность, именно—копить деньги. Наконецъ, въ довершеніе картины, внукъ—совершенный идіотъ, у котораго, кромѣ животныхъ потребностей—manger, boire и sortir, есть, развѣ, желаніе болтать какіе-то неудобопонятные звуки. Такія-то лица, не связанныя никакою связью и питающія одни эгоистическія желанія, авторъ сводитъ въ одну общую

картину. Весь разсказъ состоитъ въ томъ, что сыновья и внуки прiѣзжаютъ изъ Петербурга въ деревню поздравить главу семейства, Марью Васильевну, съ именинами и черезъ нѣсколько дней уѣзжаютъ во-свояси. Понятно, что тутъ является множество комическихъ столкновенiй, превосходно изображенныхъ авторомъ. Члены милаго семейства сходятся не изъ-за желанiя повидаться, а по заведенному обычаю, по непонятной для нихъ обязанности, главное же—по стремленiю подольститься къ маменькѣ и выиграть побольше выгодъ въ ея духовномъ завѣщанiи. Эти люди не имѣютъ между собою ничего общаго; они или не терпятъ, или боятся другъ-друга, и потому, сошедшись вмѣстѣ, причиняютъ другъ-другу множество толчковъ и непрiятностей. Если бы я имѣлъ мѣсяцъ-другой свободнаго времени, то я охотно посвятилъ бы его на то, чтобы анализировать смыслъ каждаго изъ тѣхъ, иногда, тонкихъ противорѣчiй между долгомъ и потребностью, которыя такъ мѣтко схвачены г. Щедринымъ въ его разсказѣ. Теперь же я принужденъ только сказать: прелестно, превосходно! и спѣшить къ заключенiю.

Заключенiе же будетъ вотъ какое: люди у которыхъ потребности противорѣчатъ обязанностямъ, бо́льшею частью, походятъ на героевъ этого разсказа—Сеню, Митю и Өедю, т.-е., такiе пошляки, такiе животноподобные эгоисты, что даже съ именемъ матери у нихъ связывается представленiе о духовномъ завѣщанiи, которое послѣ нея останется. Во-вторыхъ, мученiя этихъ людей суть только комическiя мученiя, для которыхъ изобрѣтена поговорка: „По-дѣломъ вору и мука“! Въ самомъ дѣлѣ, прочитавши разсказъ г. Щедрина, конечно, ни одинъ человѣкъ въ мiрѣ не скажетъ: „Ахъ бѣдные! какъ жаль, что понятiе долга мѣшаетъ имъ предаваться своимъ потребностямъ“. Напротивъ, читатель душевно радуется каждому несчастiю этихъ милыхъ героевъ. Кажется, если бы Өедя дѣйствительно отдубасилъ Сеню (какъ у него на то руки чешутся), а Митя упряталъ бы куда-нибудь подальше Өедю (какъ онъ этого тайно желалъ), то читатель былъ бы еще болѣе доволенъ.

Замѣчу здѣсь кстати, что въ разсказѣ г. Щедрина вполнѣ соблюдено правило нравоучительныхъ повѣствованiй, а именно:

Въ концѣ наказанъ былъ порокъ—
И торжествуетъ добродѣтель.

Въ самомъ дѣлѣ, самое счастливое лицо повѣсти есть, конечно, матушка Марья Васильевна. Несмотря на всѣ толчки, она благодушествуетъ и довольна своими именинами. И она возбуждаетъ дѣйствительное сочувствіе. Не говорю о томъ, что сія энергичная дама обладаетъ великолѣпнымъ складомъ рѣчи, выражается слогомъ, который едва ли уступилъ слогу самого г. Щедрина,—нѣтъ, и во внутреннемъ, душевномъ отношеніи въ ней нельзя не замѣтить чего-то материнскаго, тогда какъ въ ея сыновьяхъ сыновняго ужъ вовсе нѣтъ.

Наконецъ, въ-третьихъ и послѣднихъ, изъ разсказа г. Щедрина совершенно явствуетъ, что изъ такихъ людей, какъ Сеня, Митя и Ѳедя, и, слѣдовательно, вообще изъ людей, въ которыхъ потребности борятся съ обязанностями, никакого порядочнаго человѣческаго общества составить невозможно: что какъ ихъ ни переворачивай и ни перетасовывай, выйдетъ одна белиберда и больше ничего. Таковы плодотворные и весьма важные выводы для нашего общества изъ повѣсти г. Щедрина. Что до меня, то я отъ всей души радуюсь появленію этого разсказа: но... (всегда является это проклятое но), но скажу прямо: нельзя не пожелать г. Щедрину побольше осторожности и самой строгой осмотрительности. Путь, на который онъ вступаетъ, весьма опасенъ и нѣтъ никакой надобности держаться его. Положимъ, проповѣдовать нравственность похвально; положимъ, первый опытъ удался г. Щедрину, какъ нельзя лучше; но нельзя не бояться, что такія попытки не всегда сойдутъ ему съ рукъ удачно. Передъ разсказомъ объ именинахъ и послѣ этого разсказа помѣщены г. Щедринымъ какія-то вступленія и заключенія, какія-то объясненія и разсужденія, которыя слѣдовало бы вовсе вычеркнуть. Говоря откровенно, они производятъ впечатлѣніе какого-то ни на что негоднаго тряпья, подвѣшеннаго около хорошенькой картинки. Итакъ, опасность есть, и г. Щедринъ долженъ обратить на нее вниманіе: онъ обладаетъ драгоцѣннымъ даромъ неба, блестящимъ талантомъ; онъ долженъ уважать свой талантъ, долженъ дорожить имъ, беречь и охранять отъ всякаго вреда. Какія бы тамъ ни были другія потребности и надобности, нельзя легкомысленно приносить имъ въ жертву свой талантъ. Первое условіе, при которомъ можетъ развиваться и раскрываться талантъ, есть свобода его проявленій, его независимость отъ всякихъ

побужденій, кромѣ его собственныхъ, талантливыхъ побужденій. Вотъ почему всякое писаніе на заданныя темы вредно и дурно. Вы хлопочете о нравственности? Но повѣрьте, что въ вашихъ созданіяхъ, если они будутъ вольно и прямо вытекать изъ вашего таланта, всякій понимающій человѣкъ найдетъ гораздо больше и гораздо лучшихъ указаній и наставленій, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда вы станете нанизывать ваши образы и картины на какую-нибудь тощенькую идейку. На тему потому не слѣдуетъ писать, что всегда слѣдуетъ писать на множество темъ; нужно, чтобы созданіе напоминало собою жизнь, слѣдовательно, могло бы быть источникомъ множества выводовъ, и не подставкою для одной крошечной мысли, а, вообще, пищею для мышленія.



„Сатиры въ прозѣ“[1]).

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ пору начинавшагося обновленія Россіи, въ пору торжественнаго и побѣдоноснаго вступленія „Русскаго Вѣстника“ на литературную арену, появились „Губернскіе Очерки“ Щедрина. Успѣхъ ихъ былъ огромный. Въ виду предстоящихъ преобразованій, льготъ, которымъ не предвидѣлось границы, въ виду возникавшей гласности, обѣщавшей самые плодотворные результаты— „Губернскіе очерки“ показались торжественною панихидой по старому отжившему и теперь погребаемому порядку. Явились подражатели, возникъ, повидимому, цѣлый новый родъ литературы,—подъ именемъ „обличительной“. Робкіе умы даже нѣсколько струсили, осыпаемые отовсюду градомъ обличеній въ видѣ мелкихъ разсказовъ, сценъ, повѣстей, цѣлыхъ романовъ. Въ нѣкоторыхъ литературныхъ кружкахъ даже возникли опасенія, что новое направленіе даже поглотитъ всѣ другія литературныя формы и публика не захочетъ ничего читать болѣе, кромѣ различныхъ скандаловъ, намековъ на личности и тому подобное. Опасность казалась столь великою, что общество любителей Россійской словесности въ Москвѣ, въ лицѣ своего бывшаго предсѣдателя, сочло нужнымъ протестовать противъ новаго рода словесности или, по крайней мѣрѣ, отвести ему должныя границы. Съ тѣхъ поръ многое измѣнилось. Обличительная литература наша успѣла порядочно поконфузить себя въ глазахъ серіозныхъ и благомыслящихъ людей: оробѣвшія, было, на время жертвы ея, не видя большого вреда отъ сыплющихся на нихъ тупыхъ стрѣлъ, смѣло приподняли головы, а нѣкоторые изъ нихъ вздумали даже сами поиграть этимъ невиннымъ оружіемъ. Такъ, еще не очень давно, нѣкто, уличенный въ предложеніи взятки, съ успѣхомъ нѣкоторое время

---

1) „Библіотека для чтенія“, 1863 г.. 3 кн. (См. Стран. 218).

отыгрывался въ газетахъ путемъ той же гласности. Произошли и другія перемѣны. Нѣкоторые уже успѣли вполнѣ удовлетвориться совершившимся обновленіемъ Россіи и въ дальнѣйшемъ отложили всѣ свои надежды на попечительство начальства. Въ самой литературѣ консервативныхъ голосовъ оказалось гораздо болѣе, чѣмъ можно было ожидать еще въ недавнее время. Запуганные прежде единодушнымъ тономъ русской публицистики и, поневолѣ, пѣвшіе заодно съ нею, теперь многіе стали смѣлѣе и откровеннѣе высказывать свои истинныя, задушевныя убѣжденія; обнаружилось въ нашей прессѣ пріятное разнообразіе взглядовъ и убѣжденій, открылись междоусобныя стычки уже не изъ личныхъ и денежныхъ интересовъ, какъ, по большей части, бывало прежде, но чуть ли не изъ-за политическихъ убѣжденій. Провинціальныя извѣстія тоже перемѣнили характеръ и стали гораздо утѣшительнѣе: тамъ открылась женская гимназія или заводится общественный банкъ; здѣсь преобразованы пожарныя команды; въ другомъ мѣстѣ задумывается желѣзная дорога и ожидается только гарантія отъ правительства; однимъ словомъ, прогрессъ повсюду. Понятно, что въ виду всего этого, обличительная литература наша давно уже почти смолкла, не находя для себя новой пищи, и ограничивается для себя развѣ частными скандальчиками или перебранкой журналистовъ, но, видно, родоначальникъ ея, г. Щедринъ, уже по натурѣ своей неисправимый сатирикъ. Начавъ въ извѣстномъ тонѣ съ „Губернскихъ очерковъ" еще въ отдаленную эпоху, онъ и до сихъ поръ продолжаетъ свои обличенія, какъ будто мы остались тѣ же. Этого мало: въ вышедшей теперь его книжкѣ „Сатиры въ прозѣ", онъ неутомимо слѣдитъ за всѣми проявленіями новыхъ формъ нашего общественнаго обновленія и какъ-будто нарочно своими комментаріями портитъ наше радостное чувство при видѣ этихъ новыхъ растеній, произрастающихъ по отечественной почвѣ. Мы вполнѣ понимаемъ, поэтому, неудовольствіе, выраженное въ прошломъ году одною московскою газетой по поводу этой злорадной, несвоевременной дѣятельности г. Щедрина, и вполнѣ раздѣляемъ ея мнѣніе, что г. Щедринъ исписался. Чтобы сохранить, по возможности, остатки репутаціи г. Щедрина, какъ мѣткаго и справедливаго обличителя, мы дѣлаемъ предположеніе, что сатиры его никакъ не имѣютъ общероссійскаго характера, и что все, въ нихъ заключаю-

щееся относится, именно къ какому-то Глупову, лежащему гдѣ-нибудь въ глуши и затишьѣ, и гдѣ все, совершающееся у насъ, отражается лишь въ какомъ-то странномъ, искаженномъ видѣ. Но такъ какъ книга вышла и мы должны дать отчетъ въ ней, то посмотримъ же, въ чемъ недоволенъ г. Щедринъ своими глуповцами. Передъ нами разнообразныя картины, представляющія жизнь глуповцевъ въ различныя эпохи совершившихся надъ ними преобразованій. Странный, въ самомъ дѣлѣ, этотъ городъ и странные живутъ въ немъ люди, если вѣрить на слово г. Щедрину. Вотъ г-жа Падейкова (это, впрочемъ, уже давно прошедшее время), на смерть пораженная предстоящей крестьянской реформой, запутавшаяся, потерявшаяся въ конецъ отъ какихъ-то новыхъ порядковъ, которыхъ она ни понять, ни представить не въ состояніи и все по поводу нѣсколькихъ глупыхъ словъ, которымъ она даже и не вѣритъ: „А именно, двадцатаго ноября, въ самый день преподобнаго Григорія Декаполита, собственная, приданая ея дѣвка Ѳеклушка, торжественно, въ общемъ собраніи всей дѣвичьей, объявила, что скоро она, Ѳеклушка, съ барыней за однимъ столомъ будетъ сидѣть, и что неизвѣстно еще, кто кому на сонъ грядущій пятки чесать будетъ, она ли Прасковьѣ Павловнѣ или Прасковья Павловна ей“. Слова дѣйствительно глупыя и больше ничего, а сокрушили-таки въ конецъ г-жу Падейкову. Вотъ далѣе цѣлая компанія мелкопомѣстныхъ, тоже готовыхъ потеряться отъ привезенной изъ Петербурга бумаги все по тому же дѣлу. Но ихъ спасаетъ покуда мужъ совѣта, судья Кирхманъ. Резоны его въ высшей степени поучительны и справедливо встрѣчаютъ полное одобреніе (отъ строптивыхъ). „Если дѣло пошло въ ходъ, то намъ не желать нельзя“, говоритъ онъ строптивымъ порицателямъ высшей воли. „Слѣдственно, намъ нужно прежде всего поспѣшить заявленіемъ нашей готовности, а потомъ... а потомъ можно будетъ оставить все попрежнему...“—„Что называется измором, то-есть, измором, измором ее!“ радостно воскликнулъ одинъ изъ слушателей“.—„Эмансипацію-то“, поясняетъ другой. Но это опять-таки слишкомъ древняя картина; подвинемся поближе къ нашему времени.

Вотъ генералъ Зубатовъ, прежній по инстинктамъ и по образу мыслей, но связанный по рукамъ и ногамъ благодѣтельной гласностью, „рабъ своего долга“, какъ онъ теперь

выражается. Мы видимъ Зубатова уже въ эпоху совершающейся крестьянской реформы, занятаго вопросомъ о выборѣ мировыхъ посредниковъ и кандидатовъ къ нимъ. Положеніе щекотливое. Съ одной стороны генеральшѣ, женщинѣ еще соблазнительной, по выраженію глуповской молодежи, хотѣлось бы составить un quadrille des myrovoys. Съ другой,— самого Зубатова манятъ больше люди въ родѣ Пересвѣтъ-Жабы, у которыхъ все останется по-старому или которые, по крайней мѣрѣ, раздѣляли бы вполнѣ его убѣжденіе, что „строгость—это, такъ-сказать, главнѣйшій нервъ администраціи“. Но что прикажете дѣлать: слова закона ясно, твердо и положительно говорятъ о людяхъ, кончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Да, трудненько Зубатову съ этимъ новымъ духомъ. Но дальше, дальше. Передъ нами двое статскихъ генераловъ, „погребенныхъ заживо“, такъ попросту оставленныхъ за штатомъ, но эти совершенно невинные и безвредные. Мысли ихъ не дальше канцеляріи, письмоводства и т. п. Даже все новое, сокрушившее ихъ зло представляется имъ не болѣе, какъ въ видѣ какого-то вреднаго комитета. „Н-да! Этотъ комитетъ штучка!“ говоритъ Андрей Ивановичъ. „Надо полагать, что отъ него и въ инспекторскій департаментъ стрѣла полетѣла“,—отвѣчалъ Иванъ Андреевичъ. Но, несмотря на разсылающій стрѣлы комитетъ, ихъ еще манитъ надежда, что все это, можетъ-быть, пройдетъ и опять сядутъ они, посѣдѣвшіе въ канцелярскихъ тайнахъ мужи, на видныя мѣста и станутъ до гробовой доски прибавлять новыя графы въ бумагахъ, совершенствовать канцелярскій порядокъ и распложивать переписку... До сихъ поръ однако, мы имѣли дѣло съ типами, отжившими даже въ самомъ Глуповѣ, съ типами, во взглядѣ на которые не можетъ быть разногласія. Нѣсколько щекотливѣе становится вопросъ, когда мы, слѣдя за картинами Щедрина, переходимъ ко времени, ближайшему къ намъ, даже, пожалуй, къ нашему времени.

Здѣсь уже представляются намъ явленія, скорѣе говорящія за развитіе цивилизаціи—таковы: гласность, появленіе партій съ политическими убѣжденіями, либеральность мыслей и т. п. Анализъ сатиръ г. Щедрина становится особенно интереснымъ: какъ-то онъ подкопается въ своихъ глуповцахъ подъ явные признаки общественнаго преуспѣянія. Къ сожалѣнію, мы должны сознаться, что то спокойное, объек-

тивное творчество, которое создало намъ такое множество дорогихъ, хотя уже и отжившихъ образовъ, оставляетъ г. Щедрина въ его позднѣйшей дѣятельности. Свѣжесть ли и живучесть матеріала, съ которымъ онъ борется, разладъ ли его со многими весьма почтенными людьми, которые съ безусловнымъ довольствомъ смотрятъ на тѣ же самыя явленія, другія ли какія причины—мы не знаемъ; но ясно, что г. Щедрину уже не до спокойной живописи. Вмѣсто образовъ у него появляется болѣе лирическихъ выходокъ и разсужденій; слова, которыя мы прежде слыхали, развѣ, изъ устъ его героевъ, теперь излетаютъ изъ его собственныхъ устъ онъ, очевидно, негодуетъ, сердится, борется съ врагами, какъ по всему видно, еще сильными, живучими и не позволяющими сдать себя въ архивъ, какъ сдѣлалъ онъ это съ своими прежними героями. Итакъ, выслушаемъ же жалобы и обвиненія г. Щедрина противъ обновляющихся глуповцевъ, и затѣмъ безпристрастный читатель самъ увидитъ, правъ ли нашъ неисправимый сатирикъ, продолжая еще воевать съ общественными язвами, когда все, повидимому, такъ хорошо устраивается, или правы тѣ, которые думаютъ, что машина уже достаточно пущена впередъ, что, благодаря попечительному начальству, мы уже вполнѣ преобразованы, и теперь нужно только не мѣшать быстроидущему впередъ обществу какими-нибудь злостными порицаніями. Но уже на первыхъ порахъ нельзя не сознаться, что взглядъ г. Щедрина въ этой части книги поражаетъ глубокою односторонностью. Вообразите, напр., что прежде всего и преимущественно поражаетъ его въ наблюдаемомъ имъ обществѣ? Это будто бы конфузъ. „Конфузъ, говоритъ онъ, проникъ всюду; конфузъ въ сердцахъ помѣщиковъ, конфузъ въ соображеніяхъ почтеннаго купечества, конфузъ въ литературѣ и журналистикѣ, конфузъ въ умахъ администраторовъ, послѣдніе сконфузились сугубо—и за себя и за другихъ. Они почему-то вообразили, что все бремя эпохи конфуза лежитъ на ихъ плечахъ, и что, слѣдовательно, имъ предстоитъ учетверить свою собственную конфузливость, дабы утвердить корни этого невиданнаго у насъ растенія въ сердцахъ прочихъ человѣковъ. Зубатовъ, видимо, оторопѣлъ. Ударъ-Ерыгинъ, какъ муха, наѣвшаяся отравы, сонно перебираетъ крыльями“. Оба видятъ, что на смѣну имъ готовится генералъ Конфузовъ, и оба изъ кожи лѣзутъ, чтобы, предъявить кому слѣ-

дуетъ, что они и сами способны конфузиться настолько, „насколько начальство прикажетъ“. Воля ваша, а такъ рѣзко и утвердительно говорить нельзя. Можно намекнуть и на это самое, но вѣжливо, деликатно, съ оговоркой: что, дескать, все благополучно, хотя въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ и замѣтны замѣшательство, непривычка къ новому дѣлу и т. п. Тогда не было бы, конечно, сатиры, но, по крайней мѣрѣ, изложеніе было бы правдоподобнѣе, а главное, не такъ обидно. Или можно ли, напримѣръ, позволять себѣ такое голословное и злостное обвиненіе цѣлаго общества, какое заключается въ слѣдующей тирадѣ: „Чувствуешь, что жизненныя явленія мельчаютъ, что умы и сердца изолгались до крайности, что въ воздухѣ словно дымъ столбомъ стоитъ отъ вранья; сознаешь, что между либеральнымъ враньемъ и либеральнымъ дѣломъ лежитъ цѣлая пропасть, чувствуешь и сознаешь все это и за всѣмъ тѣмъ, какъ бы колдовствомъ какимъ, приходишь къ оправданію вранья, приходишь къ убѣжденію, что это вранье есть истина минуты, придумываешь какую-то „переходную“ эпоху, въ которую будто бы позволяется безнаказанно нести чушь, и на которую, безъ зазрѣнія совѣсти, сваливаешь всякую современную нечистоту, всякое современное безобразіе“. А молодое поколѣніе администраторовъ, взявшихся съ такимъ рвеніемъ за обновленіе отечества, неужели оно захочетъ узнать себя въ чертахъ, какими рисуетъ г. Щедринъ „подъ именемъ нынѣшняго хорошаго человѣка“ или подъ другимъ именемъ „новоглуповцевъ“?..

„Нынѣшній хорошій человѣкъ,—такъ начинаетъ г. Щедринъ изображеніе нашего молодого, дѣятельнаго поколѣнія,—въ наружномъ отношеніи представляетъ совершенную противоположность „хорошему человѣку добраго стараго времени“. Послѣдній былъ неряшливъ и не умытъ, частенько даже несло отъ него словно морскими травами; первый, напротивъ того, безукоризненъ и чистъ какъ кристаллъ. Послѣдній былъ невѣжественъ и грубъ; первый, напротивъ того, утонченъ и образованъ. Голова послѣдняго положительнымъ образомъ представляла собой плотную роговую накипь, сквозь которую трудно было даже съ молоткомъ пробраться; голова перваго, напротивъ того, на свѣтъ прозрачна, и при малѣйшемъ толчкѣ звенитъ какъ серебро“. Нынѣшній „хорошій“ человѣкъ въ карты ни-ни, исторій съ рылами, микитками и подсалазками удаляется, buvons употребляетъ лишь благороднымъ маперомъ, душитъ шампанское и презираетъ очищенную и только къ aimons обнаруживаетъ прежнее ехидное пристрастіе. Зато прямъ, какъ аршинъ, поджаръ, какъ борзая собака, высокомѣренъ, какъ семинаристъ, дерзокъ, какъ губернаторскій камердинеръ, и загадоченъ, какъ тотъ хвойный лѣсъ, который отъ истоковъ рѣкъ Камы и Вятки

тянется вплоть до Ледовитаго океана. Нынѣшній „хорошій" человѣкъ не наѣдается за обѣдомъ до-отвала и не падаетъ послѣ гречневой каши отъ изнеможенія силъ. Онъ обѣдаетъ вообще умѣренно (хотя и на чужой счетъ) и послѣобѣденное время любитъ посвятить радушной бесѣдѣ съ пріятелями о прекрасномъ устройствѣ оксфордскаго университета, о воскресныхъ забавахъ англичанъ, о рыбномъ обѣдѣ англійскихъ министровъ и о другихъ достопримѣчательностяхъ, въ которыхъ старые глуповцы ни уха ни рыла не смыслили. Онъ очень мило говоритъ объ self government и даже находитъ qu'au fond il y a du vrai dans tout ceci, но въ то же время не можетъ не поставить на видъ, что „большія континентальныя державы едва ли безъ опасенія за свою самостоятельность могутъ принять формы самоуправленія". Нынѣшній „хорошій" человѣкъ паче всего любитъ публичность и не затрудняется ни предъ какимъ обществомъ. Онъ жаждетъ позировать неустанно, наяву и во снѣ, позировать въ гостиной и чуланѣ. Онъ всю свою изобрѣтательность употребляетъ на то, чтобы подыскать себѣ публику, и, достигнувъ этого, охотно, во всякое время выбрасываетъ передъ нею накопившійся въ затхломъ архивѣ души хламъ юродивства прикрытаго громкими именами безкорыстія, честности, гласности и т. д. Нынѣшніе „хорошіе" люди, когда встрѣчаются въ обществѣ, то не плюютъ другъ другу въ лахань, но ведутъ между собою скромную и даже отчасти ученую бесѣду". —А что, mon cher, читали вы въ „Русскомъ Вѣстникѣ" послѣднее политическое обозрѣніе? Délicieux!—говоритъ одинъ хорошій человѣкъ другому.—А я, съ своей стороны, рекомендую вамъ, mon cher, „Письмо изъ Турина"... Charmant,—отвѣчаетъ другой „хорошій человѣкъ".

Какъ-будто недовольный еще этимъ изображеніемъ юныхъ надеждъ Россіи, г. Щедринъ поясняетъ его. Онъ увѣряетъ, будто блестящія фразы о политическомъ обозрѣніи, хотя и отличаются по наружности отъ предмета разговоровъ прежнихъ глуповцевъ, въ родѣ, напримѣръ, слѣдующей: „А какую мнѣ нынче канарейку изъ деревни привезли... персикъ!" но, въ сущности, самое главное, а именно, внутреннее настроеніе говорящихъ и отношенія ихъ къ предметамъ, совершенно тождественно въ обоихъ случаяхъ. И этого еще мало: авторъ выдумалъ даже какую-то Матрену Ивановну, которая такъ выражается въ минуты откровенности о молодомъ поколѣніи: „Пущай побалуютъ! Это, батюшка, пожалуй, еще лучше, потому что мысли у нихъ разбиваетъ! Они, сударь, и невѣсть бы чего начудесили, кабы все молча да насупившись сидѣли, а теперь вотъ сойдутся да набрехаются досыта... анъ сердце-то у нихъ и отойдетъ!" Столь же пристрастны, по нашему мнѣнію, отношенія г. Щедрина къ нашимъ „литераторамъ-обывателямъ". Вмѣсто заявленія сочувствія къ ихъ полезной дѣятельности онъ задаетъ имъ коварные вопросы въ родѣ слѣдующаго: „Зачѣмъ, дескать, когда вы беретесь

за перо, васъ внезапно одолѣваетъ какое-то адское само-услажденіе? Зачѣмъ вы съ самозабвеніемъ склоняете на бокъ вашу слабенькую голову, жмурите ваши голубенькіе глазки, уподобляясь соловью, заслушивающемуся своихъ собственныхъ пѣсенъ? зачѣмъ это?" Что прикажете отвѣчать на такой нескромный вопросъ? Да мало ли и другихъ злобныхъ выходокъ въ книгѣ г. Щедрина, которыхъ мы не станемъ, впрочемъ, выписывать. Нѣтъ, рѣшительно, г. Щедринъ одностороненъ и въ своихъ общихъ выводахъ, и въ картинахъ съ натуры, и въ различныхъ сердитыхъ выходкахъ. Но, можетъ-быть, глуповцевъ, вѣдь, и не пройменя иначе!..



Русская беллетристика и г. Щедринъ [1].

*) Н. Щедринъ извѣстенъ въ литературѣ нашей, какъ писатель-беллетристъ, посвятившій себя, преимущественно, объясненію явленій и вопросовъ общественнаго быта. Всѣ помнятъ его дебюты въ литературѣ: онъ открылъ тогда особенный родъ дѣловой беллетристики, который самъ же и довелъ потомъ до послѣдней степени возможнаго ему совершенства. Его „Губернскіе очерки“ доставили пресловутой Крутогорской губерніи и городу Крутогорску такую же почетную извѣстность, какою пользуются географическія мѣстности имперіи, существующія на картахъ. Эта грязная „Атлантида“ [2], своего рода, умѣла предоставить въ одно время данныя для административной повѣрки страны

[1] „Спб. Вѣдомости“, 1863 г., № 85. (См. стр. 74.)

*) Въ 50-хъ и началѣ 60-хъ годовъ большимъ авторитетомъ въ области критики пользовались Дружининъ и Павелъ Васильевичъ Аненковъ. И тотъ и другой писатель со своими умѣренно-либеральными взглядами пришлись ко времени. „Читая статьи и фельетоны этихъ критиковъ,—говоритъ г. Скабичевскій,—тщетно вы будете искать въ нихъ какіе-либо руководящіе принципы и критеріи; между тѣмъ, статьи эти имѣютъ вполнѣ опредѣленный и своеобразный характеръ, благодаря которому онѣ должны были очень нравиться петербургскимъ бюрократическимъ опортунистамъ, представителями которыхъ явились они въ литературѣ“.

П. В. Аненковъ род. въ Москвѣ въ 1813 г. Отецъ его былъ богатый помѣщикъ. Сначала онъ учился въ Горномъ Инст., а затѣмъ на историко-филологич. факультетѣ. Въ 1833 г. поступилъ въ канцелярію министра финансовъ, но вскорѣ бросилъ службу и въ 1840 г. уѣхалъ за границу, присылая оттуда письма, которыя Бѣлинскій печаталъ въ „Отеч. Зап.“ Начиная съ пятидесятыхъ годовъ и до половины шестидесятыхъ, Аненковъ выступаетъ какъ литературный критикъ и занимаетъ видное мѣсто. Начиная съ 70-хъ годовъ и до конца жизни (1887 г.) Аненковъ проводитъ за границей, изрѣдка наѣзжая въ Россію.

Прим. Н. Денисюка.

[2] *Атлантида*—миѳическій материкъ, лежавшій, по мнѣнію древнихъ, къ западу отъ Африки.

вообще и для общественныхъ и нравственныхъ соображенiй публики въ особенности. Съ тѣхъ поръ г. Щедринъ измѣнялъ рѣдко дѣловому своему направленiю, которое такъ удалось ему при дебютѣ, и почти никогда не употреблялъ пера своего на описанiе чего-либо, лишеннаго строгаго гражданскаго характера, на какiе-либо пустяки, касающiеся судьбы частнаго, безвѣстнаго лица или исторiи сердца, движимаго интересами, которыхъ прямо нельзя связать съ интересами всего общества. Г. Щедринъ не знаетъ такихъ случаевъ въ жизни, которые важны были бы однимъ своимъ нравственнымъ или художническимъ значенiемъ. Онъ вполнѣ свободенъ отъ сочувствiя къ эгоистическимъ радостямъ,— надеждамъ и страданiямъ человѣка, самовольно прорастающимъ иногда въ средѣ важныхъ стремленiй и вопросовъ эпохи, безъ явнаго отношенiя къ ней, какъ прорастаютъ кустарники и деревья на каменныхъ сводахъ старыхъ построекъ, не спросясь никого. Все это даетъ дѣятельности г. Щедрина какой-то суровый характеръ, несмотря на откровенный его юморъ и на замѣчательую способность его къ политической карикатурѣ и къ „шаржамъ" вообще. Правда, почти рядомъ съ офицiальнымъ мiромъ Крутогорской губернiи г. Щедринъ вывелъ намъ другой мiръ— мiръ простонародья, и показалъ признаки умиленiя, разсказывая намъ объ его простотѣ въ перенесенiи золъ и нищеты и объ оригинальномъ способѣ его воззрѣнiй на призванiе человѣка, на отношенiе къ людямъ, властямъ, учрежденiямъ; но такое отступленiе отъ дѣла, въ строгомъ смыслѣ слова, было только одинъ разъ въ его жизни. Г. Щедринъ, кажется, первый усомнился въ истинѣ того рода поэзiи, которую открылъ за русскимъ человѣкомъ, и поспѣшилъ стряхнуть съ себя обаянiе сладкой, но невѣрной мечты. Впрочемъ, можно допустить и другое объясненiе этому факту. Временное уклоненiе г. Щедрина отъ постоянной его манеры было, можетъ-статься, только невольною данью, выплаченною имъ поэтическимъ элементамъ жизни, которые, не находя себѣ мѣста въ его обыкновенной дѣятельности, должны были хоть разъ сказаться въ ней и тѣмъ съ большею силой, чѣмъ рѣже имѣли случай обнаружить себя. Это явленiе случайное, особенность, поясняемая самодѣятельностью душевныхъ силъ, которыя творятъ еще и не такiя чудеса съ людьми, но къ характеристикѣ писателя

оно относиться не можетъ. Съ той поры, однакоже, г. Щедринъ все строже оберегалъ себя отъ праздныхъ или недозволенныхъ порывовъ фантазіи, наглухо запиралъ отъ нихъ свою мастерскую—и, надо сказать, все ближе подходилъ къ идеалу дѣлового беллетриста, какой можетъ составить себѣ отвлеченная теорія. Въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ онъ простеръ наблюденіе за собой въ вышепоказанномъ смыслѣ почти до аскетизма. Одинъ томъ собраній его сочиненій, слѣдовавшій за его „Губернскими очерками"—„Сатиры въ прозѣ",—недавно вышедшій и о которомъ мы намѣрены сказать здѣсь нѣсколько словъ, заключаетъ въ себѣ результатъ наблюденій автора надъ обществомъ, безпощадный и во многихъ случаяхъ очень мѣткій анализъ тайныхъ побужденій, которыя управляютъ мыслями, чувствами, поступками и жизнью обитателей Глупова—этого новаго географическаго пункта, открытаго г. Щедринымъ и отличающагося отъ другихъ такихъ же пунктовъ тѣмъ, что настоящихъ его границъ никто указать не можетъ. Прежде всего мы видимъ здѣсь, что авторъ уже покинулъ форму правильнаго разсказа, которой онъ еще держался въ „Губернскихъ очеркахъ", и изобрѣлъ для себя новую—именно форму повѣствовательныхъ сочиненій. Оно и понятно; вѣдь, настоящій разсказъ есть тоже своего рода недозволенное развлеченіе для человѣка, занимающагося дѣломъ, и не только развлеченіе, но, по требованіямъ отчета за всю свою постройку и по требованіямъ правомѣрнаго распредѣленія красокъ—онъ есть еще и стѣсненіе. Освободившись отъ тяжести и стѣсненія обыкновеннаго разсказа, г. Щедринъ свободно предался анализу, оцѣнкѣ и олицетворенію тѣхъ элементовъ общества, которые онъ нашелъ въ немъ, когда новый моральный принципъ подъ видомъ крестьянской, административной и общественной реформы, насильно вторгся въ средину его, спасая его и обнаруживая всѣ тайны его болѣзни. Картина, представленная г. Щедринымъ, есть, въ своемъ родѣ, мастерская вещь и, какъ домашняя исторія общества, можетъ быть противопоставлена газетной или офиціальной жизни нравственнаго положенія образованныхъ классовъ въ знаменитую эпоху перелома, хотя, вопросъ—которая изъ этихъ исторій вѣрнѣе—остается вполнѣ нетронутымъ. Трудно и перечислить всѣ подробности Щедринскаго пониманія факта. Злоба потревоженныхъ глуповцевъ,

умѣряемая только ихъ страхомъ и привычкой повиновенія; паническій ужасъ, побѣждаемый, въ свою очередь, тайною надеждой на возвращеніе прежнихъ временъ; лицемѣріе, старающееся спасти остатки погибающихъ порядковъ яростнымъ заявленіемъ своей готовности на ихъ преслѣдованіе; грубость, своекорыстіе и насиліе, чувствующія, какъ убѣгаетъ почва изъ-подъ ногъ ихъ и взывающія къ новому принципу и къ новой силѣ, въ одно и то же время съ плачемъ и со скрежетомъ зубовъ, съ мольбой о спасеніи и съ проклятіями—тутъ все есть, даже и первые зачатки глуповскаго возрожденія въ формѣ молодыхъ администраторовъ, пропитанныхъ журнальными статейками и отыскавшихъ въ своемъ чтеніи поводы кичиться передъ людьми и презирать цѣликомъ провинцію, за исключеніемъ ея вѣчно-милой „клубнички“. Публика наша еще и не видала такого прямого, простого и яснаго способа относиться къ современности, но эта цѣльность воззрѣнія всего болѣе послужила г. Щедрину. Онъ отсюда получилъ свой особенный тонъ рѣчи, необычайную изобрѣтательность въ пріисканіи самаго живописнаго слова для своей мысли и, вообще, характеристическій стиль, чего нѣтъ ни у одного изъ его подражателей. А подражателей у него много было и есть. Нѣкоторые изъ нихъ пріобрѣли даже очень крупную извѣстность; но мы не боимся впасть въ преувеличеніе, сказавъ, что ихъ произведенія походятъ на дѣтскій лепетъ передъ мрачно-живописнымъ и юмористически-горькимъ словомъ г. Щедрина. Одни изъ нихъ, недовольные личнымъ опытомъ и наблюденіемъ, собирали злыя преданія цѣлой фамиліи или нѣсколькихъ фамилій и воплощали ихъ въ одномъ фантастическомъ лицѣ, которое получало отъ этого неестественно-преувеличенное выраженіе, потеряло человѣческій образъ. Другіе, а можетъ-быть, тѣ же самые, награждали одного героя понятіями, суевѣріями, предразсудками и коварствами цѣлаго сословія и пускали его на свѣтъ, обременивъ собственною своею эрудиціей и дѣлами многихъ сотенъ людей и многихъ поколѣній. Тому же процессу созданія слѣдовали и новѣйшіе подражатели повѣствовательнаго анализа, впервые употребленнаго г. Щедринымъ для опредѣленія, по-своему, общественной совѣсти. Но—увы!—одна страница размышленій, указаній и выводовъ г. Щедрина, даже безъ всякаго признака потрясающаго анекдота, сильнѣе дѣйствуетъ на нервы

человѣка, умѣющаго понимать слова, чѣмъ всѣ ихъ кропотливыя и даже талантливыя разысканія. Это оттого, что факты, какъ бы страшны ни были и какъ бы ни были ловко сгруппированы, еще не составляютъ всего на свѣтѣ; страшнѣе и важнѣе ихъ мысль, порождающая факты, а мыслію-то человѣка и занимается г. Щедринъ съ особенною любовію и съ особеннымъ искусствомъ. Впрочемъ, и это не оградило бы его отъ соперниковъ и не упрочило бы вполнѣ его торжество надъ ними.

Можно подражать ему и даже превзойти его въ мастерствѣ добиваться отъ лицъ и событій самыхъ неожиданныхъ признаній. Но есть въ нашемъ авторѣ сторона, подъ которую уже нѣтъ никакой возможности поддѣлаться. Мы говоримъ о силѣ, искренности и достоинствѣ его одушевленія, которое слышится въ каждой его строкѣ. Г. Щедринъ всегда принимается за свою работу, какъ фанатикъ этой самой работы. Благодаря этому качеству, онъ рѣшительно заслоняетъ собой всѣхъ другихъ беллетристовъ-изслѣдователей нашего быта, и въ произведеніяхъ его, пожалуй, можно все подвергать сомнѣнію, но сомнѣваться въ его одушевленіи или не испытать его паѳоса на себѣ, кажется намъ дѣломъ совершенно невозможнымъ. Крайне любопытно, поэтому, становится узнать поближе тѣ нравственные источники, изъ которыхъ рождается одушевленіе г. Щедрина, доставляющее ему такое преимущество передъ послѣдователями, окрашивающее его произведенія въ особенный цвѣтъ и сообщающее имъ такую рѣзкую физіономію. Сколько намъ кажется, въ основѣ его одушевленія нѣтъ опредѣленнаго, законченнаго, установившагося созерцанія, и едва ли возможно связать происхожденіе его съ какимъ-либо глубоко продуманнымъ политическимъ или соціальнымъ ученіемъ. Намеки, которые существуютъ въ его произведеніяхъ, на то или другое, или противорѣчатъ другъ-другу, или не имѣютъ тѣхъ признаковъ, по которымъ узнаются части обработанной системы непоколебимаго вѣрованія; по нашему мнѣнію, источникъ этого одушевленія кроется въ органическомъ, прирожденномъ и, стало-быть, непреодолимомъ отвращеніи къ быту, изъ котораго выросъ самъ г. Щедринъ, со всѣмъ своимъ поколѣніемъ, и въ инстинктивной потребности—преслѣдовать его вездѣ, гдѣ бы онъ еще оказался налицо. При этомъ, разумѣется, нечего ожидать, чтобъ авторъ вздумалъ заняться

судейскимъ разбирательствомъ недостатковъ и погрѣшностей описываемой эпохи или принялся за педантическое взвѣшиваніе и обсужденіе ея сторонъ: одного общаго представленія ея, какъ мрачнаго факта, вызывающаго и оправдывающаго всякаго рода отрицаніе, тутъ уже достаточно. Что настроеніе подобнаго рода способно развить замѣчательныя творческія силы въ писателѣ—доказывается примѣромъ г. Щедрина. Мы уже говорили объ его тонѣ, манерѣ и ѣдкомъ юморѣ, но этого мало: настроеніе подсказало ему всѣ тѣ эпитеты, прозвища, опредѣленія, которыя возлагаются авторомъ, словно позорныя клейма, на образы, имъ выводимые, на порядокъ мыслей, имъ разбираемый. И здѣсь еще не кончается дѣло. Одушевленіе, полученное этимъ путемъ, уполномочиваетъ его на такую смѣлость языка и рѣчи, на такую откровенность, и, во многихъ случаяхъ, на такой цинизмъ намековъ, какіе не были бы приняты публикой ни отъ кого другого: достоинство и сущность одушевленія покрываютъ здѣсь всѣ частности. Нельзя требовать отъ всякой натуры, чтобъ она умѣла воздержаться отъ поползновенія дѣлать жертвы вокругъ себя, когда она стремится къ опредѣленной цѣли: г. Щедринъ и дѣлаетъ ихъ изъ всѣхъ предметовъ и явленій, которые носятъ еще на себѣ мерцаніе стараго, пережитаго осужденнаго быта, при чемъ, какъ часто бываетъ, молчаливость и безпомощное состояніе жертвъ еще способствуютъ къ развитію его мыслящихъ силъ и фантазіи. Понятно теперь, отчего любой изъ черныхъ князьковъ Африки позавидовалъ бы нашему автору въ умѣньѣ такъ позорить своихъ подвластныхъ, какъ онъ иногда позоритъ своихъ глуповцевъ, это олицетвореніе отсталой части общества, которая вздыхаетъ по недавнимъ порядкамъ, а вмѣстѣ и той, которая занята отыскиваніемъ себѣ путей къ выходу на свѣтъ и держится еще между прошлымъ и будущимъ, не имѣя настоящаго, въ переносномъ смыслѣ слова. Но одушевленіе, какія бы льготы оно ни давало писателю и какъ бы ни способствовало развитію всѣхъ качествъ его таланта, находитъ себѣ противодѣйствіе у читателя, если въ образованіи этой силы настолько же участвовали закоренѣлыя привычки ума, насколько и прямое наблюденіе жизни, если, наконецъ, для поддержки и питанія его необходимо, во всякомъ случаѣ, поспѣшное рѣшеніе, быстрый и окончательный приговоръ ко всякому вопросу сразу. Явленія, забытыя при этомъ, или

дурно истолкованныя, вымѣщаютъ сдѣланную имъ несправедливость тѣмъ, что представляютъ уму читателя, въ формѣ молчаливой оговорки и мысленной поправки, и это въ то самое время, когда онъ, повидимому, расположенъ безраздѣльно наслаждаться своимъ писателемъ. Мы полагаемъ, что нѣтъ человѣка, который бы такъ понялъ „Сатиры въ прозѣ", какъ онѣ написаны, и обошелся бы безъ тайныхъ поправокъ и оговорокъ при чтеніи ихъ, а если есть добродушные люди, не испытавшіе нужды ограждать чѣмъ-либо свое сужденіе при этомъ, то они не уразумѣли г. Щедрина и приняли за достовѣрное указаніе, за результатъ наблюденія и обобщенія явленій многое изъ того, что порождено у г. Щедрина единственно складомъ литературной рѣчи и капризною игрой его юмора.

Молчаливая оговорка, тайная умственная поправка отдѣляются сами собой изъ увлекательныхъ страницъ названной нами книги, вмѣстѣ и на ряду съ ея содержаніемъ, съ ея мыслями и образами, составляя какъ бы ихъ естественное дополненіе и необходимую принадлежность. Даже черты глубокаго анализа, нерѣдко попадающіяся въ ней, получаютъ право гражданства въ умѣ читателя только съ помощью тайной оговорки или поправки: черты эти, почасту, выходятъ у г. Щедрина изъ своего скромнаго званія замѣтокъ, облекаются имъ въ образы и начинаютъ жить неестественною, хотя и курьезною жизнью, выдавая себя за главныхъ агентовъ и двигателей общества. Оговорка возвращаетъ ихъ на свое мѣсто и за одинъ разъ производитъ 2 дѣла: спасаетъ истину представленія и миритъ читателя съ авторомъ. Такимъ образомъ, самостоятельность и достоинство обоихъ, благодаря мысленной поправкѣ, соблюдены вполнѣ. Можно спросить, почему авторъ представилъ читателю додѣлывать свои произведенія и заниматься тою работой, которая лежала на немъ самомъ; но отвѣтъ ясенъ: дѣловой беллетристъ всегда можетъ удовлетворить одному требованію заразъ, какъ, напримѣръ, требованію публичнаго обнаженія грязныхъ или опасныхъ путей жизни, но отвѣчать многоразличнымъ потребностямъ общественной мысли и настоящему ея содержанію уже не въ силахъ. Истинно дѣловой беллетристъ, будь онъ прозаикъ или стихотворецъ, или драматургъ (а дѣловыхъ стихотворцевъ и драматурговъ у насъ развилось тоже не мало),—принужденъ

выбирать для своей обработки только самые простые жизненные факты, очевидные и ясные для всѣхъ глазъ, съ однимъ выраженіемъ, неспособнымъ мѣняться и, такъ-сказать, съ одною окаменѣлою миной, удобною особенно для наблюденія по своей неподвижности. Какъ только предметъ получилъ движеніе или, по своей природѣ, не можетъ основаться всегда въ одинаковомъ мертвенномъ положеніи, а, напротивъ, обнаруживаетъ, хоть въ слабой степени игру жизни, признаки свободы и способности къ видоизмѣненіямъ—онъ уже превосходитъ творческія силы дѣлового беллетриста и ускользаетъ отъ его глазъ, если не весь, то иногда доброю и существенною его частью. Это такъ вѣрно, что г. Щедринъ, обладающій, несомнѣнно, художническими способностями, всегда употребляетъ ихъ въ дѣло тамъ, гдѣ желаетъ достичь нѣкоторой полноты изображенія, и очень часто перестаетъ быть дѣловымъ писателемъ, не замѣчая того и несмотря на все свое желаніе оставаться въ лонѣ направленія, которому посвятилъ себя и которому далъ ненарушимые свои обѣты. Онъ становится тогда менѣе рѣзокъ и своебычень, предчувствуетъ возраженія и, видимо, принимаетъ свои мѣры противъ нихъ: презрительная рѣчь и поносящій юморъ текутъ менѣе изобильными струями, но онъ тотчасъ получаетъ обратно энергическіе пріемы, крутое слово, ослѣпляющія краски, какъ только представляется неудержимый соблазнъ изобразить предметъ съ одной его выпуклой, простой и, такъ-сказать, нагло-очевидной стороны. Низшая порода дѣловыхъ беллетристовъ—pur sang своего рода, лишенная всѣхъ художническихъ средствъ, одушевленія, таланта и мыслительности г. Щедрина, и не подозрѣваетъ въ немъ этой способности мѣняться. Она уже никогда не испытываетъ поползновеній возвыситься надъ своею темой, чтобъ имѣть возможность оглядѣть ее цѣликомъ и со всею ея обстановкой. Поэтому, всѣ сложныя явленія жизни, образовавшіяся изъ разнородныхъ, многочисленныхъ и противоположныхъ другъ-другу элементовъ, доступны для нея только на одномъ условіи—на условіи разложить ихъ на составныя части и потомъ заняться каждою такою частью особо. Этотъ механическій способъ справляться съ задачей, предстоящею писателю—одинъ только и находится въ распоряженіи дѣловой беллетристики, потому что примѣрить разнородныя качества и примѣты явленія въ одномъ живомъ

образѣ, въ одномъ живомъ представленіи его, способно только свободное художническое созерцаніе. Къ тому же дѣловая беллетристика оказывается постоянно глухою и слѣпою къ промежуточнымъ, смѣемъ такъ выразиться, явленіямъ жизни, къ характерамъ, которые стоятъ посерединѣ крайнихъ типовъ, къ образамъ, идеямъ, стремленіямъ, въ которыхъ спутаны родовыя черты противоположныхъ физіономій, ученій и инстинктовъ, а, между тѣмъ, эти промежуточныя явленія составляютъ всегда труднѣйшую часть созданія, такъ же, какъ они, составляютъ и настоящую стихію общежитія. По способности подмѣчать эти промежуточныя явленія и выводить ихъ на сцену опредѣляется даже достоинство писателя въ другихъ странахъ. Мы это говоримъ совсѣмъ не изъ ребяческаго презрѣнія къ дѣловой беллетристикѣ, заслуги которой, по указанію грубыхъ, вопіющихъ сторонъ общественнаго быта нашего, никогда не могутъ быть забыты. Мы свидѣтельствуемъ только фактъ, что, по существу самаго дѣла, какъ бы ни были относительно полезны ея разысканія, цѣпки и мѣтки ея выводы—произведенія, внушенныя ею, не способны лечь въ основаніе какого-либо созерцанія и дать вѣрные матеріалы для окончательнаго приговора по какому бы то ни было, нѣсколько сложному вопросу жизни и мысли. Но есть эпохи, всего болѣе нуждающіяся въ дѣловой беллетристикѣ и, кромѣ нея, почти ничего болѣе не требующія для удовлетворенія своей жажды къ самопознанію:—это такъ.

Правы ли онѣ или не правы—здѣсь не мѣсто разсуждать,—довольно, что онѣ есть. Доказательствомъ тому служитъ самъ г. Щедринъ, и множество другихъ романистовъ, поэтовъ, даже историковъ, которые, конечно, его не стоятъ. По нашему мнѣнію, ничто такъ не свидѣтельствуетъ въ пользу предположеній, что всѣ они и, преимущественно, г. Щедринъ, отвѣчаютъ, именно, требованіямъ своей эпохи, какъ это добровольное служеніе публики ихъ цѣлямъ, какъ радушное исполненіе за нихъ литературнаго урока со стороны читателей. Относительно нашего автора, напримѣръ, читающая публика ведетъ себя чрезвычайно добросовѣстно: она безпрестанно поясняетъ слова автора, мысленно вводитъ ихъ въ мѣру, какъ намъ неоднократно случалось замѣчать, провѣряетъ ихъ всѣми извѣстными ей явленіями и очень часто находитъ возможность не отчаиваться тамъ, гдѣ для г. Щедрина

начинается непробудная ночь. Все это не мѣшаетъ публикѣ, по справедливости, любить писателя, который даетъ ей случай помѣстить очень приличнымъ и удобнымъ способомъ всю массу свѣдѣній, положительнаго или отрицательнаго свойства, накопленныхъ ею самою съ теченіемъ времени. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, кажется намъ, авторъ даже самъ разсчитываетъ на пособіе съ этой стороны—именно во всѣхъ тѣхъ, когда, окончательно покидая разсказъ, онъ предается вполнѣ одному сатирическому своему одушевленію и выражаетъ его посредствомъ бойкихъ, мѣткихъ и парадоксальныхъ размышленій. Блюстителемъ фактовъ, оправдывающихъ или ограничивающихъ его настроеніе, становится тогда читатель, и каждый изъ насъ долженъ хорошо помнить ту работу мысли и анализа, которую задавалъ ему г. Щедринъ этими мѣстами своей книги. Мы нисколько не намѣрены изучать по ней всю любопытную исторію отношеній, существующихъ между дѣловымъ беллетристомъ и его публикой неизбѣжно, или пересчитывать разные роды обязательныхъ повинностей, требуемыхъ первымъ отъ послѣдней: одинъ примѣръ уяснитъ достаточно наши слова. Возьмемъ для него хоть драматическую сценку: „Погоня за счастьемъ". Тутъ являются уморительнѣйшіе искатели ново-открытыхъ мѣстъ „мировыхъ посредниковъ" [1]), съ извѣстнымъ жалованьемъ, и безобразнѣйшій губернаторъ, всѣмъ знакомый Зубатовъ, который предоставляетъ 2 вакансіи, находящіяся въ его распоряженіи—Тамберлику и Кальцоляри [2]): такъ называютъ сами себя 2 франта, цвѣтъ и надежда Глупова, изъ любимыхъ собесѣдниковъ г-жи Зубатовой. Трудно и вообразить себѣ что-либо забавнѣе этой сценки; но для того, чтобы имѣть возможность наслаждаться всѣми ея подробностями, читателю совершенно необходимо устранить изъ дѣла вопросъ о происхожденіи мировыхъ посредниковъ, а также отчасти поправить, несогласное съ исторіей, отсутствіе всякаго приличія и декорума въ соискателяхъ этихъ мѣстъ; тогда онъ можетъ свободно отдаться юмору автора, ибо важнѣйшая задача—спасеніе весьма существенной стороны факта—произведена имъ самимъ заранѣе. Мы бы не уди-

[1]) Мировыми посредниками назывались должностныя лица, на которыхъ было возложено устройство отношеній между освобожденными крѣпостными и ихъ помѣщиками.

[2]) Знаменитые итальянскіе пѣвцы того времени.

вились, если бы тотъ же авторъ, который написалъ превосходную сценку, пришелъ къ убѣжденію, что мировой институтъ нашъ грѣшитъ излишними претензіями на независимость, которыя опасны для правильнаго хода самаго дѣла, ему порученнаго, и въ другой статьѣ выразилъ бы мнѣніе о необходимости подчинить его строгому контролю администраціи. Дѣловая беллетристика другого способа овладѣть нѣсколькими сторонами предмета, какъ мы уже сказали, не имѣетъ.

Впрочемъ (и на этомъ мы особенно настаиваемъ), не всѣ образы, факты и представленія, заключающіеся въ новой книгѣ г. Щедрина, нуждаются въ подобной операціи со стороны читателя. Есть между ними такіе, которые носятъ прикосновеніе художнической руки, и отвѣчаютъ сами на всѣ вопросы, порождаемые ихъ сущностью и смысломъ. Къ нимъ мы причисляемъ превосходные типы новыхъ либераловъ, превратившихся мгновенно изъ грубыхъ, животныхъ натуръ въ лучезарныхъ исповѣдниковъ свободы (статья „Къ читателю“), фигуры ораторовъ и публицистовъ, возникшихъ по провинціямъ, вслѣдствіе начальническаго извѣщенія о томъ, что дозволено мыслить и требуются гражданскія добродѣтели (статья „Скрежетъ зубовный), и т. д.

Комическая сила, проявляющаяся какъ въ очеркѣ этихъ лицъ и ихъ раскраскѣ, такъ и въ изъясненіи поводовъ, управляющихъ ими, одолѣла тутъ всѣ возраженія, и черезъ нихъ г. Щедринъ тотчасъ же вступаетъ въ права художника, которыя, собственно, сводятся на одну привилегію: созданія его еще могутъ быть опровергаемы (хоть это дѣло и не легкое!), но не иначе, какъ цѣликомъ, въ основной ихъ мысли, и уже никакихъ оговорокъ, поправокъ, снисхожденій и уступокъ не допускаютъ. Гораздо менѣе нуждается въ нихъ читатель и тогда, когда передъ нимъ развивается въ статьѣ одно изъ самыхъ простыхъ, грубо ясныхъ и убѣдительныхъ явленій, какъ, напримѣръ: насиліе, случай административной испорченности и яркая черта изъ исторіи крѣпостного быта. Всякая работа мысли и эстетическаго чувства тутъ умолкаетъ, подавляемая тяжестью одного матеріальнаго факта, который лежитъ гнетомъ надъ духовными способностями читателя. По отношенію къ крѣпостному праву онъ можетъ дать полное свое согласіе даже и такому автору, если тотъ добросовѣстно принялся за изображеніе его остат-

ковъ или его подвиговъ, съ цѣлью очистить отъ нихъ общество, не говоря уже о такомъ ратоборцѣ крѣпостного права, каковъ г. Щедринъ, который разоблачилъ неимовѣрныя психическія движенія, тайну невѣроятныхъ мыслей и желаній, какія способно было возбуждать безнравственное учрежденіе въ людяхъ. Другой сборникъ, обѣщанный намъ г. Щедринымъ—„Невинные разсказы“ — вѣроятно, будетъ заключать истинно-поразительныя сцены и картины изъ темной сферы старо-помѣщичьяго быта, которыя разбросаны были по журналамъ. Замѣтки наши, можетъ-быть, въ нѣкоторыхъ случаяхъ придутся и къ нимъ; оговорка, можетъ-быть, и тутъ пріютилась и исполняетъ свою обычную службу автору, хотя и въ меньшихъ размѣрахъ, чѣмъ гдѣ-либо, разумѣется. Одушевленіе, которое у г. Щедрина покрываетъ всевозможныя уклоненія и выноситъ его всегда торжествующимъ и правымъ, несмотря ни на какія погрѣшности противъ жизни, совпадало при появленіи разсказовъ изъ крѣпостного быта съ общественными потребностями, съ борьбой всего развитого, противъ признаннаго и нестерпимаго зла. Нужна была побѣда во что бы то ни стало и, надо сказать, г. Щедринъ бился доблестно за побѣду, какъ немногіе. Намъ гораздо труднѣе понять, отчего теперь, по окончаніи дѣла, въ недавнихъ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ, онъ снова возвращается къ упраздненному крѣпостному праву, даже къ прежде-бывшимъ формамъ его, и возвращается не какъ строгій историкъ, а опять съ жаромъ и пыломъ бойца-сатирика. Онъ созидаетъ страшные психологическіе этюды, уже безъ ясной общественной цѣли, да и безъ претензіи на художническое достоинство. Этюды эти производятъ внечатлѣніе „посмертныхъ сочиненій“,—и даже самая страстность благороднаго одушевленія уже не производитъ на читателя прежняго дѣйствія: ему все кажется, что это старое, подержанное одушевленіе, оставшееся у г. Щедрина въ экономіи отъ прежней эпохи. Мы никакъ не хотимъ вѣрить, чтобъ воображеніе и творческія силы г. Щедрина уже не могли и жить безъ крѣпостныхъ толчковъ, которые доставлялъ имъ уже отошедшій порядокъ (а это замѣчается у многихъ его послѣдователей), чтобы прелесть раздраженія, сообщаемаго очень простыми явленіями добраго, стараго времени, сдѣлалась для него необходимостью. Наоборотъ, мы искренно убѣждены, что онъ обра-

тится къ „невиннымъ“ разсказамъ настоящаго времени, хотя явленія новой эпохи значительно посложнѣе предшествующихъ, не такъ легко уловляются и исчерпываются, да и не всегда позволяютъ замѣнить себя однимъ одушевленіемъ, какъ бы оно ни было благородно въ сущности. Содѣйствіе публики, вызываемое его юморомъ, наблюдательностью и талантомъ, конечно, не измѣнитъ ему и теперь; но не слѣдуетъ, можетъ-быть, упускать изъ виду и того, что внутренняя правда мысли и изображенія должны цѣниться писателемъ, по крайней мѣрѣ, столько же, сколько и превосходныя средства изложенія, которыми онъ обладаетъ.

П. Аненковъ.

По поводу сатиръ Н. Щедрина [1].

*) Недавно вышло отдѣльною книгой собраніе разсказовъ Щедрина, подъ общимъ заглавіемъ „Сатиры въ прозѣ". Считаю нужнымъ познакомить читателей съ этимъ замѣчательнымъ произведеніемъ.

Во-первыхъ, я не вижу причины называть сатиры г. Щедрина: „Сатиры въ прозѣ",—онѣ гораздо болѣе принадлежатъ къ области поэзіи, нежели многое множество самыхъ благозвучныхъ и безукоризненно риѳмованныхъ стиховъ нашихъ плодовитыхъ стихопроизводителей. Гоголь, болѣе нежели кто-либо другой, доказалъ намъ, что поэтическая образность не заключается въ размѣрной рѣчи съ извѣстнымъ числомъ слоговъ и созвучіяхъ. Въ числѣ прежнихъ трудовъ г. Щедрина можно указать, напримѣръ, на „Аринушку", какъ на вполнѣ поэтическую картину; наконецъ, послѣднія сатиры—въ высокой степени поэтическія, физіологическія картины общественнаго быта, нравовъ, обычаевъ и движенія мысли въ нашемъ родномъ Глуповѣ. Сатиры г. Щедрина несравненно выше „Губернскихъ очерковъ", разумѣется, говоря о значеніи послѣднихъ, какъ художественнаго произведенія, безотносительно того значенія, которое они могли имѣть по многимъ постороннимъ причинамъ.

---

[1]) „Народное Богатство", 1863 г., №№ 256 и 258.

*) „Народное Богатство"—политич., экономич. и литературная газета, издававшаяся съ 1862—65 гг. Авторъ здѣсь приводимой статьи высоко ставитъ сатиры Щедрина и со стороны художественной и со стороны ихъ современности, жизненной правды, общественнаго значенія, полагая, что онѣ очень и очень долго будутъ жить и освѣщать тѣ явленія и стороны нашей жизни, которыя авторъ ихъ сдѣлалъ предметомъ своихъ геніальныхъ произведеній. Міросозерцаніе людей стараго и новаго поколѣній, людей дореформенной Руси и реформированной Россіи, очерчены, по мнѣнію автора этой статьи, гораздо правдивѣе и глубже, чѣмъ то сдѣлано И. С. Тургеневымъ въ его знаменитомъ романѣ „Отцы и дѣти". *Прим. Н. Денисюка.*

Вообще, авторъ „Скрежета зубовнаго“ и „Г-жи Падейковой“ болѣе поэтъ, нежели кто-либо изъ нашихъ писателей.

Если бы будущее поколѣніе пожелало наглядно, въ общихъ чертахъ, прослѣдить, каковы были отцы, а, въ особенности, познакомиться съ тѣмъ, что въ послѣднее шестилѣтіе думала, дѣлала и говорила, а еще болѣе, чего ждала и боялась масса зажиточныхъ, а также крупныхъ и мелкихъ обывателей городовъ и селеній—въ такомъ случаѣ ихъ бы вполнѣ удовлетворили сатиры г. Щедрина. Словомъ, если бы будущему поколѣнію вздумалось полюбоваться картиной общества съ той минуты, когда со всѣхъ концовъ Глупова поднялись разные толки о предстоявшихъ въ то время реформахъ, по поводу чего глуповцы намололи много вздору и, между прочимъ, даже договорились до... какъ бы повѣжливѣй выразиться—до словоизверженій нѣкіихъ московскихъ публицистовъ—словомъ, съ такою цѣлью имъ лучше всего обратиться къ сатирамъ. Особенно, если у него, то-есть у будущаго поколѣнія, хватитъ терпѣнія перебрать старый хламъ, прослѣдить все, что говорилось въ журналахъ и газетахъ, а главное, если оно ознакомится съ тѣмъ, что дѣлалось и какъ жилось въ Глуповахъ, Крутогорскахъ и Краснорѣцкахъ.

Если у нихъ хватитъ терпѣнія, не мѣшаетъ пробѣжать пламенные диөирамбы и грозныя филиппики г. Громеки *), пожалуй, также письмо угличанъ, калужанъ и проч.—Тогда убѣдятся читатели, что статьи: „Къ читателю“, „Скрежетъ зубовный“ и „Г-жа Падейкова“, какъ въ общемъ, такъ и въ деталяхъ—вѣрное изображеніе прошлой жизни нашего родного Глупова.

Кто знаетъ, насколько опередятъ насъ наши дѣти? Быть-можетъ, они не повѣрятъ, что всѣ эти Зубатовы, Падейковы, Иванушки—ихъ кровные, ихъ отцы и дѣды. Во всякомъ случаѣ, если будущее поколѣніе потрудится порыться въ лѣтописяхъ и возстановить факты въ ихъ истинномъ значеніи, то, навѣрно, согласится, что въ сатирахъ, какъ въ зеркалѣ, конкретно и вполнѣ вѣрно дѣйствительности отра-

*) Степ. Степ. Громека, жандармскій офицеръ, получилъ громкую извѣстность и своею дѣятельностью по обращенію уніатовъ въ православіе, и своими публицистическими статьями о внутреннихъ вопросахъ; извѣстна также его полемика съ Герценомъ. *Прим. Н. Д.*

зились жизнь и нравы отцовъ, со всѣми ея однообразными и многосложными условіями.

Каждый изъ насъ, какъ бы мало ни имѣлъ общаго съ Силами Терентьичами, Падейковыми, Обалдуй-Таракановыми и другими незабвенными обывателями Глупова, — все-же чувствуетъ, что связь съ ними разорвана не вполнѣ, онъ дышитъ тѣмъ же воздухомъ, кругомъ себя видитъ еще нерѣдко этихъ представителей глуповской цивилизаціи. Да и въ себѣ самомъ частенько подмѣтитъ болѣе или менѣе рѣзкую черту или привычку глуповскаго свойства, что, естественно, происходитъ, какъ необходимое слѣдствіе вліянія глуповской почвы и климата, отъ которыхъ совершенно уединиться почти невозможно. Словомъ, каждый изъ насъ сознаетъ, что кровная, родственная связь соединяетъ его съ Глуповомъ, и что Крутогорски и Краснорѣцки—все это родные и знакомые города.

Прочтите первыя страницы статьи: „Къ читателю,“ и вы начнете съ того, что не повѣрите первымъ строчкамъ, которыя говорятъ: „еще не такъ давно“, и вмѣсто того скажете: „и въ настоящую минуту“. Во-вторыхъ, по всей справедливости статью эту можно назвать физіологическимъ очеркомъ нашей не *прошлой*, но *настоящей* жизни.

Глуповъ нашелъ своего Теньера *). Въ конкретныхъ, поэтическихъ образахъ рисуется предъ нами жизнь Глупова, нравы и обычаи его обитателей. Зубатовы, Сени Бирюковы, Падейковы и, наконецъ, Иванушки—это портреты значительной доли цѣлыхъ сословій, милліоновъ людей. Это не карикатуры, но фотографическіе снимки, вѣрные до пустыхъ мелочей! Если въ дѣйствительности мы видимъ, что въ нашемъ родимомъ Глуповѣ много найдется людей, не похожихъ на Обалдуй-Таракановыхъ и Падейковыхъ, то это—рѣдкое исключеніе, хотя сильное и энергичное, но все же незначительное меньшинство, которое, если не будетъ сидѣть сложа руки, и будетъ какъ заразы избѣгать словоизверженій,—пожалуй, въ скорости построитъ мостъ чрезъ рѣку Большую-Глуповицу, осушитъ болота въ Крутогорскахъ и Краснорѣцкахъ, и Иванушки изъ бѣдныхъ и неумѣлыхъ

*) Давидъ Теньеръ, нидерландскій художникъ XVII вѣка, извѣстенъ своими жанровыми картинами, не стремившимися къ возвышенному и серіозному, а отличавшимися остроуміемъ и простымъ, здравымъ пониманіемъ явленій жизни. *Примѣч. Н. Д.*

преобразятся въ разумныхъ и дѣятельныхъ хозяевъ своей земли и труда.

Съ одной стороны, отпрыскъ нашихъ древнихъ богатырей краснорѣчиво разсуждаетъ съ французомъ въ вагонѣ о помѣщичьемъ Selfgoverment; кругомъ его нищіе духомъ разѣваютъ рты отъ изумленія и думаютъ: „Ужъ не знаменитый ли публицистъ Ржевскій сидитъ между нами?“ Съ другой стороны, краснорѣчіе князя Обалдуй-Тараканова, толкующаго о постепенности и нетороцливости, наконецъ, г-жа Падейкова, впадающая въ томное умопомѣшательство, при извѣстіи, что „оно“ рѣшено и подписано, и заставляющая своихъ Машекъ и Ѳеклушекъ молиться Богу: „Дѣвки (кричитъ она, вбѣгая въ дѣвичью, послѣ исторіи съ Прошкой, который забылся до того, что отставилъ ногу, разговаривая съ барыней), дѣвки! сейчасъ всѣ до одной молитесь Богу, чтобы этого зла не было“. Все это дополните капитаномъ Постукинымъ, также Зубатовымъ, неусыпно заботящимся о благосостояніи ввѣреннаго ему града, наконецъ, присоедините сюда философа Силу Терентьича—и предъ вами полная и вѣрная картина бывшаго помѣщичества. Исключенія цѣлаго не измѣняютъ, и картина общаго вѣрна дѣйствительности. Эта разношерстная толпа либеральничаетъ, краснорѣчиво разсказываетъ о Selfgovernment и гласности и мало ли о какихъ хорошихъ вещахъ, обезображенныхъ руками этихъ господъ.

Чрезвычайно характеристиченъ такъ-называемый авторомъ: „Глуповскій анекдотъ“. Анекдотъ этотъ заслуживаетъ большого вниманія; это — дѣйствительно знаменательный фактъ, рѣзко обрисовывающій бывшія условія крѣпостного быта. Не вдаваясь въ размышленія по этому поводу, мы обратимъ вниманіе читателя на анализъ этого факта, сдѣланный самимъ авторомъ. Затѣмъ разсказывается другой анекдотъ объ Иванушкѣ бѣдномъ и Иванушкѣ богатомъ, который, взятый вмѣстѣ съ первымъ анекдотомъ, безъ всякихъ комментарій и дополненій можетъ служить лучшимъ отвѣтомъ на многое. Порядокъ вещей въ нашемъ богоспасаемомъ Глуповѣ, а, отчасти, и причины бѣдности Иванушекъ выясняются картинно и образно этими двумя фактами, взятыми прямо изъ обыденной, повседневной жизни.

Вотъ нѣкоторыя черты, необходимыя для поясненія извѣстныхъ особенностей характера глуповскаго міра: „По-

вторяю, говоритъ г. Щедринъ, мы, люди глуповскаго міра, слишкомъ повадливы, слишкомъ покладисты. Мы во всякой средѣ легко уживаемся, со всякимъ явленіемъ миримся. Удивительная способность таять и обращаться въ сырость умерщвляетъ въ насъ всякую иниціативу, всякую попытку къ самодѣятельности". Да, міръ глуповскій не блестящъ и неразуменъ. Намъ кажется, что не безъ пользы можно бы обратить ихъ вниманіе на слѣдующее замѣчаніе автора: „До тѣхъ поръ пока мы будемъ направо и налѣво раздавать poignées de main [1]) встрѣчному и поперечному, болѣе принимая въ соображеніе покрой жилета, нежели покрой мысли, до тѣхъ поръ мы будемъ слабы, мы будемъ нелѣпы, мы будемъ презрѣнны, до тѣхъ поръ наше слово будетъ подобно писку кулика-поручейника, назойливо, но безслѣдно раздающемуся надъ пустынными берегами кормилицы-поилицы рѣки Большой-Глуповицы".

Глуповцы—народъ, любящій покой, постепенность и многія другія добродѣтели и даже, можетъ-быть, ко всѣмъ этимъ милымъ вещамъ привязанные болѣе, нежели самъ пламенный и благонамѣренный публицистъ Громека. Вотъ что говорятъ они о себѣ: „Мы, люди стараго глуповскаго закала, любимъ, чтобы во всемъ этомъ было легкое постепенное и неторопливое впередъ поступаніе, и притомъ, чтобъ поступаніе это существовало, преимущественно, въ нашихъ общественныхъ діалогахъ, и только самую чуточку переходило въ практику..."

Что такое Глуповъ и его обыватели? На это мы отвѣтимъ слѣдующими словами самого автора: „Поразскажу тебѣ, что знаю, о нашихъ глуповскихъ „элементахъ". Два сорта есть глуповцевъ: глуповцы старшіе, кушающіе сладко, почивающіе мягко, щеголяющіе въ полосатыхъ одеждахъ и носящіе разнообразныя имена и фамиліи, и, наконецъ, глуповцы меньшіе, извѣстные подъ общимъ названіемъ „Ивапушекъ". Но, этимъ мы ограничимся, хотя хотѣлось бы поговорить объ отношеніяхъ глуповскаго историка къ родному нашему городу и, преимущественно, остановиться на тѣхъ страницахъ, гдѣ онъ говоритъ о своей невольной привязанности къ родному городу; особенно хороши 69 и 70 страницы. Но такъ какъ и безъ того статья гро-

[1]) Пожатія руки.

зитъ сдѣлаться длинною, потому, стараясь быть, по возможности, краткими, перейдемъ къ слѣдующей сатирѣ, именно, къ „Г-жѣ Падейковой".

Г-жа Падейкова — это картина значительной группы людей. Это портретъ толпы наслѣдниковъ, по прямой линіи, Коробочекъ, Маниловыхъ и даже отчасти сторосвѣтскихъ помѣщиковъ. Впрочемъ, это даже и не дѣти ихъ, а сестры, братья; а еще вѣрнѣе, тѣ же Коробочки, Маниловы и Собакевичи, только нѣсколько вышколенные и наряженные въ современныя платья. Кажется, что послѣднее предположеніе справедливѣе первыхъ двухъ.

Въ „Г-жѣ Падейковой" удачно отражаются всѣ ихъ смутные страхи и ожиданія, въ виду предполагавшейся въ то время великой реформы въ отношеніяхъ двадцати-двухъ милліоновъ людей къ князьямъ Обалдуй-Таракановымъ, Буреракинымъ, Живновскимъ, Постукинымъ et tutti fruti [1]). Кому изъ насъ (я говорю о тѣхъ глуповцахъ, которымъ, волею Аллаха, удалось высвободить голову изъ топкаго болота и подышать на столько здоровымъ, чистымъ воздухомъ, чтобы вполнѣ пріучиться различать здоровое отъ гнилого) не приходилось встрѣчать Падейковыхъ—мужчинъ и женщинъ, цѣлыми десятками? Кто не помнитъ этого шушуканья, разговоровъ на французскомъ языкѣ, совѣщаній, запиранья дверей, непріязненнаго оглядыванья прислуги, подозрѣваемой въ подслушиваньи, словомъ, всѣхъ этихъ проявленій нервнаго разстройства Обалдуй-Таракановыхъ и Падейковыхъ, приключившагося въ первый фазисъ крестьянскаго вопроса.

Умственныя способности Падейковыхъ были поражены— и поражены сильно, этимъ неожиданнымъ событіемъ (впрочемъ, событіе это, только имъ однимъ и казалось неожиданнымъ). Въ то время лицо каждой Ѳеклушки казалось барынѣ подозрительнымъ. „Ядъ этотъ разлился повсюду", шептали онѣ на-ухо другъ другу и собирались на совѣщанія къ идіотамъ, въ родѣ Семенъ Ивановичей, Андрей Ивановичей и Иванъ Андреевичей. Каждый Прошка, подавая стаканъ воды барину или барынѣ—возмущалъ ихъ несказанно. Они видѣли въ немъ предателя. Ѳедька, подавая барину умываться, не говоря ни слова и не двигая ни

[1]) Всякая всячина.

однимъ мускуломъ, смотрѣлъ, однакожъ, какъ-то такъ, что баринъ возмущался до мозга костей и думалъ: „Господи, вѣдь, вотъ молчитъ, не шевелится, а грубитъ, страшно грубитъ! Господи, если бы онъ окаменѣлъ весь въ этой позѣ, съ рукомойникомъ въ рукахъ, чтобы въ такомъ видѣ показать его кому слѣдуетъ, тогда была бы улика налицо" и проч.

Вотъ какого рода думы волновали потрясенныя души Падейковыхъ: „Очевидно, что есть что-нибудь, а если что-нибудь есть, то еще очевиднѣе, что надо принять, противъ этого „что-нибудь", неотложныя и рѣшительныя мѣры, надо подумать о томъ, какимъ образомъ встрѣтить невзгоду, такъ, чтобы она не застала врасплохъ. Но какъ ни усиливалась Прасковья Павловна, какъ ни изощряла свои умственныя способности, однако, ровно ничего выдумать не могла.

„Такъ бы, кажется, и перепорола всѣхъ", думала она по временамъ, и думала совсѣмъ не потому, чтобы была зла, а единственно потому, что смыслъ всѣхъ завѣщанныхъ ей преданій удостовѣрялъ ее въ томъ, что въ розгѣ заключается глубокая нравственно-дидактическая сила.

Поступокъ Ѳеклушки и Порфишки окончательно разстроилъ ее. „Какъ—думала она тревожно расхаживая по залѣ:—какой-нибудь скверный холопишка смѣетъ говорить со мной, отставивши ногу впередъ!"

И такъ огорчаютъ Прасковью Павловну Ѳедьки и Прошки; Ѳеклушки тоже точно отъ рукъ отбиваются. Словомъ, чуется ей что-то недоброе въ воздухѣ, словно все вверхъ дномъ пошло. Наконецъ, пріѣзжаетъ исправникъ Грузиловъ и—испуганнымъ голосомъ, плотно приперевъ двери, откуда выглядывали двѣ женскія головы, объявляетъ Прасковьѣ Павловнѣ, что „уже рѣшено и подписано". Съ Падейковой дѣлается дурно, потомъ она впадаетъ въ какое-то разслабленіе и говоритъ много и нѣсколько безсвязно. Съ тѣхъ поръ мысль о томъ, что вотъ-вотъ скоро Маришки и Ѳеклушки сдѣлаются сами барынями и перестанутъ стлать постель и одѣвать Прасковью Павловну, и что Порфишки откажутся чистить самовары и подавать кушанье—не покидаетъ ее ни на минуту. Она тоскуетъ и опускается и только минутными вспышками дѣлается прежнею энергичной и ругательной Прасковьей Павловной. Однимъ словомъ, изъ прежней дѣятельной и бойкой барыни Прасковья Павловна превратилась въ какую-то институтку-мечтательницу; по

цѣлымъ днямъ просиживала у окна, вглядываясь въ безграничную даль и только вздыхала".

Но, на этомъ опять остановлюсь, потому что рискую сдѣлать слишкомъ длинныя выписки изъ названной сатиры, такъ какъ считаю ее лучше всѣхъ другихъ сатиръ.

Затѣмъ укажемъ на *Недавнія комедіи*—это дополнительныя картины къ разъясненію причинъ, взбудораживших жизнь нашего родного Глупова. Чрезвычайно хороша г-жа Антонова, она поистинѣ достойная дочь Коробочки. Всмотритесь въ эту личность и вы убѣдитесь въ поразительномъ сходствѣ характеровъ матери и дочери. Характеристична тоже личность капитана Постукина. А, вѣдь, Антоновыхъ чуть не сотнями считать можно? Предводитель Сергѣевъ вѣренъ дѣйствительности,—онъ изъ большинства предводителей прежняго времени.

Погоня за счастьемъ—вѣрный фотографическій снимокъ, уловившій одинъ изъ тѣхъ моментовъ, когда обитатели Глупова, по-своему принялись за мировыя учрежденія. Какъ отнеслись къ этому вопросу нѣкоторые, могутъ дать вѣрное понятіе личности Пересвѣтъ-Жабы, Кузнеева и другихъ, чающихъ пристроиться на общественные хлѣба. Впрочемъ, выборъ Ударъ-Ерыгиныхъ и Зубатовыхъ палъ на Накатниковыхъ и Уколкиныхъ, какъ на людей достойныхъ и, вообще, способныхъ „примирить" интересы Обалдуй-Таракановыхъ и Иванушекъ. Конечно, не вездѣ были Зубатовы и Ударъ-Ерыгины...

Погребенные заживо — живыя, всѣмъ намъ знакомыя лица! И, къ сожалѣнію, вовсе не погребенныя; напротивъ, здравствуютъ, живы, здоровы, даже веселы и чужою силой васильны. Точно слышимъ поучительные діалоги Андрей Ивановичей и Иванъ Андреевичей. Боже! Какія блестящія перемѣны готовятъ они, сколько преобразованій! Иванъ Андреевичъ до того прытокъ, что мечтаетъ о томъ, сколько новыхъ „графъ" прибавилъ бы, какой бы порядокъ завелъ въ вѣдомостяхъ о представленіи и увольненіи, какъ бы чисто переписывались бумаги... Да, жаль, что Иванъ Андреевичи и Андрей Ивановичи, на самомъ дѣлѣ, далеко не погребены; напротивъ, здравствуютъ и процвѣтаютъ.

Скрежетъ зубовный—напоминаетъ вамъ многое, только-что совершившееся въ нашихъ любезныхъ Крутогорскахъ и Краснорѣцкахъ: зарожденіе „древа краснорѣчія" и его бле-

стящее процвѣтаніе на глуповской почвѣ; либерально-ретроградныя рѣчи князя Обалдуй-Тараканова, а также знаменитое возведеніе въ вѣчный „принципъ“—постепенности и неторопливости—этихъ исконныхъ добродѣтелей глуповца, съ которыми онъ рождался и умиралъ. Затѣмъ, рѣчь его сивушества, князя Полугарова, приведшая весь Глуповъ въ восторгъ неописанный. „Вотъ какъ у насъ, кричали они; даже и откупщики съ мечомъ и огнемъ на откупа возстали“. Бѣдные наши соотчичи и не подозрѣвали, что его сивушество только шутить изволятъ, и занимались словоизверженіями, только въ видахъ облегченія собственнаго пищеваренія. Все это напоминаетъ цѣлый рядъ событій, цѣлую галлерею личностей. Вспоминаемъ мы журнальную перестрѣлку, рѣчи во всѣхъ концахъ Россіи. Даже гласность и устность умѣли глуповцы обезобразить; Порфирій Петровичъ сумѣлъ примѣнить эти нововведенія къ своему болоту и сдѣлать ихъ благонамѣренными и смиренными, неспособными возмутить покой въ его любезныхъ, заплѣснѣлыхъ болотахъ, въ которыхъ свободно ораторствуютъ, любуясь и похваливая другъ друга, Обалдуй-Таракановы и ему подобные джентльмены.

Нашъ губернскій день разсказываетъ намъ, какое впечатлѣніе произвели на сановниковъ крутогорскихъ и краснорѣцкихъ: устность, гласность, проекты новыхъ реформъ, преобразованій, болѣе или менѣе выполненныхъ. Все это личности живыя, притомъ, ихъ нравы и обычаи извѣстны намъ еще изъ „Губернскихъ очерковъ“, и потому мы встрѣчаемся съ ними, какъ съ старыми знакомыми. Довольно нѣсколькихъ очертаній, нѣсколькихъ словъ, чтобы всѣ подробности этой жизни вновь возстали въ нашей памяти и предъ нами совершенно живо, по нѣсколькимъ абрисамъ, приведеннымъ опытною рукой автора, рисуются крутогорскіе сановники, подъ впечатлѣніемъ вѣстей, лишившихъ ихъ аппетита и смутившихъ веселье. Ужъ на что „пустынникъ“ да и тотъ сплошалъ. Особеннаго заслуживаетъ вниманія прекрасное „Заключеніе“ этой статьи. Мы выпишемъ изъ него одно мѣсто, которое посвящаемъ молодымъ глуповцамъ, всецѣло принявшимъ міросозерцаніе своихъ отцовъ; эти благоправные юноши молоды только тѣломъ, но мысли и дѣла ихъ—результаты ветхихъ и гнилыхъ принциповъ староглуповскаго міра.

Итакъ, для нихъ, преимущественно, выписываемъ слѣдую-

щія строки: „Несмотря на молодость и неопытность, они сразу постигли, что галиматья, взятая сама-по-себѣ, есть вещь отличная, и что вся штука заключается въ томъ, чтобы возвести ее въ перлъ созданія. Вотъ они и возводятъ..."

Итакъ, галиматья осталась, но галиматья, возведенная въ „перлъ созданія".

Литераторы-обыватели, по всей вѣроятности, принесли не малую пользу тѣмъ, къ кому мысли, высказанныя въ этой сатирѣ, болѣе всего относились. Это, своего рода, посланіе къ послѣдователямъ, которое могло бы даже многимъ изъ нихъ показаться нѣсколько безжалостною, хотя справедливою насмѣшкой надъ ихъ обличительной дѣятельностью. Но Корытниковы поняли это лучше, и, какъ люди разумные и честные, обратили вниманіе на предостереженіе, высказанное въ поэтической формѣ. Многіе изъ нихъ, дѣйствительно, увлеклись не въ мѣру и, „обличая маленькихъ воришекъ для удовольствія большихъ", не давали спуску ни одному засѣдателю и даже сторожей и писарей не оставили въ покоѣ. Страсть обличенія обуяла Корытниковыхъ. Цѣлыя слѣдственныя дѣла излагались въ формѣ діалоговъ или разсказовъ и, назвавшись романами и повѣстями, запружали журналы. Что ни раскроешь—вездѣ обличенье, вездѣ о мужичкахъ толкуютъ, о грамотности и пр. и пр. И все это такъ хорошо, такъ благонамѣренно толкуютъ, что духъ возрадуется и прольешь слезы умиленія. Многіе изъ Корытниковыхъ, въ простотѣ души, вообразили, что достаточно разсказу знакомаго слѣдственнаго чиновника придать литературную форму для того, чтобы вышло художественное произведеніе. А, между тѣмъ, дѣло, за которое они вчастую брались, требуетъ болѣе, нежели что-либо другое, большого умѣнья и глубокаго поэтическаго чутья. Легче воспѣвать красоту розы, любовь и пѣніе соловья въ тѣнистой рощѣ, нежели, въ художественныхъ образахъ уяснить намъ, въ общемъ и въ частностяхъ, повседневную жизнь Глупова, прослѣдить всѣ фазисы движенія, возбужденнаго крестьянскимъ вопросомъ и другими преобразованіями. Не мало нужно таланта, чтобы увѣковѣчить пошлые образы: многоуважаемаго Порфирія Петровича, взяточныхъ дѣлъ артиста Фейера, Буеракина и, наконецъ, изобразить весь этотъ міръ во всей его пошлости и разнообразіи. Выполнить такую задачу и, притомъ, исполнить ее вполнѣ поэтическимъ, художественнымъ

образомъ, едва ли не труднѣе, нежели нарисовать „Гамлета Щигровскаго уѣзда“ и потерпѣть fiasco, пытаясь изобразить молодое и старое поколѣніе, прелесть глубокой вѣры въ старые, отжившіе принципы и несостоятельность новыхъ началъ.

Но, перейдемъ опять къ Корытниковымъ. „Вы же насъ увлекли, мы вслѣдъ за вами поднялись—и вы же насъ безжалостно освистали!“ сказала бы автору фаланга его послѣдователей, если бы поняла его въ половину. Но „Литераторы-обыватели“, ярко освѣтивъ нѣкоторыя стороны вопроса, открыли имъ глаза; они сами опомнились и убѣдились, что частенько попусту ярились.

Въ сатирѣ *Клевета* мы укажемъ на особенно замѣчательныя страницы, именно, на первыя шесть. Вообще, говоря о сатирахъ г. Щедрина, мнѣ бы казался полезнымъ болѣе подробный разборъ каждой изъ нихъ отдѣльно. Каждая изъ нихъ, отдѣльно взятая, есть полная, разносторонняя картина дѣйствительной жизни; каждая изъ нихъ затрогиваетъ чрезвычайно глубоко общественные вопросы, съ возможною отчетливостью рисуетъ намъ живыхъ людей, со всѣми особенностями ихъ характера и внѣшней обстановки. Словомъ, каждая изъ нихъ должна бы сдѣлаться предметомъ подробнаго и добросовѣстнаго разбора, и тогда бы, на основаніи спеціальнаго анализа, удобнѣе бы было дѣлать общіе выводы, высказывать мнѣніе, вообще, о сатирахъ, уяснить значеніе литературной дѣятельности г. Щедрина и опредѣлить, до какой степени вѣрно въ его сатирахъ отразилось все наше общество, все, что занимало его, о чемъ мыслило и что дѣлало это общество въ послѣднее шестилѣтіе. Въ настоящей статьѣ высказывается общее впечатлѣніе, вызванное всѣмъ цѣлымъ, не вдаваясь въ болѣе спеціальный анализъ частностей.

Накопецъ, рядъ сатиръ заключается посвященіемъ читателя въ тайны нѣкоторыхъ внутреннихъ пружинъ глуповскаго быта и опредѣленіемъ, въ чемъ, именно, заключалось глуповское міросозерцаніе, а также опредѣленіемъ разницы между хорошими людьми стараго и новаго времени. Наконецъ, мы обязаны автору тщательнымъ изслѣдованіемъ о томъ, въ чемъ заключалась неизмѣняемая сущность глуповской закваски, такъ-сказать, ихъ прирожденный запахъ,—словомъ, air fixe глуповскій.

Наши глуповскія дѣла — это общій обзоръ глуповской жизни, начинающійся очеркомъ глуповской природы. Въ особенности близко знакомимся мы съ знаменитою рѣкой Большой-Глуповицей, о которой, между прочимъ, замѣчаетъ авторъ слѣдующее: „Въ Глуповицѣ, какъ въ неподкупномъ зеркалѣ, отражается вся жизнь Глупова", потомъ: „Глуповъ и рѣка его — это два близнеца, во взаимной нераздѣльности которыхъ есть нѣчто трогательное, умиляющее". Желающимъ познакомиться съ тѣмъ, каковы были администраторы въ нашемъ богоспасаемомъ градѣ, мы, какъ образчикъ, выпишемъ слѣдующее мѣсто: „Соберется, бывало, губернскій синклитъ этотъ, да учнетъ о судьбахъ глуповскихъ толковать — даже мухи умрутъ отъ рѣчей ихъ, таково оно тошно!" Если кто не повѣритъ справедливости вышеприведеннаго замѣчанія и если кого знаніе жизни дѣйствительной и личная дѣятельность не приведетъ къ тому же заключенію, того, разумѣется, не убѣдитъ въ томъ чтеніе сатиръ и, конечно, будетъ лишнимъ указаніе на 412 и 413 страницы, гдѣ замѣчательно вѣрно обрисовываются глуповскіе администраторы. Далѣе, особенно хороша страница, гдѣ авторъ разсказываетъ о типѣ хорошихъ людей добраго стараго времени (old merry Gloupoff). Какого рода субъекты попадались между хорошими людьми добраго стараго времени, судите сами: „Между хорошими людьми добраго стараго времени (old merry Gloupoff) много было плутовъ, забулдыгъ и мерзавцевъ pur sang [1]). Почему они назывались хорошими людьми, а не канальями, это тайна глуповской почвы и глуповской природы". Мы, преимущественно, на эти страницы желали бы обратить вниманіе читателя.

Вотъ, напримѣръ, оттуда слѣдующее мѣсто: „Затѣмъ, жизнь наша была постояннымъ праздникомъ: мы пили, ѣли, спали, играли въ карты, подписывали бумаги.

И, вѣдь, нужно же было, при такой-то жизни, какому-то, прости Господи, кобелю борзому, заговорить о возрожденіи! А заговорилъ! именно, заговорилъ! и не отсохъ у него языкъ, и не провалился онъ *сквозь* землю, и не пожралъ его огонь, и не лопнули его глазыньки!"

Да, какъ видно, хорошо было старое время! Вотъ почему отцы такъ ревниво отстаиваютъ свои ветхіе принципы:

[1]) Чистой крови.

больно уже разстаться съ условіями прежней жизни, а этими-то принципами она, главнымъ образомъ, держалась; пожертвовать ими значило бы похерить все остальное. О, изящнѣйшій Павелъ Петровичъ! Мы теперь вполнѣ понимаемъ ваши резоны!

Политики и философы нашего родного города вотъ какъ разсуждали объ этомъ миломъ минувшемъ:—Старики-то, старики-то наши развѣ хуже насъ были?—шепталъ обыватель Сила Терентьичъ на-ухо обывателю Терентью Силычу.

— На могилку, видно, ужо къ нимъ сходить!—грустно отвѣтствовалъ Терентій Силычъ.

— Эхъ-ма! жили-жили, а теперь нá-поди!

— Родителей-то жалко, Сила Терентьичъ!

— Старики-то наши вó-какіе были! кряжистые были!

Вспомните „одинокія думы“ и діалоги братцевъ Кирсановыхъ [1]) и сравните съ вышеприведенною выдержкой изъ бесѣды двухъ пріятелей—мнѣ кажется, что въ нихъ очень много общаго. Затѣмъ слѣдуетъ чрезвычайно характеристическая бесѣда этихъ двухъ почтенныхъ глуповскихъ гражданъ, о которой говоритъ авторъ слѣдующее: „Въ продолженіе двухъ часовъ разговоръ развивался на ту же тему и, наконецъ, доходилъ до такого умоизступленія, что, кромѣ „ахъ ты, Господи!“ да „вó-какіе!“ ничего и разобрать было нельзя. Глуповцы именовали подобныя бесѣды совѣщаніями, а нѣкоторые изъ нихъ, прислушавшись къ рѣчамъ Силы Терентьича и Терентья Силыча, называли ихъ даже бунтовскими и, подмигивая другъ-другу, приговаривали: „А? каково, каково, катаютъ наши-то! вотъ бы кого министромъ сдѣлать—Силу Терентьича... да!“ Вотъ что говоритъ авторъ о Силѣ Терентьичѣ: „Сила Терентьичъ продолжаетъ благоденствовать и доселѣ, несмотря на то, что обстоятельства и время сильно ткнули въ него пальцемъ. Онъ продолжаетъ бормотать подъ воротами, хотя бормотанье его запоздало и не можетъ ни на волосъ измѣнить силу тыкающихъ обстоятельствъ“.

Такъ или иначе, но все же не подлежитъ сомнѣнію, что, наконецъ, даже Глуповъ не устоялъ и сильно задѣтъ за живое. Признаки движенія и, даже, движенія нѣсколько осмысленнаго замѣчаются и въ его болотахъ. Признакъ

---

[1]) „Отцы и дѣти“—Тургенева.

чего-то свѣжаго и сильнаго замѣчается въ глуповской природѣ. Оживился и смѣется Иванушка, расправляетъ свои отекшія руки и ноги: ему дозволили возрождаться, и онъ пытается возродиться. Но покровителемъ и наставникомъ къ нему приставленъ все тотъ же Зубатовъ. Ну, а какъ понимаетъ возрожденіе сей великій мужъ, и насколько онъ дозволитъ ввѣренному его просвѣщеннымъ заботамъ питомцу расправить мощные члены?.. На вопросъ этотъ мы опять отвѣтимъ ссылками на страницы разбираемой нами книги. Личность Зубатова, его пониманіе, административныя способности, умѣніе взяться за дѣло,—словомъ, весь онъ, отъ головы до пятокъ, внутренній и внѣшній, рисуется предъ читателемъ вполнѣ отчетливо. Много ли можно отъ него ожидать, рѣшить нетрудно. Между прочимъ, укажемъ, какъ относится и какъ понимаетъ Зубатовъ возрожденіе: „Зубатову хлопотъ полонъ ротъ. Онъ не призывалъ возрожденія; по правдѣ сказать, едва ли даже онъ желалъ его, хотя, въ качествѣ обладателя и руководителя глуповскихъ сновидѣній, и обязанъ былъ призывать и желать его".

— Ma chère!—не разъ говаривалъ онъ супругѣ своей: — это возрожденіе, чортъ его знаетъ, что это такое?

— Pourvu que tu conserves ta place, mon ami [1])!—отвѣтствовала, обыкновенно, Анна Ивановна, которую, очевидно, интересовала въ этомъ дѣлѣ существенная сторона, а не верторпрашество. И потомъ еще: „Что происходило въ это время въ душѣ его? Что понималъ онъ подъ словомъ возрожденіе?"—это извѣстно единому Богу всевѣдущему, ибо Онъ одинъ можетъ проникать въ трущобы сердецъ зубатовскихъ".

Что понимаютъ подъ словомъ „возрожденіе" Зубатовы, можетъ, отчасти, служить образчикомъ то, что разумѣетъ подъ этимъ названіемъ краса и надежда Глупова, именно: Сеня Бирюковъ. Сеня недоумѣваетъ и, съ цѣлью разсѣять сомнѣнія, взираетъ на Силу Терентьича и Терентья Силыча; но тѣ, хотя и знаютъ, но знаютъ про-себя—пыхтятъ, отдуваются и ничего не говорятъ. Итакъ, Сеня, предоставленный самому себѣ, подавленный сознаніемъ своей комильфотности, думаетъ, что возрожденіе—это новые сѣрые штаны съ лампасами, проборъ à l'anglaise, словомъ, что возрожденіе—c'est quelque chose de très porté et très couru pour le mo-

1) Лишь бы ты сохранилъ мѣсто, мой другъ.

ment[1]. Да, съ такими мудрецами глуповцы далеко не уйдутъ, и Глуповъ не поумнѣетъ. Съ такими попечителями долго еще будетъ плохъ мостъ на рѣкѣ Большой-Глуповицѣ, и не скоро глуповскія болота преобразятся въ обработанныя поля!

Затѣмъ, авторъ чрезвычайно вѣрно сравниваетъ хорошихъ людей стараго времени и хорошихъ людей новаго времени. Вообще, на это можно указать, какъ на одно изъ самыхъ удачныхъ мѣстъ вышеупомянутой сатиры. Матрена Ивановна любитъ и хвалитъ „хорошихъ" людей новаго времени, такъ-сказать, новоглуповцевъ. А Матрена Ивановна въ этомъ дѣлѣ судья компетентный: обоняніе у нея чрезвычайно тонкое; слѣдственно, она поняла, что разницы между староглуповцами и новоглуповцами, въ сущности, нѣтъ; что если староглуповцы толковали о „канарейкахъ", которыхъ имъ привозили изъ деревень, а новоглуповцы—о рыбныхъ обѣдахъ англійскаго министерства и о политическомъ обозрѣніи „Русскаго Вѣстника"[2]) — такъ мудренаго тутъ ничего нѣтъ: дѣло объясняется просто. Старая тема поистаскалась, оказалась потребность замѣнить ее новою; а главное, тѣ или другіе діалоги нужны имъ только какъ моціонъ, облегчающій пищевареніе.

Подробный психологическій анализъ, сдѣланный самимъ авторомъ надъ субъектами, взятыми изъ глуповской природы, неизбѣжно приводитъ къ заключенію, что старинный глуповскій air fixe, усовершенствованный и усиленный, цѣликомъ перешелъ въ новоглуповцевъ, и что міросозерцаніе глуповское дошло до тѣхъ предѣловъ, далѣе которыхъ итти невозможно, подъ опасеніемъ опрокинуться въ царство тьмы.

Вообще, глуповцы фразеры и тѣмъ охотнѣе занимаются словоизверженіями, чѣмъ менѣе какая-либо тема касается ихъ насущныхъ потребностей и основныхъ вопросовъ ихъ быта. Но въ чемъ же заключается глуповское міросозерцаніе? Долго трудился авторъ, чтобы въ этомъ богатомъ собраніи фактовъ хаотическаго свойства, взятыхъ изъ глуповской жизни, выискать законы, разрѣшить, есть ли у глуповцевъ какое-либо міросозерцаніе и какого оно рода. Итакъ,

---

1) Это нѣчто такое, которое очень носятъ и къ которому очень стремятся въ настоящее время.

2) Журналъ съ консервативнымъ направленіемъ.

опредѣляя глуповскій air fixe, опредѣляя разницу между старымъ, почившимъ на лаврахъ, и нынѣ дѣйствующимъ поколѣніемъ, вотъ что говоритъ по этому поводу авторъ:

Можно даже до такой степени усовершенствовать себя, что и вовсе не давать плюхъ... и все-таки оставаться глуповцемъ... Ибо, повторяю, сокрушеніе челюстей, какъ оно ни фундаментально кажется съ перваго взгляда, все-таки представляетъ только манеру и ни въ какомъ случаѣ не исчерпываетъ всего глуповца. Ибо глуповецъ не только дерется, но и мыслитъ... Слѣдовательно, для опредѣленія глуповскаго air fixe нужно обратиться къ даннымъ, не столь легко подчиняющимся внѣшнему натиску, къ даннымъ, составляющимъ, такъ-сказать, подоплеку глуповской жизни,—однимъ словомъ, обратиться къ глуповскому міросозерцанію.

— Какого вы образа мыслей?—спросилъ я однажды добраго моего сосѣда, Флора Лаврентьича Ржанищева.

Флоръ Лаврентьичъ выпучилъ на меня глаза.

— То-есть, какъ это... образа мыслей?—пробормоталъ онъ, наконецъ, вмѣсто отвѣта.

— Ну да, какого вы образа мыслей?—настаивалъ я.

Флоръ Лаврентьичъ съ минуту подумалъ,—и вдругъ разразился самымъ добродушнымъ хохотомъ.

— Ахъ ты проказникъ!—говорилъ онъ, держа себя за бока.

Онъ вообразилъ, что я сказалъ остроту.

Въ этомъ коротенькомъ разговорѣ, несмотря на кажущуюся его незначительность, заключается вся сущность глуповскаго міросозерцанія. Міросозерцаніе это состоитъ въ отсутствіи всякаго міросозерцанія.

Наконецъ, послѣ вторичнаго анализа, вотъ еще къ какому выводу приходитъ нашъ физіологъ глуповскаго быта: „Итакъ, я обязанъ сознаться, что міросозерцаніе есть не міросозерцаніе, пришедшее извнѣ (какъ извнѣ же приходятъ градъ и повѣтрія разныя) и управляющее Глуповомъ наравнѣ съ прочими городами и весями. Это не то тонкое, доступное лишь внутреннему постиженію міросозерцаніе, которое даетъ себя чувствовать, какъ продуктъ цѣлаго строя жизни, но міросозерцаніе внѣшнее, міросозерцаніе, которое можно ощущать, которое можно облобызать, но на которое можно и наплевать; однимъ словомъ—міросозерцаніе, въ родѣ знаменитыхъ правилъ: „Цвѣтовъ не рвать, травы не мять, птицъ и рыбъ не пугать“. Выучивши наизусть эти правила, можно жить легко и пріятно“.

Больно и досадно за нашъ родимый Глуповъ, но неизбѣжно приходится сознаться, что историкъ Глупова—высоко-талантливый и опытный наблюдатель, и что выводы его каждодневно подтверждаются рядомъ явленій, которыя совершаются на глазахъ нашихъ. Какъ живутъ люди съ

подобнымъ міросозерцаніемъ,—на это можно отвѣтить приглашеніемъ обратить особенное вниманіе на выдержки изъ дневника Флора Лаврентьича Ржанищева. Дневникъ этотъ замѣчательно характеристиченъ. Достаточно немногихъ данныхъ, которыя мы находимъ въ дневникѣ, чтобы, на основаніи ихъ, можно было составить совершенно полное и вѣрное жизнеописаніе Ржанищева, такъ какъ намъ извѣстны условія глуповской природы и характеръ личностей, окружавшихъ почтеннаго Флора Лаврентьича.

Да! *Наши глуповскія дѣла*—вполнѣ вѣрная дѣйствительности картина болѣе выдающихся сторонъ и общихъ явленій въ жизни нашего родного края. Мы полагаемъ, что сатиры г. Щедрина съ удовольствіемъ и съ пользою прочтутся не только нашими дѣтьми, но, пожалуй, и внуками.

Окнерузамъ.



Наша грустная жизнь [1]).

Невинные разсказы: Деревенская тишь. Миша и Ваня (забытая исторія). Н. Щедрина. (Современникъ, 1863 г., 1 и 2 кн.)

Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!
А. *Пушкинъ.*

*) „Записки изъ мертваго дома“ Θ. М. Достоевскаго дали намъ ясную и полную картину острожной жизни и познакомили съ личностями ссыльныхъ всякаго званія и состоянія. За г. Достоевскимъ идетъ непрерывный рядъ авторовъ, описывающихъ или бытъ тюремъ, или личности подсудимыхъ, или, наконецъ, самые процессы слѣдствія. Всѣ эти разсказы, какъ мнѣ кажется, должны заставить глубоко призадуматься всякаго, кто дорожитъ народнымъ благосостояніемъ, должны возбудить въ обществѣ и литературѣ не одно

1) „Голосъ“, 1863 г., №№ 46 и 52

*) „Голосъ“ сталъ издаваться съ 1863 г., съ 1-го Января, и былъ закрытъ въ 1883 г. Въ тотъ моментъ, когда была напечатана помѣщенная у насъ статья, „Голосъ“ занималъ видное мѣсто по своему вліянію и распространенности среди русскаго общества. Въ этотъ періодъ онъ являлся органомъ умѣренно-охранительнаго направленія, отстаивавшимъ „дѣятельную реформу“, но безъ „скачковъ и безполезной ломки“. Эта умѣренность въ требованіяхъ вызывала, однако, порицанія со стороны администраціи, указывавшей редакціи на статьи, въ которыхъ газета позволяла себѣ и „рѣзкія порицанія и неприличныя сужденія о правительственныхъ мѣропріятіяхъ; оскорбленіе всего дворянскаго сословія и лицъ, служащихъ правительству; превратное изложеніе историческихъ событій съ очевидною цѣлью возбудить безусловное сочувствіе къ лицамъ, противодѣйствующимъ правительству“. Съ 1871 г. редакторомъ „Голоса“ становится извѣстный историкъ А. Бильбасовъ, и газета получаетъ умѣренно-либеральное направленіе. Съ этого момента „предостереженія“ и воспрещенія розничной продажи начинаютъ сыпаться на голову редакціи какъ изъ рога изобилія. Наконецъ, изданіе было прекращено за „вредное направленіе, выражающееся въ сужденіяхъ о существующемъ строѣ“ и въ томъ, что газета „прибѣгаетъ къ намекамъ, имѣющимъ цѣлью представить въ ложномъ свѣтѣ намѣренія правительства относительно реформъ послѣдняго двадцатилѣтія“.

Прим. Н. Денисюка.

только участіе, но и мысль о томъ, какъ помочь злу. Но покуда и въ литературѣ и въ обществѣ очень немного говорятъ о мѣрахъ къ лучшему устройству нашихъ тюремъ, сравнительно съ гремучими толками о нигилизмѣ и нигилистахъ. Между тѣмъ, знакомясь съ судьбой и личностями ссыльныхъ, чувствуешь къ нимъ глубокую симпатію, потому что, въ числѣ ихъ, многіе являются какими-то очистительными жертвами ложнаго, неестественнаго стараго порядка вещей. Уничтоженіе крѣпостного права и судебная реформа, вмѣстѣ съ развитіемъ грамотности, конечно, скоро окажутъ свое благотворное вліяніе тѣмъ, что уровень народнаго образованія и народной нравственности значительно поднимется, а, слѣдовательно, уменьшится и число вольныхъ и невольныхъ преступленій. Но эти благія послѣдствія еще впереди: настоящимъ же никто недоволенъ—и причину найти нетрудно. Вся лучшая часть общества съ восторгомъ приняла вѣсть о крестьянской реформѣ, какъ о началѣ коренного преобразованія несостоятельнаго стараго порядка. Услужливое воображеніе нашихъ публицистовъ рисовало великолѣпныя картины нашего будущаго благополучія, вмѣсто того, чтобы строго и безпристрастно анализировать дѣйствительность и указывать на ближайшія потребности экономическаго быта народа и на средства къ ихъ удовлетворенію. На бумагѣ, на словахъ мы дѣлали чудеса: росли не по днямъ, а по часамъ, подобно древнимъ сказочнымъ богатырямъ. Мы уже вообразили себѣ, что это недавнее давнопрошедшее время далеко, далеко за нами; между тѣмъ, въ дѣйствительности, чуть не на каждомъ шагу приходится спотыкаться на крѣпкіе пни стараго порядка. Мы, даже, по достоинству не оцѣнили всего громаднаго значенія крестьянской реформы для нашей жизни, для нашего народа, потому что, по большей части, судили о ней отвлеченно, восторгались, единственно, принципомъ, забывая ту ужасную дѣйствительность, которая погибла навѣки послѣ манифеста 19-февраля 1861 года. Г. Щедринъ, которому знакома наша провинціальная жизнь, съ заслуженнымъ негодованіемъ отнесся къ этому прошедшему, къ этимъ такъ-называемымъ помѣщичьимъ „фарсамъ“, въ родѣ лизанья горячей печки, приказанья съѣсть таракана, попавшаго въ супъ и пр., которые возбуждали въ обществѣ не протестъ, не отвращеніе, а только нѣкоторую боязнь, чтобы не попасться какъ-нибудь за нихъ.

Пошлютъ, бывало, какого-нибудь Сеньку лизнуть горячую печку, не для того, чтобы ему боль сдѣлать, а такъ, чтобы посмѣяться, какую онъ уморительную рожу состроитъ—даже самые кроткіе не могли удержаться, чтобы не фыркнуть.

„Они молчали и фыркали не потому, чтобы одобряли подобнаго рода увеселенія, но, просто, потому, что такое ужъ время юмористическое было. Теперь это какой-то тяжелый и страшный кошмаръ (продолжаетъ г. Щедринъ); это кошмаръ, изъ котораго освободило Россію прекрасное, великодушное слово царя-освободителя... Да, оно одно! Ибо, кто же можетъ ручаться, не лизалъ ли бы, безъ этого слова, Сенька горячую печку и до сей минуты? не ходила ли бы дѣвка Ольга Никандрова и до сей минуты стриженная и оплеванная гостями своей барыни? Гдѣ гарантіи противнаго? Въ правахъ что ли? Но развѣ неизвѣстно, что славяне имѣютъ нравъ веселый, легкій и мало углубляющійся! Въ слезахъ, что ли? Но развѣ неизвѣстно, что слезы, которыя при этомъ капаютъ внутрь, капаютъ кровавыми каплями на сердце, и все накипаютъ, все накипаютъ тамъ, покуда не перекипятъ совершенно!..

Кто же можетъ утверждать, что такому порядку вещей не суждено было продлиться и еще на многія лѣта, еслибы сильная воля не вызвала насъ изъ тьмы кроваваго добродушія и бездны ехидной веселости? Повторяю: это былъ страшный и тяжкій кошмаръ, въ которомъ и давящіе и давимые были равно ужасны". („Невинные разсказы. III. Миша и Ваня". Стр. 201.)

Законы отраженія дѣйствуютъ не только сверху внизъ, но и снизу вверхъ. Холопство, нравственное униженіе слуги отражаются и на баринѣ. Народъ оставался въ глубокомъ невѣжествѣ, нравственность его, вслѣдствіе этого, падала все ниже и ниже...

Маленькій разсказъ г. Щедрина: *Миша и Ваня (забытая исторія)*, уноситъ васъ въ то недавнее давнопрошедшее время, когда владычество крѣпостного права было во всей силѣ, когда, по словамъ поэта, мы лежали

повергнуты въ прахъ,
Не мысля, не видя, не слыша,—
Казалось, мы заживо тлѣемъ въ гробахъ,
Забита тяжелая крыша.

Авторъ передаетъ забытую исторію о томъ, какъ два мальчика, Миша и Ваня, терпя постоянные побои и истязанія отъ своей барыни и не видя никакого выхода изъ своего невыносимаго положенія, рѣшились на страшное дѣло—зарѣзаться. Ихъ побудила къ этому еще наивная увѣренность, что Катерина Аѳанасьевна (имя помѣщицы) попадетъ за нихъ въ адъ, гдѣ ее на желѣзный крюкъ за ребро повѣсятъ, заставятъ голыми ногами по горячей плитѣ ходить, сково-

родку раскаленную языкомъ лизать, и пр. Изъ этого уже можно видѣть, какъ сильно должны были ожесточиться ихъ молодыя души, когда, рѣшаясь на страшную смерть, они утѣшали себя такими ужасными картинами. Такое искаженіе естественныхъ, врожденныхъ чувствъ добра и правды въ ребенкѣ показываетъ, что безнравственность окружающей среды достигла высшаго предѣла. Ваня, мальчикъ съ характеромъ болѣе энергическимъ, рѣшился на смерть твердо; но Миша, болѣе впечатлительная и слабая натура котораго не могла еще побороть врожденнаго инстинкта жизни, колеблется, хотя не рѣшается объявить о своей нерѣшимости товарищу. Онъ еще можетъ плакать, и плакать горько и искренно, при мысли, какъ они на вопросъ Бога: „Зачѣмъ вы смертную муку безо времени приняли?“ разскажутъ, „какъ ихъ Катерина Аѳанасьевна мучила, какъ имъ жить тошнехонько стало, какъ ихъ день-деньской били... все-то били, все-то тиранили“. На другое утро они, дѣйствительно, исполнили свое намѣреніе, въ оврагѣ, за городомъ. Ваню нашли мертвымъ, Миша былъ еще живъ—нѣсколько разъ полоснулъ онъ себя ножомъ по горлу, но какъ-то робко и нерѣшительно.

„Жажда жизни сказалась и восторжествовала“.

Невинные разсказы.—Деревенская тишь. Здѣсь дѣло идетъ о такъ-называемыхъ отживающихъ помѣщикахъ, которые, не примирясь съ новымъ порядкомъ вещей, неспособные ни на какую практическую дѣятельность, и не зная какъ убить время, или ведутъ душеспасительные разговоры съ батюшкинымъ братцомъ, или стараются въ каждой минѣ, въ каждомъ движеніи своихъ людей видѣть грубость; съ наслажденіемъ считаютъ эти часто воображаемыя грубости, чтобы потомъ передать ихъ становому.

Герой этого разсказа, Кондратій Трифонычъ Сидоровъ, „уже давно замѣтилъ, что между нимъ и его лакеемъ Ванькой поселилась какая-то холодность, какая-то натянутость отношеній. Услышавши, что объ этомъ предметѣ весьма подробно объясняется въ книжкѣ, называемой „Русскій Вѣстникъ“, онъ съѣздилъ къ сосѣду, взялъ у него книжку и узналъ, что подобная натянутость отношеній называется сословнымъ антагонизмомъ...“

„Оно конечно,—разсуждалъ по этому поводу Кондратій Трифонычъ:—оно конечно... Ванька сапоги чиститъ, а я ихъ надѣваю, Ванька печки топитъ, а я около нихъ грѣюсь... ну-да, это оно!“ Кондратій Трифонычъ

ходитъ изъ угла въ уголъ по комнатѣ и мечтаетъ. Мечты его самыя разнообразныя. То представляется ему, что у всѣхъ окрестныхъ помѣщиковъ засуха, а у него дожди да дожди; что кругомъ не будетъ хлѣба, а у него самъ-десятъ. Думаетъ онъ, что, вдругъ, въ его имѣніи сдѣлается землетрясеніе, и на мѣстѣ паршиваго кустарника выростаетъ лѣсъ, который у него покупаютъ по 200 р. за десятину. Онъ думаетъ, что мужики его разбогатѣли и, помня его прежнія благодѣянія, подносятъ ему соболью шубу въ пятнадцать тысячъ рублей. Много чего думаетъ Кондратій Трифонычъ! Наконецъ, мысли путаются, передъ глазами показываются зеленые круги. Что дѣлать? Обѣдать рано еще. Вотъ несметена пыль со стола—значитъ, есть за что придраться къ Ванькѣ.—Является Ванька. „Это что?“ спрашиваетъ его Кондратій Трифонычъ, указывая на столъ и заранѣе торжествуя побѣду.—„Столъ-съ“, отвѣчаетъ Ванька. „А на столѣ что?“—„Пыль-съ“.—„Ну?“ Ванька молчитъ. „Ладно“, говоритъ Кондратій Трифонычъ, и черезъ минуту имѣетъ удовольствіе слышать, какъ Ванька съ кѣмъ-то хихикаетъ въ передней.

Эта сцена уже можетъ дать самое ясное понятіе о характерѣ барина, котораго, по словамъ автора, игра въ сословный антагонизмъ спасаетъ отъ возможности умереть отъ скуки.—Подробно рисуетъ г. Щедринъ каждый шагъ, каждую мысль, которая только забирается въ голову почтеннаго помѣщика. Такъ и представляется онъ, мечтающимъ, съ глубокомысленнымъ взоромъ, о томъ, какъ бы хорошо было „если бъ онъ былъ живописцемъ: тогда онъ срисовалъ бы нахальную Ванькину рожу въ тотъ моментъ, когда онъ отвѣчаетъ: „Пыль-съ“, и представилъ бы эту картину становому“. Не менѣе типичнымъ является лицо батюшкина братца, съ которымъ Кондратій Трифонычъ, скуки ради, бесѣдуетъ и угощается. Тутъ ничѣмъ несдержанная фантазія помѣщика даетъ себѣ полный просторъ.

Онъ выписываетъ машины, устраиваетъ имѣнье, открываетъ торговлю торфомъ, собирается молоко въ Москву возить... Батюшкинъ братецъ только удивляется и произноситъ: „Сс...“ Кузьма Трифонычъ объявляетъ, наконецъ, что будетъ заниматься искусственнымъ разведеніемъ рыбы. „Онъ объясняетъ, что можно налима съ лещомъ совокупить, и что изъ этого должна произойти рыба, у которой будутъ печенки и молоки налимьи, а тешка лещиная; онъ объясняетъ, что примѣры такого совокупленія встрѣчались и въ природѣ: стерлядь совокупилась съ осетромъ, и вышла рыба *шипъ*, которую онъ ѣлъ на обѣдѣ у губернатора“.

Батюшкинъ братецъ имѣетъ привычку къ каждому слову прибавить „благо“: „во благовременіи, благоугодно, благопо-

лезно"... Помѣщикъ сердится и спрашиваетъ его, кого онъ своими „благоглупостями" удивить хочетъ? Батюшкинъ братецъ, обыкновенно, конфузится и начинаетъ вытирать платкомъ между пальцами.

Да, плохо пришлось всѣмъ Сидорычамъ—хоть живымъ въ гробъ ложиться! Но на смѣну имъ спѣшатъ свѣжія, молодыя силы, которыя манитъ впередъ золотая надежда, а въ трудныя минуты борьбы поддерживаетъ сознаніе долга. Чтобы разогнать грустное впечатлѣніе, которое наводятъ на душу невеселыя картины нашего общественнаго быта, я кончу мое письмо отрывкомъ изъ прекраснаго стихотворенія г. П. Ковалевскаго „Ненастье" (съ итальянскаго. „Современникъ", 1863 г., январь и февраль):

Но переждемъ: пройдетъ зима,
Растопитъ солнце ледъ суровый,
И, сбросивъ хрупкія оковы,
Изъ-подъ тяжелаго ярма
Земля избавится сама.
Давно невидѣвшіе свѣта,
Пробьются скрытыхъ силъ слѣды,
И лѣто тучные плоды
Даруетъ разомъ за два цвѣта...
Снесемъ зиму—дождемся лѣта!

В—кинъ.

„Сатиры въ прозѣ", Н. Щедрина [1].

Кажется, одно только непониманіе дѣла могло до сихъ поръ поддерживать въ нашей критикѣ убѣжденіе, что Гоголь—поэтъ отрицательный, что

Онъ проповѣдуетъ любовь
Враждебнымъ словомъ отрицанья.

Что такой взглядъ на Гоголя образовался при появленіи его, въ томъ нѣтъ ничего мудренаго, потому что тогда у насъ было такъ ново, такъ неожиданно это направленіе. Но теперь пора бросить эту старую фразу. Чтó въ Гоголѣ отрицательнаго? Въ немъ столько же отрицательнаго, сколько, напримѣръ, въ „Мертвомъ домѣ". Онъ вездѣ является адвокатомъ зараженнаго разными недугами человѣчества. Какой онъ отрицатель, когда онъ вездѣ заставляетъ насъ любить героевъ своихъ и, скорѣе, жалѣть ихъ, нежели порицать, прощать, нежели осуждать! Онъ нигдѣ не будитъ въ насъ ненависти къ своимъ героямъ; онъ нигдѣ своимъ изображеніемъ ихъ не говоритъ намъ: „Бѣги ихъ, потому что душа ихъ—ехидна!" Напротивъ, показывая намъ ихъ изъязвленную душу, онъ постоянно добирается до тѣхъ ея тайныхъ, невидимыхъ нашему глазу движеній, въ которыхъ они становятся нашими братьями, и нѣтъ въ мірѣ поэта, у котораго была бы такъ ярко ощутительна связь между невинными, общечеловѣческими движеніями сердца и между его безобразными, исключительными, болѣзненными движеніями. Самый порокъ у Гоголя носитъ на себѣ всегда печать общечеловѣчности. Оттого Гоголь великій поэтъ; оттого онъ великій миротворецъ... Ничего подобнаго нѣтъ у г. Щедрина. Г. Щедринъ—талантъ совершенно отрицательный. Въ его сердцѣ нѣтъ и зачатковъ той безконечной, художественной, всепрощающей любви, которая есть у Гоголя. Но совершенно различны

---

1) „Голосъ", 1863 г., № 108. (См. стран. 266.)

условія, при которыхъ явились эти два писателя. Я не думаю проводить параллели между ними—она невозможна; но я сказалъ нѣсколько словъ о Гоголѣ для того, чтобы, съ помощью сравненія, легче опредѣлить значеніе г. Щедрина. Гоголь явился въ то время, когда у сердца нашего не было другой задачи, кромѣ задачи любви къ нашимъ ближнимъ; когда только въ этой любви могли мы чувствовать себя людьми и гражданами. Дѣлать намъ тогда было нечего; вся свобода наша заключалась тогда только въ свободѣ нашихъ сердечныхъ движеній, и изъ всѣхъ изъ насъ самымъ благороднымъ образомъ воспользовался этою сердечною свободой—Гоголь. То было, наконецъ, время, когда самый порокъ находилъ себѣ несравненно больше оправданій, нежели теперь, въ самомъ положеніи вещей: не могли же, въ самомъ дѣлѣ, люди всѣ одинаково пользоваться предоставленною имъ малою частичкой свободы: изъ разницы характеровъ происходила разница примѣненія. Сердце, заключенное само въ себѣ, вырождало и вскармливало во мракѣ своего заточенія, внутри души человѣческой, страсти самыя безобразныя, привычки самыя нелѣпыя—и странно было бы проповѣдывать ненависть къ этимъ людямъ, у которыхъ подвело ноги отъ недостатка движенія, у которыхъ ослабѣли глаза отъ недостатка свѣта, у которыхъ испортилась кровь отъ недостатка свѣжаго воздуха... Г. Щедринъ описываетъ тѣхъ же самыхъ людей, которыхъ описывалъ и Гоголь; но посмотрите: гдѣ любовь къ нимъ? гдѣ снисхожденіе? Любовь-то есть, но какъ она измѣнилась! Двери тюрьмы нашего сердца отперты, и оно не хочетъ выходить изъ тюрьмы этой. И вотъ, г. Щедринъ скрутилъ бичъ, чтобы выгонять на чистый воздухъ изнеможенныя, облѣнившіяся сердца. Онъ не тоскуетъ, онъ не жалѣетъ; но онъ негодуетъ, что есть еще множество такихъ сердецъ, которыя, упрямо забившись въ черный, грязный, вонючій уголъ тюрьмы своей, не внемлютъ никакимъ увѣщаніямъ и стоятъ себѣ на своемъ: дайте мнѣ, ужъ, умереть такъ, какъ я жило! Такое abrutissement друзей и братьевъ нашихъ, конечно, хоть кого должно вывести изъ терпѣнія, привести въ отчаяніе, и нужно стать слишкомъ на объективную точку зрѣнія, т.-е. на такое почтительное отдаленіе, на которомъ не смущали бы благородныхъ чувствъ нашихъ сырость и вонь и плѣсень вышереченныхъ угловъ, чтобъ оставаться спокойнымъ зрителемъ всего этого, чтобы понять

неизбѣжность такого явленія и умѣть сохранить приличный тонъ и приличныя манеры въ отношеніи къ этимъ облѣнившимся, отставшимъ, пропадшимъ. Не ищите элегантности, не ищите изящества, художественности въ сатирахъ г. Щедрина—ихъ тамъ нѣтъ! Но и могутъ ли онѣ быть тамъ? Г. Щедринъ лирикъ; но онъ лирикъ не по одной только формѣ; онъ не выбралъ форму лиризма для воплощенія разныхъ отвлеченныхъ идей своихъ и чувствъ, порожденныхъ этими идеями. Онъ лирикъ насквозь, до костей; гнѣвъ, имъ изображаемый—его собственный гнѣвъ; страданія, имъ описываемыя—его собственныя, непосредственныя страданія, и каждое его слово, каждая страница есть крикъ, неподдѣльный крикъ его собственнаго сердца, жалоба, брань, хохотъ, но совсѣмъ не прошедшіе сквозь горнило души художника, какъ выражаются иногда наши поэты, а такъ, прямо изъ первыхъ рукъ, въ сыромъ, первобытномъ видѣ. Оттого у него и нѣтъ кокетливыхъ, граціозныхъ восклицаній или живописнаго байроновскаго плача о недугахъ и ничтожествѣ человѣческихъ; онъ не драпируется въ свои страданія, не принимаетъ на себя пикантнаго вида угрюмаго мученика; его страданія реальны, дѣйствительны съ перваго до послѣдняго, и оттого у него нѣтъ воплей, у него—ругань; у него нѣтъ слезъ, у него—плевки; и тамъ, гдѣ Байронъ прикладываетъ трагически руку къ сердцу или поражаетъ себя ударами въ грудь, г. Щедринъ морщится, корчитъ гримасы и чешется, т.-е. чешетъ спину, бока, плечи, искусанныя разными микроскопическими чудовищами земли русской. Это настоящая великороссійская скорбь, настоящія великороссійскія страданія! Все кокетство г. Щедрина состоитъ только въ томъ, что онъ желаетъ возбудить къ себѣ смѣхъ, а не сожалѣніе въ своихъ слушателяхъ. Еще ручательство за дѣйствительность его страданій! И это очень хорошо, потому что страданія Байрона очень заманчивы; у него зло является чрезвычайно эффектною тѣнью для добродѣтели; муки его—чрезвычайно эффектною драпировкою благородной, аристократической души. Глядя на Байрона, можно сказать злу: „Помедли, остановись, не уходи изъ міра! Дай и мнѣ пощеголять еще ненавистью къ тебѣ и враждой съ тобою!“ Ничего такого не скажешь, глядя на страданія г. Щедрина, который представляется своему читателю съ челомъ вовсе не блѣднымъ, а покрытымъ морщинами гнѣва и вскосма-

ченнымъ. Не слезы, а потъ течетъ струями по лицу его, и не презрительная улыбка, а судорога досады сводитъ у него губы. По позѣ Байрона можно думать, что онъ сейчасъ сядетъ на корабль и пустится въ море, чтобы ревомъ бури заглушить стоны сердца; по позѣ г. Щедрина можно ожидать, что онъ сейчасъ встрепенется, засучитъ рукава и произведетъ расправу:

„А, ну-те, подлецы, сказывайте, кто изъ васъ первый эту пакость выпустилъ?“ („Сатиры въ прозѣ“, стр. 385.)

Совсѣмъ не Лермонтовъ русскій Байронъ! Лермонтовъ Богъ-знаетъ что такое! Русскій Байронъ—Щедринъ. И я совѣтую смотрѣть на него именно съ этой точки зрѣнія; и тогда каждое его слово покажется несравненно смѣшнѣе; и читатель, который всегда ищетъ несравненно менѣе пользы, нежели пріятнаго препровожденія времени, нахохочется вдоволь, читая „Сатиры въ прозѣ“ г. Щедрина. Сатиры эти, можетъ-быть, имъ были уже прочитаны въ „Современникѣ“ или другихъ періодическихъ изданіяхъ—ничего: пусть читатель снова пріобрѣтетъ себѣ книгу г. Щедрина и прочтетъ ее вновь, глядя на г. Щедрина съ моей точки зрѣнія. Чтеніе душеспасительное и въ глубокой степени нравственное! Изъ него увидитъ читатель, кáкъ говоритъ человѣкъ, когда онъ, въ самомъ дѣлѣ, задѣтъ за живое, и, притомъ, человѣкъ чисто-русскій, безъ малѣйшей примѣси чужестраннаго:

„Не довѣряй слишкомъ опрометчиво, о неопытный путникъ, манящей наружности зеленаго ковра, покрывающаго сію трясину! Коверъ—это распухшая отъ водки рожа глуповца; трясина—это исполненная ехидства душа его!“

Еще повторяю: не ищите вѣрнаго, безпристрастнаго изображенія общества, описываемаго г. Щедринымъ въ его сочиненіяхъ. Я не жилъ въ этомъ обществѣ, я не былъ въ немъ, но думаю, что все же оно не до такой степени скверно—потому что должны же въ немъ быть какія-нибудь человѣческія движенія, должны же въ немъ быть какія-нибудь и хорошія свойства. Такъ, напримѣръ, я нахожу, что самое то спокойствіе, съ которымъ нѣкоторые люди утираются, когда кто изъ высшихъ плюнетъ имъ въ физіономію, нельзя объяснять единственно скотообразіемъ души ихъ; тутъ есть все: и расчетливость, и смиреніе, и смѣтливость, даже много здраваго смысла, и, наконецъ, невинности и просто-

сердечія. Конечно, всѣ эти качества отразились въ нихъ и въ ихъ сознаніи,

Какъ солнца лучъ въ помойной лужѣ:

но, тѣмъ не менѣе, все же это солнечный лучъ, и поэту объективному не слѣдовало бы забывать этого: но г. Щедринъ на объективность не имѣетъ ни малѣйшей претензіи. Зато, у него найдете вы вѣрнѣйшее, чистосердечнѣйшее изображеніе того, какимъ ему самому, въ минуту гнѣва, кажется это общество. Вѣдь, Боже мой! прочтите хоть у Мишле́, въ „L'Insecte", описаніе жизни и обычаевъ муравейника, и сердце ваше проникнется благоговѣніемъ передъ дѣломъ природы: вы проникнетесь чуднымъ чувствомъ величія какой-то невидимой силы, наполняющей весь міръ жизнію—или чѣмъ-нибудь въ родѣ этого: но сядьте нечаянно на муравейникъ, и пусть муравьи заползутъ къ вамъ подъ бѣлье—такъ будете вы потомъ думать о силѣ жизни во вселенной и о проявленіи абсолюта въ гнѣздѣ муравьиномъ! Г. Щедринъ—отнюдь не естествоиспытатель, наблюдающій, подъ микроскопомъ, лишеннаго всякой способности вредить муравья. Онъ, напротивъ того, обитатель такой страны, въ которой отъ нихъ житья нѣтъ, въ которой они подтачиваютъ цѣлые дома, уничтожаютъ запасы хлѣба, и проч., и потому онъ глядитъ на нихъ, какъ на бичъ небесъ, какъ на несчастіе, какъ на кару, а отнюдь не какъ на интересное животное. И я рѣшаюсь утверждать, что въ этомъ образѣ воззрѣнія несравненно больше любви къ людямъ, нежели въ объективномъ воззрѣніи. Тутъ любовь безсознательная, слѣпая, почти животная. Это любовь матери, бьющей сына за то, что онъ худо учится, и нежелающей вѣрить чужимъ людямъ, которые равнодушно понимаютъ, что ребенокъ глупъ отъ рожденія, и что, потому, его нужно оставить въ покоѣ съ этой стороны и поискать для него другихъ какихъ-нибудь, менѣе головоломныхъ занятій. Я несравненно болѣе люблю эту мать, нежели другую, которая, понявши, что ея сынъ глупъ, рисуется своимъ сокрушеніемъ о его глупости. Между этими двумя родами матерей есть множество другихъ; но нельзя же заказать человѣку—будь тѣмъ, а не этимъ! Каждая птица поетъ сообразно съ устройствомъ своего клюва; каждый человѣкъ дѣйствуетъ согласно съ устройствомъ души своей. Г. Щедринъ говоритъ своимъ

настоящимъ голосомъ, и потому онъ оригиналенъ, и потому дѣло его, во всякомъ случаѣ, полезно. Онъ не лѣтописецъ, не хроникёръ; онъ—самъ дѣятель; оттого у него и волосы нѣсколько въ безпорядкѣ, и взглядъ свирѣпъ, и рукава засучены. Но когда, черезъ много лѣтъ, историкъ будетъ отыскивать матеріалы для характеристики нашего времени, сочиненія г. Щедрина послужатъ ему однимъ изъ драгоцѣннѣйшихъ матеріаловъ: онъ узна́етъ изъ нихъ, что́ насъ мутило, что́ намъ надрывало сердца́, изъ-за чего мы дрались, ругались, плевались! Правда, онъ донесетъ о насъ потомству неслишкомъ хорошія вещи, и вѣкъ нашъ предстанетъ историку далеко не въ праздничномъ свѣтѣ; да какой же у насъ теперь праздникъ! Физіономія въ сажѣ— самое приличное для насъ украшеніе.

Сочиненія г. Щедрина слишкомъ однообразны; но, вѣдь, и цѣль его—не выразить, не раскрыть читателю свое міросозерцаніе. Онъ выражаетъ только боль своего сердца, язвимаго глуповцами. Однообразіе ударовъ ихъ вызываетъ однообразный и стонъ; но брань, составляющая варіаціи на напѣвъ этого стона, чрезвычайно разнообразна. Русскій народъ шибко ругается, и „прилипаетъ, какъ банный листъ, *вырвавшееся изъ-подъ самаго сердца мѣтко-сказанное русское слово*“.

Каждый разсказъ г. Щедрина можно разсматривать какъ такое мѣтко-сказанное, вырвавшееся изъ-подъ сердца слово. Но я не буду подробно разбирать этихъ отдѣльныхъ разсказовъ: національность ихъ вполнѣ для насъ понятна и ощутительна. Сердце радуется при многихъ страницахъ. Читаешь и думаешь. „Вишь ты, какъ забираетъ! наконецъ-то мы заговорили по-своему!“ И въ самомъ дѣлѣ: худо ли, хорошо ли, да, по крайней мѣрѣ, на свой собственный ладъ. Ужъ тутъ нѣтъ ни малѣйшаго подражанія ни Шекспиру, ни Коцебу, ни Шиллеру. Это послѣдняя точка нашего развитія: все мерзкое, гнусное, вся грязь, накопившаяся на насъ въ теченіе вѣковъ, нами поняты; но мы плюемъ на нее, желая ее смыть собственными своими слюнами. Способъ отмыванія первобытный; но и за то спасибо, что хотя поняли, что отмывать надо. Съ этой точки отправленія можно уйти далеко! Покуда, кромѣ слюны, у насъ нѣтъ ни малѣйшей жидкости собственнаго своего изобрѣтенія, Ждановская жидкость въ настоящемъ случаѣ не годится...

— —

Наша современная сатира.

1) Сатиры въ прозѣ. 2) Невинные разсказы. Сочиненія Н. Щедрина.

*) Иностранцы, знакомые нѣсколько съ нашею литературой, справедливо удивляются чрезвычайно раннему и рѣшительному появленію въ ней сатиры, обыкновенно, признаку общества уже зрѣлаго и достигшаго значительной степени самосознанія. Дѣйствительно, сатира появляется у насъ съ самой первой поры нашего рѣшительнаго сближенія съ Европой и съ того времени играетъ въ исторіи нашей цивилизаціи самую видную, передовую роль. Можно безъ преувеличенія сказать, что направленіе и задачи нашей сатиры въ извѣстную эпоху всегда выражали стремленія и взгляды лучшихъ людей и если не руководили вполнѣ движеніемъ общественной мысли, то, по крайней мѣрѣ, служили ему самымъ явнымъ и прямымъ выраженіемъ. Поэтому-то изученіе нашей сатирической литературы въ связи съ общимъ ходомъ нашей цивилизаціи есть, безъ сомнѣнія, самая интересная сторона въ исторіи нашей новой литературы и неда-

[1]) „Библіотека для чт.“, 1863 г., № 8. (См. стран. 218.)

*) Евгеній Николаевичъ Эдельсонъ, которому принадлежитъ эта статья, род. въ 1824 г. и ум. въ 1868 г. Окончивъ курсъ на физико-математическомъ факульт. Московск. университ., онъ оставилъ занятія естественными науками и посвятилъ себя литературѣ. Выступилъ онъ въ 1848 г. въ журн. „Москвитянинъ“, издававшемся извѣстнымъ профессор. Погодинымъ, въ качествѣ литературн. критика. Здѣсь онъ писалъ, главнымъ образомъ, подъ псевдонимомъ *E. Curiosa*. „Москвитянинъ“ прекратилъ свое существованіе, и Евген. Ник. сталъ изъ Москвы посылать свои статьи въ журн. „Библіот. для чтенія“. Въ 1863 г. онъ переѣзжаетъ въ Петербургъ и дѣлается членомъ редакціи „Библ. для чтенія“. Здѣсь онъ помѣщаетъ цѣлый рядъ статей по литерат. критикѣ. Когда же и этотъ журналъ прекращаетъ свое существованіе, Евг. Ник. переходитъ въ „Отеч. Записки“. Эдельсонъ, какъ критикъ, принадлежитъ къ той группѣ, которая въ своей литературной дѣятельности руководилась принципомъ: „Искусство для искусства“.

Примѣч. Н. Денисюка.

ромъ привлекаетъ къ себѣ многихъ серіозныхъ и даровитыхъ изслѣдователей. Обращаемся, исключительно, къ современной сатирѣ въ собственномъ смыслѣ этого слова, т.-е. обличенію въ тѣсномъ смыслѣ, и, притомъ, обличенію, представляющему, въ извѣстномъ смыслѣ, новое дѣло. Такимъ единственнымъ дѣятелемъ представляется въ наше время Н. Щедринъ. По неизмѣнному закону всякаго быстраго и подъ чужимъ вліяніемъ развивающагося общества, оно, какъ и сатира, имѣющая въ виду его изображеніе, необходимо распадается на двѣ стороны. Съ одной мы встрѣчаемъ старый порядокъ, упорно и злобно отстаивающій свое существованіе, съ другой—новыя начала, нерѣшительно, съ колебаніями и не безъ промаховъ вступающія въ жизнь и борьбу. Обѣ борющіяся стороны всегда представляютъ вѣрную пищу тонкому сатирическому наблюдателю. Такую двойственность мы видѣли въ нашей сатирѣ почти съ самаго начала Петровой реформы, таковы же, въ сущности, и двѣ главныя группы фигуръ и явленій, вызванныхъ въ свѣтъ сатирой Н. Щедрина. Но особенно благопріятныя условія сильнаго общественнаго и законодательнаго движенія, совершающагося въ современномъ обществѣ, придали сатирѣ нашего автора широту и силу, которыхъ она, вѣроятно, не могла бы имѣть безъ этого броженія общественныхъ силъ. Отсюда же проистекаетъ въ Н. Щедринѣ и другое качество, дѣлающее его, именно, сатирикомъ, а не спокойнымъ художественнымъ живописцемъ общества. Находясь въ самой средѣ общественнаго движенія, принимая въ судьбахъ его горячее участіе, замѣшанный самъ въ борьбу мнѣній и общественныхъ интересовъ, онъ не всегда отличается объективностью своихъ изображеній; одну изъ главныхъ силъ его составляетъ, именно, живое чутье къ только-что возникающимъ въ обществѣ тенденціямъ и явленіямъ. Онъ схватываетъ, такъ-сказать, эти тенденціи и явленія на-лету, не давъ еще имъ выработаться и принять окончательный ясный образъ; онъ горячо вцѣпляется въ безобразныя стороны этихъ явленій и ведетъ съ ними ожесточенную борьбу, сообщающую особую свѣжесть и интересъ всей его дѣятельности. Отсюда, между прочимъ, проистекаетъ и другое, кромѣ указаннаго уже выше, дѣленіе предметовъ его сатиры. Съ одной стороны, мы видимъ у него болѣе ясныя, типичныя, тверже обрисованныя фигуры: это типы уже отжившіе, допускающіе свободныя, невраждебныя къ нимъ отно-

шенія и потому болѣе спокойную ихъ рисовку; съ другой—лица и явленія, ненавистныя сатирику, но еще твердо стоящія въ жизни, или новыя формы жизни, являющіяся какъ бы на смѣну старому порядку, но сразу же обличающія свою несостоятельность, возникающія, не успѣвшія принять окончательнаго образа, или, можетъ-быть, только переходящія формы жизни. Къ этимъ послѣднимъ явленіямъ нашъ сатирикъ не можетъ относиться равнодушно и спокойно, онъ борется противъ нихъ съ очевиднымъ озлобленіемъ. Послѣ этихъ общихъ замѣтокъ мы можемъ прослѣдить дѣятельность Н. Щедрина въ частностяхъ, по указаннымъ уже нами главнымъ направленіямъ и, отчасти, въ ихъ связи съ общественными и законодательными явленіями послѣдняго времени. Прежде всего, здѣсь необходимо отличить дѣятельность Щедрина до реформы, выразившуюся въ „Губернскихъ очеркахъ“ и возбудившую несомнѣнное участіе всей читающей публики, и дѣятельность его послѣ реформы, болѣе оригинальную, горячую и представляющую болѣе широкій кругозоръ, но встрѣтившую въ публикѣ уже не столь единодушный и одобрительный пріемъ. Причины этой разницы, лежащія какъ въ характерѣ дѣятельности Щедрина въ эти два разные періода, такъ и въ отношеніяхъ къ нимъ публики, не трудно понять. Въ „Губернскихъ очеркахъ“ авторъ впервые выпустилъ въ свѣтъ матеріалъ, давно уже накопленный и довольно знакомый въ жизни всѣмъ и каждому. Тамъ, по преимуществу, онъ имѣлъ дѣло съ чертами, уже отжившими, по крайней мѣрѣ, въ той грубой формѣ, въ какой представлены, напримѣръ, городничій Фейеръ или докторъ Иванъ Петровичъ.

Вопросы, поднятые „Губернскими очерками“, были болѣе или менѣе уже знакомые и давно поднятые въ литературѣ и, притомъ, положительно рѣшенные мыслящею частью публики. Ничто не мѣшало, слѣдовательно, ни Щедрину обнаружить въ этой довольно спокойной работѣ всю бойкость своего художественнаго таланта; ничто не мѣшало также и публикѣ безусловно восхищаться бойкостью и непривычною, въ то время, у насъ смѣлостью изображеній и хохотать или негодовать на типы, судъ надъ которыми не могъ быть ни для кого сомнителенъ, такъ какъ въ своемъ воззрѣніи Н. Щедринъ былъ только болѣе или менѣе передовымъ выразителемъ большинства образованныхъ людей, а въ нѣкоторыхъ моти-

вахъ (напримѣръ: Лузгинъ, Корепановъ) даже подражателемъ извѣстныхъ уже и сочувственныхъ публикѣ авторовъ. Нѣсколько иное произошло, когда начавшаяся въ нашемъ обществѣ реформа и, вообще, сильное броженіе затронули самые существенные интересы и убѣжденія многихъ классовъ и произвели нѣкоторый разладъ даже между мыслящими людьми, соединенными прежде въ общей враждѣ противъ всѣхъ извѣстныхъ враговъ движенія. Съ одной стороны, самая задача Н. Щедрина затруднилась, такъ какъ ему предстояло имѣть дѣло часто съ совершенно новыми явленіями, на которыя на-лету, при самомъ ихъ возникновеніи, требовалось установить истинную и вѣрную точку зрѣнія, и пришлось сдѣлать это, исключительно, на свой страхъ, такъ какъ справляться съ общественнымъ мнѣніемъ было некогда, да въ немъ не было уже, въ отношеніи ко многимъ явленіямъ, прежняго единомыслія. Съ другой стороны, и публика, по весьма естественной причинѣ, не могла относиться къ новой дѣятельности Щедрина съ прежнимъ единодушнымъ сочувствіемъ. Отпали отъ поклонниковъ его прежде всего, конечно, люди, непосредственно затронутые какъ реформой, такъ и сатирой; потомъ оптимисты, чаявшіе уже у насъ водворенія златого вѣка, которымъ казалось, что Щедринъ просто изъ каприза или по ремеслу продолжаетъ обличать, когда нужно бы, по ихъ мнѣнію, лишь радоваться и торжествовать; наконецъ, до извѣстной степени удалились отъ Щедрина люди, воспитанные на идеяхъ спокойнаго объективнаго творчества и встрѣтившіе въ сатирѣ его раздраженіе и рѣзкость, несовмѣстныя, по ихъ мнѣнію, съ достоинствомъ литературныхъ отношеній къ общественнымъ вопросамъ и явленіямъ. Но именно тамъ, гдѣ разошлось съ Щедринымъ большинство, онъ и является, по преимуществу, оригинальнымъ, многостороннимъ, и изученіе этой новой его дѣятельности и представляетъ для насъ наибольшій интересъ по количеству поднятыхъ имъ самыхъ живыхъ вопросовъ и по твердости и смѣлости постоянно сохраняемыхъ имъ отношеній къ дѣйствительности. Именно въ этой твердости и, такъ-сказать, неподкупности чутья его никакими призрачно-блестящими явленіями мы и полагаемъ главную заслугу Н. Щедрина, твердо и смѣло державшаго свое темное знамя во все время почти всеобщихъ ликованій и восторговъ. По всѣмъ высказаннымъ соображеніямъ мы

посвятимъ настоящую статью, главнѣйшимъ образомъ, новой дѣятельности Н. Щедрина и постараемся разсмотрѣть ее со вниманіемъ и обстоятельностью, которыхъ она вполнѣ заслуживаетъ. Нельзя не сознаться прежде всего, что, вчитываясь внимательно въ послѣднія сочиненія Н. Щедрина, находишь въ нихъ весьма полное отраженіе внутренней жизни нашего общества въ послѣдніе два-три года. Затронутые интересы, поднятые въ литературѣ и обществѣ вопросы, новые люди и стремленія—все это находитъ себѣ въ г. Щедринѣ весьма внимательнаго выразителя и истолкователя, и въ этомъ отношеніи представляетъ для будущаго историка жизни нашего общества обильный и живой матеріалъ. Не говоря уже о явленіяхъ первостепенной важности, какъ уничтоженіе крѣпостного права, появленіе благодѣтельной гласности и уничтоженіе откуповъ,—даже мелкія явленія, напримѣръ, слухи о готовящихся преобразованіяхъ, какія-нибудь измѣненія въ жизни провинціальной, успѣвшія возникнуть подъ вліяніемъ новыхъ порядковъ, фальшивыя тревоги, пробѣгающія по временамъ въ обществѣ, глубоко потрясенномъ и чутко прислушивающемся ко всякой новизнѣ,—все это вносится г. Щедринымъ въ его живую лѣтопись и сопровождается комментаріями, увы! глубоко неутѣшительными и многими считаемыми за умышленно-злостныя. Придерживаясь раздѣленія, очевидно, существующаго и у самого автора, мы постараемся собрать въ отдѣльныя группы лицъ, положительно сокрушенныхъ новымъ духомъ, внесеннымъ въ наше общество, прямо и откровенно спасовавшихъ передъ нимъ; лицъ, озадаченныхъ и озлобленныхъ, но притворяющихся спокойными и даже сочувствующими реформамъ; наконецъ, лицъ, представляющихъ самыхъ новыхъ дѣятелей реформы, волею или неволею плывущихъ за временемъ и старающихся попасть въ тактъ. Полнѣйшею представительницей перваго, самаго жалкаго разряда можетъ служить г-жа Падейкова. Одинъ слухъ о чемъ-то новомъ, о какомъ-то ядѣ, который дѣйствуетъ во всѣхъ подвластныхъ ей Ѳеклушкахъ, Маришкахъ, Порфишкахъ и Прошкахъ, выбиваетъ ее совершенно изъ обычной колеи, запутываетъ всѣ ея понятія, всѣ отношенія, кажетъ ей повсюду какіе-то призраки и, наконецъ, окончательно сокрушаетъ ее, когда сосѣдъ-дворянинъ привозитъ ей извѣстіе, что „оно“ уже кончено. Описаніе этого визита, сдѣланное краткими,

по правдивыми и мастерскими штрихами, визита, вѣроятно, повторявшагося безконечное число разъ въ нашемъ обширномъ отечествѣ и, между тѣмъ, уже теперь, черезъ три года, кажущагося не совсѣмъ вѣроятнымъ въ подробностяхъ,—мы рѣшаемся представить въ подлинникѣ.

— Я къ вамъ, Прасковья Павловна, съ дѣльцемъ-съ!—таинственно проговорилъ Грузиловъ, едва держась на кончикѣ стула и безпокойно поглядывая на полуотворенную дверь, мимо которой безпрестанно шмыгали дворовыя дѣвки. Прасковья Павловна измѣнилась въ лицѣ. „Что такое?“ спросила она дрожащимъ голосомъ, уже предчувствуя бѣду. —Гм... точно-съ... извѣстіе-съ... до всѣхъ касающе...—пробормоталъ Грузиловъ, самъ инстинктивно робѣя.—„Да ты не гымкай, а говори, сударь, дѣло!“ сказала съ сердцемъ Прасковья Павловна. Грузиловъ снова съ безпокойствомъ взглянулъ на дверь, гдѣ, какъ ему показалось, торчали двѣ женскія головы, очевидно, желавшія подслушать барскій разговоръ.

—Перметте... ле портъ?—сказалъ онъ рѣшительно, хотя до настоящей минуты отроду не выговаривалъ ни одного французскаго слова. „Фермé“, отвѣчала Прасковья Павловна. Грузиловъ приперъ дверь поплотнѣе. —Имѣю честь доложить,—сказалъ онъ вполголоса,—что на сихъ дняхъ „оно“ ужъ кончено, то-есть рѣшено и подписано-съ!—„Какъ рѣшено? кѣмъ подписано? Да говори же, сударь, говори!“—Такъ точно-съ! для „нихъ“, можно сказать, все счастье составили-съ!—„Парлé франсé“, сказала Прасковья Павловна, поднимаясь съ дивана и подступая къ Грузилову: „де ки, де ки савé?“—Иванъ Степанычъ вчерашняго числа достовѣрное извѣстіе получили-съ...—Прасковья Павловна съ глухимъ воплемъ опустилась на диванъ. Грузиловъ засуетился около нея.—Матушка, Прасковья Павловна!—говорилъ онъ нѣсколько ослабнувшимъ голосомъ,—матушка, не сердитесь! Богъ дастъ, все попрежнему будетъ!—Прасковья Павловна, упершись въ спинку дивана и зажмуривъ глаза, безмолвствовала.

—Успокойтесь, матушка!—утѣшалъ Грузиловъ.—Иванъ Степанычъ сказывали, что все это только такъ-съ, предварительно-съ... для того только, чтобъ французу по губамъ помазать... „Нѣтъ, Гаврила Семенычъ“, сантиментально продолжала Прасковья Павловна: „я вотъ какъ скажу: съ нынѣшняго дня я всю мою надежду на Бога возложила! Какъ Онъ, Царь небесный, положитъ, такъ пусть и будетъ... Только ужъ я въ обиду себя не дамъ!“ прибавила она совершенно неожиданно.

Къ этому же разряду сокрушенныхъ и живущихъ только тщетною надеждой, что все это „можно будетъ оставить попрежнему“, принадлежитъ группа дворянъ изъ „Недавнихъ комедій“, собравшихся къ предводителю по случаю возвращенія его изъ Петербурга съ свѣжею вѣстью о реформѣ. Сюда же принадлежатъ и „заживо погребенные“ дѣйствительные статскіе совѣтники Андрей Иванычъ и Иванъ Андреичъ, отставленные, но еще ласкающіе себя надеждой, что ихъ полезная дѣятельность въ изобрѣтеніи новыхъ графъ и очищеніи бумагъ еще потребуется для отечества, лишь

внезапно почему-то сбившагося съ толку, но имѣющаго возвратиться вновь на старый путь. Сюда же, безъ сомнѣнія, слѣдуетъ отнести и губернскаго штабъ-офицера, масона по его убѣжденію, но масона не заблудшагося, а очищеннаго. И этихъ-то высокополезныхъ дѣятелей, по какимъ-то непонятнымъ соображеніямъ, хотятъ упразднить, по слухамъ, какъ-будто ненужныхъ дѣятелей! Понятно глубоко искреннее сокрушеніе одного изъ подобныхъ дѣятелей, когда пріятель изъ Петербурга извѣщаетъ его о готовящемся ему упраздненіи и совѣтуетъ перемѣнить свою священную обязанность на службу „по части сивухи и клубнички“. Нельзя не сочувствовать его горячей и твердой вѣрѣ, что это уничтоженіе есть только временное и что „въ мундирахъ или безъ мундировъ, они должны-таки возродиться“. „Конечно, сначала все это будетъ какъ-будто подъ пепломъ,—утѣшаетъ онъ свое патріотическое чувство,—а потомъ оно потеплится, потеплится, да и воспрянетъ настоящимъ манеромъ!“—Да вы-то? вы-то? что съ вами будетъ?—неумѣстно спрашиваетъ штабъ-офицера Щедринъ, и получаетъ отъ него справедливый урокъ: „Что обо мнѣ говорить!—отвѣчаетъ очищенный масонъ.—Я... я могу найти для себя убѣжище въ одномъ изъ новыхъ учрежденій, о которыхъ пишетъ Малявка... Но это все равно! Главное, все-таки, въ томъ, что мы возродимся!“ Къ той же группѣ обиженныхъ и потерявшихся мы должны отнести и Кондратія Трифоновича Сидорова въ „Деревенской тиши“, котораго заѣлъ и сокрушилъ сословный антагонизмъ, вычитанный имъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ и внезапно усмотрѣнный имъ во всѣхъ отношеніяхъ его со своими крѣпостными. Не утѣшаетъ его ни водка, ни благодушная бесѣда съ „батюшкинымъ братомъ“, ни даже Машенька, и все видятся ему козни со стороны Ваньки, и накопляются въ разстроенномъ воображеніи его улики на его грубости для предъявленія становому. Даже тихаго и безмятежнаго убѣжища „Пустынника“ (см. „Нашъ губернскій день“) не оставляетъ въ покоѣ разлившійся по всему русскому обществу „ядъ“. Напрасно продолжаютъ черноглазовскія дѣвки присылать ему зернистой икры или рыжичковъ соленыхъ, а мужики изъ Полорѣца балыковъ и другихъ яствъ; напрасно всѣ, какъ онъ выражается, стоялые жеребцы въ губерніи состоятъ въ безусловномъ его повиновеніи и цѣлые хоры готовы всегда для увеселенія его и гостей: зараза чув-

ствуются и имъ, и хотя, по выраженію Щедрина, онъ, отрѣзанный ломоть отъ общества, и „самою природой устроенъ такъ, что было бы у него вдоволь ѣства и пойла да малахай шелковый, такъ не проймешь его никакою скорбію", однако, и онъ скорбитъ и произноситъ неподобныя рѣчи и справедливо обвиняетъ начальство, что оно не принимаетъ никакихъ мѣръ къ уничтоженію „заразы". Впрочемъ, благодареніе Богу, зараза еще не совсѣмъ проникла въ мирное убѣжище, гдѣ владычествуетъ пустынникъ, и онъ сокрушается, такъ сказать, вчужѣ. „Я-то со своими справлюсь,—говоритъ онъ въ заключеніе бесѣды имъ же сокрушенному сановнику:—вотъ вы-то, гражданскіе, какъ?" Та же зараза проникла въ мирный домъ „генерала Голубчикова", состоящаго, какъ видно, по своей должности въ весьма близкой связи съ откупною системой, и потому мы присутствуемъ въ разсказѣ Щедрина при рядѣ сценъ, представляющихъ генерала Голубчикова и его семейство то на верху блаженства, то въ безднѣ отчаянія, смотря потому, какія извѣстія о ходѣ откупного дѣла получаются изъ Петербурга.

— Представьте, какъ все это неожиданно случилось!—разсказываетъ онъ, съ веселою улыбкой встрѣчая гостя.—Сидимъ мы сегодня въ палатѣ и, по обыкновенію, разсуждаемъ о томъ, что ожидаетъ впереди нашу матушку Русь православную, какъ, вдругъ, приходитъ пакетъ. Раскрываю—и что же, напримѣръ, вижу? „Снисходя, говоритъ, къ ходатайству грека Мерзокопаки, оставляемъ"... Ну, однимъ словомъ, оставляемъ, да и все тутъ!

Генералъ хихикнулъ, какъ-будто его кто-нибудь нечаянно щекотнулъ пальцемъ подъ-мышкой.

— Ну, и слава-Богу!—повторилъ гость. — Я, впрочемъ, заранѣе зналъ, что это такъ будетъ! Да оно, коли хотите, и неправдоподобно! Не было еще примѣровъ въ исторіи, чтобы правительство просвѣщенное добровольно отказывалось отъ такихъ полезныхъ сотрудниковъ... — „Да, объ нихъ именно можно сказать, что это истинные вѣрноподданные!" — Это такъ. Потому, живутъ смирно и никого не задѣваютъ!—„Мало того, что не задѣваютъ, но всегда, такъ-сказать, на общую пользу стремятся!" —И это опять-таки именно такъ. Кто во время послѣдней войны неестественныя суммы, съ явнымъ для себя ущербомъ, на торгахъ набавилъ?—„Мерзокопаки и Лампурдосъ!"—Кто нашего губернатора изъ бѣды выручилъ, когда велѣно было женскія училища вездѣ заводить?—„Лампурдосъ и Мерзокопаки!"—Кто обществу угодилъ, когда оно постоянный театръ имѣть пожелало?—„Лампурдосъ, Лампурдосъ и Лампурдосъ!"

Но такое игривое, благодушное настроеніе духа генерала Голубчикова продолжается лишь до новаго письма или бумаги изъ Петербурга, приносящихъ другія вѣсти и наводящихъ на иныя, тяжелыя мысли. Нерадостная жизнь! Боимся,

не сюда ли же придется отнести и группу сановниковъ („Нашъ дружескій хламъ"), еще благополучно правящихъ какою-то богоспасаемою губерніей, но нѣсколько отсталыхъ въ предметѣ своихъ задушевныхъ бесѣдъ. По крайней мѣрѣ, мы почти несомнѣнно увѣрены, что слѣдующій интимный разговоръ нѣсколькихъ штатскихъ губернскихъ генераловъ заставитъ улыбнуться иного вольнодумца:

— Нашъ князь,—вступается статскій совѣтникъ Генераловъ,—такъ, тот больше все лѣвою рукой дѣйствуетъ: и на стулъ лѣвою рукой указываетъ, и подаетъ все лѣвую руку. „А что вы думаете?—говоритъ генералъ Голубчиковъ:—вѣдь, это, именно, правда, что у вельможъ лѣвая рука всегда какъ-то болѣе развита!"—Я полагаю, что въ этомъ свой расчетъ есть,—глубокомысленно замѣчаетъ Иванъ Ѳомичъ.—„То-есть, не столько расчетъ, сколько грація",—возражаетъ Голубчиковъ.—Никакъ нѣтъ-съ, ваше превосходительство: не грація, а расчетъ-съ.

— „Нѣтъ, зачѣмъ же непремѣнно „расчетъ"? Я, напротивъ того, положительно убѣжденъ, что грація",—говоритъ Голубчиковъ, задѣтый за живое настойчивостью Ивана Ѳомича.

— А я, напротивъ того, положительно убѣжденъ, что именно расчетъ, и имѣю на это доказательство.—„Это очень любопытно!"—И именно я полагаю, что всякій вельможа хочетъ этимъ дать понять, что правая рука у него занята государственными соображеніями. — „Ну-съ... а лѣвая рука тутъ зачѣмъ-съ?"— А лѣвая рука, какъ свободная отъ занятій, предлагается посѣтителямъ-съ. — „Ну-съ, а дальше что-съ?"—Ну-съ, а дальше то же самое.—„Та-а-къ-съ!".

И генералы чуть не ссорятся... „И даже нисколько не правдоподобно!" справедливо замѣтилъ бы Тяпкинъ-Ляпкинъ. Сюда же, къ крайнему нашему прискорбію и удивленію, мы должны отнести и губернатора, выведеннаго въ разсказѣ „Нашъ губернскій день", губернатора, который никакъ не можетъ привыкнуть къ новымъ порядкамъ, и, не догадываясь, что въ почтенномъ дворянствѣ ввѣренной ему губерніи успѣли уже возникнуть настоящія политическія убѣжденія и партіи, прибѣгаетъ для примиренія двухъ враждующихъ политическихъ противниковъ къ старому средству, неудавшемуся еще въ Миргородѣ при примиреніи Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ, и за это, какъ и слѣдовало ожидать, получаетъ самый жестокій репримандъ и отъ самихъ представителей партіи и отъ высшей власти. Но смѣемъ надѣяться, что такой отсталый губернаторъ, гдѣ-то въ трущобѣ отысканный г. Щедринымъ, былъ послѣдній въ своемъ родѣ. И дѣйствительно, у самого же автора мы находимъ новые типы начальствующихъ лицъ,

ревностно слѣдящихъ за прогрессомъ и требованіями времени. Но они уже принадлежатъ къ второй группѣ лицъ, къ которымъ мы и переходимъ теперь; но предварительно, такъ какъ это будутъ новые дѣятели, мы передадимъ нѣкоторыя общія воззрѣнія нашего автора на характеръ тѣхъ новыхъ и радостныхъ явленій, которыя встрѣчены были съ такимъ восторгомъ всею Россіей и обѣщали радикальное преобразованіе нашего общества.

„Въ одно морозное свѣтлое ноябрьское утро—повѣствуетъ г. Щедринъ—мы проснулись и, безъ всякой причины, ощутили въ себѣ нѣчто, въ высшей степени, странное. Какъ-будто вокругъ насъ что-то измѣнилось: и просторъ сузился, и пригорочки на ровныхъ мѣстахъ появились; какъ-будто въ насъ нѣчто оборвалось; какъ-будто и извнѣ и изнутри что-то въ одно и то же время и покалываетъ, и тревожитъ, и возбуждаетъ, и смущаетъ насъ... И въ то же самое время въ оконечностяхъ нашего языка почувствовали мы нестерпимое раздраженіе...—Папася, хацу гавалить! сказали мы.—„Говори, другъ мой!“ отвѣчали намъ. Какая же причина столь внезапнаго явленія?.. Ближайшія изслѣдованія даютъ поводъ думать, что первою и главною побудительною причиной было то, что намъ вышло позволеніе говорить, подобно тому, какъ выходятъ: отставка, опредѣленіе, отсрочка, новыя формы и т. д. Спрашивается: если вышла человѣку новая форма одежды, можетъ ли онъ продолжать ходить въ старой? Подобно сему, если вышло человѣку дозволеніе говорить, можетъ ли онъ молчать?

И самое нежеланіе съ его стороны воспользоваться предоставленнымъ правомъ не должно ли быть признано равносильнымъ ослушанію воли начальства?“

Итакъ, всѣ ревностно начали исполнять волю начальства, носить вновь установленную форму. Дѣло совершенно естественное, и странно было бы, если бы случилось иначе у насъ, русскихъ, которыхъ главнѣйшая добродѣтель, еще по замѣчанію Екатерины Великой, заключается „въ образцовомъ послушаніи“, съ прибавкой, кромѣ того, еще какого-то „корня“. Но дѣло въ томъ, что если послушаніе и оказалось „образцовымъ“, то не всѣ съ одинаковою охотой, съ одинаковою расторопностью и предупредительностью оказали это послушаніе. Въ этомъ только, именно, и различаются разныя лица второй группы изъ выведенныхъ Н. Щедринымъ лицъ. Но прежде, нежели перейдемъ къ обзору ихъ, послушаемъ еще собственныхъ разсужденій автора. Кромѣ главнаго, указаннаго сейчасъ побужденія, то-есть послѣдовавшаго, откуда слѣдуетъ, распоряженія, оказывается, по мнѣнію г. Щедрина, и другое: это—современность.

„Когда все кругомъ насъ говоритъ и пишетъ объ обветшалости крѣпостного права, о неудобствѣ откуповъ, взяточничествѣ и казнокрадствѣ,

можемъ ли мы оставаться равнодушными? Можемъ ли мы, спрашиваю я васъ, удержать біенія сердецъ нашихъ и не преподнесть нашего собственнаго издѣлія букетовъ на алтарь отечества? Очевидно, что нѣтъ: во-первыхъ, потому, что это не будетъ à la mode, а во-вторыхъ и потому, что кто же бы тогда сталъ внимать намъ? Вымолви-ка мы теперь такое слово, какъ, напримѣръ: откупа полезны,—гдѣ жъ бы нашлась публика для такихъ рѣчей?! Итакъ, мы условились единодушно и заранѣе, что откупа—гадость, взяточничество—мерзость, казнокрадство—мерзость, а крѣпостное право une chose sans nom. Но, Господи! что за горечь кипитъ въ нашемъ сердцѣ, когда мы произносимъ эти слова! Какое горькое дрожаніе усматривается на поблѣднѣвшихъ губахъ нашихъ: что за соленый вкусъ ощущается на языкѣ, когда онъ лепечетъ заповѣдное вступленіе къ предстоящей рѣчи: „Господа! нѣтъ сомнѣнія, что предметъ, насъ занимающій, заслуживаетъ искренняго нашего сочувствія!“—„Черта съ два, искренняго!“ думаемъ мы въ это самое время, и повѣрьте, что для насъ было бы во сто-кратъ пріятнѣе, если бы заставили насъ проглотить ежа, нежели вызвать изъ себя эту простую, невинную фразу! Однакожъ, мы выдавливаемъ ее, и хотя внутри насъ все копошится и какъ-будто хохочетъ, но слова наши въ порядкѣ, носы не буйствуютъ, языки въ порядкѣ и даже физіономіи въ порядкѣ... Да, чортъ побери... въ порядкѣ!“

Но отъ общихъ разсужденій, въ которыхъ авторъ можетъ и заблуждаться, обратимся къ типамъ. Здѣсь мы на болѣе твердой почвѣ. Всякій можетъ рѣшить, правдоподобно ли представляемое авторомъ или нѣтъ. Новая форма, какъ выражается авторъ, т.-е. новые порядки, потребовались прежде всего отъ тѣхъ вліятельныхъ лицъ, которыя сообщаютъ, такъ-сказать центральный духъ и направленіе отдѣльнымъ областямъ и управленіямъ обширнаго нашего отечества. Не всѣ, какъ и слѣдовало ожидать, оказались равно подготовленными къ этой новой формѣ, и это-то, надѣемся, кратковременное замѣшательство въ правительственныхъ принципахъ не ускользнуло отъ сатирическаго ума г. Щедрина и дало ему обильную пищу для очерковъ. Дѣйствительно, какъ-то странно и даже смѣшно видѣть какъ какой-нибудь генералъ Зубатовъ, всю жизнь свою державшійся принциповъ чистоты, строгости, безусловнаго повиновенія и т. под. твердыхъ и ясныхъ принциповъ,— Зубатовъ, который, бывало, на замѣчаніе подчиненнаго о неисполнимости какого-либо требованія, похожаго на сѣяніе ржи на камнѣ, отвѣтствовалъ: „Ну что жъ-съ!.. и посѣемъ-съ!“ —Да, вѣдь, рожь-то не выраститъ!—„Выраститъ-съ! А не выраститъ, такъ будемъ камень сѣчь-съ!“—А она и отъ этого не выраститъ!—„И опять будемъ сѣчь-съ! Намъ до этого дѣла нѣтъ, что можно и что нельзя... мы будемъ

...вѣчь-съ!" Зубатовъ, однимъ словомъ, который въ тридцать пять лѣтъ службы никогда никакихъ препятствій не имѣлъ, а тѣмъ менѣе сомнѣній въ вѣрности и дѣйствительности принциповъ, вдругъ начинаетъ сомнѣваться, задумываться, и, наконецъ, доходитъ до того, что вступаетъ съ своимъ подчиненнымъ въ слѣдующій кроткій разговоръ: „Вотъ, любезный другъ: оказывается теперь, что мы съ вами до сихъ поръ спали, то-есть не то чтобы совсѣмъ спали, а такъ, знаете, скользили по поверхности... составляли, тамъ, вѣдомости... наблюдали, чтобы входящія и исходящія не были закапаны... Выходитъ, что все это было напрасно: д-да! Выходитъ, что отъ этого у насъ и торговля не развивается... и фабрикъ нѣтъ... и богатство народное тово..." И на вопросъ подчиненнаго: „Что прикажете, ваше превосходительство?" отвѣчаетъ: „Ну, да вы меня понимаете... Я бы хотѣлъ, чтобы этакъ тово... новенькое что-нибудь... Знаете-ли что?" прибавилъ онъ весело какъ бы озаренный внезапною мыслью: „устроимте-ка здѣсь биржу". Но благодѣтельный проектъ биржи, какъ разсказываетъ авторъ, не удался по грубости и невѣжеству нашего купечества, которое увидѣло въ немъ почему-то не благодѣяніе для себя, а новый видъ побора и даже обиду, и предложило, если ужъ непремѣнно что-нибудь надобно, „просто чѣмъ ни-на-есть обложить ихъ на общеполезное устройство". Точно также лопнули благодѣтельные проекты распространенія грамотности, путей сообщенія, выработанные тайно въ губернской канцеляріи, но не признанные тѣми, кого они должны были осчастливить, и новая благодѣтельная дѣятельность генерала Зубатова оказалась безплодною. Видно, не всякую форму легко перемѣнить. А все-таки Зубатовъ оказывается исполнительнымъ чиновникомъ, и несмотря на разныя неудачи своей новой дѣятельности, старается изъ всѣхъ силъ поддѣлаться подъ новыя требованія, и недаромъ, по замѣчанію автора, корресподенты „Московскихъ Вѣдомостей" называютъ его „нашимъ справедливымъ" и „благодушнымъ начальникомъ", а въ городѣ Глуповѣ „даже стонъ стоитъ по случаю учтиваго его обращенія".—И не видывали мы, сударь, говоритъ обыватель Анемподистъ Ѳедотовичъ,—не видывали такого! Бывало, начальникъ-то позоветъ: „А ну-те, говоритъ, чистопсовые! а знаете ли, говоритъ, что васъ всѣхъ правъ состоянія лишать велѣно!" Такъ мы, сударь, такъ, бывало, всѣ

ходупомъ и ходимъ передъ нимъ! А этотъ, просто, даже и на начальника не похожъ: на стулъ, это, сажаетъ, папиросу подаетъ: „Разскажите, говоритъ, какая у васъ статистика!“—Но всѣ эти старанія Зубатова, и похвалы корреспондентовъ, и восторгъ, смѣшанный съ изумленіемъ, жителей Глупова не смягчаютъ ожесточеннаго сердца нашего сатирика и глухо гремятъ похожія на пророчества слова его, обращенныя къ генералу Зубатову: „Вновь спрашиваю я тебя, величественный Зубатовъ: ты ли это? Если это ты, то помни, что конфузъ входитъ пудами, а выходитъ золотниками, и что однажды опоенную лошадь никакія человѣческія усилія не въ силахъ возвратить къ прежней лошадиной бодрости и нестомчивости! Что́, если вновь будетъ приказано не конфузиться? Что́, если вновь приказано будетъ по десяти разъ въ день утопать въ стаканѣ воды и по сту разъ соскакивать съ колокольни? Дрожать за тебя или нѣтъ? Воспрянешь ли ты, или...“ О, какъ бы смущено было сердце Зубатова этими словами, если бы Зубатовъ... не былъ, какъ само собою разумѣется, вымысломъ автора. Но не одни только распорядители, люди, попеченіямъ которыхъ поручены въ различныхъ мѣстахъ нравственность, спокойствіе и благосостояніе россійскихъ гражданъ, смущаются въ своемъ новомъ, непривычномъ дѣлѣ. Самые граждане, для блага которыхъ, повидимому, и раздались всѣ эти громкія фразы о гласности, самоуправленіи, мѣстныхъ интересахъ и т. под., какъ-то туго понимаютъ и поддаются новому духу, на нихъ повѣявшему. Такъ, по крайней мѣрѣ, слѣдуетъ заключать изъ слѣдующаго разсказа г. Щедрина о томъ, какъ приняли граждане города Глупова первый свѣтъ гласности, пролитой газетами на ихъ градоначальника, по случаю, якобы, нерадѣнія его о пожарныхъ командахъ и предпочтенія карточной игры своимъ прямымъ обязанностямъ. Весь городъ переполошился, какъ и слѣдовало ожидать, такою неслыханною вещью. Нашлись лишь нѣсколько молодыхъ вольнодумцевъ, выразившихъ сочувствіе къ обличительной статьѣ; все, что было посолиднѣе и имѣло прочное общественное положеніе, скорбѣло болѣе объ обиженномъ градоначальникѣ. Мы не будемъ разсказывать о томъ, какъ авторъ статьи былъ, по совѣту стряпчаго, не подвергнутъ прямому преслѣдованію, а „пропущенъ сквозь строй жизненныхъ обстоятельствъ“, такъ-что послѣ

многихъ непріятныхъ приключеній принужденъ былъ, наконецъ, оставить городъ, и остановимся на впечатлѣніи, произведенномъ первымъ опытомъ гласности на мирныхъ гражданъ города Глупова.

Прежде всѣхъ, какъ и водится, узналъ городской голова, къ которому прямо отъ городничаго забѣжалъ стряпчій. Должно-быть, разсказъ стряпчаго былъ особенно умилителенъ, потому что голова, слушая его, совсѣмъ растужился. „Ишь ты что! сказалъ онъ, когда стряпчій кончилъ:—что жъ теперича мнѣ-то дѣлать?“—Да надо бы тово... „Опчество собрать, видно, надать“, продолжалъ голова и жалобно вздохнулъ.—Общество не общество, а именитыхъ.—Голова вновь вздохнулъ. „Однако, какъ же это? произнесъ онъ;—не въ примѣръ, значитъ, прочимъ?“—Ну такъ что жъ такое?—„Ничего-съ... я такъ только, къ примѣру, что опчество собрать, видно, надать... Ничего-съ, можно-съ!“ На скорую руку были собраны въ домѣ головы именитые, къ которымъ хозяинъ держалъ рѣчь: „Ну, именитые, сказалъ онъ:—градоначальника нашего обидѣли... Богъ грѣхамъ терпѣлъ, царь жаловалъ, губерніи начальникъ благодарность объявлялъ, а песъ борзой облаялъ... подитко-сь!“—Значитъ, смириться долже́нъ! произнесъ одинъ изъ именитыхъ.—Это, Өедоръ Аөанасьичъ, значитъ, для смиренья ему Богъ послалъ,—произнесъ другой. „Божьи дѣла намъ судить не приходится, сказалъ голова,—а выраженье отъ насъ по этому случаю требуется!“ Именитые переглянулись. „Что жъ, именитые, почтить начальника въ горести, по мѣрѣ силы возможности, есть каждаго долгъ и обязанность“. Молчаніе. „Итакъ, возблагодаримъ Создателя!“ произнесъ голова, вспомнивъ, что однажды начальникъ губерніи именно этими словами кончилъ рѣчь свою. „И вотъ, такимъ образомъ,—прибавляетъ авторъ,— „Московскія Вѣдомости“ сдѣлались причиной, что нашъ градоначальникъ былъ въ этомъ году лишній разъ именинникомъ“.

Такъ, по свидѣтельству Н. Щедрина, повели себя именитые граждане города Глупова по случаю появленія на свѣтъ благодѣтельной гласности. Гораздо съ большимъ тактомъ и пониманіемъ сущности дѣла встрѣчаетъ новорожденную гласность и прочія благодѣтельныя явленія новаго духа времени благородное и чиновное сословіе того же города Глупова. Прежде всего, они всѣ поголовно, или, развѣ, за самыми малыми исключеніями, спѣшатъ заявить свое сочувствіе новымъ идеямъ и порядкамъ.

„Милостивые государи! говоритъ престарѣлый князь Обалдуй-Таракановъ:—не подлежитъ никакому сомнѣнію, и всѣ вы со мною согласитесь, что нашему любезному отечеству открывается будущность не только прекрасная, но даже, смѣю думать, и блестящая“. Затѣмъ, указавъ съ горечью на другія государства вселенной и даже на древній міръ, гдѣ повсюду усматривается гибельная вражда партій, почтенный старецъ продолжаетъ: „Взамѣнъ того, что видимъ у насъ? Города цвѣтутъ, селенія процвѣтаютъ, порядокъ не нарушается, арміи удивляютъ міръ, пролетаріатъ невозможенъ, просвѣщенное дворянство стремится и изъявляетъ готовность

почтенное купечество съ своей стороны жертвуетъ, добрые земледѣльцы благоденствуютъ и наслаждаются плодами рукъ своихъ...“

Далѣе, упомянувъ объ усовершенствованныхъ путяхъ сообщенія, развитіи промышленности и кредита, процвѣтаніи земледѣлія и скотоводства, и указавъ на связь всѣхъ этихъ ожидающихъ въ будущемъ наше отечество благъ и стоящихъ въ связи съ отмѣной крѣпостного права, онъ не задумывается заявить свое сочувствіе „благодушной принципіи, которая въ отвлеченіи, т.-е. взятая сама-по-себѣ, не терпитъ возраженія“...

„Но, продолжаетъ онъ (тутъ-то, замѣчаемъ мы отъ себя, и начинается сущность дѣла),—если съ вершинъ отвлеченности мы спустимся къ низменности практической... если спросимъ себя съ полною откровенностью: готовъ ли онъ къ встрѣчѣ съ тѣми трудностями жизни, съ которыми будетъ неизбѣжно сопряжено его новое положеніе?.. Какія отличительныя черты встрѣчаемъ мы въ поселянахъ нашихъ? Младенческую безпечность и нѣкоторую наклонность къ сладостному far-niente. Поселянинъ, какъ дитя, срываетъ цвѣты, не заботясь о будущемъ... Если мы оторвемъ его отъ этого идиллическаго настроенія души, если поставимъ его лицомъ къ лицу съ суровой мачехой—дѣйствительностью, чего можемъ мы ждать?.. Итакъ, господа,—заключаетъ князь свою рѣчь, при единодушныхъ одобреніяхъ,—я умоляю васъ не спѣшить навстрѣчу волнамъ пожирающаго океана, но девизомъ вашихъ будущихъ дѣйствій избрать слова, глубоко начертанныя въ моемъ собственномъ сердцѣ: неторопливость и постепенность!“

И въ такомъ смыслѣ произносятся десятки рѣчей, которыя всѣ начинаются восхваленіемъ обширности Россіи и порядка, въ ней царствующаго; всѣ отдаютъ должную справедливость устности, гласности и другимъ полезнымъ принципамъ новаго времени. „Но—какъ говоритъ другой представитель благороднаго сословія—употребляя слово гласность, я, само собою разумѣется, понимаю гласность благонамѣренную, то-есть такую, которая никого не обижаетъ, никого не затрогиваетъ и предоставляетъ всякому спокойно пожинать плоды рукъ своихъ. Конечно, многіе, быть-можетъ, поймутъ это дѣло иначе и возмечтаютъ, что во имя гласности можно всѣхъ и каждаго по зубамъ колотить. Для лицъ подобнаго образа мыслей я кратко повторяю мое прежнее уподобленіе: лежали два камня и безмолвствовали; шелъ мимо искусный прохожій, осторожно ударилъ одинъ камень о другой—и вотъ искра! Что́ если бъ прохожій былъ неискусенъ? Что́ еслибъ онъ ударилъ неосторожно? Если бъ поблизости оказался навозъ или другой удобовоспламеняющійся матеріалъ?..

Итакъ: постепенность и нетороплнвость". И почтенное глуповское сословіе остается вполнѣ довольно, ибо очень хорошо понимаетъ, что́ именно нужно разумѣть подъ этими благоразумными правилами. Вслѣдствіе такихъ основательныхъ рѣчей и, вообще, широкаго обмѣна мыслей, самыя партіи, издревле существовавшія въ благородномъ сословіи, существенно измѣнились и приняли болѣе современный и соотвѣтствующій положенію дѣлъ характеръ.

„Въ прежнія времена—разсказываетъ Н. Щедринъ—у насъ, обыкновенно, свирѣпствовали двѣ партіи: стараго предводителя дворянства и новаго предводителя дворянства. Обѣ партіи исключительно занимались тѣмъ, что объѣдали и опивали своихъ патроновъ и бушевали на выборахъ, кладя имъ шары направо, поднося имъ шары на блюдѣ и, вообще, оказывая самые разнообразные знаки всевозможной преданности. Тутъ борьба не имѣла никакого политическаго оттѣнка, тутъ дѣло шло, единственно, о томъ, кто кого перекормитъ .. Въ настоящее время у насъ двѣ партіи: ретрограды и либералы (разумѣется, умѣренные)... Чего хотятъ ретрограды, чего хотятъ либералы—понять очень трудно. Съ одной стороны, ретрограды кажутся либералами, ибо составляютъ оппозицію; съ другой стороны, либералы являются ретроградами, ибо говорятъ и дѣйствуютъ такъ, какъ бы состояли на жалованьи... Скажу одно: если гнаться за опредѣленіями, то первую партію всего приличнѣе было бы назвать ретроградною либераліей, а вторую—либеральною ретроградіей".

Какъ бы то ни было, согласимся мы или нѣтъ съ этимъ немножко рѣзкимъ опредѣленіемъ автора, положительно вытекаетъ изъ его дальнѣйшихъ разсказовъ одно: именно, что отъ этого измѣненія дворянскихъ партій въ прогрессивномъ духѣ пострадали только губернаторы, которымъ стало еще труднѣе поддерживать миръ и порядокъ во ввѣренныхъ имъ губерніяхъ, да жалуются и тоскуютъ о прежнемъ времени прочіе губернскіе сановники, которые, бывало, съ равнымъ усердіемъ и удовольствіемъ ѣли и пили у представителей той и другой партій, тогда какъ представители нынѣшнихъ партій только ораторствуютъ да пикируются, а обѣдовъ и прочаго уже, увы! не пускаютъ въ ходъ. Отъ всѣхъ этихъ болѣе или менѣе пострадавшихъ, пришибенныхъ и застигнутыхъ врасплохъ реформами, отъ всѣхъ этихъ притворяющихся, поддѣлывающихся съ затаеннымъ скрежетомъ зубовъ къ новымъ началамъ личностей, не пора ли перейти къ третьей категоріи щедринскихъ типовъ—къ людямъ поистинѣ новымъ, передовымъ, двигателямъ, проводящимъ въ жизнь новыя начала? Увы! И здѣсь мрачный взоръ нашего сатирика открываетъ картины не совсѣмъ утѣшительныя, и чтобы

объяснить это обстоятельство, намъ не остается ничего болѣе, какъ предположить, что Н. Щедринъ умышленно отвращаетъ взоры свои отъ свѣтлыхъ явленій и хочетъ во что бы то ни стало поддержать свое званіе сатирика. Посмотримъ, однако, какія же пятна сумѣлъ открыть неумолимый Щедринъ въ этихъ передовыхъ дѣятеляхъ. Для этого, впрочемъ, мы должны обратиться, между прочимъ, къ прежней дѣятельности Н. Щедрина, гдѣ онъ исчерпалъ этотъ предметъ въ двухъ мастерскихъ очеркахъ: „Неумѣлые“ и „Озорники“, такъ что, впослѣдствіи, не имѣлъ уже надобности воспроизводить эти типы вполнѣ и только ограничивался по временамъ отдѣльными чертами.

Первое мѣсто въ новой категоріи типовъ необходимо отдать лицамъ, если и не ревностно дѣятельнымъ въ новомъ духѣ, то, по крайней мѣрѣ, искренно сочувствующимъ движенію. Всѣ они очень мѣтко характеризуются слѣдующимъ небольшимъ отрывкомъ изъ разговора, гдѣ-то подслушаннаго авторомъ: „А я сегодня читала „Морской Сборникъ“ *), говоритъ жена сосѣда:—„правительственныя распоряженія“ до такой степени увлекли меня, что я совершенно забылась“. За людьми просто сочувствующими слѣдуютъ люди дѣятельные въ новомъ духѣ, но „неумѣлые“. Такой типъ рисуется намъ въ мѣткомъ и живомъ разсказѣ нѣкоего мѣщанина Голенкова, служившаго ратманомъ въ магистратѣ и потому человѣка бывалаго и опытнаго. „А вотъ, я вамъ доложу, тоска-то, разсказываетъ Голенковъ въ откровенной бесѣдѣ съ авторомъ,—какъ видишь, что человѣкъ онъ и честный, и хорошій, а ни къ чему какъ-есть приступиться не можетъ, все-то у него изъ рукъ валится. Съ этакимъ связаться не приведи Господи! Начнешь ему резонъ докладывать, такъ онъ не то чтобъ тебѣ благодаренъ, а словно теленокъ всѣми четырьмя ногами брыкается: „Вы, молъ, скоты, чего понимаете! Не смыслите, какъ и себя соблюсти; а вотъ на меня посмотри—видалъ ли ты экихъ молодцовъ?“ И знаете, ваше

*) „Морской Сборникъ“, несмотря на свое спеціальное названіе, давалъ въ то время пріютъ на своихъ страницахъ статьямъ, не всегда согласнымъ съ офиціальнымъ мнѣніемъ. Великій князь Констант. Николаев., бывшій тогда генералъ-адмираломъ, расширилъ программу этого журнала и допустилъ статьи по самымъ жгучимъ современнымъ вопросамъ — о гласномъ судопроизводствѣ, отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія, реорганизаціи воспитанія и школы и т. д. *Примѣч. Н. Д.*

благородіе, словами-то онъ, пожалуй, не говоритъ, а такъ всею фигурой въ лицо тебѣ хлещетъ, что, вотъ, онъ честный, да образованный, такъ ему за эти добродѣтели молебны служить слѣдуетъ. Вотъ, молъ, до чего вы, скоты, дожили, что честный-то человѣкъ у васъ словно жаръ-птица". Затѣмъ Голенковъ разсказываетъ нѣсколько забавныхъ анекдотовъ о томъ, какъ одинъ изъ неумѣлыхъ губернаторскихъ чиновниковъ переодѣвался въ мужицкій кафтанъ и ходилъ для подслушиванія въ кабакъ, откуда и былъ выгнанъ съ позоромъ; какъ онъ для открытія преступленія надѣвалъ саванъ и прятался подъ кровать подозрѣваемаго въ преступленіи, при чемъ также потерпѣлъ горестную неудачу. Когда же авторъ послѣ всѣхъ подобныхъ разсказовъ старается добиться отъ Голенкова прямого отвѣта, считаетъ ли онъ, наконецъ, этихъ новыхъ чиновниковъ лучше или хуже старыхъ, то мѣщанинъ Голенковъ отвѣчаетъ нѣсколько уклончиво, что онъ и самъ видитъ, что люди новые все-таки хорошіе люди, но что они словно какъ-будто недоношенные.

„Живого матерьялу они, сударь, не понимаютъ! Имъ бы все вотъ за книжкой, или еще пуще за разговорцемъ: это ихнее поле; а какъ дойдетъ дѣло до того, чтобы пеньки считать — у него, вишь, и ноженьки заболѣли. Примется-то онъ бойко, и рветъ и мечетъ, а потомъ смотришь, онъ и поприутихъ, да такъ-то приутихъ, что все и бросилъ; все только и говоритъ о томъ, что, молъ, какъ это его, съ такими способностями, да грязь таскать запрягли; это, дескать, дѣло чернорабочихъ, становыхъ что ли, а его дѣло сидѣть тамъ высоко, да только колеса всей этой механики подмазывать. А того и не догадается, что коли всѣ такую мысль въ головѣ держать будутъ—вѣдь, почемъ знать? можетъ, и всѣ когда-нибудь образованные будутъ! — такъ кому же пеньки считать?".

Общее мнѣніе мѣщанина Голенкова о недостаткахъ всей этой благонамѣренной, но нѣсколько безтолковой административной дѣятельности, которой примѣровъ у насъ не искать стать и которая почти всегда, не принеся никакой пользы, оканчивается усиленною враждой и недоразумѣніями между администраціею и земствомъ, довольно характерно выражается въ слѣдующихъ словахъ Голенкова, очевидно, раздѣляемыхъ и самимъ авторомъ. На вопросъ автора, отчего же такъ неудачны, безтолковы и, по большей части, смѣшны всѣ эти попытки неумѣлыхъ и, вообще, административныя попытки къ благодѣтельному дѣйствію на грубыя массы, уѣздный философъ весьма здраво отвѣчаетъ: „Первое дѣло—много вы о себѣ думаете, а о другихъ, хоть бы о

насъ грѣшныхъ, и совсѣмъ ничего не думаете: такъ, молъ, мелюзга все это, скоты необрѣзанные. Второе дѣло—совсѣмъ не съ того конца начинаете. Ты коли хочешь служить вѣрою, такъ по верхамъ-то не лазяй, а держись больше около земли, около земства-то. Если видишь, что плохо—ну, и поправь, наведи его на дорогу. А то пріѣдетъ, это, весь какъ пушка заряженный, да и стрѣляетъ въ насъ своею честностью да благонамѣренностью. Ты благодѣтельствуй намъ, слова нѣтъ!—да въ мѣру, сударь, въ мѣру! а не то, вѣдь, намъ и тошно, пожалуй, будетъ... Ты вотъ лучше поотпусти, дай дохнуть-то! Можетъ, она и пошла бы машина!" Нельзя не сознаться, что въ заключительныхъ словахъ Голенкова могутъ найти полезный урокъ не одни „неумѣлые", но и цѣлая система, которой они являются лишь самыми мелкими представителями. Но если типъ „неумѣлыхъ" только смѣшонъ и безполезенъ, то совсѣмъ другое чувство возбуждаетъ другой типъ „озорниковъ", очень хорошо понимающихъ и свое безсиліе и свое нежеланіе сдѣлать что-нибудь для массъ избраннымъ ими путемъ, а все-таки нагло идущихъ этимъ путемъ, въ видахъ эгоистическихъ, которые они выражаютъ съ возмутительною безцеремонностью, когда разсуждаютъ между своими, откровенно. До пониманія столь утонченно развратнаго типа мѣщане Голенковы и, вообще, простой народъ и дойти не могутъ, такъ какъ лица этого сорта не имѣютъ прямыхъ сношеній avec cette canaille... и потому авторъ не могъ поступить лучше, какъ заставить самого такого господина высказаться со всею тонкостью, наглостью и глубокой развращенностью его принциповъ. Послушаемъ же признаніе одного изъ подобныхъ „озорниковъ".

— „Вы очень ошибаетесь,—развязно разсказываетъ онъ,—если думаете, что, вотъ, я призову мужика, да такъ и начну его собственными руками обдирать... Фи! Вы забыли, что отъ него, тамъ, Богъ-знаетъ чѣмъ пахнетъ... да я и не хочу совсѣмъ давать себѣ этотъ трудъ. Я просто призываю писаря, или тамъ другого, et je lui dis: mon cher, tu me dois tant et tant [1])—ну и дѣло съ концомъ: какъ ужъ онъ тамъ дѣлаетъ—это до меня не относится... Я самъ терпѣть не могу взяточничества—фуй, мерзость! У насъ не взятки, а администрація; я требую только должнаго, а какъ оно тамъ изъ нихъ выходитъ, до этого мнѣ дѣла нѣтъ. Моя обязанность только исчислять статьи: гоньба тамъ что ли, дорожная повинность, рекрутство...

[1]) Я ему говорю: мой дорогой, ты мнѣ долженъ столько-то и столько-то.

Tout cela doit rapporter... Je suis un homme comme il faut [1]); я дитя нынѣшняго времени; я хочу имѣть и хорошую сигару, и стаканъ добраго шатодикема; я долженъ—вы понимаете?—долженъ быть прилично одѣтымъ; мнѣ необходимо, чтобы у меня въ домѣ было все комфортабельно—le gouvernement me doit tout cela [2]). Я человѣкъ холостой—j'ai besoin d'une belle [3]); я человѣкъ съ высшими, просвѣщенными взглядами—нужно чтобы мысль моя была покойна и не возмущалась ни бѣдностью, ни какими-нибудь недостатками, иначе какой же я буду администраторъ"?

Объяснивъ такимъ образомъ свое необходимое, твердое, незыблемое положеніе въ административномъ механизмѣ и свои отношенія къ грубымъ массамъ, „озорникъ" съ столь же циническою откровенностью высказываетъ и свой прямой взглядъ на всѣ тѣ утопическія мысли, которыми, обыкновенно, подобные ему люди морочатъ взглядъ публики, но которыя, въ сущности, возбуждаютъ въ нихъ только циническій смѣхъ и тайную злобу.

„Говорятъ,—продолжаетъ „озорникъ"—будто необходимо изучить нужды и особенности края, чтобы умѣть имъ управлять съ пользою. Mon cher, je vous dirai franchement que tout ça, c'est des utopies [4]); какія могутъ быть тутъ нужды? Ну, я спрашиваю васъ? Знаетъ ли онъ, для чего ему дана жизнь? Можетъ ли онъ понять, se faire une idée [5]) о томъ, что такое назначеніе человѣка? Non, non et cent fois non! Je vous le donne en mille [6]); соберите вы тысячу человѣкъ и переспросите у каждаго изъ нихъ поодиночкѣ, что такое государство?—ни одинъ вамъ не отвѣтитъ: они знаютъ, тамъ, своихъ коровъ, своихъ бабъ, свой навозъ... Какія же тутъ нужды, какія тутъ особенности края!.. Говорятъ также нѣкоторые любители просвѣщенія, что нужно распространять грамотность, заводить школы, учить ариѳметикѣ. En bien! je vous dirai [7]), что если мы ихъ образуемъ, выучимъ ариѳметикѣ,—конецъ нашимъ высшимъ соображеніямъ! C'est sûr et certain, comme deux fois deux font quatre" [8]).

Но мы боимся слишкомъ воспользоваться правомъ выписокъ, хотя въ дальнѣйшемъ признанія „озорника" представляютъ не менѣе драгоцѣнныя и поучительныя подробности. Да пора и вообще покончить съ типами Щедрина, изъ которыхъ мы старались выставить на видъ лишь наиболѣе крупные, оставляя читателю удовольствіе найти въ двухъ послѣднихъ книгахъ Н. Щедрина множество другихъ чертъ,

---

[1]) Я человѣкъ порядочнаго общества.
[2]) Все это должна мнѣ предоставить губернія.
[3]) Мнѣ нужна любовница.
[4]) Я сказалъ бы вамъ откровенно, что это—утопія.
[5]) Отдать себѣ отчетъ.
[6]) Нѣтъ, нѣтъ, сто разъ нѣтъ, тысячу разъ.
[7]) Хорошо, допустимъ.
[8]) Это безусловно вѣрно, какъ дважды два четыре.

ярко отражающихъ современное общество въ одинъ изъ интереснѣйшихъ моментовъ нашей исторіи. Намъ слѣдовало бы теперь, для полноты очерка, поговорить объ общихъ вопросахъ, поднятыхъ или вновь затронутыхъ авторомъ, о началахъ, имъ преслѣдуемыхъ и защищаемыхъ; но мы встрѣчаемся въ этомъ отношеніи съ нѣкоторыми затрудненіями. Прежде всего, послѣ многихъ очерковъ, приведенныхъ нами, по большей части, словами самого автора и касающихся трехъ большихъ указанныхъ нами выше группъ, намъ пришлось бы теперь повторять очень многое лишь другими, и, притомъ, далеко не столь-мѣткими и характерными словами. Во-вторыхъ, у Н. Щедрина, какъ у сатирика, нечего искать твердо и ясно, въ догматической формѣ, высказанныхъ началъ и взглядовъ: его дѣло схватить жизненныя явленія и типы, такъ-сказать, на-лету, при самомъ ихъ возникновеніи въ жизни, и выставить на показъ, обливъ настоящимъ свѣтомъ; бросить мимоходомъ нѣсколько бѣглыхъ соображеній и замѣтокъ по разнымъ вопросамъ, задаваемымъ жизнью. Съ другой стороны, эпоха, изображаемая сатирикомъ, слишкомъ близка еще къ намъ; мы сами слишкомъ еще замѣшаны во всѣ ея треволненія, чтобы критика могла возсоздать стройную систему принциповъ на основаніи бѣглыхъ данныхъ, представляемыхъ авторомъ, или старалась навязать ее автору,—какъ мы надѣемся, далеко еще не окончена и обѣщаетъ дальнѣйшее развитіе круга мыслей и исходной точки его сатирическихъ отношеній къ дѣйствительности. Но если мы и считаемъ еще преждевременнымъ представить полную характеристику сатирическаго воззрѣнія Н. Щедрина и исходную точку его взгляда на текущую дѣйствительность, то нѣкоторыя главнѣйшія направленія его мысли и объемъ его кругозора обозначались уже съ такою ясностью и отчетливостью, что объ нихъ можно и стоитъ поговорить обстоятельнѣе. Главнѣйшее качество нашего автора,—то, именно, которое и дѣлаетъ изъ него сатирика, а не простого пересмѣшника людскихъ безобразій,—состоитъ въ возвышенной точкѣ его взгляда, въ строгости его требованій отъ жизни. Это-то, именно, качество и дѣлаетъ его неподкупнымъ ни для какихъ мишурныхъ явленій, часто соблазняющихъ даже весьма умныхъ людей. Стоитъ только пересмотрѣть въ его сочиненіяхъ протесты противъ различныхъ видовъ новыхъ, всѣмъ казавшихся отрадными явленій,

чтобы убѣдиться, что взглядъ его на эти явленія, несмотря на то, что расходился со взглядомъ лучшаго большинства, проникалъ глубже въ самую сущность вещей и недаромъ, подъ большею частью этихъ блестящихъ на поверхности явленій, открывалъ глубокую пустоту содержанія. Не возлагали ли всѣ глубокихъ надеждъ на благодѣтельную гласность и не видѣлъ ли Н. Щедринъ съ самаго начала въ нашихъ юныхъ дѣятеляхъ гласности „соловьевъ, заслушивающихся своихъ собственныхъ пѣсенъ?“ Не радовались ли всѣ мы новымъ рѣчамъ о политикѣ, самоуправленіи, мѣстныхъ интересахъ и тому подобныхъ общественныхъ вопросахъ, и не находилъ ли уже давно Н. Щедринъ глубокой внутренней аналогіи между новою фразой: „А вы читали, mon cher, „политическое обозрѣніе“? Charmant!“ и старою фразой: „А каку мнѣ нынче канарейку (!) изъ деревни привезли—персикъ!“ Да мало ли въ чемъ и еще расходился нашъ сатирикъ съ общими вѣрованіями и надеждами. Кто былъ правѣе: онъ ли, со своимъ сомнѣніемъ и недовѣріемъ, или мы, простодушно увлекшіеся—пусть рѣшитъ теперь самъ читатель. Переходя къ частнымъ убѣжденіямъ и взглядамъ, выразившимся въ сочиненіяхъ Н. Щедрина, мы прежде всего открываемъ въ немъ глубокое сочувствіе къ земству, ко всей этой темной массѣ, живущей еще своею мало извѣстной намъ жизнью, нѣсколько дико и недовѣрчиво глядящей на прививаемую ей цивилизацію, страдательно и безучастно относящейся къ воздвигнувшимся надъ нею историческимъ ходомъ законамъ и властямъ, къ этой огромной, почти неподвижной массѣ, которая сохранила старину со всѣми ея хорошими и худыми сторонами, но, по крайней мѣрѣ, не заразилась новыми пороками и терпѣливо ждетъ своего просвѣтлѣнія и пробужденія. Во всѣхъ разсказахъ и пьесахъ Н. Щедрина самые благодушные и благообразные типы взяты имъ изъ этой темной массы. Мы не считаемъ нужнымъ перечислять ихъ и указывать на эту отличительную черту въ сатирической дѣятельности Н. Щедрина, какъ на новую въ исторіи нашей сатиры, которая въ старое время была, исключительно, противъ грубыхъ массъ и на сторонѣ просвѣщенія, и если заступалась иногда за низшія массы, то никогда не выражала вѣры въ нихъ: да и самъ Гоголь не могъ найти для нея свѣтлыхъ красокъ. Если съ одной стороны вѣра въ народъ и земство, или, по крайней мѣрѣ,

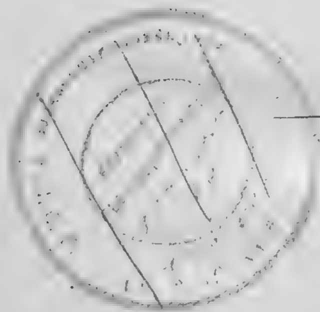
благодушное къ нимъ отношеніе составляютъ характеристическую черту міровоззрѣнія Н. Щедрина, то другую столь же рѣзкую черту его направленія составляетъ недовѣріе къ той системѣ цивилизированія массъ, которая соединена съ презрѣніемъ къ нимъ и которой самымъ отвратительнымъ представителемъ является типъ „озорника", представленный нами выше. Впрочемъ, послѣ всѣхъ сдѣланныхъ нами выписокъ и толкованій къ нимъ мы не считаемъ умѣстнымъ распространяться болѣе объ этой сторонѣ направленія Щедрина. Что касается до круга сатиры нашего автора и вытекающаго оттуда мѣста Н. Щедрина въ ряду нашихъ сатирическихъ дѣятелей, мы полагаемъ, что то и другое получатъ бо́льшую ясность, если мы оглянемся на бѣглый очеркъ исторіи нашей сатиры, сдѣланный нами въ настоящей статьѣ. Мы видѣли выше, какъ съ перваго пробужденія нашего общества, сатирическая литература наша явилась сильною и энергическою проводницей въ общество просвѣтительныхъ началъ,—роль, которой она не измѣняла и до сихъ поръ. Мы видѣли, какъ, вслѣдствіе исключительныхъ обстоятельствъ нашего развитія, сатира эта вначалѣ явилась въ тѣсномъ союзѣ съ реформами и воззрѣніями, исходившими отъ власти, и играла какъ бы подчиненную роль. Мы убѣдились, что дальнѣйшая исторія нашей сатиры есть исторія постепеннаго освобожденія ея отъ этого союза и этой подчиненной роли, подъ вліяніемъ прямыхъ наблюденій надъ жизнью, идей, проходившихъ въ литературу и общество помимо прежняго, единственнаго ихъ источника и яркихъ талантовъ, умѣвшихъ добиться прямого и самостоятельнаго взгляда на дѣйствительность.

Подъ вліяніемъ этихъ обстоятельствъ самый кругъ сатиры расширялся все болѣе и болѣе и въ лицѣ Гоголя коснулся коренныхъ и существеннѣйшихъ основъ существующаго порядка. Въ этомъ отношеніи сатира Н. Щедрина есть прямое продолженіе и развитіе предшествующихъ моментовъ. Захвативъ общество русское въ одну изъ самыхъ тревожныхъ и дѣятельныхъ минутъ его жизни, она имѣла возможность коснуться и весьма многихъ формъ его, существовавшихъ прежде или возникшихъ вновь подъ вліяніемъ реформъ и все болѣе и болѣе проникающей къ намъ европейской цивилизаціи, и весьма многихъ общихъ принциповъ, управляющихъ его жизнью и развитіемъ. Самостоятельность

сатиры, своя точка зрѣнія достигла въ Н. Щедринѣ своего крайняго развитія и во многомъ стала въ разрѣзъ съ дѣйствующими принципами и даже съ воззрѣніями образованнаго большинства; кругъ вопросовъ расширился до того, что трудно исчислить ихъ, тѣмъ болѣе, что по свободной формѣ, избранной Щедринымъ для его дѣятельности, онъ иногда мимоходомъ, полусловомъ касается весьма важныхъ сторонъ, къ которымъ даже не всегда возвращается. Самая форма его столь свободной, и по содержанію и по манерѣ, сатиры, необходимо должна бы получить оригинальность и полную развязность дѣйствія. Мы видѣли выше, что старая сатира наша весьма долгое время относительно формы находилась въ зависимости отъ иностранныхъ, строго-выработанныхъ образцовъ, что, безъ сомнѣнія, также стѣсняло и ея задачи. Свобода Н. Щедрина и въ этомъ отношеніи достигла крайняго предѣла. Разсказы отъ своего лица, посторонняго, признанія самихъ изображаемыхъ лицъ, общія картины жизни, сцены, даже комедіи—все пригодилось ему для выраженія того разнообразнаго содержанія, которымъ такъ богаты его сатиры, и для подробнаго изображенія различныхъ сторонъ русскаго общества, видоизмѣняющагося на нашихъ глазахъ и часто едва уловимаго въ своихъ измѣненіяхъ. Всѣ эти обстоятельства придаютъ, безъ сомнѣнія, сатирической дѣятельности Н. Щедрина нѣкоторый видъ торопливости, горячности и дѣлаютъ изъ его сочиненій, за немногими исключеніями, скорѣе матеріалъ для сатиры, чѣмъ сатиру вполнѣ художественную, воплощающую свои воззрѣнія въ немногіе числомъ, но безконечно много заключающіе въ себѣ типы. Но зато матеріалъ, представляемый сочиненіями Н. Щедрина, есть матеріалъ богатый, разнообразный, живьемъ выхваченный изъ жизни и часто обличающій высокое мастерство, которое только связано спѣшною и горячею работой надъ шибко-волнующеюся жизнью. Изъ приведенныхъ нами выше выписокъ читатели уже могли познакомиться съ мастерствомъ, мѣткостью и типичностью многихъ образовъ и наблюденій автора; но еще множество ожидаетъ ихъ при чтеніи самого автора. Однимъ словомъ, и для мыслящаго, небезучастнаго къ роднымъ вопросамъ гражданина, и для будущаго историка нашего общества сочиненія Н. Щедрина представляютъ богатый матеріалъ, которому особый интересъ и силу придаетъ строгая выдержанность міровоззрѣнія автора,

ни разу не уклонившагося въ сторону и не соблазнившагося никакими призрачными явленіями. Если желать непремѣнно найти что-либо подобное ему въ исторіи нашей прежней сатиры, то это будетъ, развѣ, та краткая, но плодотворная сатирическая дѣятельность нашихъ журналовъ сумароковской эпохи, которая подготовила Фонвизина и передъ которою во многихъ частностяхъ „блѣднѣютъ самыя его произведенія", по выраженію Булича *). Но и по широтѣ круга задачъ, и по смѣлости и свободѣ отношеній къ жизни, и по количеству просвѣщенныхъ взглядовъ, и по единству и выдержанности плана, разница между этою кратковременною старою журнальною дѣятельностью Н. Щедрина будетъ, по крайней мѣрѣ, столь же велика, какъ и разница, между двумя самими эпохами.

Е. Эдельсонъ.



*) Ник. Никит. Буличъ—извѣстный историкъ русской литературы.
Прим. Н. Д.